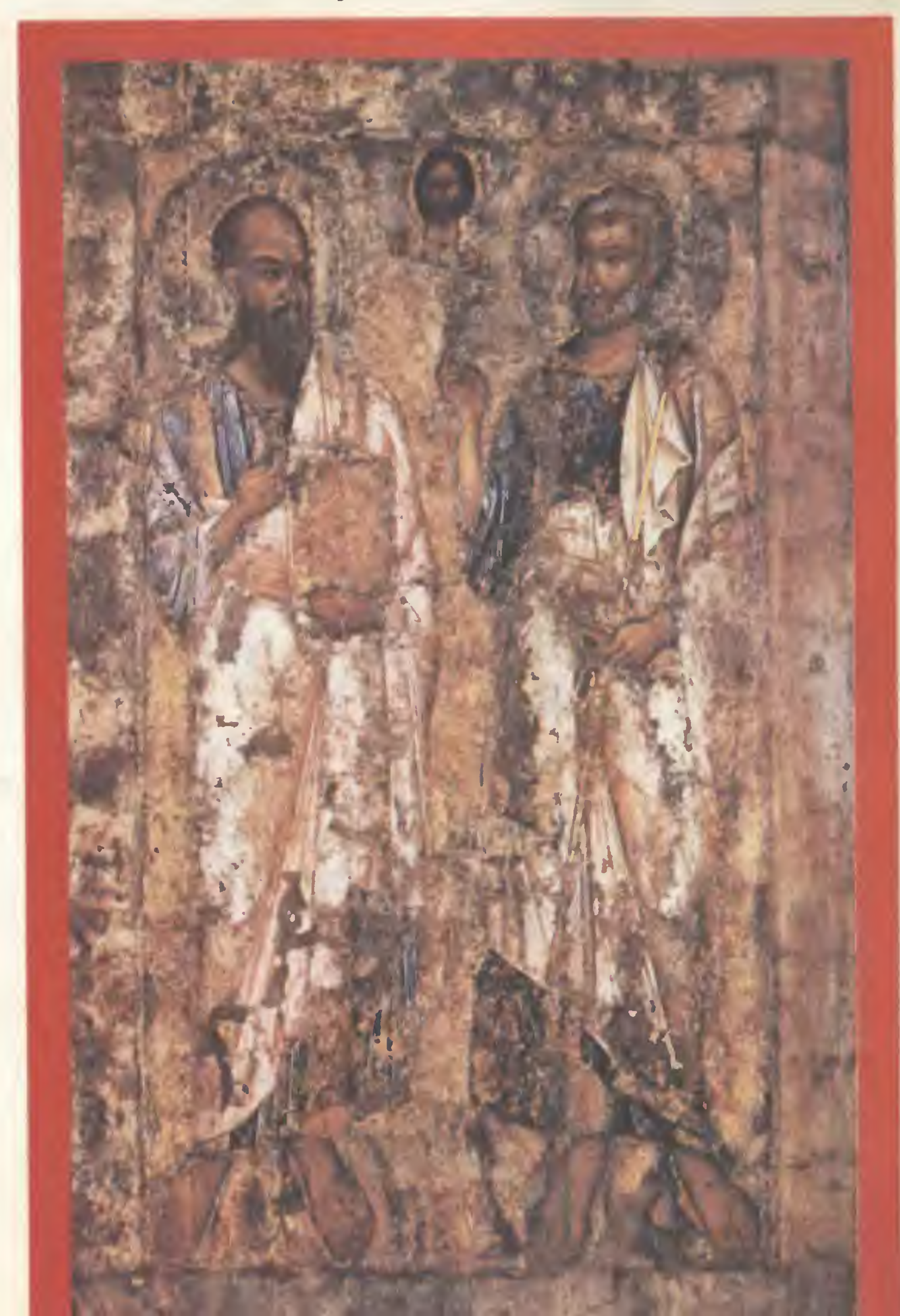
6. 144

От новгородской иконописи 11-го века сохранился на сегодняшний день лишь один памятник — монументальная икона «Петр и Павел», из Софийского собора (Новгородский историко-архивный музей-заповедник).



ISSN 0321—0561. В мире книг. 1989. № 7. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321—0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 7 89

В лѣто 6553. Заложи князь Володімеръ Ярославичь и владыко Лука святую Софію, каменую, в Велікомъ Новѣгородѣ.

Из Новгородской летописи

ПОКЛОН ХРАНИТЕЛЬНИЦЕ!

Ксения Петровна Гемп, будучи еще милой, очаровательной девушкой, закончившей Бестужевские курсы в Петербурге, связала свою жизнь с Беломорьем. Поселилась в Архангельске, лично знала покорителя Арктики Георгия Седова, провожала его в ледовый поход к Северному полюсу... Тяжело пережила его трагическую гибель...

Увлеклась изучением морских водорослей, пропадала каждым летом на Беломорье, деля нелегкую долю с ловцами ламинарий. Но чем бы она ни занималась — биологией, географией, историей и этнографией Севера, фольклором, одно дело, одна душевная страсть оставалась всегда — интерес к творчеству и памяти великого писателя древней Руси протопопа Аввакума. А началось это увлечение еще на Бестужевских курсах, потом встречи с поморами-староверами обострили интерес. И с 1913 года она начала в своих дальних научных экспедициях, помимо основного дела — ламинарий, записывать легенды и сказы поморов об Аввакуме, поморскую бывальщину, старину, их нравы и обычаи.

Ни о какой книге она тогда еще и не мечтала, просто записывала все интересное... Книга «Сказ о Беломорье» появилась к четырехсотлетию Архангельска, когда автор уж подступил к рубежу девяноста прожитых лет. А по выходе «Сказ...» сразу же стал библиографической редкостью. Конечно, и тираж мизерный, но и интерес большой на Севере к знаменитой архангелогородке. Жаль, что за шесть лет книгу не переиздали на Севере, но не издали и в Москве или Ленинграде, несмотря на высокую похвалу Федора Абрамова... Хотя еще не поздно поправить дело...

А сколько радости и удовольствия вас ждет от прочтения такой книги, вы легко убедитесь, открыв сорок первую страницу этого номера...

Арс. КУЗЬМИН

ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА

МИХАИЛ АНТОНОВ

ВЕРНУТЬ ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

Союз духовного возрождения Отечества — одна из самых молодых общественных организаций. Его учредительная конференция, в работе которой приняли участие около 200 делегатов от патриотических организаций Москвы, Ленинграда, Урала, Сибири, Украины и Белоруссии, состоялась в Москве 16—17 марта с. г. Учредителями Союза явились Научный совет по проблемам русской культуры АН СССР, издательство «Советская Россия», Государственная библиотека им. В. И. Ленина, журнал «Молодая гвардия», Московское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, колхоз «Ленинская Искра» Ядринского района Чувашской АССР и другие организации.

У тех, кто наслышан о возникновении в последнее время множества различных, в том числе и вроде бы конкурирующих между собой общественных организаций, может возникнуть вопрос: к чему еще один патриотический союз, не достаточно ли «Отечества», «Товарищества русских художников», Народного дома России? Не дробим ли мы тем самым наши силы, не ослабляем ли пока еще не столь многочисленные ряды?

Я убежден, что Союз — организация необходимейшая, он заполнил собой ту нишу, которая образовалась в нашем патриотическом движении, дал то главное, чего всем нам так остро не хватало — ведущую идею.

Будем откровенны: страна переживает всесторонний глубочайший кризис. Экономика к концу периода застоя оказалась накануне полного краха, а проведенное совершенствование хозяйственного механизма к коренному улучшению дела пока не привело (и уверен, при сохранении существующего подхода, не приведет). Экологическая обстановка у нас намного сложнее, чем в других развитых странах, и полноценная жизнь человека невозможна, почти все дети в последние годы рождаются больными и увечными, а то и дебилами, что грозит в недалеком будущем демографической катастрофой. Быстрый рост тяжелых преступлений (на 30—40% в год) и усиление позиций организованной преступности свидетельствуют о распаде общественной нравственности и могут привести к тому, что всему народу будет навязана мораль уголовного мира.

Как выходить из этого тяжелейшего положения? Ведущие ученые-экономисты, особенно те, кто выступает советниками высших руководителей страны, призывают к расширению сферы товарно-денежных отношений и к усилению связей с капиталистическим миром, получению от него кредитов, сдаче нашей территории в аренду или концессии, но это — палка о двух концах. К какому-то (хотя и не очень большому) росту производства этот путь может привести, но одновременно резко усилит имущественное расслоение и социальную напряженность в обществе, а в конце концов грозит обернуться превращением страны в колонию транснациональных корпораций. Лидеры различных демократических фронтов видят выход в либерализации нашего общественного строя, но этот путь, как показывает весь мировой опыт, приведет не к свободе вообще, а к свободе имущих. Богатых же людей, мультимиллионеров у нас уже много, и им тесно в рамках социализма. Им надо пускать капитал в оборот, чтобы он приносил сверхприбыли, свободно играть на бирже и пр., так что у демократических фронтов есть и социальная база, и надежные покровители. Есть организации, которые считают главной причиной всех бед засилье «инородцев» в различных управленческих и прочих общественных структурах и потому направляют всю свою энергию на отрицание, а не на созидание. Иные деятели с такими воззрениями объявляют себя патриотами только потому, что, не будь «инородцев», им бы достался большой кусок пирога. Но ведь подлинным патриотом движет не корысть, а любовь к Родине, особенно когда она больна. Мы отвергаем и космополитизм, и корыстный «патриотизм» того рода. О том, что страна сбилась с пути, что выход пока очень приблизительно представляют себе и ее высшее руководство, и народ, свидетельствуют и прошедшая кампания по выборам народных депутатов СССР, и высказывания «властителей дум» — наиболее видных мыслителей и ряда писателей современности. В этом отношении, пожалуй, особенно характерны две недавние статьи. Писатель А. Рекемчук говорит о том, что в начале перестройки народ плохо представлял себе, с какими трудностями она будет связана, и верил, что лидер хорошо знает дорогу; теперь же очевидно, что дорогу эту надо искать вместе и, как говорится, на равных («Известия», 25 марта 1989 г.). А первый секретарь Московской писательской организации Ал. Михайлов повторил в «Литературной газете» (15 марта с. г.) мысль, высказанную им на столичной партконференции: наше общество утратило духовную цель; коммунизм, обещанный романтиками революции, оказался призра-

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

АНТОНОВ Михаил Федорович, кандидат технических наук, писатель-публицист, член редколлегии журнала «Москва».
Автор книг «Нравственность экономики» и «НТР: роль человеческого фактора» (М.; Молодая гвардия, 1984 и 1987), а также статей в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Москва», «Волга», «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан», «Молодая гвардия», «Родина», «Техника и наука» и др. Основная проблематика — связь экономики с нравственностью и духовными ценностями, пути обогащения и дальнейшего развития теории марксизма-ленинизма и приведения ее в соответствие с реалиями конца XX века.
На учредительной конференции Союза в марте в Москве М. Антонов был избран председателем Центрального совета Союза духовного возрождения Отечества.

ком, а достойной замены этой светлой мечте не выработано. А страна, не имеющая возвышающей национальной цели, обречена на топтание на месте, на движение методом проб и ошибок с большими излишними потерями и жертвами.

Наш Союз, пожалуй, ближе других к пониманию причин тяжелого положения страны. Кризис в экономике и экологии, другие негативные явления — это лишь следствие кризиса в области идеологии, утраты веры и идеалов, распада души человека и народа, и без устранения этой первопричины, видимо, не будут иметь успеха меры, принимаемые для устранения ее неизбежных последствий.

А выход один: начинать надо с духовного возрождения народа, с того, чтобы вернуть людям давно забытые понятия о смысле жизни, о месте человека в мироздании, о высоком человеческом призвании. Надо напомнить им, что они — не только производители и потребители материальных благ, а и социальные и нравственные существа. Человек — звено в цепи поколений, у него есть долг перед прошлым, настоящим и будущим, обязывающий к тому, чтобы оценивать свои дела и мысли не только с точки зрения сиюминутной или даже дальней выгоды, но и с позиций вечности. Тогда только может осуществиться идея В. И. Ленина о социализме как строе цивилизованных кооператоров. Нам ведь и осталось для налаживания жизни совсем немного: цивилизовать экономику и самих себя, но это сделать гораздо труднее, чем построить тысячи заводов, повернуть вспять реки, осушить болота и превратить в болото пустыню.

Мы, выражая ясно, во всеоружии теории, то, что народ лишь смутно сознает, не допустим дальнейшего разорения страны ведомствами-колонизаторами, такого ведения хозяйства, которое нацелено на достижение миражей вроде роста национального дохода, валового национального продукта, объема производства или освоения средств (все эти показатели легко «накручиваются», например, выпуском ненужной продукции). Критериями социально-экономического развития страны должны стать продолжительность жизни, уровень духовного и физического здоровья народа при соответствующей материальной обеспеченности, свободное время, плодородие почв, состояние окружающей среды. Мы выступаем также против безответственного растранжиривания природных богатств и сдачи в аренду на длительный срок иностранным фирмам территории страны, что грозит, по нашему мнению, превращением ее в сырьевой придаток, а затем и в колонию транснациональных корпораций.

Наш Союз от объединений патриотов-эмпириков отличает высокий духовный потенциал, достигаемый за счет обогащения теории марксизма-ленинизма ценностями мировой и особенно русской культуры. Мы напомним нашим современникам, забывшим (или никогда не слышавшим), что на рубеже XIX—XX веков Россия была единственной из великих держав, располагавшей нравственно и космически обоснованной системой воззрений на философию хозяйства, корни которой уходят в глубь истории — в XVI в. (сочинения Ермолая-Еразма) и далее — к их предшественникам и нашим византийским учителям. Мы поставим на службу нашим современникам глубинные пласты мировой культуры, в частности, мыслителей каппадокийской школы и Максима Исповедника, который довел до классической стройности (естественно, в форме, присущей средневековью) учение о правильных взаимоотношениях человека, хозяйства и природы.

Особое место в деятельности Союза займет книга. Так, работа Московского отделения Союза началась с серии сообщений о русском нравственном идеале, основанных на произведениях писателей — древности, классического периода, современников, оказавших наибольшее влияние на формирование нашего национального самосознания. В числе источников для этих сообщений — первое дошедшее до нас оригинальное произведение древней литературы — гениальное «Слово о законе и благодати» Иллариона (XI в.), летописи и жития святых, светские произведения, несущие ярко выраженную нравственную идею. Союз будет издавать труды великих мыслителей прошлого, раскрывать общность духовных ценностей и исторических судеб братских народов нашей Отчизны. Кроме того, предполагается со временем издавать ежегодник «Духовное возрождение Отечества».

От либерально-демократических организаций и фронтов наш Союз отличает приверженность идеям социализма, но обращенного к реальным нуждам народа. Мы решительно отвергаем все попытки конвергенции, «слияния» социализма и капитализма, поскольку они ведут к утрате социальных завоеваний.

От различных творческих союзов и товариществ нас отличает неэлитарный, всенародный характер. Спасать свою Родину, способствовать ее духовному возрождению могут не только писатели и художники, мыслители и артисты, но и рабочие, и крестьяне, и инженеры, и врачи, и священнослужители, и пионеры, и пенсионеры. Мы зовем в свои ряды всех, кто интересы Отчизны ставит выше своих личных выгод и амбиций.

От националистических организаций нас отличает подлинный интернационализм, ибо мы убеждены: нет на Земле народов «низшей расы», как нет и народа, который мог бы претендовать на какую-то особую избранность. Мы никогда не допустим никакого экстремизма, но твердо выступаем за духовное возрождение каждого народа страны, за сохранение ее независимости и территориальной целостности.

Мы — не Демократический союз, не Народный фронт, не «Память», не путайте и не отождествляйте нас с ними. Мы — СОЮЗ духовного возрождения Отечества.

Мы твердо убеждены, что не имеют будущего ни одни теоретик, ни один политический деятель, которые не опираются на патриотические силы народов и не понимают первостепенного значения духовного начала.

А потому уверены: будущее принадлежит народу, осознавшему свои многовековые святыни, свои непреходящие духовные ценности.

Пусть японцы пока лучше нас умеют производить ЭВМ, но на вопрос, зачем и во имя чего это производство, они (как и западный мир) ответить не смогут. Каким бы тяжелым ни было современное положение нашей страны, спасение придет только от нас самих.

ЭЛИСА ГОРДИЕНКО

ХРАМ НАД ВОЛХОВОМ

[989 год.] В лѣта 6497. Постави владыка Иакимъ церковъ деревяиую святую Софію, имущи верховъ 13, и стояла 60 лѣтъ, и поднелась церковъ святаа Соѳіа отъ [о]гня, мѣсяца марта в 4, в суботный день, бывше честно устроена и украшена; а стояще конеци Епископли улици, на[дъ] рѣкою надъ Волховомъ...

[1045 год.] В лето 6553. Заложи князь Володімеръ Ярославичь и владыко Лука святую Софію, каменую, в Велікомъ Новѣгородѣ.

Из Новгородской летописи

Когда в начале новой эры славянские племена пришли к берегам далекой северной реки, они встретили богатую, но суровую лесную природу. Чтобы найти теплое жилье и одежду, добыть пищу, скрыться от непогоды, защититься от зверя и врага, человеку нужно было проникнуть в тайну ее законов. В жестокой борьбе за жизнь оттачивалась мысль, накапливались познания, обострялась память, рождалось суждение. Постепенно человек становился властелином своей земли. Накопив громадный опыт в освоении и подчинении природы, он разделил его между многими богами созданного им же пантеона. Боги стали воплощением тех категорий, которые лежали в основе мироздания, составляли объемное пластическое миропонимание древнего человека. Разумное начало было двигательным и образующим стержнем первоначальной философии, позволившей перейти к восприятию абстрактных символов христианского единоначалия. Введение новой религии проходило не просто. Крещение «огнем и мечом», проведенное посадником Добрыней, было не первым и не последним актом ее насаждения. И все же христианство внедрялось широко и энергично. Оно открывало иной, более сложный мир отношений, захватывая в себя многое из языческого многобожия, утверждая зародившуюся издревле веру в разум человека.

Может быть, поэтому на земле языческих славянских племен в 989 г. был поставлен христианский храм Софии Премудрости Божией. «Честно устроенный и украшенный», он возвышался над Волховом, знаменуя начало следующего жизненного этапа новгородцев, потомков людей, поселившихся с незапамятных дней в этом краю. Теперь он казался землей обетованной, защищенной благодатью божественной Премудрости. Сложный символ христианской религии был принят в самой своей изначальной ипостаси как знак высшего покровительства сильным, умелым и свободным людям, основавшим город избранной исторической судьбы.

Деревянная новгородская церковь Софии о тринадцати верхах обликом своим мало походила на византийский храм. В ее многоглавой кровле настойчиво пробивалось чуждое христианскому догмату представление о небе. Епископ Иоаким Корсунян едва ли видел прежде что-нибудь подобное. Не потому ли одновременно он построил собственную церковь Иоакима и Анны. Каменная, украшенная резьбой, она больше напоминала храмы Херсонеса (Корсуни), откуда происходил епископ. Некоторые хронографы отмечают, что покуда не построили новый каменный собор, богослужение происходило в церкви Иоакима и Анны.

Дубовая София сгорела, «вознеслась», по одним источникам в год, когда был заложен новый храм, по другим — в год его завершения. Каменную Софию (см. 1-ю обложку. — Ред.) начали возводить в 1045 г. 21 мая, «на Константина и Елену». Освятили храм 14 октября 1050 г., на праздник Воздвижения креста.

Строительством руководил князь Владимир, выполнявший волю своего отца Ярослава Мудрого. В Киеве в то время уже стоял Софийский собор. Зачем же нужен был Ярославу подобный храм и в Новгороде? Очевидно, сказалась привязанность князя к городу, где прошло его детство, где завоевал престол и учредил первый русский свод законов. Расширяя и укрепляя свою державу, он закреплял границы государства, над которым от юга и до севера простиралось крыло Софии. Но не исключено, что возведение Софийского собора в Новгороде было условным признанием его независимости от Киева.

Новгородский собор во многом повторяет киевский прототип. И вместе с тем это совершенно самостоятельное сооружение, в котором живет дух молодой здоровой культуры и таится дух вечности, идущий из самых недр новгородской почвы. В соединении жадно воспринимаемого нового и почитаемого, стоящего вне времени представления о красоте, заключена художественная убедительность памятника, с момента своего возникновения ставшего у истоков местного зодчества.

В кладке Софийского собора использованы ракушечник и известняковая плита, добывавшиеся в береговых карьерах Паозерья. Ни снаружи, ни изнутри стены его не были сразу оштукатурены и побелены. Строители рассчитывали на декоративную выразительность кладки, создававшей мозаику красно-коричневых, зелено-голубых, коричнево-сиреневых камней, объединенных общим тоном связующего раствора.

Выявляя форму дикого камня, дополняя красочное многообразие кладки орнаментальными деталями, мастера подчеркивали крепость материала, трудности и успех его преодо-

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

ГОРДИЕНКО Элиса Алексеевна — искусствовед, кандидат наук — окончила Московский Государственный университет, по кафедре истории и теории искусства. Работала в Новгородском музее-заповеднике, где занималась историей новгородской иконописи. С 1979 года — сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.
Труды Э. А. Гордиенко посвящены новгородской иконописи, развитие которой рассматривается ею на фоне общего исторического процесса, определившего закономерности и особенности развития всех видов художественной культуры древнего Новгорода — архитектуры, живописи, письменности, декоративно-прикладного искусства — в их неразделимом, взаимосвязанном единстве. Результатом подобных исследований явилась работа по истории Софийского собора.

ления. В неровной бугристой поверхности стены ощущалась внутренняя сопротивляющаяся, грозящая разрушительным освобождением сила и мощная, покоряющая стихию десница зодчего.

Новгородский Софийский собор в основе имеет традиционную для крестово-купольных храмов конструкцию. Своеобразие памятника состоит в нарушении принятых норм построения несущих и несомых частей. Причиной изменений явились дополнительные субструкции зданий, приделы и галереи, которые не были сразу задуманы зодчими, но создавались в процессе строительства и отвечали требованиям общественного заказа.

В соответствии с ним с трех сторон поставили три храма. Существует весьма убедительное суждение, что это были собственные церкви трех концов города, и с их возведением собор приобрел устройство, аналогичное административной топографии, отвечая назначению общегородского храма.

Ширина придельных церквей, равная центральному нефу собора, была необычайно велика, и, когда возникла необходимость надстроить объединяющие их галереи, перед зодчими встала непростая задача построения сводов. Нужно было перекрыть пространство более шести метров и, кроме того, увязать систему этого перекрытия с уровнем пола второго этажа самого здания.

Тогда и появилась смелая конструктивная идея. С помощью четвертных пологих арок, по характеру близких романским аркбутанам, был укреплен полукоробовый свод и перекрыто небывалое для средневековых построек пространство. Своды-колодцы создали в своей далекой высоте впечатление бесконечного пространства, тревожащего мрачной, таинственной нереальностью. Они оказали сильное воздействие на последующие поколения местных архитекторов, не раз повторявших в своих творениях образ софийских сводов.

Почти сто лет простоял собор в неприкосновенности. Новшества последовали с поставлением епископа Нифонта. Бывший инок Киево-Печерского монастыря, как никто прежде него, украсил и облагородил новгородскую Софию. Оплывшие снаружи красно-коричневыми потоками каменные стены храма, багровый сумрак интерьера должны были претить эстетическому вкусу владыки, воспитанному в традициях рафинированной киевской культуры, освещенной многоцветной красотой софийских и михайловских мозаик. Начав с росписи притворов в 1144 г., Нифонт обмазал известью и оштукатурил мозаиками цоколь и полы в алтаре, устроил новый синтрон и горнее место, соорудил над престолом киворий, возвел алтарную преграду.

До наших дней по существу дошла София Нифонта. Ее архитектурный облик мало исказили последующие переустройства. В 1408 году архиепископ Иоанн, кроме обычного ремонта кровли, позолотил центральный купол: «маковицю большую златоверху устрои». С тех пор цветовая композиция новгородской Софии стала традицией, воспринятой в XVI в. и московскими зодчими. Золотой и четыре голубых купола венчают Архангельский собор Московского Кремля и Смоленский собор в Новодевичьем монастыре, сохраняя память о главном храме древнейшего русского города (см. 3-ю обложку. — Ред.).

Важнейшей частью собора были его двери. С ними связывалось понятие о библейских вратах, хранителях города, дверях горнего Иерусалима и их великом привратнике апостоле Петре. В Софийском соборе было много врат, одни из них сохранились, другие утрачены, но все они — как врата рая или преисподней, отделяющие вертоград от геенны огненной, величественны и загадочны. Не исключено, что древнейшими в храме были Корсунские врата, закрывающие ныне вход в Рождественский придел. Процветшие кресты на филенках, розетки, маскирующие винтовые крепления, львиные головы ручек — приметы византийского литья XII в. Но как соотнести с ними орнаментальную резьбу XVI в. на полях? В 1336 г. архиепископ Василий заказал медные врата, украшенные в технике золотой наводки. Они стояли на южном портале собора. В середине XVI в. Иван Грозный увез их в Александровскую слободу. На их месте архиепископ Пимен поставил деревянные резные позолоченные двери, исчезнувшие неведомо куда. Может быть, благодаря им и в воспоминание о Васильевских вратах паперть называлась Золотой? В конце XIV — начале XV в. на западном портале были установлены бронзовые врата, изготовленные в Магдебурге в 1158 г. по заказу епископа Вихмана для польского города Плоцка. Позднее, в момент благоприятных отношений с Новгородом, польский король Ягайло мог подарить их Софийскому собору, где они были собраны и дополнены в соответствии с новым местом.

Сцены из Нового и Ветхого заветов, аллегорические и портретные фигуры, латинские и русские надписи, орнаментальные фризы покрывают их створы сплошным ковром. Экскурсовод несколько раз в день показывает туристам изображения трех мастеров: Риквина, Вайсмута и Авраама, клеймо новгородских серебряников — кентавра, но и поныне не раскрыто содержание этого премудрого произведения.

Внешние стены собора мало украшены. Они впечатляют своей чистотой и строгостью. Тем прекраснее на их спокойной глади выглядели нарядные врата. В 1360 г. к ним присоединился поклонный четырехконечный каменный крест, поставленный архиепископом Алексием после возведения на святительскую кафедру. Теперь крест находится внутри собора, но, отделенный от предназначенного ему места, он затерялся в храме среди таких же оторванных от своей сущности собратьев по искусству.

Вступая под своды Софии, музейный прихожанин любуется раскрытой реставраторами красотой икон, легко воспринимает тонкую эстетику древних художников, виртуозное мастерство их рисунка, изящество композиций. Но от него требуются неимоверные усилия, чтобы не только понять духовное содержание памятников древнерусской культуры, но и увидеть их в историческом времени, осознать их общественное значение. А между тем ни одна икона не была в соборе случайным явлением. Каждая из них свидетель совершенно определенных событий, современница связанных с ними людей. В иконе находили воплощение сложные рассуждения о мире, через нее осуществлялось общение между горним и дольним, от нее шел путь от земли к небу.

Софийский собор в Новгороде. Фото из книги И. Грабаря «История русского искусства». 1909 г.

Древнейшим храмовым образом была икона «Апостолы Петр и Павел» (см. 4-ю обложку. — Ред.) Она входила в состав нифонтовой алтарной преграды и располагалась первоначально на столбе у жертвенника. Апостол Павел изображен на ней слева, одесную Христа. Эта почетное место отведено Павлу как провозвестнику Слова. В иконе он выступает неким вождем, предлагающим народу свое учение, которому он сам «яко премудрый архитектор основание положил». Но и апостол Петр, согласно Евангелию Матфея, — тот камень, на котором стоит церковь земная. Оба они, верховные ученики, знаменуют в иконе храм Премудрости, являясь аллегорическим выражением многоликого понятия Софии.

Этот символ волновал новгородцев своей неоднозначностью, непостижимой бесконечностью воплощений. София для них — прежде всего Богоматерь, храм Слова, Дева, наследница Афины Паллады, носительница новой христианской идеи Премудрости. Она крепость, целостные врата, нерушимая стена града. Но на этом не останавливалось развитие мысли, ибо образ Богоматери не давал полного ответа на упрямый вопрос: «Что есть Софей Премудрость Божия?». Более глубокое толкование символа находится в иконографических интерпретациях живописцев. В XV в. в местном ряду иконостаса появилась храмовая икона Софии. Красноликий ангел на престоле, Богоматерь с Христом-младенцем в лоне, Иоанн Предтеча, предрекающий его явление в облике ангела мира, небесный звездный свод, развернутый ангелами, благословляющий Христос и престол уготованный, определяют новгородский тип Софии, в котором прослеживается длинный путь размышлений: от верховных апостолов к Богоматери-заступнице — до Христа Владыки мира, держащего в руке «весь Новгород».

Не менее сложный путь проделал и софийский иконостас. Вначале невысокая преграда с несколькими иконами не закрывала пространство алтаря, а к XVI в. громадная стена икон заслонила престол от мира людей. Средством взаимосвязи остались иконы с изображением избранных святых и сцен. В этом пространстве образов слышен голос жен, оплакивающих своих мужей, доносится молитва князя, приносящего благодарение за рождение сына, плач грешника, просящего о снисхождении. В Софийском соборе множество икон, поставленных разными людьми с единственным желанием — не пропасть бесследно, быть помянутым и, значит, остаться среди живых.

В местном ряду Большого иконостаса находятся иконы царя Алексея Михайловича, патриарха Никона. Были здесь образы, заказанные Борисом Годуновым. Есть в храме иконы, которые можно считать вкладом самого Ивана Грозного и членов его семьи. В них скрыты тайные помыслы, сердечные желания. Но среди икон Софийского собора больше таких, в которых раскрываются величественные деяния человека. К торжественным памятникам относится Рождественский иконостас. Свое название он получил в XIX в., когда был перенесен в придел Рождества Богородицы. Создан же он был для придела епископа Никиты. В 1558 г. была объявлена война с Ливонией и сразу же триумфально взята

Нарва. Всеобщее ликование выразилось в строительстве храмов, создании других памятников в разных городах. В Новгороде по случаю радостного события были «чудесно» обретены останки епископа Никиты, святого покровителя Нарвской победы. У гробы святителя поставили украшенный серебряным позолоченным окладом иконостас. В мажорной тональности его колорита неумолкающей фанфарой звучал аккорд красного, зеленого и белого цветов. И казалось, впереди предстоят счастливые сражения и еще свершатся самые гордые замыслы. Но проходили десятилетия, война затягивалась, бесчинствовала опричнина, угасало хозяйство. Бесславное заключение мира после изнурительной осады Пскова в 1580 г. отмечено в Софийском соборе иконой князя Всеволода Гавриила. Потомок Владимира Мономаха, он был изгнан из Новгорода в 1136 г. и вскоре скончался в Пскове, будучи причислен к лику святых.

В Софийском соборе сохранилось немного древних росписей. Нет надежды отыскать их и под поздней посредственной клеевой живописью XIX в., покрывающей теперь стены храма. И все-таки то немногое, что уцелело, являет нам замечательные примеры вдохновенного творчества, рожденного осознанной волей.

На пилоне южной, Мартирьевской паперти сохранилось изображение Константина и Елены, выполненное в 1052 г., вскоре после завершения строительства храма. Расположение этой композиции у входа в собор напоминало о закладке здания 21 мая. Но основная причина появления росписи состояла в исторической роли представленных на ней персонажей. Император Константин впервые утвердил крест как символ официальной религии Византии, христианства. Императрица Елена считалась сподвижницей сына, ей приписывали чудо обретения креста.

В другой раз художники-монументалисты были приглашены в 1108 г. для росписи центральной главы. Изображение пророков в простенках между окнами дошло до нашего времени. Изящное многослойное письмо сочетается здесь с широкой размашистой манерой, в которой сказывается свободное владение сложной техникой фресковой живописи.

В Мартирьевской паперти сохранился деисусный чин над святительской гробницей, фрагменты из жития мученика Георгия. Последний цикл посвящался памяти Ярослава Мудрого, которого новгородцы с полным основанием причисляли к строителям своего собора.

Храм Софии Премудрости в Новгороде соединил в себе все значительное, что создавалось людьми с момента их сознательного принятия христианства. Но главным его сокровищем было воплощенное в письменности слово, наиболее полно выражавшее содержание сложного философского символа. Надписи на стенах, богослужебные книги, исторические хроники, своды законов, юридические акты, поминальные листки, инвентарные храмовые описи запечатлели все многообразие человеческой жизни и стали главным источником исторических знаний о прошлом.

Первое, что появилось в храме после его завершения, была книга. Написанная крупным, как опорные храмовые столбы, уставом, она положила начало накоплению книжной сокровищницы. В ней, кроме обязательных канонических сочинений, необходимых для совершения литургии и треб, была обширная поучительная литература. Творения попа Упиря, писателя начала XI в., и епископа Луки Жидяты, одного из основателей каменной Софии, призывали к милосердию и чистоте душевной. Новгородские владыки были неустанными собирателями и творцами книг для Софии. Живое участие архиепископа Аркадия ощутимо в интерпретации и отборе канонических песнопений. Местные легенды и предания составляли интерес владыки Ильи. Сочинительством занимался Антоний (Добрыня Ядрейкович), описавший свое путешествие в Царьград в начале 13-го века. Основателем нового свода законов был Климент (1276—1296), включивший в состав «Кормчей» текст «Русской Правды». В XIV в. «много писцы изыскав и книги многы исписал» архиепископ Моисей. Его современник Василий был автором знаменитого «Послания о земном рае», в существовании которого сомневался тверской епископ Федор. Владыки Евфимий II и Иона в XV в. заботились об украшении церковной службы похвальными словами в честь местных святых и реликвий. В 1499 г. в литературном кружке Геннадия создан первый полный перевод Библии на русский язык. В 1546 г. Макарий, будущий митрополит, положил «на полатях» Софийского собора 12 томов Четьи-Минеей, включавших нравоучительные чтения житий и притч, расположенных в календарном порядке.

Но самым главным занятием владык было составление летописных сводов, в историческом содержании которых отражалось духовное состояние общества, определялось направление внутренней и внешней политики. В летописях осознавался нравственный опыт человека. Прошлое в этих хрониках выступало эталоном подлинной реальности, образцом, к которому должны были стремиться современники.

Книги в соборе хранились в алтарях, наиболее ценные и ветхие — в диаконнике. На «полатях», хорах размещалась юридическая часть библиотеки, обетные вклады, дары и пожалования отдельных лиц, летописи и храмовые описи. В собственных кельях владыки, в домовых и сенных церквах, в казенных палатах содержались разные книги, принадлежащие Софийскому дому.

Только в XVIII в. книжная казна отделилась от собора. Библиотека становится самостоятельным новообразованием по воле митрополита Гавриила. Наблюдая постепенное разрушение книжного наследия в окрестных и провинциальных монастырях и храмах и в самом Софийском соборе, он приказывает собирать книги и сосредоточивать их в одном помещении. Для того чтобы «никто ничего не разнес», в 1779—1781 гг. был составлен реестр книг с подробным описанием каждой из них.

Но спасательные мероприятия Гавриила лишь отсрочили упразднение Софийской библиотеки. В 1859 г. большая ее часть была перевезена в Петербургскую Духовную академию. Тогда было отправлено из Новгорода 1570 рукописей и 585 книг печати. В настоящее время они составляют Софийский фонд в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Тем не менее, часть книг осталась в соборе. Сборник XV в. с Лествицей Иоанна, Евангелие 1496 г., Евангелие мастера Андрейчины, первопечатное, так называемое анонимное, дофедоровское, Евангелие, крюшечный старообрядческий Синодик, учебники времени Петра Первого, календарь Брюса — уникальные экземпляры нынешней библиотеки напоминают о былом великолепии софийской книгохранительницы.

Вместе с тем Софийский собор в Новгороде никогда не был явлением замкнутой региональной культуры. Уже с самого момента своего возникновения он служил символом не только крепости и самостоятельности Новгорода, но и означал непреходящую связь его с Киевом, выступал вторым духовным центром русского государства. Впоследствии, в период княжеских усобиц, он для многих оставался олицетворением «отчины и дедины», ибо в его стенах, под его плитами покоились предки мятежных воителей, искавших в разных краях «доли и славы». В лихую пору русской истории, под напором татарской орды завершилась древняя история многих городов. Среди уцелевших, сохранивших свою культуру, остался Новгород. Он платил «черный бор» завоевателям, защищал западные рубежи страны. Именно тогда возвышается значение Софии. Новгородцы в своих летописях особенно подчеркивали избранное покровительство Премудрости Божией, но оно распространялось далеко за пределы вольнолюбивой республики, притягивало к себе бесчисленных приверженцев и паломников.

Утверждение Софии новгородской как всеобщего храма нового русского государства происходит при Иване III, присоединившем в 1478 г. Новгород к Москве. Его сын Василий III в 1510 г. завершил объединительную политику своего отца взятием Пскова. В ознаменование этого события князь поставил в соборе перед иконой Софии Премудрости свечу неугасимую. Все русские цари считали своим долгом поклониться святыням храма, оставить в нем память о себе. Им не мешали старые новгородские легенды о независимости и непокорности «низовцам». Некоторые из них московские государи возрождали в новых сказаниях, в повторениях чудотворных икон. Все славные русские баталии отмечены в соборе пожалованиями и вкладами. Здесь хранились реликвии Полтавы, 1812 года.

На все концы русской земли сиял купол Софии, под сенью которого сохранялся корень русской культуры, питаемый источником неисякнущей человеческой мудрости.

Новгород — Ленинград

ЭДУАРД МАЧУЛЬСКИЙ,
директор издательства «Юридическая литература»

КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...

Так уж сложилось в нашей стране (и причины тому хорошо известны), что право в его истинном смысле — как общечеловеческая культурная ценность — долгое время не признавалось ни в теории, ни на практике. Правовая наука была в загоне, на деле царило беззаконие, а потому юридическая книга еще сравнительно недавнего прошлого, в основном, воспевала «гуманизм» сталинского режима, вслед за ним — ложные нравственные ценности застойных лет «развитого социализма» (когда в действительности во многих сферах общества царило беззаконие) вместо того, чтобы служить средством защиты высших достояний личности — гражданских прав и свобод. Поэтому понятно, почему наше юридическое книгоиздание нескольких десятилетий не только не имело авторитета в обществе, но и вообще оказалось на задворках общественной мысли. В правовой литературе господствовали догматизм, оторванность от жизни, схематизм, боязнь новой идеи, новой мысли, не совпадающих с официальными «установками». Так что ни правовая наука, ни юридическая книга практически не влияли на подготовку политических решений и законодательных актов. Сама возможность смелых, критических публикаций казалась фантастической. Такие принципы породили и особого рода редактора, который фактически был лишь первым цензором во всей дальнейшей цепочке «контролеров» мыслей автора...

После апреля 1985 года, казалось бы, все изменилось: партия возрождает ленинское понимание роли права при социализме, люди начинают осознавать, что только с помощью права они приобретут подлинную свободу и в полной мере ощутят человеческое достоинство. Юридическая книга — главный источник правовых знаний — становится нужной каждому человеку, каждой семье. Ведь правовое государство не построить в условиях правовой безграмотности населения (да и чиновничьего аппарата тоже, который часто произвольно толкует и даже создает собственные «законы»). Однако на словах как будто все признают, что правовой книге нужна немедленная материальная помощь. Но не делается для этого почти ничего.

Юриздат в силу могучей инерции бюрократической махины по-прежнему остается «золушкой». Хотя очевидно, что в ходе перестройки лимиты материальных средств должны быть весьма подвижны и меняться в зависимости от общественной потребности на тот или иной вид литературы. Закономерен вопрос: кто этим будет заниматься? Ведь ресурсами бумаги распоряжается не только — даже не столько — Госкомиздат.

В условиях острейшего дефицита на нее зачастую оказываются в привилегированном положении отнюдь не те издательства, книги которых больше всего нужны обществу на данный момент. Чем иначе объяснить, что в ином из них

МАЧУЛЬСКИЙ Эдуард Иванович родился в 1940 г. Закончил юридический факультет МГУ. Кандидат юридических наук. Работал в Институте государства и права АН СССР, в редакции журнала «Проблемы мира и социализма», заместителем начальника главка Госкомиздата СССР. С 1984 г. директор издательства «Юридическая литература». В начале текущего года избран председателем созданного при Госкомиздате СССР бюро совета директоров издательств.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА МИТИНА

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА. МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

неожиданно может быть опубликован французский детективный роман тиражом три миллиона экземпляров, «съедающий» столько бумаги, сколько всему Юриздату выделяется на год! Допроситься бы хоть сто тонн бумаги на увеличение тиража «Юридического справочника для населения» (заказ на него пять миллионов экземпляров)... Да где там.

По моему глубокому убеждению, единым владельцем всей бумаги должен стать Госкомиздат СССР, с тем чтобы распределять ее пропорционально общественной важности на тот или иной период отдельных видов литературы.

Взять наше издательство. Правовое государство, к созданию которого мы идем, невозможно без поголовной юридической грамотности. Между тем, популярной юридической литературы хронически не хватает, даже кодексов. Получить в библиотеке КЗоТ — проблема. Тема эта постоянна в нашей почте. Но ведь не в каждом письме объяснишь читателю, что, например, в 1988 году, израсходовав три тысячи тонн бумаги, мы выпустили 14 миллионов экземпляров книг. Много ли это? Отнюдь. Потребности читателей — по самым оптимистическим подсчетам — были удовлетворены лишь на одну треть. Положение без преувеличения кризисное. Чтобы его преодолеть, мы должны ежегодно получать пять-шесть тысяч тонн бумаги.

Что же происходит в нынешнем году? Нам выделили менее 2,5 тысячи тонн. Это значит, что объем выпуска книг упадет уже до 12 миллионов экземпляров. Как же удовлетворять быстро растущий спрос на юридическую литературу? Какими средствами выполнять решение XIX партконференции о всеобщей доступности правовой литературы? Если прибавить к этому зависимость объема дохода (а он, если не повышать цены, зависит только от объема выпуска) и оплаты труда, нетрудно увидеть, в каких ненормальных экономических и финансовых условиях оказалось наше (да и не только наше) издательство.

Между тем, если говорить о демократизации самой редакционной работы, то здесь перемены более заметны. Мы без промедления воспользовались известными решениями Госкомиздата СССР о демократизации издательской деятельности — изменили положение и роль редактора. У нас теперь нет «надсмотрщиков» в лице заведующих редакциями. Созданные вместо редакций редакционно-творческие группы — это маленькие (из двух-трех человек) коллективы единомышленников. Руководитель каждой такой группы — вовсе не администратор. Он тоже редактор, человек творческий, но более опытный, компетентный.

Каждая редакционная группа получает теперь «сверху» только половину, а то и менее плана работ, подлежащих обязательному изданию. Остальные должна найти и подготовить к печати сама. Такие условия логически привели и к новым формам изложения — редакторы все больше осваивают творческий арсенал журналистов: интервью, диалог, беседу нескольких авторов. Сейчас мы делаем следующий шаг: половина редакторов будет работать самостоятельно, что должно привести к большему творческому началу в их деятельности, изменению характера и направления нашей литературы. Новые задачи встали перед юридической книгой: обобщать и помогать использовать мировой опыт демократического политического устройства, достижения политической и правовой культуры прошлого; воспитывать уважение к праву как величайшей гуманистической ценности; бороться с проявлениями правового нигилизма; учить людей осознавать себя юридически равными в отношениях с любыми государственными институтами, защищать свои законные права и интересы — вот на что направлены теперь наши устремления, наши книги.

Лишь несколько примеров. Недавно вышла в свет примечательная книга о правовом государстве — первая не только в нашем издательстве, но и вообще в стране. Ее буквально на одном дыхании — за месяц — написал видный юрист, член-корреспондент АН СССР С. С. Алексеев. Уже через три месяца она попала к читателям. Название книги — «Правовое государство — судьба социализма» — точно отражает стремление ученых доказать, что наше общество не достигнет высот цивилизации без разрушения административно-командной системы и замены произвола чиновников «правлением закона».

Вскоре появится еще несколько интересных книг: «Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации» (по материалам «круглого стола»), «Советское законодательство. Пути перестройки» (итоги дискуссии ученых-юристов), «Бюрократизм и его преодоление» М. М. Пискотина.

На мой взгляд, любопытен такой факт. К подготовке книги «Закон о печати и других средствах массовой информации» издательство привлекло ученых-юристов, которые участвовали в разработке проектов двух законов — о гласности и средствах массовой информации. Впервые в нашей истории через книгу по существу обнародуется инициативный авторский проект Закона о печати, что должно внести немалое оживление во всенародное обсуждение проекта аналогичного закона, готовящегося рядом ведомств.

Чтобы построить правовое государство, надо четко представлять, что же является его альтернативой. Как говорится, все познается в сравнении. Поэтому нам кажется очень важной новая серия «Возвращение к правде». Два первых выпуска под названием «Реабилитирован посмертно» — это воспоминания, очерки и другие материалы, посвященные беззакониям времен сталинского культа личности.

Из других публикаций назову только одну — сборник «Смертная казнь: за и против». Это принципиально новое для нас издание. Потому что на страницах книги идет настоящая борьба мнений противников и сторонников исключительной меры наказания. Среди авторов — знаменитые юристы и философы прошлого (Гернет, Розанов, Соловьев) и наши современники — ученые, писатели, публицисты. Прочитав эту книгу, читатель, разумеется, может занять ту или иную позицию, но это будет позиция, основанная на знании, а не эмоциях.

Нужно сказать, что, конечно, и другие новинки — кодексы, комментарии, практические пособия, учебники — помогут в той или иной мере повышению правовой культуры.

Однако сейчас идет интенсивное законотворчество, и все мы буквально не успеваем следить за появлением все новых и новых законов. Да и в действующие ежегодно вносится немало изменений. Как успеть издательству за этим потоком? Во всем мире давно придумано множество способов, позволяющих — в случае внесения в текст небольших изменений — перепечатывать не всю книгу, а только ее часть. Но наша полиграфия, кажется, даже не думает об этом. Существует кое-какая примитивная технология замены части листов с применением металлических скоб (как в скоросшивателях), но мощности производства этих устройств чрезвычайно малы, а сами изделия получаются дорогими, громоздкими и неудобными.

Правда, сегодня, когда бурно идет совершенствование всего законодательства, проблема разъемных книжных блоков временно отступила: приходится не столько переиздавать, сколько издавать заново. Но рано или поздно законодательство стабилизируется, изменения будут все более редкими. Однако боюсь, что и к тому времени проблема разъемных блоков не будет решена. И придется по-прежнему нерационально расходовать массу бумаги.

Где же выход? Я его вижу в создании крупного издательско-полиграфического книжно-журнального объединения «Юридическая литература». Только в таком случае сама «фирма» стала бы развивать столь необходимую для ее изданий полиграфию.

Демократизация, реконструкция и «законотворчество» в нашей отрасли еще не закончены. Кризис книгоиздания, о котором сейчас так много говорится, преодолевается пока медленно. Потому что был порожден не только экономическими трудностями. Нельзя сбрасывать со счетов, в частности, пренебрежительное, в течение долгих лет, отношение административно-командной системы к развитию культуры (а издательства — прежде всего культурные и только потом хозяйственные организации!). И сейчас насущнейшей необходимостью становится также подведение строгой и цельной правовой базы под издательскую деятельность. Вот почему состоявшийся в начале года всесоюзный актив издателей поддержал мое предложение о том, чтобы Госкомиздат СССР выступил с инициативой о создании Закона об издательской деятельности в СССР. Этот закон должен защитить интересы издательств как в области сотрудничества с партнерами, так и во взаимоотношениях друг с другом. Ведь не секрет, что, например, не урегулирована правом даже практика выпуска одним издательством книг, подготовленных и ранее выпущенных другим. В результате права и финансовые интересы чувствительно ущемляются.

Некоторые считают, что названные здесь проблемы можно решить в Законе о печати и других средствах массовой информации. Но, на мой взгляд, это нецелесообразно, если хорошо представлять, насколько сложна, многогранна и обширна та сфера, которую предстоит урегулировать Законом об издательской деятельности. Да и сам закон должен быть лишь частью особой отрасли права — издательского, как существует, например, право авторское.

Наше издательство готово привлечь к разработке проекта будущего закона видных юристов, ученых, практических работников, которые могли бы выступить с инициативным авторским проектом. В свою очередь Госкомиздат СССР после всестороннего внутриотраслевого обсуждения проекта мог бы внести его на рассмотрение в законодательные органы.

Думаю, что такой документ стал бы надежной охраной прав издателей, гарантией безусловного и точного выполнения Закона о предприятии в нашей отрасли.

Большие надежды в направлении демократизации издательского дела, защиты его интересов мы связываем сегодня с Советом директоров издательств — первым шагом к созданию, надеюсь, в недалеком будущем Ассоциации советских издателей. Конечно, ни Совет директоров, ни Ассоциация не заменят Госкомиздат СССР как орган идеологического руководства книгоизданием. Но остальные его функции, в том числе хозяйственно-организаторские, должны с развитием и углублением перестройки полностью перейти к самим предприятиям. Вот здесь-то и понадобятся добровольные объединения издателей для коллективного самостоятельного решения своих во многом схожих проблем, для выработки и проведения единой политики во взаимоотношениях с государственными и общественными организациями, книготорговыми, полиграфическими, бумажными и другими предприятиями.

А пока Совет директоров, участвуя в подготовке важнейших нормативных актов Госкомиздата, выступая с инициативой принятия решений по самым болевым точкам книгоиздательского дела, займется накоплением опыта для будущего своего превращения в самоуправляющуюся ассоциацию. Его деятельность, основанная на принципах гласности, самоуправления, коллегиальности, поможет усилить те положительные процессы демократизации, которые все больше дают о себе знать в нашей отрасли.

ПИСЬМО В НОМЕР

УЧЕБНИК — ВО ВРЕД!

Откуда есть пошло «раскрестьянивание» сельского хозяйства? Каким дурным волшебством чудовищная идея ликвидации «неперспективных» деревень претворилась в реальность? Авторов! — все настойчивее раздаются голоса со страниц прессы. «И, наконец, доплыли мы до неперспективных деревень. Я считаю, что люди, которые говорили, «протаскивали» идею неперспективности, преподносили ее правительству, должны понести государственную, административную ответственность. Это было преступление против крестьянства... Вдумаемся: из 140 тысяч нечерноземных сел предполагалось оставить лишь 29 тысяч!» — гневно восклицает Василий Белов («Возродить в крестьянстве крестьянское...». «Правда», 15 апреля 1988 г.).

Многие ссылаются теперь на то, что были ведь постановления правительственных органов, декретировавшие ликвидацию мелких населенных пунктов и переселение из них жителей. Да, были. Но кто-то вносил и обосновывал такие идеи. Кто-то доказывал экономическую целесообразность и социальную допустимость тотального уничтожения веками сложившегося уклада. Кто-то развивал эту теорию в научных трудах.

Участники дискуссии, развернувшейся на страницах печати несколько месяцев назад, пытаются: одни — взвалить всю вину на Т. И. Заславскую и возглавляемую ею некогда комиссию, другие — горячо защитить академика. Не принимая ни той, ни другой стороны, считаем, что дело не только, да и не столько, в Заславской.

Вряд ли стоит исследовать диалектику явления — чья вина первична: руководителя, выдавшего безответственную директиву, или тех щедринских типов, которые «имеют специальность усугублять вредоносностью сущность чужих выдумок». Но назвать имена ученых, подвизавшихся на ниве землеустроительства в качестве теоретиков «сселения», мы думаем, стоит. Тем более, что никто не пытался этих имен стыдливо скрыть, печатные труды и по сей день занимают свои места на библиотечных полках, так же, как их авторы — в солидных кабинетах. Перечитать все — вот это была работа: какое обширное наследие оставлено потомкам.

Во всем виноваты строители, это они разрабатывали проекты и схемы районной планировки! — такова еще одна распространенная точка зрения. Верно, Госстрой СССР внес немалый «вклад» в «раскрестьянивание». С поистине угрюм-бурчеевской непререкаемостью давал он руководящие указания: «К сселяемым на первую очередь населенным пунктам относятся поселения, которые, исходя из потребностей и возможностей или другим причинам,.. должны быть ликвидированы, а их жители переселены в перспективные населенные пункты», «...сселение следует производить на основе проектов районной планировки», «...намечается значительное уменьшение числа поселений за счет ликвидации бригадных поселков и хуторов», «...определяется конкретный срок переселения и меры, обеспечивающие это переселение». Это цитаты из всевозможных документов, руководств, справочников, которые в 60—80-е годы издал наш главный строитель. Что ж, нрав строителей, суровый и непримиримый к чаяниям населения, которому жить в городах и весях, вошел в пословицу. Стоит ли возлагать на Госстрой всю вину за планомерное проведение «реконструкции системы сельского расселения», как научно поименовали эту кампанию.

Но где же были люди, близкие к земле, те, кто призван думать не об одной лишь организации, технологии и стоимости проводимых мероприятий, но и о нравственных, социальных и бытовых аспектах проблемы? Кто подбрасывал мысли строителям, предлагал материалы для начальственных решений, ведущих к ликвидации сельского уклада, «вымыванию» людей из сел и деревень?

Предложим читателю вместе ознакомиться с научными трудами тогдашнего Главного управления землепользования и землеустройства Министерства сельского хозяйства СССР (начальник главка Е. И. Гайдамака) и подчиненных ему институтов — своеобразных теоретических центров сселения.

По непримиримости позиций, густоте выступлений и прицельности огня, безусловно, приоритет в этом деле принадлежит Целиноградскому сельскохозяйственному институту (кстати, вышеупомянутый Е. И. Гайдамака работал когда-то в этом крае). А в нем — трудам неутомимого теоретика, всесторонне обосновавшего необходимость ликвидации «неперспективных», профессора М. А. Гендельмана, в то время ректора СХИ. В книге «Планировка целинных сельскохозяйственных районов» («Колос», Москва — Целиноград, 1964) ученый со своими соавторами Е. Д. Тихомировым и М. Д. Спектором рекомендуют из имеющихся на 1.01.62 г. 5019 населенных пунктов оставить 2845 и сообщают далее: «Схемами районных планировок в Северо-Казахстанской области намечается законсервировать 178 населенных пунктов, то есть более трети всех населенных мест... В степной зоне надо развивать только населенные пункты размером более 200 человек» (с. 133).

«Заблуждение молодости»? Непохоже. Проходит десятилетие, а М. А. Ген-

дельман не думает расставаться с любимой идеей. За годы плодотворной научной деятельности оттачивается мысль, делаются более лаконичными формулировки, смелыми — суждения. На основании взвешенных расчетов резюмируется, что села следует разделять на четыре группы: «Села первой группы обязательно будут развиваться, третьей — при определенных условиях, второй — медленно отмирать, четвертой — перспектив развития не имеют и подлежат ликвидации». («Сельскохозяйственная районная планировка». Целиноград, 1973, стр. 139). Что значит «медленно отмирать», думаем, понятно и горожанину. Трудно забыть страшную картину упадка, разложения деревни, населенной одними лишь немощными старухами, описанную В. Астафьевым в «Печальном детективе».

Следующий труд профессора, судя по названию, претендует на роль основополагающего в своей области — «Научные и методологические основы землеустройства» (М.: «Колос», 1978). Здесь уже с удовлетворением сообщается о происходящем неуклонном сокращении числа сельских поселений. Намечаются дальнейшие перспективы. Так, в Нечерноземной зоне РСФСР «предусматривается уменьшить число сел в 5 раз... Значительное сокращение числа сельских поселений намечается на Украине, в Казахстане, Прибалтике и других районах страны» (с. 139—140).

Словом, учение создано. Издательство «Колос» загодя позаботилось об учениках. Им, то есть студентам сельскохозяйственных вузов, адресован учебник «Землеустроительное проектирование» (М., 1976). Тот же автор соответствующего раздела, та же непримиримость к малому селу. Здесь, учитывая аудиторию, авторы заботятся о большей наглядности. В качестве одного из примеров рассматривается колхоз «Заветы Ильича» Калужской области, в котором еще существует 16 населенных пунктов. Пока. Но по схеме районной планировки должно остаться всего три (с. 179). Кому, как не студентам, осуществлять эти дерзновенные замыслы — как бы надеются авторы — ученые Целиноградского СХИ и Московского института инженеров землеустройства (МИИЗ), еще одного теоретического центра «реконструкции».

Теперешнему маститому профессору, а некогда скромному преподавателю МИИЗа В. П. Троицкому и его коллегам принадлежит заметная роль в развитии теории ликвидации «неперспективных». Свои выводы он обобщил, систематизировал и даже распределил по столбцам и графам. Так, таблица на странице 16 книги «Сельская районная планировка и использование земель» (М.: Экономиздат, 1962) сулит такие перспективы: численность сел Холмогорского района Архангельской области сократится с 460 до 30, в Волосовском районе Ленинградской — с 230 до 22. Те же зловещие пропорции для других областей России.

Еще одно название, третье, десятое, энное... Как «самостоятельных» авторов, так и объединенных под эгидой научных центров. Например, Государственного научно-исследовательского института земельных ресурсов (бессменный директор — С. И. Носов), созданного в 1967 году «для научной разработки вопросов рационального использования земельных ресурсов страны, ...методов упорядочения землепользования и землеустройства», но все свои силы употребившего преимущественно на то, чтобы эти ресурсы были разбазарены. Научные труды, выпускаемые государственным институтом регулярно и во множестве, пронизаны каким-то необъяснимым восторгом разрушительства. Разнящиеся лишь «конкретными примерами» и долями скрупулезно высчитанных процентов, они были бы просто скучны для прочтения, если бы за каждой цифрой не стояли остывший очаг, брошенная пашня, изломанная судьба.

Итог всей этой бурной деятельности таков: за 26 лет, с 1961 по 1987 год, сельское население страны сократилось со 108,4 миллиона до 95,7 миллиона человек, число сел и деревень за это время уменьшилось на многие тысячи.

А маховик продолжает крутиться, вовлекая в свою орбиту все новые поселения: «Как сообщили в Госагропроме СССР, за последние четыре года в стране исчезло 5 тысяч деревень. Сколько за этой цифрой трагедий, порухи!» («Сельская жизнь», 19.2.89). Мы это восклицание хотим перевести в вопрос: будет ли за содеянное кто-то отвечать? «Сселители» за годы неуемной деятельности получали научные звания и степени, чины, ордена. Может быть, пора назвать неперспективными их? Ну хотя бы Е. И. Гайдамаку, вплоть до ликвидации Госагропрома СССР занимавшего в нем пост начальника подотдела землепользования и землеустройства, или профессора-консультанта Целиноградского СХИ М. А. Гендельмана?

Кто-то скажет, что ретивые ученые были лишь «безропотными детьми своей эпохи», исполнителями чужой воли. Да, массовая атрофия совести охватывала не одних лишь землеустроителей, и охотники «усугублять вредоносностью сущность чужих выдумок» находились в самых разных сферах жизни общества. Но в ошибках молодости раскаивается кто угодно, только не теоретики «сселительства». Они и по сей день не оставляют честолюбивых планов, находя поддержку у начальства и общий язык с руководством Всесоюзного объединения Агропромиздат. Не когда-нибудь, а в 1986 году здесь вышел учебник «Землеустроительное проектирование». Не кто иной, как Гендельман, становится его редактором и составителем. На должность главного рецензента издательство предусмотрительно приглашает Гайдамаку. Кто, кроме него, даст «добро» на такую вот рекомендацию: «...все населенные пункты можно разделять на четыре группы... Села первой группы обязательно будут развиваться, второй и третьей — при определенных условиях, четвертой — перспектив развития не имеют...». Знакомо, не правда ли? Учебник этот на сегодня — основное пособие для студентов-землеустроителей. Другого пока не издали. Но готовят. Агропромиздат запланировал новый учебник. Кто же авторы? Троицкий и... Гендельман! Жив курилка! Вернее, будет жить. Неужели так же долго и благополучно?!

Яков ГОРДИНСКИЙ,
агроном,
Валентин ПРОШЛЯКОВ,
кандидат экономических наук
Москва

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 августа открывается подписка на книжное обозрение «СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ», которое публикует рецензии, статьи и обзоры иностранных новинок поэзии, прозы, драматургии, критики и публицистики, информацию о новинках книжного рынка, литературно-издательскую хронику, а также подготавливает специальные тематические номера (детективная и приключенческая литература, фантастика, документальная проза, литература и кинематограф или — как № 4 за 1989 год — «белые пятна» в советском зарубежном литературоведении).

Год издания — 29-й. Выходит раз в два месяца
Цена годовой подписки 3 руб. 60 коп.
Индекс 70931

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ОБРЕТЕНИЕ РОДСТВА

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич родился в Петрозаводске в 1946 году. Закончил Ленинградскую лесотехническую академию, Литературный институт им. А. М. Горького. Работал инженером-химиком. Затем был корреспондентом в газете «Литературная Россия», заведовал отделом критики в журналах «Октябрь», «Современная драматургия», литературным отделом МХАТ им. А. М. Горького; сейчас помощник худ. руководителя этого театра по литературной части. С 1972 года печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Звезда», «Вопросы литературы», в газетах «Правда», «Литературная газета», «Советская Россия»...

Автор книг «Очерки литературных нравов» (Минск: Знание, 1988), «Позиция» (М.: Молодая гвардия, 1989). Член СП СССР. Живет в Москве.

Все более читатель задается вопросом: что происходит в нашей культуре? Откуда свирепость в литературной полемике? Что разъединяет мастеров искусства? Думаю, свирепость — от общего бескультурья. От заниженных нравственных норм. От ощущения безнаказанности.

Конечно, от бескультурья быстро не избавишься. Заниженные нравственные мерки останутся у их обладателей до конца жизни. Одна надежда — на Закон о печати, который четко укажет и права, и ответственность за сказанное. Таким образом, мы, по крайней мере, избавимся от политических доносов и клеветнических обвинений. Что до самой литературной ситуации, то она и в дальнейшем будет развиваться в сторону, может быть, еще большего противостояния.

Не вижу в этом ничего дурного. Литература в России во все века развивалась в противостоянии. Никон и Аввакум, славянофилы и западники, Маяковский и Есенин... Гибельной была нивелировка литературы в тридцатых, гибельно мнимое единодушие в семидесятых. Надеюсь, что, избавившись от нынешнего противоестественного накала страстей, который явно на руку притаившимся чиновникам, уже готовящимся «спасти» культуру от «гражданской войны» и привести ее к новому единству посредственностей, мы всерьез разберемся в основных эстетических, этических, мировоззренческих принципах каждого из литературных направлений.

Поймем силу и необходимость каждого из этих направлений. Неизбежность их появления и неизбежность размежевания.

Во-первых, по-прежнему послушные чиновникам, мы явно пошли за ними в их безусловном дальтонизме, не различая цветов; они предложили, а мы приняли деление на черно-белое изображение картины нашей общественной жизни. Этакое баррикадное мышление, наши и не наши. По одну сторону баррикады Валентин Распутин и Александр Проханов, Анатолий Софронов и Александр Солженицын. По другую — Виктор Конецкий и Василий Аксенов, Роберт Рождественский и Фазиль Искандер.

Позвольте, но это новая ложь. Герои «Прощания с Матерой» ближе героям «Сандро из Чегема». Виктор Конецкий быстрее найдет общий язык с Александром Солженицыным, и даже с Валентином Пикулем, чем с Аксеновым или Рождественским. Я сейчас не выставляю оценок писателям, не говорю о своих читательских симпатиях, не говорю, кто хуже, а кто лучше.

Говорю о действительной многоцветности современной литературы, которую упорно загоняют на баррикаду. При более

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

свободном развитии литературы, что, я надеюсь, вскорости и произойдет, мы получим десятки литературных направлений, достойно представленных в десятках разнонаправленных журналов. Мы увидим, что между концепцией «Нашего современника» и концепцией «Молодой гвардии» есть заметное различие. Скажем, я не представляю себе публикацию статьи Малахова в «Нашем современнике» и публикацию статьи Солоухина «Почему я не подписался под тем письмом» — в «Молодой гвардии». Хорошо ли это? По-моему, даже очень хорошо. У каждого журнала, рано или поздно, будет свое лицо, появится свой круг авторов, своя сверхидея.

Пусть у «Огонька» будет своя аудитория, представляющая интересы, как откровенно заявил В. Коротич, «этого самого населения», которое «требует колбасы, одежды, повышения зарплаты». Ехидно замечает В. Коротич, что «народ у нас великий, свободолюбивый, самоотверженный и так далее. Но у него есть один недостаток — его трудно увидеть». Что же, все справедливо, «Огоньку» не под силу разглядеть народ, легче работать на население, которое «все время болтается под ногами». Население становится народом, когда за ним — большая культура, свои национальные традиции, свой национальный идеал. Как пишет о русском народе Д. С. Лихачев: «Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу». Или совсем недавно заметил Игорь Виноградов: «Народ как духовная общность формируется только при существовании общенародного дела — тогда и появляется тот народный дух». Конечно, при всем желании очередь за колбасой общенародным делом не назовешь, так что оставим популярному журналу «гениев колбасы», пусть занимаются работой среди населения.

Поговорим о серьезной литературе, которая не подчиняется недавно открытому закону Анатолия Рыбакова, согласно которому «в литературе это процесс естественный: сегодня популярны одни книги, завтра — другие, послезавтра — третьи». Готов согласиться с популярным беллетристом, перенеся этот закон на явления массовой культуры. Даже удивлен его смелостью, признанию, что его книгам суждено жить столь короткое время. Сегодня — «Дети Арбата», а завтра, согласно утверждению А. Рыбакова — «другие книги».

Но не этот же временной водораздел существует между книгами В. Распутина и А. Вознесенского, В. Шаламова и В. Гроссмана, М. Шолохова и В. Набокова?

Попробуем пока лишь тезисно определить признаки различия.

Может быть, основное различие в идеологии? Одни придерживаются, скажем, социалистической идеи развития общества, другие — приверженцы капитализма?

Не подходит. К идее социализма скептически относились и относятся как В. Набоков, так и А. Солженицын, как И. Бродский, так и И. Бунин.

Когда в Копенгаген на первую встречу советских писателей и писателей-диссидентов выехали из Москвы Г. Бакланов, М. Шатров, Н. Иванова, А. Герман и другие, а из остальных стран мира — В. Аксенов, Е. Эткинд, А. Гладилин, А. Синявский, Л. Копелев, М. Розанова и другие — на встрече произошло дружное объединение, как выразилась редактор журнала «Синтаксис» М. Розанова, всех сил против «антиперестроечных сил, как в СССР, так и среди эмиграции». Поэтому, с одной стороны, ругали В. Максимова и окружение журнала «Континент», журнал «Вече» и особенно антиперестроечника А. Солженицына, с другой стороны, как наиболее четко заявил В. Аксенов: «И что естественно, проза деревенщиков органически вписалась в структуру застоя». Это был — в литературном плане — круглый стол эстетических единомышленников. Что мешает принимать Г. Бакланову и В. Аксенову, М. Шатрову и А. Синявскому, занимающим разные политические позиции, прозу деревенщиков В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, лагерную прозу А. Солженицына и В. Максимова?

Чем антисоветизм одного нобелевского лауреата И. Бродского приемлемее для журнала «Огонек», нежели антисоветизм другого нобелевского лауреата А. Солженицына?

Что думает драматург ленинской темы М. Шатров по поводу антиленинских высказываний И. Бродского и В. Аксенова?

Как видим, политические соображения при определении признаков противостояния литературных направлений ни при чем.

Может быть, дело в социальной тематике? Одни пишут о городе, другие — о деревне, третьи — о войне, четвертые — о сталинских репрессиях.

Поверхностный читатель, даже литературовед, этим объяснением и удовлетворяется.

Но почему, читая внимательно, начинаешь разделять для себя и в антисталинской тематике, с одной стороны — прозу А. Солженицына и В. Шаламова, с другой стороны — того же А. Рыбакова или Д. Гранина. Почему повесть о деревне Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» так и не вошла в хрестоматийный ряд произведений деревенщиков — «Привычное дело», «Прощание с Матерой», «Царь-рыба»? Почему «окопная правда» В. Быкова, К. Воробьева, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Некрасова отделена незримой чертой от популярных произведений о войне А. Чаковского, К. Симонова?..

И все-таки существуют разные взгляды на войну у автора «Василия Теркина» и у романтических максималистов «земшарного» мышления П. Когана, М. Кульчицкого и других. В баррикадной свалке ожесточенных критиков читателю нелегко разобраться, о чем идет речь, кого и в чем «обвиняют».

Успокойся, читатель, никого не обвиняют, никого не сбрасывают с корабля современности. Определяют направленность самого литературного явления. К сожалению, защитники молодых довоенных поэтов-ифлийцев применили дюжину запрещенных приемов. Среди них первый, в расчете на обывателя, не очень-то разбирающегося в поэзии — упреки в том, как можно критиковать погибших на войне, они свои жизни отдали ради того же Куняева... Не обращается ни малейшего внимания на то, что у него разбирается не их геройское поведение на войне, а их поэзия. И даже не критикуется, а анализируется как явление.

Меня удивляет то, как смешиваются все критерии. Со злобными окриками накинулись критики на статью Малахова из «Молодой гвардии», где пишется о всеобщем энтузиазме тридцатых годов. Как можно говорить об энтузиазме, когда в то время гибли в тюрьмах миллионы людей, — гневались «названные сестры» Ивановы. Но что же такой антисталинский бастион, как журнал «Знамя», кинулся в поддержку стихов, где этот энтузиазм тридцатых годов, пожалуй, наиболее пафосен? «Мальчики» из «Знамени», если вы верите в то, что печатаете, что защищаете, то вы и сегодня «плачете ночью о времени большевиков», руководивших страною в конце тридцатых годов. В тридцать девятом году поэты славили грядущую войну и людей «чекистской породы», восхваляли «матросские продотряды», которые «судили корнетов револьверным салютом», мечтали о подчинении всего мира Кремлю, о том времени, когда «только советская нация будет и только советской расы люди». Куда там всем нинам андреевым, шеховцовым и малаховым до такого апофеоза образца тридцать девятого года.

Что заставляет наших прогрессивных критиков Н. Анастасьева и Л. Лазарева так яростно защищать «романтиков разнапоследних атак», еще до войны мечтающих о советских танках «за Таллинном»? Неужели и сегодня Николай Анастасьев мечтает о мировой революции, об исчезновении с земли всех народов и замене их «людьми советской расы», когда приветствует «земшарное мышление»? В стихах молодых ифлийцев очень конкретно утверждалась советизация всей земли. По логике социальной тематики стихи «земшарцев» должен был защищать журнал «Молодая гвардия», а «Знамя» не менее яростно должно было развенчивать это «сталинское наследие». Значит, дело не в тематике стихов П. Когана, М. Кульчицкого, А. Копштейна, В. Багрицкого, Б. Смоленского. В чем же?

Может быть, настроенный ожесточенными баталиями вокруг национального вопроса, догадливый читатель скажет — дело в национальности поэтов.

Пусть среди «земшарцев» есть и русские, и украинцы, но ведущие выразители подобного поэтического взгляда на мир — евреи. И вся полемика идет между представителями русской и еврейской национальных культур?

Не вижу ничего плохого в том, если, откинув непарламентские выражения и экстремистские проявления чувств, мы снимем табу с откровенного разговора как о русской национальной стихии, так и о еврейской, проведем открытую дискуссию на тему «Евреи и русские в культуре XX века». Естественно, не избежать разговора и о крови, или, говоря современным языком, о генетической памяти народа. Не понимаю, почему, вовсю пропагандируя генетиков, мы и сегодня умудряемся замалчивать их точные открытия? Как формируется народ, нация? Съехались все в одно место и образовали быстренько новую нацию, так что ли?

Как может Игорь Виноградов мечтать о превращении журнала «Новый мир» в «знамя русской национальной культуры» и при этом считать себя «презирающим всякий признак крови».

Объясните, как соединить «национальную культуру» — независимо, русскую, грузинскую, эстонскую, еврейскую, с отсутствием конкретных признаков данной национальности? Уважаемый Игорь Иванович, кто создает национальную культуру? Представители других наций? Грузинскую культуру создали эстонцы, японскую культуру — французы и так далее? Есть неизбежное взаимопроникновение, взаимообогащение, практически любой народ в XX веке — генетически открыт, и, может быть, наиболее открыт — русский народ. Но, даже заимствуя, любой народ творчески перерабатывает чужую культуру в главном. Не представляю, как можно превратить журнал в «знамя русской национальной культуры» без участия в нем прежде всего русских национальных писателей. Очевидно, Игорь Виноградов спутал, и речь идет о журнале «Дружба народов», который обязан быть всепринимающим, или об «Иностранной литературе» как о знамени мировой культуры, для которого мировые ценности приоритетны по отношению к ценностям национальным? Мне бы хотелось знать, как Игорь Виноградов относится к протесту грузинской интеллигенции против пошловатого использования в разрекламированном нашей центральной прессой американском боевике с участием Шварценнегера святого для каждого грузина имени Руставели. Лично я к этому протесту отношусь с большим уважением! Культура даже самого маленького народа несет в себе неповторимое видение мира, отличающееся от других. И, конечно, взгляд еврейских, эстонских, якутских, грузинских писателей на мир, на другие народы отличается от взглядов русских писателей, если эти писатели несут в своих произведениях чувство своего народа, чувство своей национальной культуры. И это замечательно. Меня восхищает еврейский национальный мир И. Бабеля и М. Шагала, грузинский национальный мир Ладо Гудиашвили и М. Джавахишвили, якутский национальный мир Алампа Софронова и Алексея Кулаковского. Понимаю, что возможны споры между иногда противоположно рассматривающими то или иное явление национальными культурами. Скажем, взгляд на Чингисхана или на Суворова, взгляд на мировые религии и так далее.

Но в данном примере — в противостоянии сторонников и противников «земшарной поэзии» конца тридцатых — начала сороковых годов — не вижу я спора национальных культур.

Мне кажется, два основных направления в нашей отечественной культуре можно обозначить коротко: почвенничество и космополитизм.

Как всегда и бывает, среди этих направлений есть свои взаимовлияния, взаимопроникновения, есть разные оттенки того или другого, есть иррациональный художественный синтез, казалось бы, логически несовместимых понятий.

Каждое из направлений имеет свои вершины, свои ориентиры в классике. На мой взгляд, эти слова, как ключи, открывают двери к самым запутанным явлениям нашей культурной жизни. В том числе и к объяснению, почему не «Молодая гвардия», а «Знамя» защищает поэзию (а не судьбы конкретных людей, незачем смешивать), прославляющую сталинскую политику всемирной советизации. Молодые поэты были искренни и талантливы, и поэтому им веришь больше, чем изолгавшимся приспособленцам, меняющимся в русле последних директив.

Почвенничество и космополитизм. Слова эти необходимо очистить от всех политических инсинуаций, от налипшей за десятилетия грязи.

Почва есть у любой культуры, которая опирается на народность, на традиции, на культурную память. С тревогой пишет С. Аверинцев: «Сейчас существует реальная возможность полной утраты культурной памяти, потому что это предоставлено выбору человека, акту свободной воли. Пока человек «рождался вовнутрь», это от него не зависело... Сейчас мы находимся в таком положении, что даже то, что прежде было беспочвенностью, для нас уже почва... Можно было сказать, что разночинная культура — как раз непочвенная культура, в отличие прежде всего от крестьянской, дворянской, также купеческой. Ан нет, есть какая-то почва, я это чувствую. Но и это все тоже исчезает».

Эти «акты свободной воли» пропагандируются повсеместно, как нечто крайне прогрессивное, противопоставляемое «застойному», традиционному, мещанскому. Жить «вовнутрь» той или иной культуры, по мнению наших прогрессивных публицистов, — значит вести «полуживотное, ограниченное существование», как пишет критик Н. Агишева, разбирая кинофильм «Маленькая Вера». Меня в этом распропагандированном кинофильме поразил не столько «наш советский половой акт», сколько положительный герой, студент-медик.

Семья живет своим, не очень одухотворенным, но традиционным укладом. И отец, и мать всю жизнь работают, по-своему стремятся быть — не хуже других. Так живут сегодня многие и многие рабочие семьи. Они мечтают и о счастье дочери. Ждут в гости жениха...

Приходит в каких-то цветных трусах на первую встречу с родителями любимой. Больше мы его в этих трусах не видим. С друзьями он общается во вполне цивильном виде. Значит, это не то что — чужой уклад, пусть и самый экзотичный. Это не герой «Ассы», для которого серьга — принцип жизни. Это грязная провокация — иначе не назовешь. Рассчитанный эпатаж. После подобной выходки, извините, не верю я его любовь к Вере. Ради любви к ближнему атеисты не стесняются пригласить священника на отпевание, согласно воле умершего. Не стесняются идти под венец с любимой... Дальше — больше. Если не нравится тебе уклад жизни, так не живи, ищи выход. Вот и получается, что, с одной стороны, родители Веры, испытывая чувство стыда от того, что их дочь живет еще до свадьбы у них же дома с женихом, но — смиряют себя, терпят абсолютно для них чужой стиль жизни. С другой стороны, этот полуобразованный эгоист, ворвавшись в чужой дом, в чужую жизнь, тотально разрушает все. Так кто же из них — плюралист? Все-таки — родители Веры, которые об этом слове и не слыхали.

Повторяю, я не идеализирую их образ жизни, но это — их образ жизни. Так же можно врываться в жизнь чужой религиозной секты, в жизнь чужого народа, ломая и круша все, что не нравится.

Может быть, здесь столкнулись два уклада? Нет, за студентом ни интеллигентности, ни аристократичности, ни высокой духовности не просматривается. Точно так же оказался бы он разрушителем, попади в какую-нибудь старомосковскую дворянскую семью — со своим прочным укладом, или в традиционную еврейскую семью со своими обрядами, нормами. Не отец или мать Веры, а этот, по мнению критиков, «положительный герой» — самое страшное явление наших дней, вот откуда будет произрастать новый сталинизм, истребляющий все, что мешает его «акту свободной воли». Отцу бы трезвому — спустить героя с лестницы, пусть выражает волю среди себе подобных. Но — долготерпелив русский человек. А кончается терпение — начинается бунт, в данном случае — поножовщина. И опять в героях наш герой — он становится жертвой «полуживотного существования» народа. Примерно так же ходят в героях многие жертвы тридцать седьмого года. Осуждаю их палачей. Осуждаю отца Веры за поножовщину. Но мне интересно, допустил бы англичанин с его укладом «мой дом — моя крепость», чтобы его так долго унижали в его же собственном доме? И что делать Вере?

Думаю, реакция западной кинокритики на этот фильм будет совсем иной, чем предполагают наши «перестройщики». В нормальной западноевропейской семье даже после брака не очень-то приветствуют желание молодых жить в семье родителей. А так просто поселять, заведомо нарушая сложившийся десятилетиями семейный уклад, никто не позволит. Если дочь решила проверить свой союз с кем-то, пусть поживет отдельно, пусть узнают друг друга. Но пускать к себе в дом? Полиция изначально будет на стороне хозяина — оборона своего жилища и уклада этого жилища. Нарушено святое право хозяина.

По мнению наших кинокритиков, Вера поступила нехорошо, не стала доносить на родного отца, выгородила его. К чему призываете, товарищи либералы — чтобы дочь упекла родного отца в тюрьму? Так ведь было уже подобное. Упекали — и отцов, и матерей, и братьев. Может, хватит?! К чему ведет эта новая тенденция — обвинять во всем поколение отцов, эта перестроечная хунвейбиновщина, заполонившая экран, страницы журналов и газет?

Я писал уже о том, что высоко ценю кинофильм «Покаяние», но обряд выбрасывания трупа родного отца на свалку — омерзителен. Само по себе разрывание старых могил — это осквернение не столько тех, кого выбрасывают, сколько религиозных и национальных понятий. Мы только-только отошли от вскрытия мощей со святыми угодниками, как радуемся новому осквернению. Сначала растопчем Сергия Радонежского, затем выкинем из могилы Леонида Брежнева? Кого дальше? Думаю, даже переносы могил наших великих соотечественников так легко принимаются нами из-за продолжающейся атмосферы воинствую-

щего атеизма. И еще из-за любви к стандартизации.

Собрали по всей Карелии десять церквей, перевезли в Кижи, а остальное — гори на здоровье. Собрать на одно кладбище всех именитых граждан всех веков — дружно ходите и поклоняйтесь сразу всем.

А к Федору Абрамову на поклонение надо в Пинежье ехать. Вот бы и к Велимиру Хлебникову на могилу туда, где он был похоронен на новгородской земле. Нет, перенесли прах на Новодевичье кладбище. Святые места — Пятигорск и Тарханы, Михайловское и Ясная Поляна, Вешенская и Пинежье. Ох, как не хватает нам сегодня святых мест, как испоганили мы сами свою жизнь.

Нам ли трогать даже чуждые нам могилы? Да еще руками детей. Вот и получается — один герой выбрасывает труп родного отца на свалку, на помойку. От другой требуют показаний на родного отца. Что это — мораль перестройки? Или осознанное стремление к полной ликвидации всяческих традиций?

Есть у одного из самых талантливых поэтов наших дней Владимира Корнилова стихотворение «Русский рай»:

И каким был край чудесным
И как много растерял.
Сразу понимаешь, если
Ездишь по монастырям...
И величие России,
И разор ее земли
Все соборы отразили,
Все обители несли...
Будто каменные были
— Церкви и монастыри —
Страстотерпцы возводили,
А хранили дикари.

Вот и получается, что большим дикарем для родной земли является не отец маленькой Веры, вкалывающий весь день за рулем и стремящийся дома найти привычный для себя, столь презираемый «мещанский уклад», а типичный представитель «образованщины», философ-аморалист, не уважающий и не любящий ближних своих, циничный разрушитель и провокатор — неудавшийся жених Веры.

Почвенничество и космополитизм. Одни идут от взрастившей их земли, ничего не теряя, добираясь до всечеловечной высоты нравственной философии. Другие — от абстрактных моделей всемирности мышления, от не ведающего границ пространства мировой культуры, пространства «любви к дальнему», как четко определил Юрий Давыдов, спускаются до конкретного человека, уже не признавая его приоритетных национальных, религиозных, социальных ценностей. Космический человек — это «голый человек», которого оторвали от привычных связей, от любой почвенности.

Говоря о космополитическом мышлении, мы должны снять с понятия «космополит» оттенок сталинской кампании конца сороковых годов. Спокойно пишут о космополитическом видении мира во всей западной прессе, спокойно признаются в космополитизме многие западные художники. И уж тем более, не связано это понятие с той или иной национальностью.

Скажем, для меня художник Марк Шагал — величайший почвенник, а его современник Казимир Малевич — представитель космополитического интерстиля в живописи. Где бы ни работал Марк Шагал, как бы далеко ни был он от родных местечек Витебщины, он не отрывался от своей почвы. «Я только хочу сказать, что всегда чувствовал себя художником из России. Когда в 1922 году я оказался за рубежом, то почувствовал себя деревом с вырванными корнями, висящими в воздухе... Я испытывал тяжкие мучения. Я выжил и даже — если сравнить меня с деревом — не переставал расти только потому, что никогда не порывал духовной связи с Родиной». Витебск известен всему миру по работам Шагала. Уже в старости, будучи в России, он не решился поехать на родную Витебщину. «Я испытывал страх не увидеть своего города таким, каким храню его в своем сердце все время», — писал мастер. Анна Ахматова обещала Царскому Селу:

Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.

Старый художник был прав в своих опасениях об изменении лика родного города. Победила та самая безликая космополитическая архитектура, которую проповедовал его давний оппонент Казимир Малевич, призывающий в печати каждые пятьдесят лет уничтожать все города и поселки и строить новые. Так сказать — мир одноразового пользования. Многие и не догадываются, что из Витебска Марка Шагала изгнали не «комиссары в пыльных шлемах», а им же в свое время приглашенные в город Казимир Малевич и Эль Лисицкий с компанией непримиримых разрушителей: «Я был вынужден уехать из Витебска после того, как приглашенные мною... Казимир Малевич и его единомышленники вступили со мной в резкую и нетерпимую полемику». Конечно, древняя ветхозаветная мистика Шагала, его старички в пейсах, окруженные домочадцами и летающими по небу влюбленными, никак не совмещались с черными квадратами и архитектонами нетерпимых ко всему природному супрематистов. Посмотрите в свои окна — вы увидите победу Малевича. Способен ли новый Арбат сохранить старомосковскую атмосферу?

Старая Витебщина сохранилась на полотнах Шагала так же, как старый Арбат в незатейливых песенках Б. Окуджавы.

Почти одновременно уехали в Париж Марк Шагал и Натан Альтман, но что осталось российского в творчестве Альтмана того периода, подчинившегося жестким рыночным законам «парижской школы»? Интерстиль — безнационален, в парижской школе одинаково сосуществовали японец и венгр, еврей и болгарин, русский и немец. Были художественные достижения, был высокий профессионализм, но не было своей почвы. И потому авангардисты всех стран схожи так же, как дома-новостройки в Москве. Приоритет всемирного мышления приводит к стандарту даже искусство.

Почвенное искусство Николая Рубцова и Гранта Матевосяна, Марка Шагала и Фазиля Искандера дает нам каждый раз не только личностное видение художника, но и видение его народа, видение родной ему почвы. У Марка Шагала есть проникновенные стихотворные строчки о своей родной земле.

Во мне звенит
тот город дальний,
церквушки белые —
белы как мел они —
церквушки дальние
и синагоги...
Во мне грустят
кривые улочки,
надгробья серые — на склоне,
где лежат
в горе благочестивые евреи.

Нет, никак не национальная проблема в основе противостояния двух основных линий развития искусства. И даже группировки, сколоченные на скорую руку «в лихорадке буден», в скоротечных общественных баталиях, не дают истинной картины развития. Очень уж они зависят от личных обид, претензий, родственных связей, дружеских отношений и тому подобное. На это обратил внимание Юрий Давыдов, написавший в «Литературной газете» о художниках, идущих в своем творчестве нравственной философии. «Последнюю четверть века это устремление, обозначенное образом одного из первых воистину «ближних» в нашей литературе — Ивана Денисовича, наиболее последовательно и бескомпромиссно осуществляли Астафьев и Айтматов, Залыгин и Распутин, Белов и Искандер. Причем делали это независимо от борьбы различных литературно-политических групп, к которым их сегодня причисляют. И попытка затемнить эту суть дела, переводя разговор в плоскость окололитературных страстей — это, на мой взгляд, больше, чем простая неблагодарность. Это тревожный симптом тоски по азартным играм в «любовь к дальнему».

Мне кажется, что «любовь к ближнему» и «любовь к дальнему» в трактовке Юрия Давыдова в чем-то схожи с моим разделением — почвенничество и космополитизм. Я бы добавил к этому верному давыдовскому списку Василя Быкова и Владимира Корнилова, арбатскую поэзию Б. Окуджавы и жесткую лагерную прозу Варлама Шаламова, Владимира Тендрякова и Федора Абрамова, наиболее искренние, прочувствованные, пережитые стихи и песни Владимира Высоцкого.

Время доказывает, что даже самым яростным поклонникам творчества Высоцкого необходим строгий, высокопрофессиональный отбор в его литературном наследии, если мы не хотим, чтобы всеобщее восхищение сменилось сначала всеобщей апатией, а затем и разочарованием. Очень много неровного, сырого, скороспелого и, не побоюсь сказать — конъюнктурного — в смысле следования времени и моде.

Послушаем, что пишут о нем ценящие его творчество деятели культуры.

Юрий Трифонов: «По своему человеческому свойству и в творчестве своем он был очень русским человеком. Он выражал нечто такое, чему в русском языке я даже не могу подобрать нужного слова. Немцы называют это менталитет, что приблизительно переводится, как склад ума, образ мышления, характер души. Так вот, менталитет русского народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень далеко... И все это было спаяно вместе, и все это была картина жизни современной ему России...»

Евгений Евтушенко: «Думаю, что о Высоцком будет много написано. Хочу только сказать, что существует понятие «русская национальная культура», существует понятие «мировая культура». Я убежден, что частью мировой культуры становится только то, что имеет свои глубокие национальные корни. Мы с вами с детства не любили бы книги Марка Твена, если бы они не были чисто американскими книгами. Мы бы никогда не любили так Сервантеса, если бы он не был настоящим испанцем, и никогда бы люди всего мира не преклонялись перед Толстым, Достоевским, если бы они не были настоящими русскими. У каждого есть, конечно, свой удельный вес в истории культуры, отечественной и мировой, но я абсолютно убежден, что имя Высоцкого, все то, что он здесь, на нашей земле, сделал, является неотъемлемой частью нашей национальной культуры, и именно поэтому он уже становится частью мировой культуры...»

Так вот, этот самый менталитет, это почвенничество Высоцкого — на мой взгляд, трансформировано и во многом занижено — стремлением к беспочвенности нашей эпохи, все более распространяющейся беспочвенной пустоте значительной части нашего народа. К Высоцкому, как ни к кому другому, относятся слова С. Аверинцева — «даже то, что прежде было беспочвенностью, для нас уже почва».

Почва Владимира Высоцкого — это тот самый уклад множества семей, схожих с родителями маленькой Веры. Честь и хвала Высоцкому, что он, в отличие от создателей кинофильма, не презирает своих «полуживотных» героев, а живет в искусстве одной жизнью вместе с ними. Он — почвенник барака, его почва — «лимита́» семидесятых годов, обитатели «хрущоб», архаровцы поселков городского типа. Хоть и слабые — в отличие от крестьянских или дворянских — но живые корни живого народа. Подобная «новая почвенность» характерна для прозы Венедикта Ерофеева, Евгения Попова, пьес Михаила Ворфоломеева, поэзии Анатолия Передреева и Олега Чухонцева.

И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Конечно, между «новой почвенностью» советских мутантов и почвой стержневых слоев народа есть свои противоречия, свои противостояния. В этой статье — не о них речь. За каждой почвой — своя истина, своя этика, но в любом случае это «любовь к ближнему», а уже через него — и всечеловеческая любовь. Там, где кончается «почва» у стержневой словесности и начинает складываться «новая почвенность» архаровского типа — возникает объяснимый пессимизм, эсхатологическое чувство близкого конца — у одних; осторожный анализ зарождающейся новой системы понятий, зарождающихся новых традиций, пусть самых нелепых, мещанских, забытовленных — у других.

Прорывается у Михаила Дудина:

России нет, Россия вышла
И не звонит в колокола.
О ней ни слуху и ни духу,
Печаль никто не сторожит.
Россия глушит бормотуху
И кверху задницей лежит.
И мы уходим с ней навеки,
Не уяснив свою вину.
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину.

Как понимает читатель, дело не в узбеках, обида не к ним относится. Просто в самый конец застоя была проведена показательная кампания по спасению Нечерноземья. С этой целью наши «интернационалисты» в Средней Азии вербовали рабочую силу для совхозов Новгородчины и Псковщины. К счастью, скоро эта затея среднеазиатского филиала на нечерноземных землях провалилась, не встретив энтузиазма ни в Средней Азии, ни в русских деревнях.

Этот мотив «И мы уходим с ней навеки» заметен в «Прощании с Матерой» В. Распутина, «Последнем поклоне» В. Астафьева, «Последнем колдуне» В. Личутина. Пожалуй, первым обратил внимание на «новую почвенность» советских мутантов Василий Шукшин. Выпустил книгу за рубежом «Зияющие высоты» А. Зиновьев. Пошла по рукам исповедь русского алкоголика «Москва-Петушки» Вениамина Ерофеева, лишь недавно опубликованная журналом «Трезвость и культура». Но что может «новая почвенность» противопоставить все возрастающему давлению космополитического направления в культуре общества? «Новая почвенность» эмпирична, не имеет своей нравственной философии, потому ее охотно стараются подчинить, ввести в свои абстрактные структуры, размыть еще больше. Если в различных газетных заявлениях противопоставляют имена Василя Быкова и Василия Белова, Фазиля Искандера и Валентина Распутина, это, на мой взгляд, к литературе отношения не имеет. Всегда будут разные личностные, тематические, даже политические разногласия между художниками, близкими корневой, почвенной основой своей. Дело другое, если, скажем, в последних произведениях Фазиля Искандера начинает исчезать всегда присущее писателю чувство родного народа. «Народ разнародился, совесть рассовестилась?» — задается вопросом писатель. Так надо ли еще больше углублять этот процесс «разнародивания»? Может ли быть народ без своего национального чувства, что в последнее время утверждает Ф. Искандер? Потому и уступают по художественной силе «Кролики и удавы» знаменитому «Сандро из Чегема», что в этой абстрагированной социальной сатире напрочь отсутствует присущая всегда писателю «краска родной земли». Пропала искандеровская уникальность видения.

Я не скрываю своей приверженности к почвенному искусству. Думаю, что все-таки вершинные достижения мировой культуры принадлежат и принадлежали художникам, обладающим чувством почвы. Мне могут возразить — проза В. Набокова, поэзия В. Маяковского, живопись Пикассо.

Конечно, этим талантливейшим художникам был более близок космополитический взгляд на мир. Отсюда желание обойтись без Латвий и Россий у В. Маяковского, отсюда переход на английский язык и безнациональных героев у В. Набокова, отсюда злое пародирование великих картин мастеров прошлого у П. Пикассо. Но — «Другие берега» и «Дар» пронизаны чувством России у В. Набокова, но — такая испанская «Девочка на шаре», да и весь голубой период — у П. Пикассо, но — «я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва», или грустные «по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Мне кажется, что во всех высших творческих проявлениях самых стойких сторонников «земшарного мышления» обнаруживается тот самый «менталитет», о котором так хорошо сказал Ю. Трифонов.

Космополитизм распространен сегодня более всего, думаю, в западноевропейском искусстве, как в формах авангардизма, так и в форме массовой обезличенной культуры. Его претензии на всеобщность, на всепредназначенность равно для француза и немца, финна и каталонца, как ни парадоксально, снижают интерес к нему. Космополитизм в авангардных формах скучен, в форме массовой культуры — кратковремен. Сила его, как правило, в высоком профессионализме, в мастеровитости.

Интересно, что представители этого направления в искусстве — всегда и везде — более перестроечны. С изменением всеобщего взгляда на мир, с изменением «земшарного мышления», абстрагированного от живой жизни, меняются и сами художники. Почва любого народа меняется крайне медленно. При Сталине и при Николае Втором, при Кастро и при Батисте, при Франко и в сегодняшней Испании — все те же народные типы, та же природа, та же история страны в прошлом, те же привычки. Тот, кто способен видеть глазами народа, делает лишь корректировку на социальные условия. Изменение почвы — это катастрофа народа, что мы и имеем вместе с «новой почвенностью». Перестройка у почвенного художника — это всегда трагедия мастера. Перестройка у представителя «земшарного мышления» — легка и искренна. Незачем таких перестройщиков обвинять в конъюнктурности, они с неизбежностью меняют листву в зависимости от времени года. Потому не страшен сталинизм молодых поэтов-ифлийцев для ли-

деров сегодняшнего журнала «Знамя». Заменены элитарные установки во времени, но основа творчества нынешних авторов «Знамени» и певцов тридцать девятого года — одна и та же: мировые идеи, приоритетные по отношению к национальным ценностям, безразличие к стране, среде и времени пребывания героя.

Государственная структура чаще поддерживает художников космополитического направления, как бы ни утверждалось ими самими обратное.

Во-первых, космополитическое искусство, как правило, элитарно, но и чиновная структура всегда стремится к элитарности. И те, и другие чувствуют и очень ценят «избранничество».

Во-вторых, бюрократия всех стран, времен и народов — всегда космополитична, она тоже идет не от почвы, а от «мировой бюрократической культуры». Бюрократ всегда легко пересаживается из кресла в Кишиневе в кресло в Алма-Ате, из Магадана — в Воронеж, из Иркутска — в Сочи, он действует везде одинаково, он — «безроден», какой бы крови ни был. Бюрократ, играющий в национализм, — это всего лишь игрок. Почва и бюрократическая машина — вещи несовместимые, что, кстати, хорошо показано в пьесах И. Друцэ «Святая святых», «Рыжая кобыла с колокольчиком».

У нас постоянно умалчивается, что издания славянофилов преследовались в девятнадцатом веке гораздо более жестоко, чем издания западников. Умалчивают ныне и о постоянных преследованиях в годы застоя журнала «Наш современник». Да и основные удары по «Новому миру» наносили именно за глубоко почвенные произведения Ф. Абрамова, В. Семина, В. Быкова, А. Солженицына. Произведения творцов «земшарного мышления», даже если они исповедуют не то мировое видение, которое надлежит, не так страшны, ибо в них или совсем человек отсутствует, или он показан вне почвенных связей, вне народной среды и потому отвечает лишь сам за себя, какие бы негативные высказывания он не произносил.

Потому и оказался «пробным камнем гласности» у нас вопрос об А. Солженицыне, что в его книгах написана правда о лагере глазами народа. На мой взгляд, загвоздка с публикацией его произведений не связана с антисоциалистической позицией писателя. Печатаем же мы А. Галича, Г. Владимова, В. Войновича, устраиваем выставки Э. Неизвестного и М. Шемякина, приглашали на постановки Ю. Любимова, не согласуясь с их высказываниями. Значит, дело не в собственной позиции А. Солженицына. Не опасна чиновникам публицистика писателя, какие бы опасные примеры они в ней ни находили. Это всего лишь мнение одного из известных деятелей культуры. Главное у А. Солженицына — его глубоко национальная русская проза. Если бы даже не было ареста, не было «ГУЛАГа», все равно А. Солженицын стал бы большим прозаиком. Мы бы прочитали прекрасные повести о войне, наряду с прозой В. Быкова и В. Астафьева. Блестящая русская деревенская проза, кроме «Матренина двора», включала бы в себя еще не один роман или повести Солженицына. Но есть и великая «неслучайность» его судьбы, что именно такой большой писатель понадобился народу для рассказа о трагическом лагерном лихолетье. О чем бы он ни писал, он пишет о главном в народе. Он пишет чуть ли не документальные судьбы (говорят, и у Матрены, и у Ивана Денисовича есть реальные прототипы), но уровень его художественного обобщения и выбор героя таковы, что мы читаем правду о самом народе. Правда отдельного заключенного, какой бы страшной ни была, легко подводится под исключение, случай. Самым страшным рассказам о ГУЛАГе нынешних беллетристов не хватает силы художественного обобщения. При всей жалости к себе, Саша Панкратов из «Детей Арбата» не передает ощущение страшного времени. Элитарный герой вдруг случайно оказывается замешан в политическую игру и попадает в ссылку вместо того, чтобы верно служить сталинскому времени, как его дядя и другие близкие люди. Если бы не закравшиеся в НКВД антисоветчики типа Шарока, то так бы и строил Саша Панкратов светлое будущее, руководя где-нибудь на дядином заводе колоннами рабочих в казенных ватниках с номерами. Не понимаю, как не заметили, что «Дети Арбата» — это правоверный сталинский роман, в духе той же «земшарной поэзии», и главный отрицательный сконструированный герой — спрятавшийся антисоветчик Шарок.

Почему многие наши плюралисты вместе с чиновниками боятся главной правды А. Солженицына? Подумаешь, еще одно мнение о лагерях рядом с сотней уже опубликованных. Но там — личностная правда пострадавших людей, здесь — правда пострадавшего народа. Предельно жестокая правда глазами одного человека не так опасна для бюрократов. Общая правда глазами народа вызывает тревогу и у плюралистов, и у бюрократов. И увидели мы тесное единение «Огонька» и некоторых влиятельных кругов чиновного аппарата в противостоянии большому русскому писателю, а неожиданная публикация в журнале «Матрёнина двора» — это лишь маневр.

Еще одно доказательство близости чиновной структуры и «земшарной» литературы в одинаковой беспочвенной основе героев, как элитарной космополитической прозы, так и чиновной, секретарской прозы.

Многочисленные секретари обкомов, главные герои многотомных произведений А. Ананьева, Г. Маркова, С. Сартакова и других — так же наднациональны, так же лишены природной среды, почвенного видения мира, как и элитарные герои поэм А. Вознесенского, Р. Рождественского, И. Бродского.

Как пишет В. Распутин: «Мы много говорим в последнее время об успехе латиноамериканского романа. Он закономерен, потому что литература эта глубоко национальна и дает нам богатейшую пищу в постижении малоизвестного нам национального характера. То же самое происходит и в восприятии литературы любой страны, любого народа. Мы искренне радуемся, когда открываем хорошего национального писателя — примеров тому много и в советской литературе: Чабуа Амиреджиби, Грант Матевосян и многие другие. Мне кажется, что и русскому писателю позволительно быть глубоко национальным, тогда его литература много даст и его народу, и особенно — другим народам».

Характерно, что, когда говорится об успехе литературы какого-либо народа, речь, как правило, идет о почвенной литературе, художникам космополитического склада более присуще избранничество, неотождествление себя с народом. Отсюда — более нейтральное отношение и к среде обитания. «Словно шарики ртути, мы катимся по безразмерной отчизне» — эти строчки из стихотворения А. Плахова очень точно определяют кочевой настрой жизни. Дело не в ярлыках семидесятых годов — диссидентство, измена Родине и т. п. Думаю, при дальнейшей демократизации общества у нас у каждого будет постоянный заграничный паспорт, как, к примеру, у любого жителя ЮАР. Но потребность в постоянном общении с родной почвой у глубоко национального писателя-почвенника всегда будет сильнее, чем у писателя космополитического толка. Жорж Нива во французском журнале «Мэгэзин литтерэр» пишет: «Лучшие представители советской литературы, так называемые «деревенщики» Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев и некоторые другие не ждали, когда им дадут «зеленый свет»... Русское слово «народный» нередко становится камнем преткновения для переводчиков, поскольку несет в себе два значения — национальный по духу и выражающий чаяния народа. Народность — это то направление, которое избрала советская проза около десяти лет назад. Как подчеркивает Залыгин в статье о Распутине, народный писатель хранит память о прошлом и, повествуя о страданиях и надеждах народа, пытается понять его историю сквозь призму преемственности нравственных и национальных ценностей. Он отвергает «табула раза» как принцип исторического развития, ему чужда революционная жажда начать все с нуля...»

Писатели космополитического направления всегда идут от мировых идей: идеи мировой революции, идеи мировой советизации, идеи мирового разума, идеи мировой культуры, идеи мировой цивилизации, идеи мировой технократизации. Я перечислил лишь некоторые из основных мировых идей XX века. Эти идеи могут спорить друг с другом, быть непримиримыми друг к другу, но их сторонники сходны в главном — лишь в контексте мировой идеи определяют они место того или иного района, народа, языка — в общей картине человечества. Меняются мировые идеи на противоположные, но даже если победит идея мировой перестройки, опять — в жесткой зависимости от нее — будут решаться сторонниками этого направления судьбы малых народов Сибири и ядерной энергетики, репутации исторических деятелей прошлого и вопросы мелиорации. На мой взгляд, даже самый заманчивый вариант мировой идеи, скажем — идея мирового коммунизма, представляет собой тупик в развитии общества, ведет к очередной катастрофе.

Вот почему не верю я и в господство над миром какого-нибудь одного, пусть самого пассионарного на нынешний момент народа, все попытки заканчивались крахом — от Александра Македонского до Чингисхана, от Наполеона до Гитлера, и кто бы ни претендовал на роль мирового учителя: греки, римляне, монголы, персы, французы, англичане, немцы, евреи, американцы, русские — рано или поздно это приводит к разочарованию в данном народе всех других народов мира.

Писатели-почвенники идут от идеи народа, от его нужд и его интересов, на уровне малых талантов это часто приводит к национальному эгоизму, но в целом почвенничество от идеи своего народа, своей природы, своей культуры приходит к пониманию мира как совокупности народов, совокупности культур. Понимая свою уникальность в мире, быстрее признаешь и уникальность иной культуры. Уничтожение чужих культур, как правило, шло под знаком мировой идеи, будь то христианизация мира — и уничтожались культурные ценности инков, языческие капища в России; европоцентрической идеи цивилизации — и уничтожались африканские культуры, спаивались северные народности; или мировой советизации, американизации, сионизации...

Диалог всех культур мира, конечно, всегда происходит и будет происходить под влиянием определяющих в данную эпоху ведущих культур. Но в этом влиянии не должно быть абсолютного господства, подавления. В мире нет неизменного. Сегодня, скажем, проза всех народов мира учитывает мощный латиноамериканский расцвет. Конец девятнадцатого века определяли в литературе русские гении. Перед первой мировой войной все зачитывались скандинавами... Так было, так будет.

Другая крайность космополитического видения мира — крайняя индивидуализация человека, разговор об изначально одиноком человеке, о его трагедиях, бедах, комплексах, о его вине и его торжестве — вне общества, которое рассматривается как нечто откровенно чуждое, враждебное. Так можно говорить о трагедии человека на войне, в сталинских лагерях, в бюрократическом учреждении — даже в постели с женщиной. При таком взгляде мы никогда не поймем ни причин войны, ни возникновения сталинизма, ни даже причин разрыва любовных связей. Мы поймем лишь человека с его «актами свободной воли».

Но ведь «акты свободной воли» могут оказаться оскорбительными не только для людей, но и для целых народов. В том и особенность космополитического видения мира, что без злого умысла, без заранее рассчитанной политической акции (бывает и по расчету, но в этой статье речь идет не о провокаторах, о художниках), лишь в силу неприятия любых национальных чувств, отрицания понятий национальной гордости, чести — звучат пародийно святые для народов символы и понятия. Самый наглядный пример — история с нашумевшим романом Салмана Рушди «Сатанинские стихи». С одной стороны — перед нами пример мусульманского фанатизма. Издавать приказ об убийстве гражданина другой страны за оскорбление национальных и религиозных чувств — чревато опаснейшими последствиями. Вполне может быть, Салман Рушди даже не предполагал столь яростной отрицательной реакции. Так же, как не предполагали голливудские кинопродюсеры отрицательной реакции грузин на издевательское использование имени Руставели. Но надо отделить борьбу за отмену угрозы Салману Рушди от некоего абсолютного «права на свободу мнений и их выражение». В «Обращении ко всему миру» ряда известных мировых деятелей культуры, среди них от советских писателей — А. Рыбаков и Т. Толстая, на мой взгляд, смешаны два разных понятия. Протест против любых форм терроризма не может одновременно содержать в себе право на словесный терроризм, на словесное издевательство. Можно материться и в церкви, можно издеваться над талмудом в синагоге, можно оскорблять национальные святыни под знаком «защиты права всех людей выражать свои идеи верования», но любое государство, любой народ имеет право законодательно защищать от оскорблений каждого из своих сограждан, национальное достоинство, религиозные святыни. Как признает министр иностранных дел Великобритании Джеффри Хау, книга Салмана Рушди оскорбительна не только для всех мусульман, но и для всего британского общества. «Эта книга подвергает нас грубой экстремистской критике. В ней Британия сравнивается с гитлеровской Германией!»

Да и так ли подписавшие «Обращение...» советские писатели терпимы к любому словоизъявлению, не они ли призывают к уголовной ответственности деятелей «Памяти»? С одной стороны, отечественные космополиты, устроившие демонстрацию в Москве в поддержку С. Рушди, требуют запрета именно словесного выражения чуждых им идей, с другой стороны — считают возможными любые оскорбления национальных и религиозных святынь. Вместо четкого разделения двух абсолютно друг с другом не связанных понятий: государственного терроризма Ирана, а может быть, и сознательно рассчитанной политической акции, защиты человеческой жизни и — ответственности писателя за сказанное слово, соблюдения нравственных, религиозных и национальных норм общества, в котором ты живешь — мы вместе с крайней формой фанатизма наблюдаем и крайнюю форму нигилизма, презирающего любую почву.

Не случайно в списке книг, рекомендованных для чтения Ватиканом, есть немало произведений советских авторов. Как объясняют итальянцы, это связано с тем, что советской литературе совершенно чужда проповедь безнравственности и насилия. Вряд ли Ватикан или православная церковь будут пропагандировать сегодня произведения, где оскорбляются чувства мусульман или иудеев. Мы вправе рассчитывать, что эти нормы нравственности и уважения будут соблюдаться художниками, какое бы направление они ни поддерживали.

Виктор Лихоносов пишет о людях, потерявших всякое родство с прошлым своей земли. «Столько забыть, столько проклясть, столько стереть с лица земли чудесных уголков истории — на чем же было воспитаться чувству? Читайте «Раздумья у старого камня» Л. Леонова. Поразительно! — за романом «Дети Арбата» гоняются, как за сахаром для самогоноварения, а «Раздумья» никто и не прочитал. Между тем горечь Леонова тяжелее, страдания тысячелетнее, сыновняя любовь выше. Люди потеряли родство и не плачут».

Думаю, та же дилемма — почвенничество и космополитизм — лежит в основе противостояния двух первых волн эмиграции и так называемой третьей волны последнего десятилетия. При всей нашей гласности, широко публикуя произведения этой третьей волны на страницах газет и журналов, мы как-то умалчиваем, что по приезде на Запад вначале новые эмигранты были встречены дружески русской колонией. Русская культура, в основном за счет первой — дворянской и купеческой, казацкой и офицерской — волны и их потомков, продолжала развиваться. Существовали издательства, выходили журналы и газеты. Приезжавших литераторов и художников встретили как соратников. И быстро опешили. Увидели прежде всего не политическую, а нигилистическую, антинациональную окраску их выступлений. Культура первой волны эмиграции — по преимуществу — почвенная. Этические требования — предельно высокие. Если даже «Дар» В. Набокова в эмигрантском журнале по требованию редакции печатали без пасквильной главы о Чернышевском, оценив ее тон, как недопустимый для русского интеллигента, то, прочитав «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, где пишется, как наш гений вбежал в литературу на эротических ножках, отозвались не иначе, как рецензией «Прогулки хама с Пушкиным». Сейчас эту книгу собираются публиковать у нас... Может быть, для начала опубликовать рецензию Романа Гуля? Зинаида Шаховская, автор трех великолепных книг воспоминаний, в знак протеста против оскорблений русских национальных святынь вышла из состава редколлегии «Русской мысли». Примеры можно продолжать, но, думаю, было бы лучше нашим почвенным журналам, нашим литературно-критическим изданиям представить читателям во всей полноте полемику между виднейшими представителями русской культуры в эмиграции. И мы увидим все то же — не политическое, не тематическое, не национальное, не классовое — размежевание двух основных направлений во всей русской культуре XX века.

Почвенничество и космополитизм. Мое пристрастие к почвенническому направлению, может быть, приводит к определенной субъективности в трактовке фактов, в подборе цитат. Было бы хорошо, если разговор на эту тему продолжили бы оппоненты. Читателю интересно узнать их доводы. Но несомненно одно — настала пора открытого разговора.

Направления эти были, есть и будут. Они — не результат неких интриг и разгула страстей. Они — соперники в вечном пути познания человеком самого себя и всего человечества.

ИСКУССТВО

ГРАФИКА. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА.

К 100-летию великого мастера

СЕМЬЯ МУХИНОЙ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 1914 г.

Вера Игнатьевна МУХИНА (1889—1953), выдающийся советский скульптор, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. Лауреат пяти Государственных премий СССР. Автор ряда монументальных произведений и портретов. Наиболее известны — «Рабочий и колхозница», памятники М. Горькому в г. Горьком, П. И. Чайковскому в Москве, портреты деятелей культуры, ученых, героев Великой Отечественной войны.

В 1960 г., тиражом в 5 тысяч экземпляров, в издательстве «Советский художник» вышел трехтомник: два тома посвящены художественному наследию В. Мухиной, один — литературно-критическому. В нем собраны частные письма скульптора, теоретические статьи, доклады, выступления, публицистика.

ВСЕВОЛОД ЗАМКОВ

Гость из Лондона

9 мая 1945 года, в начале седьмого утра, меня разбудил телефонный звонок. Спросонья, прошлепав через всю квартиру, я услышал английскую речь и несколько секунд не мог сообразить, в чем дело. «Победа! Воля, скорее приходите к нам на Красную площадь. Победа! Немцы капитулировали!»... Это был голос нашего нового знакомого, настоятеля Кентерберийского собора, Хьюлетта Джонсона, «Красного настоятеля», как его называла правая западная пресса.

За несколько дней до этого мама познакомилась с ним на каком-то банкете и, заинтересовавшись его лицом и всем его обликом, предложила вылепить его бюст. Через пару дней он появился у нас в доме в сопровождении своей переводчицы Тамары Соловьевой, которую я встречал и до этого. Высокий, с медно-красным лицом, белыми, как снег, поредевшими волосами и таким же белым стоячим воротничком, в черном суконном сюртуке с наперсным крестом на цепочке — подарком московского патриарха, он заинтересовал Веру Игнатьевну возможностью удачно реализовать ее давнюю мечту — создать цветную скульптуру: из красной меди с серебряными прядями волос и воротничком и черной оксидировкой одежды. Так в нашем доме появился замечательный человек, дружба и переписка с которым продолжалась до самой его смерти в 1967 году.

Горный инженер по образованию, он с молодости увлекся общественной деятельностью: занимался организацией медицинской помощи, рабочих и детских лагерей, издавал журнал лейбористского направления. Размышления над вопросами морали привели его в возрасте 30 лет на богословский факультет Оксфордского университета, по окончании которого он принял священнический сан. Когда в 1931 году умер настоятель Кентерберийского собора, главного кафедрального собора Англии, в котором происходят коронации английских королей, лейбористское правительство Макдональда постаралось обеспечить этот важный церковный пост за человеком, близким к идеям лейборизма, и добилось назначения Джонсона. Он не без юмора рассказывал о многочисленных попытках «подкопаться» под него и заменить более сговорчивым человеком. Но по английским правилам должность настоятеля является пожизненной (Джонсон сам подал в отставку, достигнув 90-летнего возраста) и он может быть смещен только в двух случаях: в случаях доказанной ереси или аморального поведения. Ни то, ни другое Джонсону не грозило. Он рассказал забавный случай, когда в освобожденной от немцев Польше поляки, желая показать, как быстро восстанавливается нормальная жизнь, привели его в кабачок со стриптизом. «Я вылетел оттуда как пробка, — рассказывал он со смехом,— так как любая заметка о моем там появлении, написанная каким-нибудь проворным репортером, могла бы мне дорого стоить».

Кроме своих обязанностей настоятеля («Я присутствовал при коронации трех английских королей», — не без гордости рассказывал он), доктор Джонсон много занимался вопросами взаимоотношения религии и этики. Он объехал весь мир. Его рассказ о путешествии в Лхассу и об аудиенции и богословском споре с Далай-Ламой был для меня чем-то вроде книги Рериха или романа Хоггарда!

Его переводчицы, обнаружив, что моего знания английского языка хватает не только для элементарного перевода, но и для разговоров на философские темы, доставив его к нам, обычно отправлялись по своим делам или болтали с Верой Игнатьевной, предоставляя мне возможность погрузиться в дебри философских или литературных рассуждений. Очевидно, я пришелся Джонсону по душе, и он часто просил меня сопровождать его вместе с переводчиком в его поездках и визитах в Москве и ее окрестностях. Не могу не рассказать о двух случаях.

Однажды Джонсон предложил мне сопровождать его в мастерскую художника Корина. Я с радостью согласился: очевидно было, что Павел Дмитриевич покажет Джонсону свою серию портретов «Уходящая Русь», в которых он запечатлел многих, иногда скрывающихся деятелей православной церкви, странников, юродивых. Мы, конечно, знали о существовании этих работ, мама кое-что видела, но в то время об их открытым показе не могло быть и речи. Портреты Корина поразительны и произвели на нас глубочайшее впечатление. Позже, за чаем, Павел Дмитриевич и Джонсон вступили в какую-то богословскую дискуссию. Они так и сыпали цитатами из Библии, и, прекрасная переводчица Кулаковская совершенно растерялась. К счастью, я читал Библию и по-английски, и по-русски, и моего знания обоих текстов оказалось достаточно для того, чтобы осуществлять «наводящий» перевод вроде: «Это то место, где в книге пророка Даниила говорится о его втором суде...»

В другой раз мы поехали в Истру, поглядеть на остатки взорванного Ново-Иерусалимского монастыря. Местные крестьяне, которым какое-то начальство сообщило, что должно приехать высокое духовное лицо, вообразили, что приедет патриарх, и встретили нас хлебом-солью! Джонсон растрогался и ответил им проповедью, естественно, на английском языке. Должен сказать, что это было в первый раз, когда я понял силу живого ораторского слова: несмотря на несовершенный перевод, крестьяне плакали, да и у меня, и у переводчицы были на глазах слезы.

Доктор Джонсон был первым в моей жизни человеком высочайшей духовной культуры, с которым мне довелось подолгу беседовать на самые различные темы. Я достаточно хорошо знал Л. В. Собинова, Н. К. Кольцова, С. И. и Н. И. Вавиловых, но я был еще мал, и мое общение ограничивалось присутствием при разговорах моих родителей. Поэтому доброта, терпимость к окружающим, в том числе и к чужой вере или безверию, проявляемые доктором Джонсоном, произвели на меня глубокое впечатление. При этом все, что он говорил, даже комплименты, отличались изысканной формой, даже изяществом, редкими и почти шокирующими в то время. В последний день своего пребывания у нас потом, во время повторных визитов в Советский Союз (он всегда заходил к нам или хотя бы звонил по телефону), он обратился к маме со следующей речью: «Вы знаете, мадам Мухина, так уж случилось, что все, к чему я в жизни стремился, мне удавалось достигнуть, но чрезвычайно поздно: когда я поступил в Оксфорд, мне было больше 30 лет; в пятьдесят семь я стал настоятелем собора; я полюбил и счастливо женился, когда мне было больше шестидесяти; моя жена почти на сорок лет моложе меня, и у меня две очаровательные дочки; я всю жизнь хотел увидеть мир. Мне это удалось, но только в старости, и, наконец, мадам, я встретил вас!»

Года через три после этой первой встречи из Англии пришла книга с дарственной надписью, и там, к нашему изумлению, мы обнаружили главу «Скульптор и ее сын» — о нашем доме и о том, как он к нему «прижился». По-видимому, это единственное описание встреч с Верой Игнатьевной, записанное иностранцем, и притом человеком мудрым и доброжелательным. Поэтому я осмеливаюсь привести перевод этой маленькой главки из книги Хьюлетта Джонсона целиком. Перевод сделан мной и публикуется впервые.

Скульптор и ее сын

На банкете, организованном в нашу честь в мае*, многие гости выступали с речами: Бородин, Колесников, Капица, Эренбург... Рядом со мной сидела дама, среднего возраста,

ЗАМКОВ Всеволод Алексеевич родился в 1920 году в Москве. Сын скульптора Веры Мухиной и ученого-медика Алексея Замкова.
Из-за длительной болезни в детстве (туберкулез) пошел в школу сразу в седьмой класс. В 1938 году поступил на физический факультет Московского университета, который окончил в 1947 году. В военные годы работал лаборантом-физиком в ряде исследовательских институтов. С 1951 по 1972 год преподавал на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а с 1972 по 1987-й — заведовал кафедрой физики в 1-м Ленинградском медицинском институте. Доцент, кандидат физических наук, автор монографии и более 80 работ по молекулярной физике.

невысокая, крепко сбитая, с интеллигентным лицом и мягкими уверенными манерами — вылитая директриса школы в Челтенхеме или в Бедфорде. В своей краткой и несколько официальной речи она сказала, что хотела бы вылепить и подарить своей стране бюст ее друга — настоятеля Кентерберийского собора, если, конечно, он даст свое согласие и посетит ее мастерскую. Это была Вера Игнатьевна, вдова доктора Замкова, известный русский скульптор, более известная под своим профессиональным именем «мадам Мухина». Вежливо приняв приглашение, я попал в очаровательный дом. Мадам Мухина живет со своим сыном, Всеволодом Замковым, и опытной и верной служанкой, которая работает в доме с молодости и глубоко привязана ко всей семье.

Мое первое посещение состоялось летним вечером. Дом расположен на углу большой пятиугольной, полной движения площади на окраине Москвы. Его внешний вид был такой же запущенный, как и все вокруг. Заброшенный двор вел ко входу в красивое старое здание, разрушающееся в тяжелые времена. Огромные куски дерева загромождали холл, ожидая резца Мухиной.

Высокая жилая комната несла следы былого величия, да и сейчас содержала много прекрасных вещей: серебро и фарфор на кофейном столике, цветочный мед с дачи Замковых, книги и рисунки, разбросанные в легком беспорядке, характерном для домов больших художников, — скорее прихожая художественной мастерской, чем гостиная жилого дома. Всюду следы высокой культуры. Ни следа богатства или роскоши, в то время как художники принадлежат к наиболее высокооплачиваемым трудящимся в Советском Союзе.

Старая домработница, узнав, что я священник и увидев мой крест, схватила и поцеловала его. «Она верующая», — сказала мадам Мухина, с нежностью глядя на старую женщину.

Попивая великолепный кофе в перерывах между сеансами, мы оживленно разговаривали. Воля, как мы кратко называли Всеволода, молодой человек двадцати шести лет с очаровательными задумчивыми манерами, которые часто бывают у юношей, в раннем детстве оторванных болезнью от нормальной активной жизни (он переболел разными видами туберкулеза). Благодаря активным занятиям в детстве, Воля рано научился читать и глубоко разбирается в литературе. Он тонко выражает свои мысли по-английски. Профессионально он занимался физической оптикой, и мои посещения совпали с его выпускными экзаменами в университете. Оживленные, калейдоскопические разговоры с ним и с Тамарой (их хорошей знакомой) прерываются веселым хохотом. Мадам Мухина поднимает глаза, улыбается и продолжает работать. Они только что с удовольствием посмотрели английский фильм «Генрих V» и говорят, что он менее реалистичен, чем большинство других фильмов, что дает большие возможности для художественного отбора и выявления главного.

Воля увлечен английской жизнью, литературой и культурой, и он надеется когда-нибудь поучиться в Оксфорде. Однажды он извлек большую английскую книгу по медицине семнадцатого века, обнаруженную у букиниста. Он прочел там описание средства от экземы — настой листьев анютиных глазок. Его знакомый, заболевший экземой в Париже, консультировался у парижского специалиста, который ему посоветовал отвар листьев анютиных глазок как новейшее и наиболее эффективное средство.

В вопросах философии Воля обладает острым и свободным умом. Как и многие другие русские, он согласен с тем, что смерть скорее является концом главы, чем концом книги, но считает трудным поверить в то, что человеческое эго, как мы его понимаем, сохраняется и по ту сторону жизни. Он, однако, готов признать силу аргументов, вытекающих из того научного факта, что индивидуализация непрерывно возрастает с ростом взаимосвязи и что это является законом жизни и эволюции. Воля обладает и практической жилкой, помогая своей матери во всех ее планах, например, в постройке нового дома и мастерской. В мастерской он помогает своей матери, которую он нежно любит и глубоко уважает. Он готовит глину и каркасы, усаживает и фотографирует модели со всех сторон. Его фотографии великолепны.

Мастерская хранит прекрасные произведения искусства: полки с бюстами, некоторые из них, очевидно, просто портреты, другие являются разными истолкованиями модели. Мадам Мухина так же хорошо режет по дереву, как и лепит. Ее любимый материал — коричневое твердое узловатое дерево. Монументальная голова профессора стоит в мастерской. Про мой собственный бюст я могу сказать две вещи: во-первых, я увидел в нем то, чего никогда не видел в моем зеркале — невероятное сходство с моей матерью. Во-вторых, она изобразила скорее того, кем хотел бы меня видеть Бог, чем того, кем я являюсь на самом деле. Этот мой отзыв ее позабавил.

Наше последнее утро памятно мне разговорами и юмором. Мадам Мухина только что вернулась из Франции, где она участвовала в собрании 3000 женщин, англичанок, итальянок, но больше всего француженок. Одна делегатка прибыла из Испании, и, к ее удивлению, только одна из Бельгии, где женщины все еще лишены избирательного права. Для мадам Мухиной страна не является свободной, если в ней женщины не имеют права голоса. Мадам Мухина тщательно подготовила доклад об искусстве, который, по ошибке, был прочитан в Марселе, где он не был понят. Она также подготовила доклад о французском искусстве, которое, по ее мнению, является слишком абстрактным и лишенным содержания. Когда я спросил ее, что она в точности понимает под содержанием, она показала на бронзовую статую молодой, крепкой крестьянки с полными грудями и округлой фигурой, стоящей со скрещенными руками и высоко поднятой головой — воплощение уверенности в честной работе и изобилии, которое возникает от упорядоченной экономии. «Вот это содержание», — сказала она. Статуя привлекла внимание Муссолини, который заказал ее, отлив для одной из своих прибрежных вилл.

Как и Герасимов, мадам Мухина не приемлет работы Пикассо. Она предпочитает работы Александры Экстер, имеющие хоть какое-то содержание в дополнение к изысканному чувству цвета.

Россия, наименее похотливая страна из всех, какие я знаю, и наиболее морально здоровая, является одновременно и наиболее откровенной. Совершенно естественно, безо всяких следов отвращения русские говорят о вещах, которые совершенно недопустимы в английских гостиных. Например, Тамара, которая только что вернулась из поездки с австралийским ученым, рассказывала, что на конном заводе ученый настоял на подробном описании практикуемого там искусственного осеменения кобылиц. Все семейство забавлялось ее трудностями при переводе.

Мы снова и снова обсуждали труды отца Воли, Алексея Замкова, историю жизни и смерти которого я узнал от самой мадам Мухиной. И она, и Воля объяснили совершенно точными словами открытия и опыты доктора Замкова по инъекциям стерилизованной мочой беременных женщин, содержащей, по его утверждению, избыток веществ, необходимых для создания нового организма. При этом основной целью является не борьба с болезнетворным началом, а укрепление тех органов, которые атакует болезнь. Статистика излечений доктора Замкова весьма впечатляюща. Мадам Мухина сказала, что, систематически пользуясь инъекциями, она ни разу не болела в продолжение восемнадцати лет. Для меня, однако, наиболее интересным был тот факт, что весь разговор между молодым человеком и молодой женщиной в присутствии матери молодого человека происходил абсолютно беспристрастно, без малейшего намека на неловкость или следа сальности.

Мы обсуждали вопросы искусства. Мадам Мухина согласилась с Тамарой, что работа над моим портретом была бы гораздо больше в духе Корина, хотя и согласилась с высоким качеством работы Герасимова. «Он был бы духовно более выразительным», — сказала она. Мадам Мухина хочет поэкспериментировать при отливке моего бюста. Он должен быть в черной одежде, с посеребренными волосами и с лицом темно-красной бронзы.

Мадам Мухина рассказала мне историю своей жизни. Ее отец происходил из богатой купеческой семьи, торговавшей пенькой и хлебом. Во время революции семья потеряла около двух миллионов рублей. Она постаралась мне объяснить, что русские, веками привыкшие к нападениям татар и поляков, воспринимают такие потери менее серьезно, чем на Западе. Ее мать, от которой у нее была примесь чужой, немецкой или французской крови, умерла в 1891 году в Ницце в возрасте двадцати девяти лет. В это время Мухиной было полтора года, и ее отец, опасаясь за здоровье детей, переехал в Крым, где в Феодосии он основал завод по производству конопляного масла. С раннего детства мадам Мухина любила рисовать. Я рассматривал ее старую фотографию; прекрасное дитя с высоким лбом, внимательно склонившееся над своим рисованием. Отец умер, когда ей было четырнадцать лет, и опекуны отвезли ее в Курск, где она окончила гимназию и откуда переехала в Москву, чтобы продолжать свои занятия рисунком в той же школе, где занималась и мать Тамары — у широко известного в то время художника Машкова.

1912 год оказался поворотным в ее жизни. При катании с гор сани налетели на дерево. Мухина ударилась о ствол. Придя в сознание, она поняла, что сильно пострадала. Прежде всего, она ощупала лоб и убедилась, что он цел, но нос был изуродован. К счастью врач, к которому ее немедленно отвезли, оказался специалистом высокого класса и так совершенно соединил сломанные и оторванные части, что только когда мадам Мухина стояла совсем близко от меня, я сумел рассмотреть у переносицы большой шрам.

В то время, однако, лицо ее было сильно обезображено. Она была красивой, впечатлительной девушкой и боялась, что будет вынуждена, как это было принято в то время, уйти в монастырь и окончить свои дни в заточении. Наступила полная депрессия. Затем ее охватило внезапное желание отправиться за границу, где, никому не известная, она сможет заниматься своим искусством. Ее опекуны, сначала сопротивлявшиеся, так как в то время считалось неуместным для молодой двадцатилетней девушки отправляться за границу одной, не знали, что делать, но наконец сдались, и она уехала в Париж. Свой успех в искусстве мадам Мухина приписывает своему исковерканному лицу: «Это падение на горе сильно обогатило жизнь».

В Париже она поступила в художественную академию, где преподавал ученик Родена — Бурдель. Она пробыла там две зимы и ушла: «В этом заключалось все образование, которое я получила, — сказала она, — по сути дела я самоучка». Бурдель, однако, дал ей урок, который она никогда не забывала. «...Он научил меня видеть монументально, Роден, учитель Бурделя, никогда не был монументален. Ни в «Гражданах Кале», ни в «Викторе Гюго» нет подлинной монументальности. Я больше почерпнула от Индии и от Египта, чем от Родена», — говорила она. По ее выражению, у Родена взгляд «бульвардье». Он смотрит на вещи, как на них смотрел бы человек улицы: как он их видит, так и изображает. «Я насчитала двадцать восемь примеров подобной вульгарности», — сказала она. Она увидела у Родена и элементы эротики, которые также показались ей безвкусными.

Два года пребывания в Париже не прошли бесследно. Она интенсивно училась и узнала множество людей, посещала школу кубистов. Она хотела изучить все достойное изучения, хотела все понять. Мухина обнаружила, что работает в двух совершенно различных мирах. С Бурделем она была в школе природы. С кубистами она была в школе абстракции. Кубисты в своем творчестве исходили из природы, но старались избежать ее ощущения в произведениях. Она считала себя обязанной овладеть видением и техникой кубизма: «Я не могу пренебрегать чем-либо, чего я не понимаю, и я им (кубизмом) овладела», — сказала она. Овладела, но только для того, чтобы от него отказаться. «Абстрактное искусство уводит от сути вещей», — считает она. Хотя Мухина вспоминает художественную школу кубизма с известной благодарностью: «Это было нечто вроде лаборатории, в которой мы исследовали вещи». Эта лаборатория сыграла хорошую роль в ее художественном воспитании. Перед тем, как покинуть Париж, Мухина нашла свою собственную линию в творчестве: она должна отыскивать и изображать внутреннюю душу и содержание вещей и воплощать их монументально. Она покинула Париж с пристрастием к реалистическому искусству, к тому, что начинать надо с вещей, как они есть, но не кончать на этом; к тому, что путь развития искусства от того, что есть, к тому, что может быть и должно быть.

Я подумал о моем собственном бюсте и о своем замечании: «Это тот человек, каким меня хотел сделать Бог». Да, это не тот человек, каким, увы, я являюсь, но «исходный материал» — я, какой я есть. В портрете нет ничего абстрактного, но нечто действительное и существующее. Это та же причина, по которой крестьянская девушка, стоявшая подбоченясь передо мной в мастерской, была не «фотографией» какой-либо крестьянской девушки, а идеалом всех крестьянских девушек. Именно поэтому так величественны, так одухотворены лица скульптур молодых людей рабочего и колхозницы на советском павильоне в Париже. Они выражают романтическую приподнятость, целеустремленность советской молодежи.

Когда мадам Мухина вернулась из Парижа, разразилась война 1914 года. Долг призывал ее. Она покинула Россию как несчастная молодая девушка, страдающая от погибшей красоты; двумя годами позже она вернулась возмужавшей и целеустремленной молодой женщиной, готовой служить своей родине в качестве сестры милосердия.

Во время гражданской войны она работала в московском госпитале, расположенном между позициями красных и белых. И аристократы, и пролетарии, и буржуи одинаково попадали под ее опеку. Она помогала всем. Однажды Мухина переправляла своих самых тяжелых пациентов в военный госпиталь. На всю жизнь она запомнила эту дату: 17 декабря 1917 года. В этот день она снова встретила уже знакомого ей Алексея Замкова, за которого через год, в 1918 году, вышла замуж.

Мухина была счастлива в браке. Ее муж обладал высокими душевными качествами, он был добр и оказал большое влияние на ее характер. Он уважал ее художественный дар. Он дал ей свободу заниматься искусством.

Во время гражданской войны жизнь была тяжела. Она зарабатывала на жизнь рекламой и этикетками, но позже снова занялась скульптурой и, наконец, получила место преподавателя в центральной художественной школе в Москве.

В 1920 году родился Воля, и, хотя сначала руки Мухиной были связаны домашними обязанностями, она вскоре снова вернулась к работе, в в 1927 году завоевала первый приз на Юбилейной художественной выставке и командировку во Францию. Наконец ей предложили участвовать в конкурсе на создание скульптуры, которая должна была украшать и завершить знаменитый советский павильон на выставке в Париже, где я впервые увидел ее работу. Это был огромный труд, и целый штат из 200 человек, включая 30 инженеров, помогал ей в этом. Потрясающая арка шарфа, летящего по воздуху дугой в тридцать метров длины и весом в пять с половиной тонн, касается группы только в двух точках. Вся работа была очень трудна и была выполнена только благодаря помощи, которую она получала от правительства. Работа была поучительна и обогатила рабочих новым пониманием искусства. Многие до сих пор хотели бы работать вместе с ней. Свою премию она разделила с рабочими.

Воля и Тамара любят и знают Англию. Обращаясь к США в вопросах техники, производства и инженерных решений, в Англии они ищут культуру. По их словам, Америка слишком занята бизнесом и слишком материалистична. Американская культура появится позже. Культура страны достигает своей высшей точки, когда страна напоминает спелую вишню, даже немного переспелую; когда население материально обеспечено и достижение богатства больше не поглощает лучшие силы нации, когда жизнь обеспечивает досуг для деяний духа. Англия уже достигла этой ступени.

В личной спальне, в которой мадам Мухина пишет, читает и отдыхает, на маленьком столике я увидел фотографию поразительно красивого мужчины с сильным и добрым лицом. Перед ней всегда стояли свежие цветы. Это был портрет доктора Замкова, мужа мадам Мухиной, и в этот последний день она рассказала мне историю его жизни, его усилий для того, чтобы стать врачом, и о его творческом подвиге в медицинской науке.

Мне было жаль покидать мастерскую, бронзовую крестьянку, голову профессора, бюст сильного юноши с голыми руками (их родственника, до смерти замученного нацистами), большую синюю вазу, массивный хрусталь и старый фарфор, пожилую служанку и Волю, и Тамару, и мадам Мухину: веселую, остроумную, целеустремленную — серьезную советскую семью, которую я так полюбил».

Семья и дом

Семья и личная жизнь всегда оказывают большое влияние на творческого человека. О семейной жизни Веры Игнатьевны почти ничего не известно и не опубликовано. Поэтому

я осмеливаюсь, к столетней годовщине со дня ее рождения, написать несколько строк, основываясь на личных воспоминаниях и немногочисленных сохранившихся документах.

Вера Игнатьевна Мухина родилась в богатой купеческой семье в Риге. Семья была большая и по-европейски культурная: дед Мухиной был назван Козьмой в честь знаменитого основателя флорентийского рода Медичи — Козимо. Семья занималась международной торговлей: пеньку и пшеницу из Смоленска и Рославля, откуда происходил род, сплавляли по Западной Двине (Даугаве) в Ригу и там перегружали на корабли, увозившие товары за границу, главным образом в Англию.

Во время моего первого посещения Риги в 1937 году еще был жив управляющий деда и отца Веры Игнатьевны И. В. Пивоваров. Когда я пришел с ним познакомиться, глубокий старик (ему было около 95 лет) сидел в кресле на крылечке старой деревянной мухинской гостиницы (на этом месте на улице Тургенева сейчас стоит здание Латвийской Академии наук) и грелся на солнышке. К моему ужасу, он встал и поцеловал мне руку! Увидев мое смятение, он сказал: «Всеволод Алексеевич, ведь Пивоваровы были управляющими у Мухиных более ста лет».

Мне показали мухинское «наследство»: старые дома по Тургеневской, лесопилку на берегу Красной Двины, вереницу огромных трехэтажных каменных складов, которые и сейчас тянутся за железнодорожной станцией от рынка до самого берега Двины. Так как Вера Игнатьевна не предъявила своих прав на все это имущество, то оно было конфисковано, как вымороченное, буржуазным правительством Латвии в 1938 году.

Мне мало что известно о детских годах моей матери. После смерти бабушки от чахотки в 1891 году в доме поселилась ее компаньонка и приятельница Анастасия Степановна Соболевская. Воспитанница Московского Сиротского Дворянского Института, она отличалась справедливым, но властным и иногда вздорным характером. Она по сути дела вела дом и ведала воспитанием девочек, мамы и ее старшей сестры Марии, в особенности после того, как в 1904 году умер их отец и они остались сиротами. Дяди-опекуны продали дом и заводик в Феодосии. Семья перебралась в Курск. Здесь Вера с отличием окончила гимназию и вместе с сестрой начала вести светскую жизнь богатых девушек на выданье. Появился и первый жених: за нее посватался блестящий гвардейский офицер, Александр Александрович Кондрашов, «самый красивый офицер во всей гвардии», как писала одна из подруг моей матери. Однажды, разбирая старые фотографии, мы наткнулись на его карточку. Он был действительно очень хорош! Я спросил маму: «Почему ты не вышла замуж за такого красавца?» — «Он очень добрый и хороший человек, но он так неумен! Вот и теперь он запутался в трех женах, как между тремя соснами, и наведывается к нам за полезными советами», — ответила она. Действительно, после революции А. А. Кондрашов занимался пожарной охраной Москвы и время от времени наведывался к нам. Огромный, седой и все еще красивый, он присутствовал на похоронах Веры Игнатьевны.

Второй, более серьезный роман мама пережила в Париже. В художественной школе, где она занималась под руководством Бурделя, работал молодой эмигрант из России Александр Вертепов. Уроженец Северного Кавказа, он еще гимназистом стрелял в пятигорского губернатора и был вынужден бежать из России. Вера Мухина, Иза Бурмейстер, Борис Терновец и Александр Вертепов, а позже и его друг Василий Крестовский, составляли тесную компанию, занимавшуюся скульптурой, философией и музыкой. Вероятно, не без влияния Вертепова Мухина впервые задумалась о революционном движении. Во всяком случае, в одном из ее высказываний она сказала о посещении в Париже лекции и о знакомстве с Луначарским. Можно думать, что и художественное влияние Вертепова было достаточно сильным: сохранилось высказывание о нем Бурделя: «Этот мальчик уже сейчас сильнее Родена!». Когда началась мировая война, Вертепов и Крестовский, движимые патриотическими чувствами, поступили добровольцами во французскую армию. Они и были убиты одним снарядом в первый же год войны, под Соммой. После смерти мамы, разбирая ее самые дорогие личные документы, я обнаружил два письма Вертепова с фронта и газетную вырезку с сообщением о его смерти. Все, что нам от него осталось, это прекрасная голова с лицом поэта и духовидца — вероятно, лучший портрет, сделанный Верой Игнатьевной до революции.

В пятнадцатом году, окончив школу медсестер, Вера Игнатьевна и ее двоюродная сестра Наташа Печковская начали работать в госпитале. Питались они вместе и как-то, поев зараженной колбасы, обе заболели трихинозом. Болезнь протекала очень тяжело, и тетя Маруся — сестра Веры Игнатьевны, пригласила своего знакомого, молодого, но уже известного врача Алексея Андреевича Замкова. Как рассказывала мама, и она и Наташа Печковская обязаны жизнью его врачебной чуткости и таланту. Вскоре, когда они начали поправляться, он снова уехал на фронт. Они встретились в декабре семнадцатого года, а еще через год, в 1918 году, они поженились.

Брак с Замковым оказался необычайно счастливым: «Я выиграла Алешу, как сто тысяч по трамвайному билету», — говорила неоднократно Вера Игнатьевна. Несмотря на сильный характер и большую самостоятельность, судьба свела Веру Игнатьевну с человеком, и духовно и морально еще более сильным, чем она.

Я плохо знал отца. На моей памяти веселый и многолюдный дом моего детства после ареста родителей в 1930 году и их возвращения из воронежской ссылки в 1932-м сильно изменился. Отец спокойно, но методически отвадил от дома всех, кто не вел себя достойно в годину испытаний, даже своего отца и сестер. Он им помогал материально, лечил, но не звал к себе и не общался лично. Остались только те, кто ничем не запятнал себя в его глазах: младший брат Сергей, талантливый архитектор, погибший в начале войны в конце 41-го года, одна из сестер — Анна Андреевна, семья певца Л. В. Собинова, опекавшая меня во время отсутствия родителей, научный руководитель и друг отца профессор Н. К. Кольцов, архитектор В. А. Веснин, Надежда Петровна Ламанова. О каждом из этих замечательных людей можно и стоит написать подробнее. Много позже, уже во время войны, я понял, что объединяло этих людей в нашем доме: высочайшая этика поведения и взаимоотношений.

Отец происходил из крестьянской семьи деревни Борисово в четырех километрах от г. Клина. Семья, состоящая из пятнадцати детей, была бедная. Многие умерли в младенчестве. Отец — второй ребенок в семье. В четырнадцать лет он окончил три класса приходской школы и был отправлен дедом на заработки грузчиком в московскую таможню. Проработав в таможне три года, отец окончил бухгалтерские курсы и начал работать артельщиком в банке «Взаимного кредита». Во время революции 1905 года он познакомился с большевиками (Л. Б. Красиным, М. Ф. Андреевой) и, отличаясь отчаянной смелостью, участвовал в переброске оружия через баррикады во время восстания на Пресне. После он сблизился с левыми эсерами и принимал активное участие в экспроприациях. В частности, из одного разговора в 1942 году я узнал, что, работая в банке, он был одним из организаторов нашумевшей экспроприации «в Фонарном переулке» в Петербурге. Где-то около 1907 года в его жизни произошел резкий перелом: он перестал заниматься революционной деятельностью, познакомился и сблизился с Чертковым и другими толстовцами, решил завершить свое образование. После двух лет усиленных занятий ему удалось сдать на аттестат зрелости и поступить в Московский университет на медицинский факультет. В медицине отец нашел свое призвание. Его учитель, знаменитый хирург Алексинский, отмечает его легкую руку, талант диагноста и называет его «драгоценнейший».

Окончив университет в 1914 году, он тут же отправился на фронт врачом-добровольцем. В пятнадцатом году он уже был начальником нескольких госпиталей Юго-Западного (Брусиловского) фронта.

Меня неоднократно спрашивали: что же соединяло моих родителей, столь различных по происхождению, воспитанию и образованию? Тяжелая жизненная школа отца, желание служить людям, приведшее его к медицине, соединившись с природной смелостью, силой воли и необычайной внимательностью (обусловившей его способности, как прекрасного диагноста), выковали из него человека с духовным складом, близким к Ганди или Швейцеру. И отец, и мать бесконечно доверяли друг другу.

Ленинград

АФИША «КНИГИ»

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989 ГОДА

Экспресс-издания «Книги» торопятся донести до читателя остроактуальные проблемы современности. Здесь и освобожденные из-под спуда долгих лет воспоминания, дневники, исторические материалы. Иные из этих книг уже увидели свет, другие — готовы выйти из типографии.

РАЗГОН Л. НЕПРИДУМАННОЕ. 14 п., 2 р. 50 к., 100 000 экз.

Автор, осужденный в тридцатые годы по ложному доносу, рассказывает о годах, проведенных в заключении. Люди, с которыми свела его судьба в тюрьмах, лагерях, на поселении, — герои повествования. Среди них — крупные военные, политические деятели, а также члены их семей.

ХАРОН Я. ЗЛЫЕ ПЕСНИ ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ. 12 л., 3 р., 100 000 экз.

Книга эта — еще одна «лагерная повесть». Но это не просто рассказ о лишениях и тяготах. Ее автор, разносторонне одаренный человек, в труднейших условиях нашел применение своим творческим силам. Стал рационализатором, изобретателем. И поэтом. И мистификатором. Вместе со своим товарищем по лагерю он придумал некоего французского поэта XVI века Гийома дю Вентре. Сочинил сто его сонетов. Его биографию. Комментарии к сонетам. На фоне реальной судьбы автора сонеты мифического поэта обретают особую драматичность и глубину.

АГНИВЦЕВ Н. БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 л., 1 р., 50 000 экз.

Издание является репринтным воспроизведением лучшей книги стихов полузабытого русского поэта Николая Яковлевича Агнивцева (1888—1932), вышедшей в 1923 году в издательстве И. П. Ладыжникова в Берлине. Поэт посвятил книгу своему городу, его истории, традициям, быту. Издание сопровождается кратким послесловием, из которого книголюбы, любители поэзии могут узнать о Н. Агнивцеве.

СЕМЕВСКИЙ М. И. ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ. 15,5 п., 2 р. 40 к., 100 000 экз.

Исследование известного русского историка прошлого века (первое издание — 1883) о быте и нравах России в эпоху Петра I составляет одну из книг «Очерков и рассказов из русской истории XVIII в.» Книга, написанная в жанре исторической беллетристики, повествует о судьбе царицы Прасковьи, жены царя Ивана Алексеевича, правившего в 1682—1696 гг.

ЩЕГОЛЕВ П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН. 22 п., 3 р., 100 000 экз.

Книга ученого и писателя, не переиздававшаяся в нашей стране более шестидесяти лет, раскрывает тайны секретной тюрьмы XIX века, рассказывает о судьбе ее узников, среди которых были не только деятели освободительного движения России, но и лица, чье поведение правительство расценивало как вызов существующему порядку.

ЗЕМЛЯ, ЭКОЛОГИЯ, ПЕРЕСТРОЙКА. 4 п., 50 к., 30 000 экз.

В сборник вошли материалы Пленума правления Союза писателей СССР, посвященного экологическим проблемам: доклад секретаря правления СП СССР Ю. Черниченко, содоклад секретаря правления СП СССР В. Распутина, выступления Д. Кугультинова, Ю. Щербака, С. Залыгина, а также обращение участников Пленума к Академии наук СССР, Академии медицинских наук и Министерству здравоохранения СССР.

ЧЕРНЯК А., ЧЕРНИЧЕНКО А. КОНСОЛИДАЦИЯ. 15 л., 95 к., 50 000 экз.

Цель книги — воссоздание возможно более точной картины межнациональных отношений в нашей стране, анализ самых болезненных конфликтов на этнической почве, их природы и возможных путей развития.

Основные разделы книги:

— Национальные проблемы в СССР — имитация и реальность.
— Есть ли у шовинизма точка опоры?
— «Карабахский комплекс» — реакция на застой.
— Народны ли «народные фронты»?
— 60 миллионов людей без территории?
— Выживут ли малые народы?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Слово» и издательство «Книга» традиционно разыгрывают в этой афише семь призов, семь экспресс-изданий. Предлагаем ответить на наши вопросы:

ЛЕВ РАЗГОН хорошо известен читателю как популяризатор, автор познавательной литературы для школьников. Одна из его наиболее известных книг «Под шифром «Рб» посвящена выдающемуся деятелю культуры прошлого века. Что это за шифр и о ком рассказал писатель?

«Царица Прасковья» — лишь часть трилогии, принадлежащей перу **МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СЕМЕВСКОГО**. Назовите другие исторические очерки, вошедшие в ее состав.

Тревога за судьбу родной земли зазвучала в художественном творчестве **ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА** задолго до того, как об экологии в полный голос заговорили печать, общественность, официальная наука. В каких произведениях писатель развивает эту тему?

Итак, ждем правильных ответов.

АФИША «КНИГИ»

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

ЛЕОНИД БЕЖИН

ПРОБУЖДЕНИЕ

Рассказ-воспоминание

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в Москве в 1949 году.
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР. Автор книг «Метро «Тургеневская», «Гуманитарный бум», «Ангел Варенька», «Ду Фу» (серия ЖЗЛ), «Под знаком «Ветра и Потока», «Се Линь Юнь». Основная творческая тема — жизнь интеллигенции, психологические проблемы человеческих взаимоотношений.

I

Не представляю себе Москвы без мастерских художников — не тех, которые назойливым и шумным табором раскинулись на старом Арбате, в уединенных, скрытых от посторонних глаз, прилепившихся, словно ласточкины гнезда, под крышами домов, на мансардах, в пристроечках и флигелечках. Посмотришь и не подумаешь, что мастерская, настолько все по-домашнему — даже цветок на окнах и палисадничек разбит, и леечка возле крыльца, и кошка на кирпичном заборе, но мелькнет за занавеской угол мольберта или гипсовая античная голова, и ясно станет: художник... А вскоре и он сам появится — с окладистой бородкой, рукава ковбойки закатаны до локтей, в руке склянка с разбавителем, — значит, кончил работу и сейчас будет мыть кисти и чистить палитру. По сосредоточенному выражению лица, с каким он это делает, по едва заметному движению губ и бровей, по обозначившимся на лбу глубоким морщинам угадываешь человека, привыкшего подолгу разговаривать с самим собой: лицо невольно *участвует* в разговоре. Глаза туманит рассеянная задумчивость, и струйка разбавителя не попадает в пригоршню руки. «Да ты, брат, из тех отшельников, которых сутками не оторвать от мольберта и которые по штришку, по мазочку выделывают свои полотна!» — готов воскликнуть свидетель этой сцены, и действительно, он прав: по штришку, по мазочку. Не показывая своих полотен даже самым близким друзьям. Сам себе — ценитель, сам себе — судья. Если что *не так* — скребок в руки, и полугодовой работы как не бывало. Зато к другим полон мягчайшей, участливой снисходительности, и случись оказаться на старом Арбате, перед мольбертами незадачливой уличной братии — никакой надменной позы учителя, никакого сознания своего превосходства. Окинет взглядом и кивнет головой, как бы даже поощряя, как бы даже похваливая, и только откровенное кощунство или полная неумелость заставят вдруг поугрюметь и отойти в сторону...

Признаться, и я бывал свидетелем таких сцен и частенько захаживал в московские мастерские. С видом робкого гостя, благодарного за полученное приглашение, я усаживался в кресло, подолгу разглядывал холсты, висевшие на стенах, и тоже кивал головой, тоже похваливал, хотя не столько живопись привлекала меня, сколько сами мастерские, эти фантастичнейшие углы, особые хранилища духа московского. Почему особые? Да потому что они совершенно непохожи на все то, с чем связываем представление о *настоящей* старой Москве — на белокаменный храм с пятью золотыми маковками, на особнячок-музей, дремлющий в арбатском переулке, на гнездо московского старожила. Каким образом та или иная пристроечка или флигель могут стать мастерской? Крыша течет, паркет коробится; в щели задувает ветер — отдать художнику. Так и выходит, что художник получает во владение эти удивительные чердаки и подвалы, мансарды и мезонины, брошенные прежними хозяевами, но сохраняющие следы их недавнего пребывания. Иными словами, это жилища, где когда-то жили, но уже *не живут*. Зато теперь там грунтуют холсты, выдавливают на палитру краски, пишут картины. Отсюда и этот странный, нереальный, фосфоресцирующий быт. То хозяин притащит со свалки рассохшийся буфет с цветными стеклышками в дверцах, то раздобудет старинный, затейливый поставец, то повесит на стену икону да еще лампадку зажжет — как подобает по православному обычаю. Вот и становится мастерская и храмом, и музеем, и гнездом старожила, и воцаряется в ней некий таинственный дух, некое загадочное свечение, столь свойственное всякому необычному месту. И робкий гость, сидящий в кресле и старательно разглядывающий холсты, иногда вздрагивает от неясного скрипа, от смутного шороха — словно незримая тень проносится над ним, и с наигранной беспечностью спрашивает хозяина: «Послушай, а как у тебя с домовыми? Не шалят?» А хозяин и рад бы ответить шуткой, да самому страшно. Поэтому он лишь прикладывает палец к губам и предостерегающе произносит: «Т-ссс!»

Среди московских мастерских есть одна, где мне доводилось бывать особенно часто. И не только потому, что расположена она в самом центре Москвы, на Пречистенке (все равно название это будет возвращено нынешней Кропоткинской, как Остоженка — бывшей Метростроевской), а главным образом, из-за давней дружбы с хозяином — художником Юрием Григоряном. Познакомились мы в ту пору, когда у него и мастерской-то своей не было и он урывками работал у брата, тоже художника Григория Григоряна, обитавшего на Остоженке (тогда еще — Метростроевской), в маленькой комнатушке, из окон которой была видна вся Москва — и Кремль, и Александровский сад, и два крыла старого университета, разделенные улицей Герцена, и красное теремное здание Исторического музея, и крыши Манежа — одним словом, все самое дорогое и близкое сердцу. Потому-то и любил я здесь бывать и с сожалением думал о том, что когда-нибудь мой друг получит и свою мастерскую — где-нибудь в новых районах, на краю Москвы, и — прощай, Остоженка! Для меня навсегда исчезнет картина, неведомой рукой вставленная в раму окна. Но случилось так, что мастерская Юрия оказалась на соседней улице, в двух шагах от мастерской Гриши, и вскоре для меня стало привычным и необходимым ритуалом войти под своды пречистенского дома, построенного в стиле модерн (изразцовый фриз, мозаика, лепной декор), подняться в лифте на последний этаж, а там — ступеньками потаенной лесенки — наверх, под самую крышу, к маленькой дверце, ведущей на мансарду! Надо позвонить — в дверном глазке вспыхнет свет, дверца откроется, и появится сам хозяин, хмурый и не слишком разговорчивый (оторвали от мольберта), с черной армянской бородкой, в длинном фартуке, делающем его похожим на каменотеса, в клетчатой ковбойке... да, да, рукава подвернуты и веер кистей в руке. Две-три фразы вместо приветствия и — тихонечко сесть в уголок, спрятать голову в газету, расставить фигурки на шахматной доске, всем своим видом показывая: я занимаюсь своими делами, тебе не мешаю, а ты — работай.

Или еще лучше — подойти к окну и посмотреть на крыши. Нигде нет таких московских крыш, какие видны из окон мастерской — высокие и низкие, пологие и горбатые, похожие на пюпитры огромного оркестра. А какие пожарные лестницы — старые, проржавевшие, местами забитые досками (чтобы не соблазнять мальчишек). Какие слуховые окна, тускло поблескивающие остатками выбитых стекол! Какие водостоки, трубно ревущие во время грозы и выплескивающие из жерла пенную дождевую муть! Поистине этот заповедный мир крыш так же много говорит сердцу москвича, как и царство глухих переулков, тихих двориков и тенистых бульваров, и я, живущий на третьем этаже, завидую моему другу, чья мастерская висит над Москвой, словно корзина воздушного шара... Последний мазок, и мой друг кончает работать — мое навязчивое присутствие все-таки заставляет обратить внимание на гостя. После ритуального подъема в лифте и восхождения по ступенькам потаенной лесенки меня ждет следующий ритуал — показа новых работ. Я выбираю точку обзора, складываю на груди руки и немного прищуриваюсь, как и подобает искушенному знатоку и ценителю, обязанному вынести взыскательное суждение. Мой друг ставит передо мной картины, которые до этого были повернуты к стене. И что же? Нахожу ли я в них продолжение чему-то *московскому*? Нахожу ли то самое веяние, которое незримо сопровождало меня, пока я шел знакомыми переулками от Арбата до Пречистенки? Признаться, и да, и нет... Порою мне бывает странно, попадая сюда, на эту мансарду, висящую над московскими крышами, видеть на холстах нечто совсем иное, восточное, то изнывающе сладостное, напряженное, яркое, то строгое и суровое, как домотканый армянский ковер. Откуда здесь, в Москве, Армения?! Зачем?! Почему?! Да потому что без этой озадачивающей странности, без этого дразнящего миража, без этого затейливого фокуса Москва — не Москва. В ней и Армения, и Италия, и древняя Русь! Еще герой «Чистого понедельника» удивлялся: «Странный город! Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...» Вот и пылающие краски армянской живописи тоже под стать Москве, где Запад издавна сливался с Востоком, классический особняк соседствовал с боярскими палатами, мавританский замок — с каким-нибудь конструктивистским чудом (дом Мельникова в Кривоарбатском), словом, смешивались самые разные стили и веяния.

Что ни говори, а Москва — не просто город. Москва — это столица, *метрополия*, и ей суждено некое объединяющее, соборное начало, без которого не могли бы возникнуть ни Василий Блаженный, ни Спас-на-Бору, ни Успенский собор в Кремле, построенный итальянцем Фиораванти. Вот и Юрий Григорян для меня *московский* художник, хотя он не пишет переулков Пречистенки, особнячков с колоннами и каменными львами. Но он москвич по духу, а это так важно для художника — быть москвичом (да не обидятся на меня ленинградцы или владимирцы!), наследовать тем традициям, которые сложились в городе, издавна взявшем на себя миссию духовного *центра*. Поэтому из глухих уголков — в Москву! В этом исконном стремлении коренного россиянина, в этом ломоносовском подвиге заложен тот высший максимализм духа, который способен удовлетвориться лишь истиной *в первой* инстанции. Москва давала конечный ответ на духовные запросы, и пытливый ум поверял ею себя — испытывал на крепость знаний и веры, взращенных в родном углу. Поэтому паломничество в Москву никогда не было бегством от родных мест: малая родина обретала завершающую полноту в большой. «Тот Англии не знает, кто знает только Англию», — гласит пословица. Не побывать в Москве, не испытать очищающего воздействия ее атмосферы, не попытаться хотя бы мысленно соотнести свой опыт с ее духовными достижениями — означало погрязнуть в самодовольном провинциализме, и точно так же, как древние паломники возвращались домой с горстью святой земли, художники находили в Москве свою святыню — приобщение к вольному артельному братству, творческое соперничество и дружбу. Вспомним удивительное начало века — манифесты, выставки, споры, борьбу направлений: «мне четырнадцать лет, ВХУТЕМАС...» Как легко себе представить бродящими по булыжной Москве, в тусклых отсветах уличных фонарей, под вывесками сапожных мастерских и галантерейных лавок и молодого Якулова, и молодого Сарьяна, и всех тех, с кого начиналась (вместе с веком!) современная армянская живопись. Скажут: Сарьян учился в Париже. Да, но *путь* в Париж лежал через Москву, через осмысление и претворение ее духовных традиций, и этот путь так или иначе проделали все армянские художники — от Сарьяна до Минаса Аветисяна. Вот и Юрий Григорян принес в Москву краски Нагорного Карабаха, где он родился и вырос, а в Нагорный Карабах — дыхание далекой Москвы.

Московский художник, он верен *своей* теме, и то постоянство, с которым он выписывает стену древнего храма, фигурку крестьянина с осликом или женщин, склонившихся у очага, сродни кропотливой работе чеканщиков или камнерезов. Мастерская моего друга тоже напоминает мастерские ремесленников, постукивающих молоточком по наковальне, — в ней нет ничего богемного, артистического, призванного намекнуть на утонченные запросы хозяина, вызвать почтительное перешептывание и многозначительное переглядывание гостей, на которые можно ответить небрежным жестом: «Так... досталось от предков... остатки фамильной роскоши». Повторяю, ничего подобного в мастерской нет, — это именно жилище, а не храм и не музей. Порою мне даже кажется — жилище слишком аскетическое для московской мастерской, и я исподволь внушаю моему другу: а что если раздобыть какую-нибудь штуковину, какой-нибудь странный и замысловатый предмет вроде кованого сундука с громадным ржавым замком, старинной пищали или железного рыцаря с алебардой, но мой друг лишь улыбается в свою бородку и терпеливо ждет, когда иссякнут мои фантазии. Зачем ему рыцарь с алебардой?! И тут я начинаю понимать: он, живущий в Москве много лет, живет здесь *по-карабахски* — теми устоями, которые усвоил еще с детства. Эти устои просты, как армянский хлеб, как виноградное вино — имей вокруг себя лишь то, что тебе нужно. В этом секрет и его мастерской, и его живописи. Мой друг и в Париже, и в Лондоне, и на Таити будет писать все те же стены древнего храма, фигурку старика-крестьянина и женщин, склонившихся у очага. Вот замечательные слова французского писателя Э. Фромантена (кстати говоря, не только писателя, но и художника), вложенные им в уста главного героя романа «Доминик»: «Не в обиду будь сказано тем, кто отрицает, быть может, влияние почвы, я чувствовал, что есть во мне нечто чисто местное и неподатливое, чего мне никогда не пересадить всецело, и пусть бы даже я хотел акклиматизироваться (в Париже — Л. Б.), бесчисленные связи с родной землей, которых вырвать нельзя, доказали бы мне, причиняя постоянные и тщетные страдания, что это напрасный труд».

Пожалуй, это о нем, о моем друге, чьи «связи с родной землей» заставляют каждый год брать этюдник и туго набитый рюкзак, садиться в скорый поезд, затем пересаживаться в пыльный рейсовый автобус, а затем пешком подниматься в горы, в свою деревню. Говоря об этом, я хотел бы избежать того ложного умиления, с которым иногда рассказывают о таких поездках, о стремлении художника прикоснуться к родным корням и вновь обрести утраченные «связи». Уми-

ляться надо другому: как это художник сумел не поехать... не прикоснуться... не обрести... ведь это требует гораздо большего мужества, большего усилия над собой, большего самоотречения — разумеется, если художник истинный. Вот мне и бывает жаль моего друга, когда ему не удается вырваться из Москвы и он все лето проводит затворником в мастерской, заваривает зеленый чай в пузатом чайнике, передвигает на доске шахматные фигурки и смотрит в окно на горбатые московские крыши. Это — то, что я вижу. *Не вижу я* того, как он по утрам натягивает на подрамник новый холст, выдавливает из тюбиков краски и — работает. Но я знаю, что снова не найду на его холстах ничего московского, и это не огорчает меня. Я как бы говорю себе: да, он московский, но он и *армянский* художник со своим «дыханием почвы и судьбы». Именно оно, это дыхание, уберегло Юрия Григоряна от всех соблазнов новомодных течений и сохранило в нем органичное живописное начало. Точно так же, как в убранстве своей мастерской он остается верен нехитрой житейской мудрости, он и в живописи доверяет простому правилу — будь самим собой, не гонись за модой и не старайся походить на других, даже самых знаменитых и признанных. Юрий Григорян не выстраивает в своих картинах условных рядов, ему чужда *знаковость* современной живописи, превращающей реальность в элемент концепции. Живопись для него — прежде всего именно живопись (хочется с большой буквы), свободная, непредсказуемая, живая, а для художника — это самое главное.

II

Кого я только не повидал в мастерской моего друга! Поистине его мансарда обладала загадочным свойством — притягивать самых разных, самых непохожих друг на друга, самых фантастических и невообразимых людей с той неуемной силой характера, которая — словно стеклянная масса, расплавленная в печи стеклодува — свободно принимает любые формы. Вот и среди гостей моего друга встречались чудаки и оригиналы настоящей московской складки, разгуливающие по бульварам в войлочных ботинках, прикармливающие голубей на лавочках, исподтишка мяукающие и кричащие петухом, чтобы затем (когда обернутся прохожие) принять серьезный вид человека, неспособного на такие глупости. А впрочем, наведывался всякий народ, и ладно бы только художники — им, как говорится, сам бог велел, а то ведь и коллеги-музыканты, и друзья-актеры, и братья-литераторы взбирались вереницей по лесенке, звонили в дверь, нагибались к дверному глазку, определяя по вспыхнувшему свету, дома ли хозяин, а когда тот показывался на пороге, дружно набрасывались с рукопожатиями и объятиями. Тут уж не спрячешься, тут уж не поработаешь — накрывай на стол, принимай гостей! Надо сказать, мой друг всегда умел это делать, и на столе тотчас же появлялась свежая зелень, горы овощей, горячий лаваш, приправленная кислым мацони долма. Хозяин занимал свое место во главе стола, и начинался восточный пир. А где пир, там и разговоры, возвышенные речи, пылкие и восторженные признания, и все это искренне, от самого сердца. Случалось, что в разгар пира распахивалась дверь, и приехавший прямо с концерта альтист вставал посреди мастерской, брал в руки тугой смычок и, чуть склонившись к своему инструменту со звучным названием виоль-де-амур, играл старинный армянский речитатив. Или скрипач доставал из футляра скрипку, тускло поблескивавшую потемневшим от времени лаком, или певица пробовала голос, разносившийся эхом под сводчатым потолком. Да, все это бывало, и бывало не раз, но мастерская не становилась от этого светским салоном, артистической студией, богемным чердаком — подобная метаморфоза была бы совсем не в духе Москвы, а оставалась именно гостеприимным жилищем, где вечно ночевали какие-то люди, родственники и знакомые моего друга, проездом оказавшиеся в столице, вечно шумела в кранах вода, кто-то брился у зеркала, кто-то жарил на кухне яичницу, а кто-то мирно похрапывал на кушетке, укрывшись клетчатым пледом.

Так я однажды познакомился с другом моего друга — художником Сергеем Шадруновым, приехавшим из северных краев, из Архангельска, и тоже остановившимся в мастерской. И не только остановившимся, а как-то сразу удивительно *совпавшим* с нею, — когда я впервые его увидел, мне подумалось: ну вот, такого человека здесь всегда не хватало.

Не хватало, как у иных вещей не хватает хозяина. Владелец у них вроде бы есть, но это именно владелец, обладающий правом собственности на вещь, но не связанный с нею незримой нитью родства и некоего тайного единства, благодаря которому вещь как бы приобретает *физиономию* человека. Такой вещью без физиономии мне всегда казалась причудливая, вырезанная из дерева птица, висевшая под потолком мастерской — изделие архангельских умельцев, а теперь передо мною возник человек, принесший ее в подарок, *впустивший* ее сюда, и птица словно бы вновь обрела хозяина. Иногда я даже готов был поверить, что эту птицу он вырезал сам, собственноручно — столько в его длинных, худых руках «ухватистой силы», ловкости и сноровки, да и весь он — светловолосый, с лицом помора — вылитый мастеровой, умелец, совестливый работник. При нашей первой встрече мы поговорили совсем немного, — да и не из тех он, кто охотно и помногу разговаривает. Запомнилось только, как смолил папиросы, сидя в угловатой и немного нескладной позе: нога на ногу, кулаком подпирает щеку, сутулая спина согнута — ни дать, ни взять промысловый рыбак на замшелом прибрежном валуне, вернувшийся вечером с лова. Но запомнилось — крепко, и поэтому я так обрадовался, когда мой друг, не сумевший вырваться в родную деревню, пригласил меня поехать в Архангельск. К Шадрунову. «Увидишь его мастерскую», — сказал он, зная о моем пристрастии к мастерским художников, одинаково притягивавшим меня, где бы я их не встретил: в Москве, в Архангельске, на другом конце света. Я, конечно же, согласился, тем более, что мой друг обещал познакомить меня с еще одним архангельским художником и *удивительным* человеком — Борисом Копыловым. Раз удивительный — надо бросать все дела и ехать. И вот мы взяли билеты, сели в поезд, проговорили всю ночь под мигающей лампочкой пустого вагонного коридора, а утром благополучно высадились в Архангельске.

В этом городе я бывал уже не раз, и мое представление о нем никогда не имело определенных контуров, как, скажем, представление о других городах (Ленинград — это Невский проспект, Исакий, кони Клодта, Киев — это...), а всегда рождалось из неуловимого привкуса дерева, то ли смолистого, хвойного, *живого*, то ли высохшего, выветривающегося, почерневшего от времени. Так чернеют бревна старых двухэтажных домов, которых в Архангельске почти не осталось, но деревянный привкус в воздухе странным образом сохранился, смешавшись с еще одним привкусом — холодного северного моря. Оно, это море, словно бы и не лежит, а именно стоит рядом — наподобие невидимой воздушной стены или темного грозового облака, настолько щедро просолены здесь тротуары, заборы и крыши. Дерево и море — напоминание о прежнем Архангельске, благодатное и отрадное. Нынешний же Архангельск вызывает иное, не осознаваемое до конца чувство — уныния, потерянности и тоски. Да, да, неосознаваемое, поскольку ему вроде бы и взяться-то неоткуда, этому чувству, но оно есть, вот оно — сочится, словно дождевая капель сквозь худую крышу. Кап-кап-кап. И не разберешь толком, в чем тут дело, отчего тебе так зябко и неуютно. То ли безотрадностью веет от одинаковых блочных домов с железными решетками балконов, то ли удручающе скудны улицы с фанерными ларьками и плакатами «Выполним и перевыполним...», то ли заполненный вечерней толпой город необъяснимо пуст для человека — каждого человека в отдельности. Не освоен им, не обжит, не приближен к чуткому веществу души. Впрочем, так бывает не только в Архангельске, но и во многих провинциальных городах, имена которых таким призывным эхом тревожат душу — Торжок, Калач, Звенигород, а стоит приехать и оглянуться вокруг: то же уныние, потерянность и тоска. Невольно думаешь: какими же вырастают дети, родившиеся на этих улицах, в этих домах, ведь несколько капель, просочившихся тебе в душу, для них — океан. Они смотрят на эти улицы каждый день, и никакой рентген не покажет тех отпечатков, которые они оставляют в душе... Потому-то мы с моим другом и не стали долго бродить по улицам, а сразу отправились к Шадрунову. Позвонили из автомата: «Мы здесь» и двинулись по указанному адресу.

И что же?! Насколько совпадал Шадрунов с мастерской моего друга, настолько же *не совпадал* он с собственным домом, и мне странно было видеть его длинную угловатую фигуру в окружении незатейливых вещиц, продающихся в наших магазинах: шкафчик, диванчик, накрытый скатертью стол. Правда, одно было необычно — картины. Они висели на стенах и словно бы создавали совсем иной мир внутри этого скудного жилища, и вот тут-то я впервые понял Шадрунова-художника. Странное дело, по своей внешности суровый помор-рыбак, в живописи он стремился к чему-то эфирному, туманному, струящемуся голубым светом, недаром на него так повлияли прибалты. Это была не живопись той действительности, которая его окружала, а некая мечта, некий вымышленный образ, снабженный отдельными этнографическими подробностями. Во всяком случае так мне показалось вначале, хотя затем — и у него в мастерской, и в московском Манеже, где он не раз выставлялся — мое представление о Шадрунове обогатилось за счет сильных, напряженных по живописи реалистических работ. Тогда же, при первом знакомстве, особенно запомнился «Черный кот» — лежит, посверкивая фосфорическим глазом, загадочный, таинственный, как у Эдгара По. Я всматривался в эту картину, чувствуя смутный трепет и возраставшее желание всмотреться еще и еще: картина *притягивала*. Я вставал, подходил почти вплотную, отходил на несколько шагов — притягивала, и все тут. Так пролетел у нас первый день, а на следующее утро побывали мы в городском музее, заглянули на какую-то выставку, но, видимо, догадавшись, что в городе нам не слишком уютно, Шадрунов предложил поехать в Ижму — деревеньку под Архангельском, где у него был свой домик. «Кстати, познакомитесь с Копыловым. Он больше половины года проводит в деревне», — пообещал он нам, и мы откликнулись на это с большой охотой. Погрузились на пароходик (с рюкзаками и собакой, которую тоже звали Ижмой) и вскоре отчалили. И чем дальше отплывали мы от Архангельска, тем заметнее возвращалось к Шадрунову его совпадение — с пологими берегами реки, затонами, островками, хвойным лесом, а уж когда добрались до домика и Шадрунов облачился в заношенную телогрейку, потертые вылинявшие джинсы и резиновые сапоги, совпадение стало полным: ни дать, ни взять — завзятый грибник или охотник. И вся обстановка в доме — под стать ему: деревянные лавки, грубо сколоченные столы, тусклые маленькие оконца. Сушится трава на веревке, пахнет сеном. На подоконнике тюбики выдавленной краски. Значит, и здесь мастерская, правда, временная, для летних наездов...

«Ну, а где же ваш Копылов?» — спросил я, помня об обещанном мне знакомстве с удивительным человеком и как бы слегка поддразнивая Шадрунова оттенком недоверия в голосе: такой ли уж удивительный, такой ли уж необыкновенный, а не преувеличили, не перехвалили? Шадрунов по своей привычке ничего не ответил, свалил в угол тяжелые рюкзаки, раздал нам запасные резиновые сапоги, хранившиеся в доме, и махнул рукой: пошли, ребята! И вот — первая встреча с Копыловым, о котором до этого мне успели рассказать, что живется ему трудно, картины его почти не покупают и зарабатывает он гроши, едва хватает на содержание семейства, но и сам не жалуется и домашних приучил не жаловаться — довольствоваться малым. Главное в жизни для него — творчество и природа, поэтому весной уезжает в деревню, возделывает огород, ловит рыбу, собирает грибы и ягоды, а в перерывах — пишет картины. Каждую подолгу вынашивает, выстраивает в голове замысел, выискивает потайной ключик, а затем — сразу на холст. И картины получаются *замысловатые*, с философским подтекстом. Недавно была персональная выставка — чудом удалось пробить. Но лавров и почестей она не принесла — напротив, усилился ропот среди художников и городских властей. Кое-кому картины показались странными — какие-то символы, аллегории, намеки. А где же наше, простое, доступное сердцу? Почему художник не изображает все как есть, а стремится домысливать и обобщать? Нет, чужой он нам — не хотим, не примем. Выставку устроить разрешили (все-таки неудобно: столько лет работает!), но поддерживать не будем — пусть сам по себе. Выстоит так выстоит, а сломается — значит, сам виноват, не хватило выдержки, не по тому пути шел... Так (или примерно так) рассуждали многие противники Копылова — во всяком случае нечто подобное проскользнуло в беседе с представителем одной инстанции, у которого мы побывали накануне и которому задали вопрос о выставке. Да, да, некая начальственная нотка в голосе... некий штришок, акцентик, предостерегающий жест: «...талантлив, но не следовало бы слишком...» И вот — наша встреча. «Борис Копылов», — называет свое имя темноволосый крепыш, одетый в клетчатую ковбойку, и пожимает мне руку, дружески кивая своим старым знакомым — москвичу и архангельцу.

Я отвечаю таким же рукопожатием, замечая при этом, что рука у Копылова крепкая, покрытая ссадинами и царапинами — признак того, что ему одинаково привычны и кисть художника, и плотницкий молоток. А когда я перевожу взгляд на самодельную домашнюю утварь, дымящиеся в печи горшки, сушеные грибы и травы, ягоды в берестяном лукошке и тут же на мольберте — маленькие этюды, именуемые им почеркушками, для меня вдруг вырисовывается *мировоззрение* этого человека. Сложившееся, выношенное, основанное на непоколебимых принципах. «Эка невидаль, — скажут. — Да у нас каждый школьник...» Нет, нет, не *каждый*, потому что мировоззрение это личностное, выработанное для своей собственной жизни и своею жизнью оправдываемое. А это задача не из школьного учебника — жить по установленной над собою правде. Как мало у нас таких жизней! Убеждений, взглядов, систем, теорий — предостаточно, но чтобы самому же и осуществить теорию, самому же и доказать верность взглядам — такое встретишь гораздо реже. Так же редко, как решимость врача-подвижника привить себе вирус тяжелой болезни, чтобы следить за действием нового лекарства. Поможет или не поможет? Если не поможет — смерть, а если поможет — второе рождение и вторая жизнь. С мировоззрением конечный итог тот же самый: либо не выдержишь и сдашься (и тогда — пропал!), либо выдержишь и тогда родишься вторично — как *духовный* человек. В Копылове я этого духовного человека почувствовал — по многим штрихам и деталям. Во-первых, отказался от традиционной — за встречу, за знакомство — рюмки спиртного. Точнее, даже не отказался, пригубил, но было видно, что только из вежливости, чтобы не обидеть гостей, не озадачить их сразу, не вызвать смущение и растерянность: я, мол, такой, праведник, а вы... Во-вторых, все, чем угощал нас Копылов, было им самим выращено, принесено из леса, поймано в реке, и ничего купленного в магазине на столе мы не увидели (да и не удивительно при зарплате шестьдесят рублей в месяц!). В-третьих, все, о чем он говорил и что нам показывал, выдавало в нем человека, живущего единой жизнью с лесом, с рекой, со всей природой.

Может быть, кто-то скажет: «Да сколько раз уже возникала такая идея!» и приведет множество примеров из истории мировой культуры. Руссо, английские романтики, «Жизнь в лесу». И всякий раз это кончалось... если не крахом, то все равно *кончалось*, так как нельзя жить в лесу, делая вид, что не существует городов, фабричных труб и автомобильных дорог. Они существуют, и это тоже жизнь, которая нам дана, а мы хотим заменить ее на какую-то другую — кажущуюся нам более разумной, цельной и гармоничной. Но недаром говорится: не так живи, как *хочется*. Жизнь — не предмет осуществления желаний, а нечто более непреложное. Ее поверхность — шероховата, как ноздреватая поверхность застывшего бетона. И эту шероховатость не устранить актом свободного выбора: хочу... не хочу... От нее не избавиться бегством — она неотступно последует за нами, как наша собственная тень. Живешь — значит, гладишь ладонью застывший бетон. Каждую минуту чувствуешь шероховатость быта, несложившихся отношений с близкими, тоскливого одиночества. Дымят фабричные трубы, не смолкает гул автомобильных дорог, и никуда тебе от этого не деться. Не вырваться. Если только не решишься дерзнуть, но тогда твоя жизнь превращается в непрерывный *поступок*, а это трудно — ох, как трудно! Лишь героическим личностям — подвижникам духа — это удавалось, да и то в затворе, в монастыре, в «отдаленном скиту», о котором писал Блок. А ты попробуй в миру, в гуще людской, и тогда посмотрим, чего ты стоишь... Мне кажется, Копылов дерзнул и попробовал, правда, религию (я не случайно упомянул о монастырях) ему заменили искусство и природа, но служить им он стал с тем же рвением, с каким истинный подвижник служит Богу. В отношении искусства это понятно и вполне переводимо на привычный нам язык: творчество — святыня, художник — пророк и т. д. Но вот в отношении природы это уяснить труд-

нее, особенно если вспомнить (как бы на минуту очнуться от сна и полуобморочным жестом пошарить вокруг себя), что от природы нашей почти ничего не осталось. Какая уж там природа, если целые моря исчезают и реки готовы повернуть вспять! А тут находится чудак, для которого природа — перефразируя тургеневского нигилиста, даже не мастерская, а храм. И человек в нем не работник, а благоговейный созерцатель, смиренно склонивший голову и застывший в предстоянии и молитве.

Потому-то и обмолвился Копылов в разговоре, что никогда бы не стал охотником, да и рыбачит совсем не из азарта, а по необходимости — надо добывать пропитание, на одних грибах и ягодах с семьей не продержишься. А иначе и не забрасывал бы удочку и не дергал окуньков — просто сидел бы на берегу и любовался рекой, мостиком, зарослями осоки, истоптанным коровами спуском к водопою. Ему жаль уничтожать живое, хотя он не лесник, не инспектор рыбнадзора, а художник. Но в том-то и парадокс нашего времени, что на искусство возложено больше, чем в прежние времена. Вроде бы трудно сравнивать Репина, Антокольского, Ге с нашими современниками, но — больше, больше, потому что мы лишены абсолютных духовных начал (церковь отделена от государства), и искусству приходится заполнять лакуну. Странная вещь: творчество у нас становится не столько профессией, сколько образом жизни, если понимать под образом — образец, пример, моральное правило. Наше общество так устроено, что только художник — человек, который не занят на службе — обладает возможностью свободно распоряжаться своим временем и, к тому же, имеет уединенное место для творческих занятий — мастерскую. Место и время — два необходимых условия для духовного существования, для развития личности, требующего — как и физическое развитие — каждодневного труда, упорных упражнений, терпеливого проминания в руках (так скульптор перед началом работы мнет глину) неподатливого душевного вещества. Раньше потому-то и уходили в монастыри, что там обретали время и место для трудов праведных — чтения духовных книг, поста и молитвы. Потому-то и стремятся сейчас в художники, что меньше стало монастырей, поубавилось места, подужалось время, а мастерская в этом смысле — та же келья, тот же «отдаленный скит». Особенно такая мастерская, как у Копылова в Ижме, где совершенно отсутствует богема, артистический беспорядок, а наоборот, властвует строжайшая дисциплина, спартанская организованность быта, суровый аскетизм. Видно, что хозяин попусту времени не тратит. Каждый час отдан труду — за мольбертом, за верстаком, за письменным столом. Главное, чтобы не остывала промятая в руках глина, чтобы духовной — творческой — жизнью жила душа.

Художник, изучай природу! Для Копылова это не просто слова — он именно изучает, вглядывается, всматривается, убежденный в том, что природа — источник всякого творчества, а уж тем более — творчества живописного. Надо только проникнуть сквозь оболочку вещей в их сердцевину, разгадать тайну цветущего дерева, голубого неба, прибрежных камней. К примеру, как изобразить на картине весну? Самый нехитрый способ — написать растаявший снег, сосульки на крышах, сверкающую под солнцем капель. Сколько мы знаем таких вариаций на тему саврасовских «Грачей», повторяющих друг друга почти буквально, Копылов же находит иной — неповторимый — способ. Он изображает на картине весенний сок, бурлящий в стволе дерева, и это вызывает почти физическое ощущение весны. Сгустки масляной краски положены так, что мы чувствуем — осязаем — кипение весенних сил, словно бы разрывающих древесные клетки. Дерево на картине как бы обнажено, распахнуто — дерево без коры! Оно струится, пенится, распадается на множество мелких брызг, похожее на вырвавшийся из земли горячий источник, и эта совершающаяся на наших глазах жизнь становится символом обновления всей природы. Так неожиданно воспел Копылов весну, но вот рядом другая картина. На ней изображен прекрасный старинный храм, рассеченный трещиной. Огромной трещиной — во всю картину. Угрожающей, зловещей, похожей на застывшую черную молнию. Помню, как меня поразил этот символ и как долго я стоял перед картиной, сравнивая ее с копыловской «Весной» и думая о том, что рукотворная красота не обновляется, а гибнет и бесследно исчезает от равнодушия человека. Это было уже в архангельской мастерской Копылова — мы вместе вернулись в город, — чтобы посмотреть его большие работы. Вернулись вечером — солнце уже погасло, небо окутали облака, и в фосфорической матовой белизне воздуха мерцала луна. На следующее утро Копылов пригласил нас к себе — в мастерскую с огромным окном во всю стену и лесенкой на антресоли. Работы показывал неспеша, в строго определенном порядке — выносил, ставил и снова уносил в запасник. Было видно, как заботила его мысль о целом и как старался он, чтобы каждая картина по-своему продолжала предыдущую. Он как бы вел нас вверх по лестнице, и каждая картина была новой ступенькой в познании. Познании мира, природы и человека, красоты и добра.

III

Да, на искусство возложено, и если перед вами художник, ищите в нем кого угодно — отшельника, философа, чудака, но только не профессионального маэстро в просторной блузе и бархатном берете, пишущего на заказ семейные портреты, бранящегося с домовладельцем, требующим платы за аренду студии, и раздающего тумаки нерадивым ученикам. Этот отчеканенный традицией тип в наше время сменился другим, куда более размытым и неопределенным, но зато — и более многозначным, заключающим в себе богатое и неожиданное содержание. Неожиданное — до парадоксальности, до гротеска. Вместо блузы и берета — ковбойка в клеточку, вместо студии — пристроечка или флигелечек, вместо нерадивых учеников — соседская девочка, слюнявящая цветной карандашик, но заговорите с таким маэстро, и окажется, что он, с виду застенчивый и скромный, слегка заикающийся от волнения и норовящий незаметно смахнуть пыль с фанерного стула, на который вы собираетесь сесть, в помыслах своих дерзнул и вознесся до высот, и не снившихся его простодушному предшественнику. Для этого пределом мечтаний было превзойти всех прочих собратьев по живописному цеху, добившись славы лучшего из художников (к тому же, завесть собственный дом, купить карету, запряженную четверкой коней, и выписать итальянского повара), а этому вообще уже мало быть художником, и замашки у него наполеоновские. Да что там наполеоновские — поднимай выше, и вот уже вкрадчивый голос нашептывает ему, что он чуть ли не мессия, небесный вестник, судья человечества. Ему бы писать пейзажики с речкой, а он созидает картины не иначе, как библейские, апокалиптические, со вселенским охватом событий — от Адама и до конца света! Флигелечек у него маленький, тесный, а картины во всю стену — и в дверь-то не вынесешь! И уже столько их — девать некуда, а он — без устали, день и ночь... И соседская девочка, слюнявящая карандашик, вздрагивает и поднимает голову, когда слишком уж увлечется и, забыв о ее присутствии, внезапно вскрикнет, замычит или издаст странный гортанный звук, одновременно похожий и на возглас радости, и на сдавленный крик отчаяния...

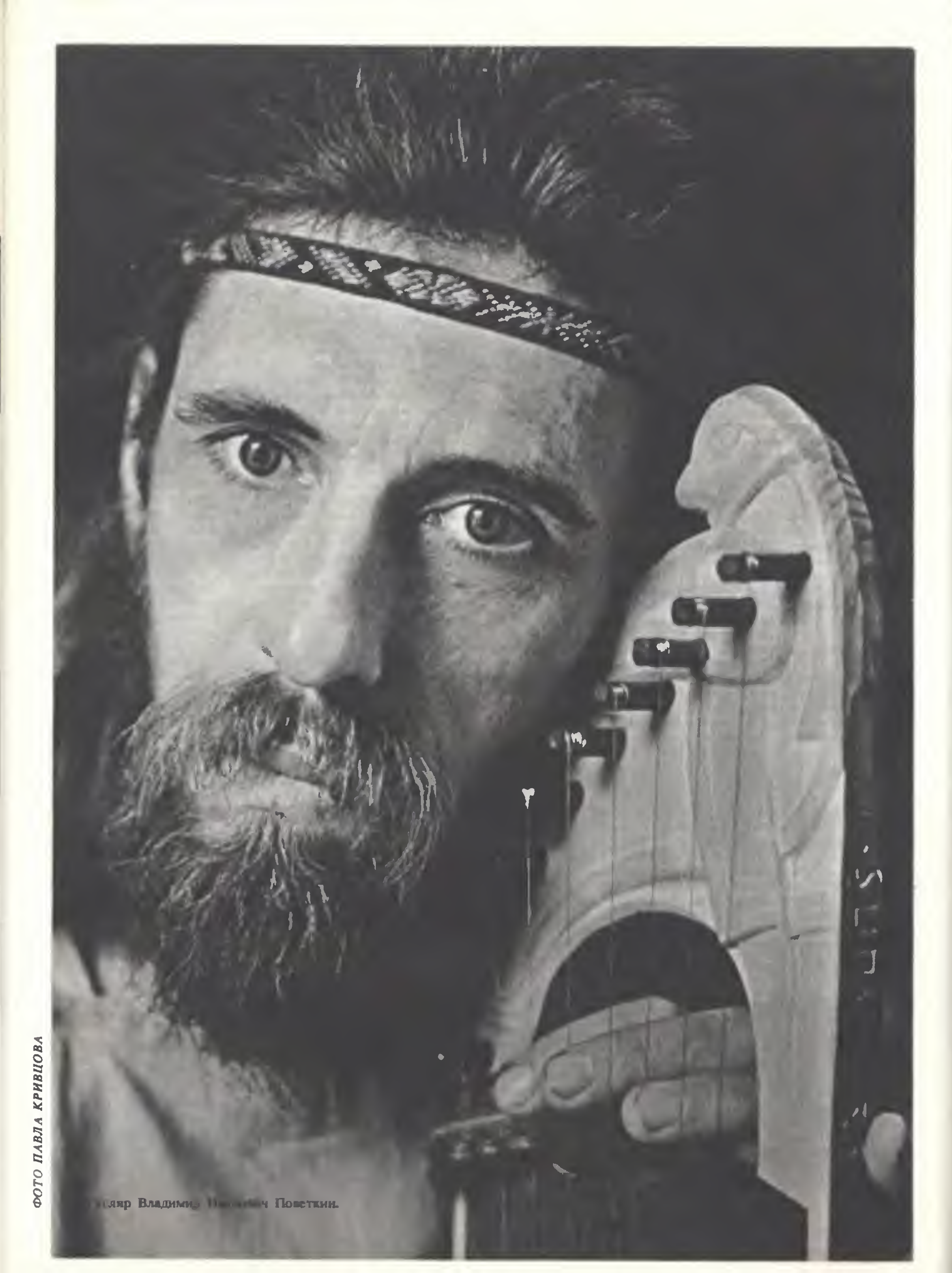
О таком художнике я и хочу рассказать, но сначала немного о Новгороде, куда мы отправились с моим другом — композитором Андреем Головиным. О поездке в этот город мы мечтали давно, с воодушевлением людей, привыкших к оседлой жизни, убеждая друг друга, что уж там-то надо побывать непременно — увидеть соборы и звонницы, обойти Кремль с островерхими башнями — Спасской, Покровской, Златоустовской, постоять у берегов Волхова, где когда-то поднимали паруса купеческие струги, груженые редким товаром, одним словом, испытать чувство современных жителей Афин или Рима, которые, оторвавшись от утренней газеты, привычно взирают на Парфенон или развалины Колизея. Точно так же и нам странно подумать, что описанный в летописях, воспетый в былинах Новгород есть и поныне, и даже название сохранилось — не переименовали! Люди завтракают за столиками кафе, покупают лекарство в аптеке, заказывают междугородные разговоры, стригутся в парикмахерских, а живут в Новгороде! Удивительное совпадение — наверное, оно-то и влечет сюда толпы приезжих. «На днях собираюсь в командировку». «Можно полюбопытствовать, куда?» «Отчего же! Охотно раскрою секрет. В Новгород. На недельку». Командировка и — в Новгород! Разве не рождается при этом мгновенного сознания сопричастности тому, что одновременно и так реально, и так фантастично, несбыточно, сказочно! Ведь одно дело у Римского-Корсакова... в опере... когда отгремит увертюра и раздвинется бархатный занавес, а другое дело — в окошке поезда, медленно пробуждающегося после долгой северной ночи, за беленькой занавесочкой... Нов-го-род! Как ни повторяй раздельно, как ни произноси по слогам, все равно до конца не свыкнешься с этим загадочным словом, и для тебя единственный выход — взять билет и поехать. Так мы однажды и поступили с моим другом: взяли билеты на ночной поезд, уложили в дорожную сумку бритвенные приборы, запаслись толковым путеводителем — с тем, чтобы за день осмотреть Новгород и ночным поездом вернуться в Москву. Удобнейший способ путешествий — никаких хлопот с гостиницами, оформления номеров, жидкой сметаны в пустом буфете. Вышел из поезда, и ты — вольная птица...

Впрочем, на этот раз не совсем вольная, поскольку на нас было возложено поручение. Как это бывает накануне таких поездок, нас попросили в Новгороде зайти по одному адресу и передать привет одному человеку, нам совершенно незнакомому, но что поделаешь, если просят... Поручение вроде бы не особо обременительное, и хотя было немного жаль тратить время на подобные мелочи, мы согласились, не вдаваясь в расспросы, что это за человек и чем занимается. Какой-то реставратор, восстанавливает древние новгородские гусли — больше мы ничего о нем не знали. Разве что фамилию, написанную на бумажке с адресом — певучую, легкую — Поветкин... И вот ранним утром мы высадились из поезда, прошлись по платформе, окутанной предрассветным туманом, огляделись вокруг и поняли, что задуманное сбылось и мы действительно в Новгороде. И хотя утро было хмурое и обещал зарядить дождь, мы ощутили внезапный прилив восторга и лихорадочной взвинченности, которые в первую минуту охватывают всех приезжих. Ну, казалось, теперь начнется, теперь держись... Чтобы разом освободиться от всех забот, мы заранее купили обратный билет, а затем на полупустом троллейбусе, еще не успевшем согреться от людского тепла, добрались до центра. Там-то и началось то самое... удивительное... да, да, как у Римского-Корсакова, и с тою лишь разницей, что мы видели это не в дымчато-фиолетовый окуляр бинокля, наведенного на сцену, а с расстояния полшага — протяни руку, и ты коснешься. Почему-то очень важно для нас — самим прикоснуться, притронуться, погладить рукой. То ли стремление осязать святыню досталось нам еще от первобытной магии, от языческих культов, то ли в христианские времена мы усвоили понятие святого места, куда надлежит совершать паломничества, но сам момент соприкосновения переживается нами особенно. Особенно и выражается — не словами, возгласами, восторженными жестами, а сосредоточенным, застенчивым молчанием, боязнью лишнего слова. Поэтому мы с моим другом лишь задирали вверх головы, разглядывая золоченые купола, гладили белые обтесанные камни и тихонько вздыхали — каждый погруженный в свои мысли. Но эти свои мысли у нас полностью совпадали, словно мы оба думали об одном и том же — о могучих очертаниях, удивительной архитектурной линии новгородских соборов, совершенно не похожей на линию московских и владимирских — слегка волнистой, извилистой и как бы даже кривоватой, сказочно изогнутой, будто у избушки на курьей ножке...

Мы долго бродили по центру, листали странички путеводителя, что-то черкали в записных книжках, пока не вспомнили о бумажке с адресом. Надо было выполнить поручение, и мы отправились к человеку с фамилией Поветкин. Разыскали его домик на тихой улочке. Постучались. Ждем. Хозяин открыл нам не сразу, и по тому, как отчаянно слипались у него глаза, как щурился он на дневной свет, было видно, что мы его разбудили. Слегка смутившись, мы представились и объяснили цель своего прихода: «Вам привет от вашего знакомого...» Он не удивился и вроде бы даже не слишком обрадовался — только улыбнулся спокойной, приветливой и кроткой улыбкой, какая бывает у тех, чье доброе отношение к людям не зависит от их достоинств или недостатков. Улыбнулся и пригласил нас в комнату — точнее сказать, в мастерскую, поскольку мы сразу заметили заваленный стружками верстак и столярные инструменты — пилу, рубанок, банку с гвоздями. Да и сам хозяин больше всего походил на мастерового — простая домотканая рубаха, такие же простые, подпоясанные ремешком штаны, подвязанные шнурком волосы и карандашик за ухом. Да, да, походил разительно, но не на мастерового-умельца, с утра постукивающего молоточком, а на мастерового-художника, который способен проснуться среди ночи и работать до зари, если ему внезапно откроется... явится... если его посетит вдохновение. Так, вероятно, получилось и на этот раз. Извиняясь перед нами за заспанный вид, хозяин мастерской признался, что заснул под самое утро, и гора свежих стружек на верстаке словно бы еще хранила жар лихорадочной ночной работы. Неужели так увлечен своими гуслями?! Этот вопрос невольно возникал в голове, и мы стали расспрашивать — исподволь, осторожно, стараясь не показаться назойливыми — о древних новгородских гуслях, их устройстве и методах реставрации. Поветкин охотно рассказывал и показывал — снимал со стены готовые инструменты, подкручивал колки, перебирал струны, а на губах все та же приветливая, кроткая и чуть отстраненная улыбка, словно в мыслях был он от нас далеко и мысли эти берег, таил и всуе не раскрывал. Мастеровой-художник... нет, пожалуй, этим всего не объяснишь... тут что-то другое, но что же именно?

После всего услышанного о гуслях нам захотелось, чтобы Поветкин на них сыграл, и мы с той же осторожностью попросили: «А вы не могли бы..?» Он ответил уклончиво, вроде бы и не соглашаясь, и не отказываясь, а затем вдруг протянул гусли моему другу-композитору: «Попробуйте...» Мой друг авторитетно прокашлялся, положил гусли к себе на колени, но поскольку в консерватории у нас игре на новгородских гуслях не обучают, вскоре вернул их хозяину. Не получилось. И вот тут-то заиграл Поветкин... Я даже не осознал сразу, что произошло, и только почувствовал себя так, как чувствуют люди, очнувшиеся после обморока: где я?! Неужели в той же комнате?! На том же самом стуле?! И неужели это играет тот самый человек, который недавно щурился заспанными глазами на дневной свет?! Да, тот же самый — и рубаха, и шнурок, и карандашик, но как играет! Как играет! Описать это невозможно, да и не стоит описывать — лучше вспомнить древнерусское: «Струны рокотаху» и представить себе этот рокот, ропот, рычание. Именно по-львиному рыкали струны у Поветкина, и музыка набегала с тревожной силой, словно осенняя рябь на серую воду Волхова. Признаться, в какой-то момент я не выдержал — горло перехватило, губы предательски задрожали, в глазах защипало, и я выбежал вон, даже не попрощавшись с хозяином. Вслед за мной вышел на улицу и мой друг — по его лицу я догадался, что и он едва сдержал слезы. А затем в дверях появился растерянный Поветкин, пытавшийся остановить бегущих гостей, но — куда там! Никакая сила не могла бы нас заставить снова оказаться там, где мы пережили это потрясение, и странно было бы после этих минут сидеть за столом, пить чай и разговаривать о погоде. Поэтому мы неумело поблагодарили хозяина и, сославшись на несуществующие срочные дела, поспешили откланяться. «Голоса приближаются. Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Сейчас я думаю: может быть, зря мы не вернулись? Может быть, еще несколько часов, проведенных в мастерской Поветкина, позволили бы больше понять в нем или, как принято выражаться в таких случаях, обогатили наше представление о человеке? Не знаю. В ту минуту мне казалось, что понято главное, а все остальное — лишь мелкие, ненужные подробности. Главное же заключалось в том, что Поветкин — хотя он и назывался реставратором новгородской старины, на самом-то деле жил этой стариной так же, как мы живем сегодняшним днем. Да, да, именно так же — совпадение буквальное. Мы носим шляпы и пиджаки, он — простую рубаху навыпуск. Мы читаем газеты и книги, он — древние летописи. Мы играем на рояле и скрипке (а охотнее на гитаре), он — на новгородских гуслях. По своей жизненной значимости для нас и для него эти понятия равны, но они различаются по духовной наполненности, и в этом-то вся штука! И если оценивать нас по этой мерке, то мы как бы символизируем правило, он — исключение. Иными словами, необычный, редкий человек — вот как должны мы его называть, как бы продолжая тот разговор, который ведут между собой персонажи одного рассказа Тургенева: «Зимний вечер только что начинался, самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей». Чем отличаются? Ясно дело — энтузиазмом, подвижничеством, жизнью ради идеи, хотя такие



Гусляр Владимир Николаевич Поветкин.

ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА

определения необыкновенных людей встречались во времена Тургенева, мы же чаще называем их чудаками. Чудак, мол, что с него взять! Но при этом подспудно чувствуем, что отчасти завидуем чудаку: он живет с в о е й жизнью, а мы — чужими. У него — мировоззрение, у нас — здравый смысл. Он свободен в своих поступках, мы же рабски зависим от обстоятельств, от мнения других, от предрассудков. Подсмеиваемся / нашли, кого слушать!/, но — ловим. С чудаком надо поосторожнее, поуважительнее, а то накажет, как Иван-дурак царского воеводу...

С этими мыслями и уходили мы от Поветкина. Мне он чем-то напоминал Копылова: оба — художники и оба — чудаки. У обоих хватило смелости выбрать для себя такую жизнь, которая отвечала их принципам, их мировоззрению. Оба терпят лишения, но — не сдаются. Так мы думали, сравнивали и, признаться, не торопились продолжить нашу экскурсию. То, пережитое у стен Кремля, перед соборами, словно бы отодвинулось, подернулось дымкой, а э т о, связанное с мастерской Поветкина, с новгородскими гуслями, проступило отчетливее и яснее. Старина о ж и л а — перенеслась из прошлого в наши дни, и мы чувствовали, что тоже живем ею. Тут-то и обнаружился другой адресочек — он был записан на той же бумажке, что и адрес Поветкина, но только более мелким почерком, почти неразборчиво. Но мы все-таки разобрали, и бумажка привела нас во флигелечек... Стучим. Здороваемся. Нагибая голову, чтобы не задеть за притолоку, переступаем через стертый порожек и видим — мы в мастерской художника. На этот раз художника в прямом значении слова — того, кто пишет красками на холсте, но какие странные это были холсты, поразительно странные! Во-первых, огромные по размерам — настолько огромные, что, не снимая с подрамников, их невозможно вынести в дверь. А во-вторых, библейские по масштабам, по охвату событий. Тут вам не историческая сцена, не батальное полотно, не портрет полководца на гнедом скакуне, а вся история земли — от зарождения жизни и до двадцатого века. Изображение это отнюдь не безупречно, местами даже коряво, и чем больше всматриваешься, тем яснее осознаешь, что это не столько от живописи, сколько от духа, от прозрения, от какого-то космического чувства. Живет он, художник, во флигелечке, спит на железной кровати, поливает в горшке герань, а видения у него — вселенские. И вот он хочет поймать, запечатлеть... Пусть несовершенно, но — лишь бы осталось, не исчезло.

И, может быть, он даже рад, что его картины никогда не выйдут из мастерской, что их не купит ни один коллекционер, не приобретет ни один музей. Во всяком случае мне так показалось, когда мы разговаривали: рассеянно отвечая на наши вопросы, он то и дело поглядывал в сторону своих картин, словно настоящий разговор у него происходил с ними и именно они были самыми желанными и необходимыми собеседниками. Но мы все-таки узнали, что он из здешних краев, работает реставратором по живописи и сейчас восстанавливает фрески из соборов. Женат. Дочке девять лет, и она удивительно хорошо рисует. «Вот посмотрите... сама... никто ей не показывал», — сказал он, и мы стали рассматривать листки с детскими рисунками... На вокзал приехали поздно вечером, — светились окна нашего поезда, тележки носильщиков сновали по платформе, репродуктор объявлял прибытие и посадку, и проводницы проверяли билеты у дверей вагонов. Мы были одни, — никто нас не провожал, и только близость древнего города у г а д ы в а л а с ь в темноте. Да, да, так бывает: не виден, но угадывается.

IV

...Ищите в художнике и чудака, и отшельника, и пророка, а подчас и просто устроителя, х о з я и н а своей мастерской. Нас это слегка озадачивает, поскольку мы привыкли к иному представлению о художнике: если уж не просторная блуза и бархатный берет, то хотя бы рубашка с распахнутым воротом, завязанный на шее платочек, чердак с тусклыми окнами, едва пропускающими свет, залитая кофе спиртовка и женская шпилька на зеркале. Иными словами, богема... полное отсутствие быта... артистический беспорядок, в котором только и могут рождаться шедевры. Именно так: вы разгребаете гору всякого хлама, извлекаете из-под него холст, смахиваете пыль, облаком поднимающуюся в воздух, и обнаруживаете, что перед вами — подлинный шедевр. Да, да, сомнений быть не может — новое слово в искусстве! И вот тут-то начинается: паломничества зрителей, нашествие фотографов, освещающих магниевыми вспышками сумрачные своды чердака, вопросы бойких журналистов и оценивающие взгляды перекупщиков. Безвестное дитя богемы в считанные дни становится знаменитым... Но попробуйте представить вместо чердака крепкий деревенский домик или даже хуторок, огороженый высоким забором, парники, капустные грядки, ряды садовых деревьев, а вместо повязанного на шею платочка — картуз, телогрейку и сапоги с портянками. Похоже на художника? Да, признаться, не очень... И все-таки перед нами художник, правда, не всесветно знаменитый, но признанный в своем кругу, среди друзей, знакомых и собратьев по ремеслу. Уж они-то всегда назовут две-три работы, доказывающие его мастерское владение формой, цветом, композицией, оригинальные по замыслу и безукоризненные по исполнению, одним словом, н а с т о я щ и е. Но почему же две-три, а не больше! Да, видите ли, у него слишком много времени отнимает хозяйство — вскопать грядки, посадить, полить, выполоть сорняки... Конечно, жаль, что это мешает заниматься искусством, но, с другой стороны, где ж ему всласть похозяйствовать, милому, как не в своей мастерской, если под мастерскую ему досталась не городская мансарда, а изба-пятистенок в брошенной деревне, купленная за гроши у бывших хозяев. В том-то и загадочный парадокс нашего времени, что у художника гораздо больше возможностей стать самостоятельным хозяином, чем у любого сельского труженика. Художник свободен — никто ему не указ. Вот и налегает он на лопату, на вилы, на плотницкий топор, а краски и кисти пылятся в углу...

Однажды мне удалось погостить у такого художника — на заброшенном хуторе неподалеку от Риги. Мы отправились туда с моим спутником — Борисом Н., человеком непоседливым, любившим побродяжить: он-то и рассказал мне о своих знакомых рижанах, Инаре и Раймонде Лицитис, которые недавно купили домик на хуторе и живут там чуть ли не круглый год. Он — художник, она проработала несколько лет в научном институте, но затем бросила свою высокоинтеллектуальную специальность и стала ухаживать за колхозными лошадьми. Очень довольна, ни о чем не жалеет. И лошади к ней привыкли — узнают по голосу, по шагам. Она каждое утро спешит к конюшне — кормит, чистит, убирает — не боится грязной работы. Успевает и по дому, хотя на домашнее хозяйство сил остается немного, и о нем больше печется муж. И муж и жена всегда рады гостям: можно списаться, условиться о времени и приехать. Так мы и сделали с Борисом — написали письмо на хутор, вскоре получили ответ и через пару дней собрались в дорогу. Снова ночной поезд, и утром — едва забрезжил рассвет — мы в Риге. Рига хороша тем, что железнодорожный вокзал расположен в центре, и поэтому, сойдя с поезда, мы двинулись пешком по старым улочкам. Это очень важно для приезжего — сразу оказаться в старой части города. Не спускаться в метро, не трястись в троллейбусе (о случайно пойманном такси лучше и не мечтать), а именно сразу о к а з а т ь с я. Как оказываются в зазеркалье, в волшебном мире, в сказочном королевстве. О том, что старая Рига сказочна — флюгера, черепица, печные трубы — говорилось не раз, но одно дело услышать сказку, а другое — побывать в ней. Только в детстве услышать и побывать — одно и то же, но для нас, взрослых, эти понятия разделены во времени. Мы с н а ч а л а слышим, а потом хотим побывать. Когда же мы вдруг оказываемся где-то, эти понятия словно по волшебству сливаются друг с другом, и мы снова чувствуем себя детьми.

Детское чувство восторга не покидало нас все утро, пока мы бродили по пустынным улочкам, окутанным сухим голубоватым туманом, какой бывает в солнечные дни золотистой осени, разглядывали причудливые фасады домов, витые решетки балконов, арочные проемы окон. Дворники мели мостовые, сгребая к тротуарам мокрые листья, на балконах поливали цветы, и ветром далеко разносило мелкие брызги. Мало-помалу открывались магазины, и официанты выносили на улицу столы и тенты маленьких кафе. В киосках продавали утренние газеты, и люди разворачивали их на автобусных остановках, в парках, на лавочках скверов. Такой я запомнил золотую осень в Риге — устланные опавшими листьями улицы, летящие с балконов брызги из-под леек и до рези в глазах сияющие на солнце развернутые страницы газет... В условленном месте нас встретила Инара — невысокого роста блондинка в линялых джинсах, стоптанных кедах и легкой рубашке. По обветренному загорелому лицу, выгоревшим на солнце волосам, стянутым узлом на затылке, и маленьким, ловким и слегка загрубевшим рукам видно, что живет в деревне, но не той естественной и обычной жизнью, какой живут люди, от рожденья усвоившие деревенс-

кий быт, а *необычной* жизнью горожанина, попавшего в новую для него среду. Поэтому и в глазах иногда мелькает растерянность, и движенья рук кажутся излишне поспешными, нервными, суетливыми, и приветливая улыбка надолго не задерживается на лице, сменяемая сосредоточенным и усталым выражением. Глядя на Инару, я понял, что необычная жизнь требует изрядного мужества и не следует обольщаться теми идиллическими картинами, которые рисовались мне вначале. После знакомства со мной и короткого разговора Инара отвела нас в свое городское жилище — крошечную комнатушку под крышей старого дома, обклеенную выцветшими обоями, заставленную плохонькой мебелью, неубранную и отчаянно неуютную. Да, да, именно *отчаянно* — если жилище способно принимать те же оттенки выражения, что и лицо человека.

В этой комнатушке мы прожили несколько дней — вопреки припомнившейся строчке *счастливых* и беззаботных. Просыпались мы рано, открывали окно во двор, маячивший внизу, словно дно глубокого колодца, заваривали чай в безносом чайнике, листали случайные книги из библиотеки хозяев и получали от нашей соседки начальные уроки латышского языка: «Здравствуйте... до свидания... Как пройти к метро?» С запасом выученных фраз по-латышски мы отправлялись в город и бродили до вечера по музеям и выставкам, слушали орган в Домском соборе, обедали под тентами маленьких кафе, кормили голубей на старинных площадях и, словно главную достопримечательность города, разглядывали трубочистов, прохаживающихся по улицам с веревками и пыжами. Вечером мы возвращались в наше жилище, где нас дожидалась Инара, уже приготовившая на столе местечко для ужина, нарезавшая хлеб и разлившая по стаканам холодное молоко. Пили молоко с хлебом. Разговаривали. Смеялись. И так продолжалось до тех пор, пока мы не расстались с нашей комнатушкой: Инаре надо было перевезти какие-то вещи, и вот однажды утром за нами пришла машина, которая и увезла нас на хутор. Хутор Винкелас, где поселились Инара с мужем, действительно оказался заброшенным — нас встретили покосившиеся изгороди, заросшие чертополохом дворы и пустые дома с заколоченными досками окнами. Около одного из таких домов — самого добротного и крепкого, на каменном фундаменте — машина остановилась, мы опустили задний борт и выпрыгнули из кузова. Вскоре показался и сам Раймонд — он аккуратно развел тесовые створки ворот и, пока машина задним ходом подруливала к дому, знаками помогал шоферу, высунувшемуся из приоткрытой дверцы кабины. Затем он поздоровался с нами — худощавый, невысокого роста, с глуховатым голосом и застенчивой улыбкой. «Не очень-то похож на *хозяина*», — подумал я, мысленно соизмеряя внушительные размеры, крепость и добротную основательность дома с фигуркой его владельца. Подумал, но затем поправился: а впрочем, если хозяин проснулся в *художнике*, то именно таким ему и надлежит быть.

Дальнейшее пребывание на хуторе подтвердило мою догадку. Удивительно было наблюдать, как человеком овладевает новая, внезапно родившаяся страсть, которая постепенно побеждает остальные страсти и становится *единственной*, не допускающей никакого соперничества. И тем более удивительно, что побежденная страсть по всем меркам выше: перед нами не случай Гогена, который стал живописцем после того, как много лет прослужил торговым агентом, а *обратный* случай, но такими-то случаями и богато наше многострадальное время, охотно смешивающее прямое с обратным. Поэтому что нам Гоген — нам бы со своими гениями разобраться... Когда Раймонд покупал этот дом, у него, конечно же, было лишь одно желание: убежать и спрятаться. В ту пору подобное желание возникало у многих, и если до этого людей насильно сжали, то теперь они добровольно *отсиживались* на дачах, в глухих деревенских избушках, в квартирах уехавших друзей. Вот и Раймонд мечтал лишь о тихом и уединенном месте, где можно спокойно работать, заниматься искусством, а не конъюнктурой. И что же? Он получил такое место, и тут обнаружилось, что оно позволяет не только работать, но и *жить*. Да, да, тихое и уединенное место в деревне, где есть лес, поле, река. Есть большой и просторный дом, срубленный из вековых бревен, и в этом доме — печь, а вокруг — огород, где можно вырастить такую картошку, помидоры и огурцы, какие никогда не купишь в магазине. Одним словом, есть все необходимое для жизни — надо только приложить руки. И пускай эти руки мастихином и кистью владеют лучше, чем лопатой и молотком: ничего, научатся. И не стоит жалеть о ненаписанных картинах — по-настоящему прожить бывает важнее, чем написать. И вот художник превращается в колониста — покорителя заброшенного края. День и ночь стучит молотком, поливает из шланга грядки, лопатит землю. Устает до темноты в глазах, но при этом чувствует себя хозяином — свободным работником на своей земле.

Именно таким хозяином и представлялся мне Раймонд, когда с раннего утра его фигурка мелькала в саду, и он стучал молотком, поливал, лопатил. В отличие от большинства художников он без особой охоты показывал свои картины и в мастерскую приглашал словно по обязанности, по долгу гостеприимства: вот, пожалуйста, посмотрите... И мы поднимались куда-то по лесенке, толкали какую-то дверь, оказывались в крошечной комнатке, похожей на ту, которая приютила нас в Риге, и — смотрели. Признаться, не слишком-то их было и много, этих картин, и, что самое примечательное, на всех были изображены цветы. Самые разные — садовые, лесные, полевые, в букетах и поодиночке, в хрустальных вазах, стеклянных банках и жестяных ведерках. Художник писал их с такой настойчивостью и упорством, словно на свете не существовало никаких иных сюжетов — цветы, и больше ничего! Не скажу, что каждая из картин была шедевром — вовсе нет, в них чувствовались и огрехи, но, взятые вместе, картины вызывали ощущение красоты, *необходимой* здесь, в этом доме. Я понял, что живопись важна для хозяина не сама по себе, а как один из способов *устроить жизнь*, поэтому он и говорит о ней с той же неторопливой рассудительностью, с какой выбирает на огороде место для грядок или в сарае жердь для починки изгороди. Мы с Борисом, собиравшиеся именно *поговорить* с Раймондом (ах, эти русские разговоры!), вскоре разочаровались в нашем собеседнике: в ответ на все вопросы он либо отмалчивался, либо отделывался ничего не значащими фразами. Но зато Раймонд совершенно преображался в работе, и меж нами возникало то истинное общение, которое объединяет людей, занятых одним делом. Иногда Раймонд настолько увлекался, что даже покрикивал на нас, как на своих работников, и мы нарочно — дабы не спугнуть в нем этот задор — делали вид, будто во всем стараемся ему угодить. «Эге, — думал я, — вот в чем ты себя нашел! Тебе бы артель или бригаду — ты бы еще не так развернулся! И куда бы делась вся твоя застенчивость...»

Так пролетела неделя на хуторе — удивительная неделя! Стояли сухие солнечные дни, и было все, как в лучшую пору осени — тяжелые капли редких дождей, прибивавшие пыль на дорогах, тазы со сливовым вареньем, золотистые осы в блюдечке из-под пенок и неуловимый привкус яблочного сидра в прогретом воздухе. Инара показывала нам своих лошадей, мы катались на велосипедах по проселочным дорогам, собирали ягоды в лесу, покупали домашнее вино в заплесневелых бутылках и пили его из единственной рюмки, хранившейся в доме. Не из стаканов, не из кружек, а из старинной серебряной рюмки, забытой прежними хозяевами в уголке огромного резного буфета, и в этом было нечто символическое, словно в трубке мира: взять рюмку из рук соседа, налить вина и произнести тост. Опьяненные не столько вином, сколько торжественными тостами, восторженными признаниями и пылкими заверениями в дружбе, мы, как сомнамбулы, бродили по бесчисленным комнатам дома, сталкивались на лестницах, ощупью находили друг друга на чердаке, в шутку менялись куртками и плащами, и это было похоже на карнавал. Вечером мы ставили на плиту медный чайник (тоже перешедший в наследство от прежних хозяев) и собирались вокруг него, словно паломники вокруг костра. Чайник вскипал — мы высыпали в него пачку грузинского, и этот чай казался самым вкусным на свете. Чаевничали мы до самой полуночи, и не было конца разговорам. Мы с Борисом не уставали славить хозяев за то, что они решились выбрать для себя *такую* жизнь, и они с улыбками переглядывались, как бы говоря друг другу: знали бы эти наивные... Но мы знали, знали, и такая жизнь представлялась нам праздником, и мы думали только о том, чтобы завтра он повторился снова. Когда в чайнике не оставалось ни капли, мы отправлялись спать: Раймонд и Инара — в свою комнату, а мы с Борисом — на сеновал. Крупные яркие звезды сияли между жердями крыши, и на сеновале было светло, как днем. Засыпая, мы вспоминали велосипеды, серебряную рюмку, цветы, написанные Раймондом, лошадей Инары, и нам хотелось поскорее проснуться. Проснуться и попасть на праздник.

Продолжение на стр. 35

Юрий Григорян. Подруги. 1986 г.

курточке и войлочных ботинках. И помогает он людям не только тем, что лечит и диагностирует, но и тем, что вскапывает гряды, носит воду из колодца, чинит заборы и крыши. И вот однажды этот знакомый пригласил меня вместе с ним помочь одному человеку расчистить и перенести старые кирпичи. Был весенний день, сияло солнце на мокрых крышах, поднималась испарина от прогретого асфальта, — и я согласился. Спросил только, что это за человек и где он живет. Сам при этом подумал: наверняка, за городом, в подмосковном поселочке — где еще остались старые сараи с завалами кирпичей! Но оказалось, что человек этот живет в Москве, и не на окраине, а в самом центре — в Кривоарбатском переулке. Сам он художник, а его отец — Константин Мельников — был известным архитектором, одним из зачинателей русского конструктивизма. Главные проекты Мельникова остались неосуществленными, но ему удалось построить дом для своей семьи — причудливую башню из стекла и бетона, которая стоит и поныне. Ее нынешний владелец — сын архитектора Виктор Константинович, художник и неутомимый путешественник. Он один управляется с домом и со всем дворовым хозяйством, — вот ему-то и предстояло помочь...

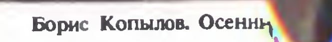
Мы долго носили кирпичи, складывали их за домом, и по мере того, как продвигалась наша работа, нас становилось все больше и больше: благодаря стараниям моего знакомого, чья доброта и отзывчивость вечно притягивали к нему людей, приходили новые энтузиасты, надевали брезентовые рукавицы и присоединялись к нашей цепочке. Когда работа была закончена, Виктор Константинович пригласил нас в дом, и вот тут-то... говорю без всяких преувеличений... я увидел *живое* пространство. Да, да, именно живое, перетекающее из одной формы в другую, меняющее свои очертания, словно расплавленная стекольная масса: комнаты сжимались и расширялись, двери исчезали и появлялись снова, вещи как будто не стояли на месте, а двигались вместе с нами, *сопровождали* нас, как вежливые хозяева дорогих гостей. С первого этажа мы поднялись на второй — в мастерскую. О, это даже была не мастерская, а *студия* времен ренессанса — просторная, с высокими потолками и огромным окном, пропускающим потоки света! Поистине у такого окна мог стоять итальянский маэстро, державший на отлете раскинутых рук палитру и кисть, оставившую последний мазок на холсте с изображением Мадонны или Поклонения волхвов, и готовый в изнеможении упасть на пол после нескольких месяцев лихорадочной работы. Или к такому окну мог подносить отпечатанные на граверном станке и еще пахнущие свежей краской листы немецкий мастер, кропотливый иллюстратор Библии, ссутулившийся, почти потерявший зрение и от этого похожий на часовщика, который целыми днями склоняется над своими шестеренками. Или английский пейзажист, великий знаток перспективы, мог щуриться на кончик кисти, определяя мудреные соотношения ближних и дальних планов. Мог бы... могли бы... московская архитектура всегда в сослагательном наклонении, оттого-то и соседствуют в Москве классические особняки с боярскими палатами и мавританским замком. Выросшая на своей почве, причудливо возникшая на семи холмах, она доносит дыхание неведомых земель, навевает сны о заморских странах. Да, да, окна московских домов смотрят не только в реальное (двор, улицы), но и в воображаемое, фантастическое, сказочное. И окна мастерских — особенно... Мы, стоявшие у *такого* окна, словно бы одновременно почувствовали это и потому вдруг приумолкли, затихли, стали рассматривать картины, которые показывал Виктор Константинович, и только женский голос запел... да, да, с нами была женщина, и она запела грузинскую мелодию, и весь дом отозвался, откликнулся и тоже *зазвучал* вместе с нею, словно участвуя в неведомом хоре и оправдывая утверждение, что архитектура — это застывшая музыка.

Юрий Григорян. Путники. 1989 г.

Сергей Шадрунов. Утро. 1981 г.

Сергей Шадрунов. Обетный крест. Федор Абрамов. 1986 г.

Борис Копылов. Распад. 1982 г.



Борис Копылов. Осенн… …ния. 1984
раз…

Борис Копылов. Гнездо. 1982 г.

Борис Копылов. Распад. 1982 г.

Борис Копылов. Осенние размышления. 1984 г.

Борис Копылов. Гнездо. 1982 г.

СКАЗЫ ОБ АВВАКУМЕ

КСЕНИЯ ГЕМП

Этот рисунок по древней северной иконе, изображающей протопопа Аввакума, выполнил по просьбе редакции художник Владимир Грехов.

В 1499 году московские воеводы, князья С. Курбский и П. Ушатый, посланные Иваном III для присоединения к Москве обширных северо-восточных югорских земель и для сбора ясака с их населения, «в месте тундряном, студеном и безлесном», у озера Пустое «град зарубили и нарекли его Пустозерским острогом». Это было порубежное укрепление. Вокруг него, под его защитой, разрослось промысловое и торговое поселение. В «Книге Большому Чертежу», составленной в 1627 году в Разрядном приказе по государеву указу, поселение именуется городом Пусто-озеро. Со временем экономическое и политическое значение города угасало, имя его посократили; в XVIII веке он стал Пустозерским городком, а в конце XIX века именовался уже только слободой Мезенского уезда Архангельской губернии. Город, когда-то имевший воеводу, в начале XX века не нуждался для управы и в уряднике.

Почти три века Пустозерск был местом ссылки и заточения неугодных правительству людей, его большая тюрьма с четырьмя отделениями и смотровой башенкой, окруженная караульнями, не пустовала. Заточали узников либо на долгие сроки, либо навечно. О многих из них осталась в народе память.

Больше всего сохранилось устных рассказов и легенд о замечательном русском писателе XVII века А. Петрове, раскольнике, неистовом протопопе Аввакуме. Аввкум Петров родился в 1620 или 1621 г. в селе Григорово Нижегородского края, а погиб у нас на Севере, в Пустозерске. Он оставил более восьмидесяти рукописных произведений, большей частью написанных в Пустозерске, потрясающих силой живого слова, выражающих непреклонность его устремлений, любовь к родине и человеку.

«Житие Аввакума, написанное им самим» и ряд документов, характеризующих его бесстрашную, но поистине страшную, мученическую жизнь, переведены на одиннадцать языков: французский, английский, немецкий, турецкий и другие.

В памяти поморов Аввакум Петров — это учитель Аввакум, борец за правду народную, обличитель «не обинующися лиц сильных», зв что сидел он в земляной тюрьме, «за великой крепостью» пятнадцать лет и принял смерть нв костре, сожженный заживо.

Следует признать, что память об Аввакуме хранили главным образом старообрядцы, которых в начале нашего века на Севере было немало.

Это массовое религиозно-общественное движение на демократической основе получило еще в XVII веке название «раскол», сторонников его стали называть «раскольниками», а позднее «старообрядцами». Со временем раскол терял характер политического протеста и в XVIII веке выродился в реакционное течение, противившееся прогрессивному развитию русского общества.

Раскольники, ушедшие от преследований правительства и церкви, основали на Севере многочисленные поселения, отличающиеся особым укладом жизни, который определяли их воззрения, старые обычаи и церковные обряды. Поселения стали известны как старообрядческие скиты. Православная церковь вела борьбу со старообрядчеством, разоряя скиты, часовни, уничтожая книги, писания и обрядовый обиход. Старообрядцы теряли свою обособленность, и к XX веку скиты, уже малочисленные по количеству и по составу живущих в них, стали только прибежищем немногих приверженцев «старой веры» наподобие монастырских организаций различных вероучений.

Жил, долго жил, а теперь все слабее теплится в памяти народной образ Аввакума, бойца за правду, а какую точно — многие уже давно и не знают.

Можно только сожалеть, что «Житие протопопа Аввакума» издается редко и крайне ограниченными тиражами, так что его произведения малодоступны и почти незнакомы людям молодым, да и другие поколения вряд ли могут утверждать, что хорошо знают творчество великого русского писателя.

В 1916 году удалось мне побывать на озере Корода, там были когда-то два скита, позднее они переросли в две небольшне деревни: Большую и Малую Короду. Они лежали близ тракта. Часть жителей были старообрядцами, у них сохранилась молельня. Остановились мы в Большой Короде в доме рыбака Н. М. Пушкова. На вопрос, не старообрядец ли он, ответил охотно: какой веры — сам не знает, ему 36 лет, дома по ранелию. Рассказал о своем деде.

«Дед у нас старой веры, молельной заправляет, зовут его Никанором. Читает книги старые, почитает отца Аввакума. Мы тоже почитаем. Дедко говорил не раз: Аввакумово житье праведное, слово его верное. Праведность его в чем, теперь не очень знаем-понимаем, а дедку верим. Был на нашей земле такой, крепко за правду стоял. Дедко рассказывал, не сгорели страдальцы, нельзя им было сгореть. Они муку приняли, земляную тюрьму перенесли без тепла и света. Огонь их и не тронул. Нашему помору, как уверился он в чем,— все нипочем — жги, топи, палн в него — выстоит. Замрет спервоначалу, а потом и оклемается. Сам на войне видел — солдаты крепкне. Твердо на своей земле стоят, не сдвинешь. Во всем так наши, беломорские».

Утром тропинкой я пошла к молельне, на полпути меня догнал старый мужчина, высокий, костлявый, седой, босой, в довольно длинной рубахе навыпуск, без опояски и без шапки. Узнав, что я иду к отцу Никанору с просьбой рассказать, что он знает о пустозерцах, он приостановил меня и сказал: «Строг на разговоры отец Никанор». Все же проводил меня до молельной. Она стояла на берегу озера, обычная рубленая четырехстенка на три окна по фасаду, под двускатной крышей с большими свесами. Отличало ее большое, широкое четырехступенчатое крыльцо, под крышей на столбах.

На верхней ступеньке сидел отец Никанор — старый, могучий, бородатый, сумрачный, в длинной белой рубахе. Я поздоровалась с ним, он слегка кивнул головой. Отец Александр коротко объяснил ему, зачем явилась я. Никанор огляделя меня и сказал:

— Щепотью, поди, крест кладешь. Не тебе об учителе нашем Авва уме и нас слушать.

— Почему ей об отце Аввакуме не послушать? Девка молодая, а каку дорогу от Рикасихи пешем сломала, за словом шла. Поймет, твое слово доходчиво. Сердечный у ней интерес. Отче Нникаор, не отваживай.

Молчали и Никанор, и мой защитник Александр. Я отважилась только на три слова: «Аввакум — совесть наша». На большее у меня слов тогда не нашлось

— Не знаю еще девку эту. Присмотрюсь, может, и скажу что.

Отец Никанор ушел в молельню, отец Александр в деревню, а я присела на ступеньку крыльца у столба. Ждала часа два. За это время мимо прошли с сетями два рыбака и рыбачка, потом подошла девушка лет семнадцатн. Она начала разговор.

— Слова ждешь от его? Мало говорит, а скажет, как отрубит. Все помнит, что сказал-приказал, спросит. Ослушался кто, лестовкой ударит, больно бьет, из кожи, тяжелая. За большое, по-евойному, ослушанне два раза хлестанет, не разбирает, куда попадет; лицо руками прикрываешь, глаза укрываешь

— Он и взрослых так бьет?

— Не, женатых не бьет, старых тоже, малых ребят тоже не бьет, волосянку даст только. Мужиков и жонок за ослушание на поклоны ставит, не хлещет. За дело наказывает, все так говорят, не осуждают.

— Какое ослушание большим отец Никаиор считает?

— На чтение-пение как не придешь в большой праздник. В большой все, а в малый только старые ходят, мы не ходим. Хлеста за это не дает. За курево бьет, за воровство — из сетей парни рыбу иной раз крадут.

— Что же, он по домам ходит бить?

— Не, позовет через кого к себе — ослушаться ие смеют,— или стретит где, хоть через сколько дней, а помнит и походя хлестанет. Лестовка при нем. Скажет, за что хлест дал. Стыда боятся, при всех хлестаиет и скажет.

— Ему не отвечают, не бьют его?

— Не, рази можно, уважение ему за советы, лечение: травы знает, травники у него. Зимой грамоте учит. У нас в деревне все грамотны. Что ты неладное-то сказала!

— Работаете на всех?

— Не, с чего, кажной дом на себя, свое хозяйство у нас. Все сами по себе. Жить обществом не разрешается. Никто и не хочет. Одно плохо у нас, не пущают нас в город, не бывала там. Баловство, говорят, там. Посмотреть охота. У тебя на головы платок городовой с цветками, а у нас до старости белый, а на старость черный, у вдовиц тоже черный.

— Поменяемся, я отдам цветной тебе, а ты мне свой белыи.

— Не поносить мне, сорвут и хлест заполучишь.

Со скрипом отворилась дверь, вышел на крыльцо отец Никанор. Девушка притихла. Увидев ее, он спокойно сказал:

— Ты чего здесь, иди, куда послана.

Она быстренько скрылась. Помолчали мы, я не осмелилась его спросить, о чем хотела, заговорил он, голос у него был приглушенный:

— Слыхала ли, что слово сказано нам такое: всем един покров — небо, едино светило — солнце.

— Слов таких не слыхала, ие знаю, кто и сказал.

— В городу живешь, учишься, поди, книги читаешь. Великих слов не слыхала. Учитель Аввакум сказал и записал, теперь не вырубят, все знаем. Попомни и мои слова об учителе нашем: от несчастного народа шел, сам был без доли, за него шел без страху, к нему пришел нв вечную память. За твои давешны слова об отце Аввакуме разговор с тобой веду.

Теперь иди своей дорогой, нечего тут тебе глядеть, расспрашивать. Коль не глупа, поймешь, что сказано.

Помню все по сей день. Надеюсь, что все поняла.

На следующии день с отцом Александром отправились мы в Пустозерский скит. Дорога трудная, тропами. Останавливались на ночь в Амбурском ските. Только к полудню следующего дня добрались до Пертозера и скита, точнее скитов, их было когда-то тоже два — мужской и женский. Осталась одна, довольно большая деревня и выселок. Сохранилась молельня, точнее, ее здание, наставника-начетника при ней уже не было. Население деревни почти поголовно старообрядцы. Старый обиход — одежда женщин, наличие икон, особый летний пост перед Петровым днем, характер приветствий — был выражен более ярко, чем в Кородах. Возможно, сказывалась близость Амбурского женского скита, где старые традиции не сохранялись, а укоренились.

Воскресный солнечный день. Близость озера, леса, лугов, полей и болот. Тншина, все отдыхает. Отец Александр пристроил меня на проживание к пятидесятилетней одинокой женщине, дом ее стоял на краю деревни. Еликонида Ефимовна поставила мне два условия — не пить из ковша, висевшего на краю ушата с водой, и не прикасаться руками к иконам. «Лики смотри, когда завеску я сама отдерну, а руками не трожь». Жила я у нее пять дней.

Многое за эти дни повидала, много разговоров послушала: о старой вере, о книгах, об иконах, о женской доле-судьбе, о нарядах и песнях. Старики сетовали: «Никанор наставника долго не ставит, баловство проявляться стало. Уваженье к жизни нашей не то, особо от парней. Табакуры, охальники есть. И острастки им не дай». Зашел как-то разговор и о Соловках, о самосожжении, упомянули и о пустозерцах, об Аввакуме. Разговоры о нем вели старики, женщины слушали и вздыхали.

«В Сибири изгильства сколь претерпел, все выстоял и не убоялся царских проделок. Помор наш был. Говорили, с Зимнего, родной деревни вот не знаем. Может, ты слыхала?»

Не решилась я тогда сказать, что он не помор, промолчала.

«Зимники, точно, народ крепкий. Ну-кось, на зверя во льды каждогодно ходят, на весновальных их в голомень носило, выживали и в другой год опять ходили. Крепкие от роду зимники. Об отце Аввакуме речь тоже — крепкий, словесный был. Слово его, как пуля-свинчатка, пробивает. Никанор в киnге читал, пока я у него был. Не нонешне наше племя. Оскудели мы духом и словом. Нет таких слов, все по городу надо. Забыли, должно, либо не смеем такое слово сказать. Становой батюшке кудемскому докажет. Разорит моленну».

«Помор отец Аввакум и есть, не окаменел от трудностей, человек остался. Охоту в жонке своей не утерял, потомство на земле родной оставил, о детишках-то как скорбел. То и слово егово было сильно. Голосище, говорят, было густое. Сам болышой, высох только с голодухи, а горлом силен. Слово тоже крепкое было, доходило. Обличитель. Не повидали, давний он».

Жители Беломорья, которые еще что-то помнят об Аввакуме, считают его помором, причем с Зимнего берега, где было много крупиых скитов. Увереииость их поддерживалась рассказами о связях Соловков через эти скиты с ссыльиыми и заточенцами Пустозерска, особенно в период 1668—1676 годоа, то есть в период осады Соловецкого монастыря. В рассказах точно указывалось, от какой «пристаньки соловецкой и какие судеиышки шли и до какой затиши приходили». Путь был долгий, трудный — морем, реками, волоками. За пятиадцать, а то и за двадцать дней его проходили. Привозили туда-сюда писемца и весточки. От Соловецкого и разносились предания по всему Поморью.

Амбурский женский старообрядческий скит стоял за болотами Рикасихи и Кудьмы, к северу от тракта с Двины к Белому морю, к Солзе, Сюзьме, Неноксе и дальше к Унской губе. Первоначально скит был заложен на Пинеге близ Красногорского монастыря. После его «разорения» в первой половине прошлого века часть скитниц ушла в Кудьму. Освоившись и заручившись поддержкой единоверцев, они поставили молельню-часовню, укрыли в ней принесенные с собой старые книги, иконы и весь обрядовый обиход. Постепенно поставили жилье. Возник скит.

Строгими порядками Амбурский скит был известен во всех селениях Летнего и Онежского берегов Беломорья, помнили о нем на Пинеге, были у скитниц знакомства с единоверцами Приазовья и Прииртышья. На житье в скит обычно вступали поморки и пинежанки. Скитниц редко бывало более пятидесяти. Единственное условие для вступления в скит — исповедание «правой веры» в течение всей жизни в миру. Многие поступающие добровольно приносили в скит богатый вклад: рукописные и старопечатиые книги, иконы, кресты. Единоверцы из дальних краев присылали денежные и иные вклады: муку, крупы, сахар, мед, зимнюю одежду, свечи. Одновременно от жертвователей поступали поминальные списки за здравие и упокой. На скитских службах некоторые списки зачитывались ежедневно весь год, другие только в поминальные дни. Все зависело от ценности вклада.

Полностью обеспечить жизнь своим трудом сестры-скитницы не могли. Вокруг скита лес, болота, до деревень далеко, а на жительство обычно поступали женщины на закате своей жизни, изработавшиеся на морской и полевой страде. Все же они заготовляли топливо, сеио для овец, ловили в озерах рыбу, собирали ягоды и грибы в запас на зиму. Для продажи вязали веники и помела, плели кузова, пряли шерсть, вязали в дар жертвователям носки, рукавицы, шарфы и бузурунки. Зимой на санках тащили по подмерзшему болоту свои «товары» на продажу в Рикасиху — село на перепутье дорог в Архангельск.

Писание икон и переписка книг, одно время проникшие как отголосок Выговской и Лексинской обителей, не привились. Хотя поморки все были грамотными.

Повседневная жизнь в скиту была скудная и трудная, замкнутая в круг огорожи скита, в круг интересов женщин, оторвавшихся от родных, от привычных хлопот, от жизни, идущей вперед. Остались скитницам раздумья, неосуществленные намерения и надежды, мысли о близком конце и воспоминания, а с ними нередко н сожаления. Но они полностью сохранили чудесный клад — Слово. Слово точное, выражающее сердечную боль и пронзительную жалость, радость, даже восторг, а также и гнев. Не было у скитниц иного способа

выразить свою мысль, свои чувства — только слово-речение, слово-песня. Истинно скатный жемчуг даже бытовая речь старых поморок, а их рассказы — подлинио высокое, вдохновениое творчество. Помогали сохраиить этот клад старые киuги, их почитали. Среди скитиuц были чтицы великого мастерства. Оии позиали власть слова и умели им пользоваться не только для воздействия на других, но и для укрепления самое себя. Были и толковательницы старых творений — сказываиий, притч, песнопеиий и славословий. В прошлой жизии они испытали и счастье, и немало горя, были среди них стремящиеся выяснить, как связать прошлое с будущим. Были и такие, кто хотел только спокойиой жизни, тихого конца. В лабириите легенд и суеверий оии искали успокоеиия. Книги помогали всем. Слово завораживало, одних духовно укрепляло, других умиротворяло. Слово влекло и подчиняло всех. Оио связывало «покинувших мир» с этим все же родным и таким милым по сердцу миром. Оии его не забыли.

В ските все были равны, выделялась только стврщая — начетчица. Она была полновластной руководительницей, наставиицей, хранительницей порядка и традиций, судьей всех споров и стычек, хозяйкой. Решения ее во всех случаях были окончательными. Но жила она в таких условиях, как и все остальные скитиицы.

В июле 1913 года из Бердянска приехала в Архаигельск моя знакомая по Бестужевским курсам М. Н. Поветкина, семья ее была старообрядческой. Оиа привезла вклад для Амбурского скита и просила провести ее туда. В ските я уже бывала дважды, но дорогу через болото знала плохо, необходимо было искать проводника. 17 июля мы были в Рикасихе и, переночевав у Д. А. Ефимовой, на следующее утро отправились с нею в скит, дорогу она знала хорошо. Все дары тащили на санках.

Дорога была плохая, по болоту, с кочки на кочку, по проложенным кое-где дощечкам, по срубленным веткам деревьев и кустов. Жара, тучи комарья, овода, и ноша на санках немалая. Скит открылся весь сразу при самом подходе к нему. На взгорье, за невысокой огорожей, на зеленой поляне потемневшие деревянные рубленые избы, часовия, колодец с журавлем, поленницы дров, по траве протоптаны тропки. И ни души. Тишина, только назойливый зуд комарья. Живы ли люди или ушли куда-то?

Но вот показались две женщины в чериых глухих сарафанах, в белых рукавах, повязаиы белыми платками. Они вышли за огорожу, нам навстречу, поликовались с Дарьей, поклонились нам в пояс и проводнли всех к старшей, женщине уже пожилой. Там — теплые приветствия, тихая радость, какие-то осторожные расспросы об Архангельске, Кудьме, Бердянске, воспоминания о встречах, памятных во всех мелочах. Нет, жизнь здесь не замерла, но замедлилась, вошла в тесные границы — то ли по уставу, то ли это усталость женщин от тяжкого труда, который они выиесли, живя в миру. Может быть, эта замедлительность и тишина вокруг — желанный покой для них.

Закончена встреча: по указанию старшей нас отвели в келью, принесли колодезной воды для умывания, пригласили отдохнуть на довольно-твки жестких топчанах и через час прийти потрапезовать. В грапезной собрались все скитницы и те, кто пришли навестить их. Обменялись приветствиями. После краткой молитвы, которую зачитала старшая, приступили к скромному обеду: грибовница, пшенная каша, квас. Все по раздаче. У каждого своя чашка и ложка. После обеда все разошлись по кельям, а нас старшая пригласила полюбоваться книгами, ликами и всем хранящимся в молельне. Старшая хорошо знала сокровища скита, различала особенности псковского, новгородского и сольвычегодского (строгановского) письма ликов; она более всего ценила поморское письмо: «...строгое оно, к смирению зовет, да и рассказывает о наших святителях». Хороши были складни, кресты, дорожные иконы выговского литья с белой, голубой и синей эмалью. Их старшая выделило особо: «Старое дарение».

Запомнились «лики чудесные»: икона Николая Мирликийского в двенадцати клеймах, где написана жизнь его от рождения до смерти. Все события на фоне северной природы и поморского быта. Типичный ландшафт Беломорья, море то тихое, то с волной, россыпи камней у уреза воды, на берегу избы, рыбачьи сети, вдали ели. Тишина. Никола несет улов. Была псковская Параскева Пятница, соловецкие угодники, Дмитрий Солунский и поразительный Деисус. Икон много, книг — 78 экземпляров. Переплетены в тяжелые деревянные доски, обтяиутые холстом или кожей, с медиыми застежками, некоторые украшены жуковинами. Тут были Евангелия, два из них, гордость скита,— в окладах, Миией, Апостол, Часослов, Требники, Служебиики, Триоди. Старшая особо выделяла соловецкий, рукописный. Были киnги и ие церковные, лицевые. Все прекрасной сохраиности, но ие дошло до нашего сегодня.

Конец дня провели на завалинке в разговорах и расспросах о жизни в прошлом и в скиту, о книгвх. Вспоминали, кто что знает о жизни первоучителя Аввакума и его жены Настасьицы, Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой. Спрашивали, где бы приобрести их «личиости» — изображения. Мы рвссказывали о картине В. И. Сурикова «Боярыия Морозова». Знали скитницы миогое. Это, навериое, заслуга старшей, а может быть, они и в миру вели беседы между собой обо всем этом? Говорили коротко, образно, слова были удивительные. Сестра Манефа, из Кицы оиа, про Аввакума сказала: «В огне не сгорел, по миру с дымом развеялось его слово. Достойно предстанет на суд страшный». О жеищииах, его исповедницах, сказала еще короче: «Лучесветные они». Сказав это, она встала, поклонилась в пояс, коснулась пальцами земли. Земной поклон всем отдала. До коица беседы не сказала больше ни слова.

Разговор шел также о Соловецком сидении*, о письмах иа Печору и ответах оттуда. Были и легенды. А как они слушали друг друга, слова не уронили. Слушали виимательио и иаши слабые речи, но как-то отчуждеино. Молоды были мы с Марией для них, а может быть, уже чужды. Мы не любопытничали, были уважительны и серьезны, как и они. Но мы не были «свои». Мы пришли из того мира, который они уже оставили, но который все еще помнился им. Они не осуждали ни нас, ни оставленный ими мир. Все их помышления, должно быть, были о фантастическом будущем заоблачном мире, где каждому, ждали они, воздастся по трудам его. Мы все же напомиили о мире ином, действительном.

Позднее в скит через Рикасиху была отправлеиа хорошая репродукция картииы В. И. Сурикова.

После паужины отправились на покой. Спали, как говорится, без просыпу до восхода солнца, встали на утренней заре, медленно разгорающейся где-то за лесом в прохладном воздухе, пахиувшем хвоей, багульником, травами, росой, умылись у колодца, выслушали чтения в молельне, выпили чаю и в девять часов по приглашению старшей направились слушать «девятый день»: в ските поминали сестру-скитницу на девятый день после ее кончины.

Обряд поминовения совершали в трапезной. Это была большая комната без обоев, побелки и окраски, кругом строганое дерево, по стенам широкие крашеные лавки, в большом углу под божницей длинный стол, его строганую столешницу отполировало время. На столе глиняное блюдо с небольшими ломтями ржаного хлеба, две солонки с крупной солью, кувшин с водой и несколько кружек.

В трапезную впереди всех вошли семь старых скитниц в косоклинных глухих сарафанах, в черных платках вроспуск. Они сели в большом углу, у стола под образами, остальные скитские и пришедшие, все в черной одежде, головы повязаны платочками, молча разместились на лавках вдоль стен. Суровы были и обстановка, и собравшиеся женщины. Ни шепот, ни движения не нарушали тишину.

Начали поминовение. Сидевшие за столом вставали по очереди одиа за другой и сказывали свое поминальное слово. Начала старшая, сидевшая с краю стола. Торжественно и сурово она обратилась к присутствующим:

«Справим великий чин поминовения. Помянем добрым словом духовную сестру нашу, труженицу Марфу. Оставила она юдоль земную в смирении, благочестии, в трудах, положенных ей. Да слышит нас душа ее».

После этих слов оиа перекрестилась, поклонилась сестрам, сидевшим за столом, а затем отдала поясной поклон присутствующим. Села

За нею по очереди поднимались и говорили свое поминальное слово остальные шесть сестер.

* Авторы ряда работ (Н. А. Барсуков, А. М. Борисов и др.) говорят о данном событии как о Соловецком восстании. (Примечание редакции).

Пустозерское городище. Снимок сделан с вертолета. Август 1987 г. *ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА*

— Трудилась в миру сестра наша Марфа на земле и на море, исполняла труд, из веков посланный человеку, трудно добывала хлеб и соль для детей своих, но не возроптала.

— Не нарушила сестра Марфа завета божьего, данного человеку, оставила в потомство сыновей и дочерей, вырастила их в труде по завету учительскому и ушла в скитское жительство, покрыла грехи мирские своим трудом и замолила их. Откроются ей врата райские.

— В скиту ходила за немощными, всегда помнила, что живем на земле страстотерпцев. Нам она в поучение.

Сказав свое поминальное слово, каждая сестра в пояс кланялась старшей.

Выслушав всех, старшая встала, высоко подняла правую руку с двуперстием. Жест торжественный, призывающий. Он напомнил, как Аввакум, объятый пламенем и дымом костра, так же поднял руку, когда его живым сжигали в Пустозерске. Старшая требовательно возгласила: «Восславим волю всевышнего». Все встали и запели: «Ты моя крепость, господи, ты моя и сила, и надежда, ты мое радование, не оставь недра отча и нашу нищету посети, с пророком Аввакумом зову. Силе твоей слава, человеколюбие. Прими славовловие наше и упокой сестру нашу Марфу».

Пели низкими голосами согласно, самозабвенно и торжественно. Лица суровые, глаза горят. Думалось, любая пошла бы на муки Аввакума.

Кончили петь, старшая пригласила присутствующих: «Вкусим в память усопшей основу жизни нашей». Все подошли к столу, взяли по ломтику хлеба, посолили и, отпив глоток воды, съели его, не уронив ни крошки.

Каждая сестра сказала поминальное слово — краткое и суровое. В их словах утверждались труд и верность великому достоинству человека, как обязанность его в настоящем и для будущего. Нам это понятно и как выражение сокровенных, добрых чувств человека, и как его творчество.

Не знаю, сказывали скитницы одни и те же поминальные слова на каждом поминовении или каждый раз это была импровизация. Как бы то ни было, эти простые слова не забылись, не забылись и торжественность обряда и его глубокий смысл — поминалось лучшее в человеке, воздавалось ему должное по трудам его, по стойкости его духа.

Отжили своей век, самозакрылись за ненадобностью скиты, лишь кое-где сохранились воспоминания и легенды о них.

На левобережье Северной Двины в 32 километрах от Архангельска в XVII веке были основаны два раскольничьих скита на озере Малое Лахтинское (мужской и женский) и один — на озере Большое Лахтинское. Во второй половине XIX века большелахтинский скит принял учение единоверческое, а два малолахтинских слились в один. Места на Лахте уединенны, живописны. Хорошие боры, озера. В начале XX века скиты еще сохранились, но были малочисленны, население переходило в деревни Холм, Ширшу, Захарово. На месте скитов осталась деревня Лахта. В этой деревне я бывала не раз и там записала следующие рассказы.

«Дед мой старой веры держался. Сами мы с Печоры. Перешли на Двину по воле деда еще в прошлом веке. Дед сказывал, Пустозерск вторым когда-то был после Архангельска. Архангельск Городом прозывали, а Пустозерск Городком. Память о нем долго держалась рассказами о сожженцах пустозерских. В наше время Пустозерск уже выжился, что там было, как жили — не слыхали ни мы, дедовы внуки, ни дети, ни внуки наши. Мальчишком я был, слыхал только от деда об Аввакуме и его соратниках. Крепкие были мужики и телесно, и духом своим. Жгли их живыми — вытерпели, пощады не просили. За что казнили — не знаем. Правду искали они — это знаем».

«Хотела я сыну первенькому дать Аввакумово имя. Бабушка советовала, она по скиту знала о нем. Три скита на озерах было, теперь там порушилось все. Одна старушка древняя осталась, живет тем, что принесут из деревни, ягодки, грибы собирает. Отец мой не дозволил имя Аввакумово дать. «Тяжелую правду имя это наложит. Не дело именем Аввакума забавляться, зови по-иному». Так сказал. Он по старой вере. Мы в верах не разбираемся, ни к чему это нам, а ему не перечим, сурьезный он. Всех ребят отдавал грамоте и мастерству учиться. Чтец, газеты читает, выписывает. Порасскажет и нам что. Корят его — старовер. От него только строгость и польза, а вреда нет».

1935 г.

В 1958 году побывала я в Мезенском заливе. В дороге среди пассажиров парохода возник разговор о старых поселениях Зимнем, Абрамовском и Конушинском берегах, по реке Куе, Кулою и Мезени. Вспоминали о временах их заселения, о том, какие причины влекли человека в край незнакомый и неприютный. Возник вопрос и о том, почему в этом районе было много старообрядческих скитов и остались ли какие-либо их следы. Местный житель, работник райсовета, не только охотно отвечал на вопросы, но дополнительно рассказывал о жизни района, об его успехах. Его ответы относительно старины сведены в один рассказ.

«До нас дошло мало сведений об Аввакуме и его сторонниках. Одно помним — были они, место было известно, где их сожгли, четыре креста сторонники их поставили, подновляли. У нас в районе еще есть староверы, они и хранят память, больше женщины этим интересуются. Легенды ли помнят или от себя что расскажут — это уж их дело. Интерес к этим дальним событиям и людям утрачен. Приезжие интересуются их жизнью, записывают, а мы современными занимаемся делами, вперед смотрим, а не назад. Вы поищите сами, есть люди-староверы, они больше знают. Для науки знакомство с религиозной стариной не запрещено. Может, изучение ее и представляет интерес. Иконы старинные, изделия хозяйственные из дерева, литье медное на сумки коновалов сохраняют как родительскую память. Поинтересуйтесь. Коновалы мезенские были знамениты. Лошади мезенки звались, для Севера были пригодны. Не велики, а выносливы. На все ярмарки раньше их выращивали. Мал золотник, да дорог, можно было про них сказать.

Теперь в Пустозерске пять домов, жителей десяток. Молодежи, детей нет. В Нарьян-Мар все ушли, на ученье, на работу».

На Мезени записано три рассказа, в которых упоминается о Пустозерске и Аввакуме. Первый в Семже, второй — в Пые и третий в Кимже. Там в 1966 году я была вторично.

«Была у нас в Семже хорошая часовня, моленная мы прозвали. Много было благолепия, образов старых, книг разных. Собирались, слушали чтение, пели псалмы, свечи жгли. Хорошо, пристойно было. Рассказы были о предстоящих пред предстолом за нас. Одна старушка семжинская много знала, она и чтение вела.

Бывала я на Пустоозере пятьдесят лет тому назад. Домов там два порядка. Часовня и церква деревянные, запустелые. Веточки с места успокоения учителя Аввакума принесла. Там я слыхала об их, сожигали их, а он все крычал благословение. Сидели они в земле долго, подавали воду да хлеб от казны, похлебать горяченького ничего не давали. Жители сострадали, подкидывали рыбки поесть, стража ничего, допускала иной раз, как начальства нет. Учитель стоять еще мог, а его сподвижники совсем исстрадались. Сила у него была для слова к жителям, они собрались на день его смертного часа. Такие слова крычал: «Все мы одинакие дети господни, стойте за благочестие свое, хулу не кладите на врага своего». Истинно благостный человек был, память такая вечная».

«Крест вот в Пые поставлен в память пустозерцев страдальцев. Старшого их Аввакумом звали, был еще Федор, других не знаю. О чем учили, не знаем точно, а слыхали, добру учили. Приходят старые люди ко кресту, вешают одежки, полотенца для здоровья своего либо родных. Помнают тех пустозерцев, почитают их».

1966 г.

«Церковные споры и распри до нас уже не дошли, не нужны они нам. На церковь только любуемся, красота возведена, купола сияющие, а изукрашенье и всего-то лемехом. Творенье рук мастера. Церковные дела — не наши дела. Мы на море всю жизнь трудились, на промысле и в экспедициях. Об Аввакуме слыхали. Умный был человек, а горячий, в споры кидался, все забывал, сам только правым был. Ум большой, по слухам-то, обсудить мог и дела царевы-государевы; осуждал, кого неправым счел, и царя, и патриарха, и урядника. Всех в осуждении ровнял. А у каждого власть, каждый наказание даст, а то и забьет, это по прежнему времени. Все на своем стоял, что правым считал. Отсюль ему и прозвище «праведник».

Старики кое-что еще помнят, а молодым до него дела нет. Да, всему свое время. История это народная. Говорил Аввакум хорошо, доходило до народа; наша поморская речь не забывается. Старушки много его словес помнят. Нынче и ученые, и писатели словом поморским интересуются».

А. Митькин из Кижмы, 80 лет.

Сравнивая свои записи рассказов об Аввакуме в период 1913—1969 гг., ясно вижу, что остается все меньше людей, что-то слыхавших о нем, забывается и то, что еще помнилось даже в тридцатые годы. Все же по имеющимся записям можно понять, почему именно в Поморье память о нем хранится более трехсот лет. Можно и представить, каким запечатлен Аввакум в памяти народной.

Последние пятнадцать лет жизни Аввакума Петрова прошли в Печорском крае, в Пустозерске. Здесь он был заточен в земляную тюрьму, здесь насильственно оборвалась его жизнь — 14 апреля 1682 года он был сожжен на костре. Здесь нашлись смельчаки — переписчики и распространители его писаний, нашлись для них и верные пути на Соловки, а оттуда по Беломорью. Нашлись и те, кто ждал пустозерских весточек, берег их. Вот и хранилась здесь память об учителе Аввакуме.

В памяти поморов, почитателей Аввакума, запечатлелся один и тот же образ его — высокий, исхудалый старец со сверкающими глазами, густым голосом и палящим сердца словом, зовущим к правде жизни, словом согревающим, призывающим к человечности. Его стойкость в бедах и истязаниях поддерживала тех, чья жизнь была беспросветна.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АВВАКУМА

Автобиография протопопа Аввакума. — Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым. Кн. VI. М., 1861, стр. 117—173 (первое издание «Жития»).

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. Изд. под ред. Н. С. Тихонравова. СПб., 1861 (на обложке — 1862).

Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. Вып. I. СПб., 1912.

Памятники истории старообрядчества XVII в. Кн. I, вып. 2 (Русская историческая библиотека, т. 39). Л., 1927.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Ред., вступит, статья и коммент. Н. К. Гудзия. [М.], Academia, 1934.

Малышев В. И. Три неизвестных сочинения протопопа Аввакума и новые документы о нем. — Докл. и сообщ. Филолог. ин-та ЛГУ, 1951, вып. 3, стр. 255—266.

Малышев В. И. Два неизвестных письма протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, 1958, т. XIV, стр. 413—420.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Под общ. ред. Н. К. Гудзия. Вступит. статья В. Е. Гусева, А. С. Елеонской, А. И. Мазунина, В. И. Малышева, Н. С. Сарафановой, М., 1960.

Копылов А. Неизвестный автограф протопопа Аввакума. — Русская литература, 1961, № 1, стр. 139—140 (расписка, хранящаяся в Сибирском приказе).

Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. М., 1963.

Демкова Н. С. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, 1965, т. XXI, стр. 211—239.

Житие протопопа Аввакума. — В кн.: Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). Б-ка всемирной лит. Сер. первая. М., 1969, стр. 626—674, 782—790 (изд. и примеч. А. Н. Робинсона).

Демкова Н. С., Малышев В. И. Неизвестные письма протопопа Аввакума. — Зап. отд. рукописей ГБЛ, 1971, вып. 32, стр. 168—181.

Кудрявцев И. М. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников. Материалы и исследования. — Зап. отд. рукописей ГБЛ, 1972, вып. 33, стр. 148—212.

Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы («Писанейце» Аввакума Ф. М. Ртищеву, отрывок из неизвестного сочинения Аввакума и др.). — ТОДРЛ, 1973, т. XXVIII, стр. 385—392.

Пустозерский сборник. Автографы сочинений Аввакума и Епифания. Изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Под ред. В. И. Малышева (отв. ред.), Н. С. Демковой, Л. А. Дмитриева, Л., 1975.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Изд. подг. Н. К. Гудзием и др. Иркутск; 1979.

Житие протопопа Аввакума, им самим написанное. — В сб.: Пустозерская проза, М.: Московский рабочий, 1989.

«Слово плачевиое» посвящено памяти умерших в 1675 г. в боровской земляной тюрьме боярыии Феодосьи Морозовой, княгини Евдокии Урусовой, жены дворяиской Марии Даиnповой и написано, очевидио, в первой половине 1676 г. под непосредственным впечатпеиием известия об их смерти. Боярыня Феодосья Прокопьевиа Морозова, вдова одиого из первых бояр при царе Алексее Михайловиче — Глеба Иваиовича Морозова, и княгиия Евдокия Прокопьевна Урусова, жеиа также приближеииого к царю — кравчего киязя Петра Семеновича Урусова, — родные сестры, урожденные Соковниины, родственицы Ф. М. Ртищева и свойственницы царя и царицы, ярые приверженницы раскола и последоватепьницы Аввакума. Ни убеждеиия, ни преспедоваиия и мучеиия, ни тягчайший тюремиый режим не спомили вопю сестер. Они умерпи, закпючеиные я боровсиой (ныне Капужсиая область) земляной тюрьме (Урусова — 11 сеитября 1675 г., Морозова — 2 ноября того же года).

«Плач» Авваиума — соедииение народиого причитаиия с паментациями библейских пророиов — оиазап несомиеииое впияние иа надгробиые плачи старообрядчесиих писателей XVIII я. (братья Деиисовы и др.).

Протопоп АВВАКУМ

«О ТРЕХ ИСПОВЕДНИЦАХ СЛОВО ПЛАЧЕВНОЕ»

Месяца ноября во второй день сказание отчасти доблести, и мужестве, и изящиом страдании, терпении свидетельство благоверныя княгини Феодосии Прокопье[в]ны Морозовы и преподобномученицы, нареченныя во инокинях схимницы Феодоры.

О трех исповедницах слово плачевное.

В лето...[1] быша три исповедницы, жены — болярони: глебовская жена Ивановича Морозова Феодосья Прокопьевна, во инокинях Феодора-схимница, и сестра ей бе, нарицаемая княгиня Урусова, Евдокея Прокопьевна, с ними же дворянская жена Акинфея Ивановича Данилова Мария Герасимовна. Беша бо Феодосья и Евдокея дщери мне духовныя, именста бо от юности житие воздержное и на всяк день пение церковное и келейное правило. Прилежаше бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубиину разума от источника словес евангельских и апостальских. Бысть же жена веселообразная и любовная.

Многими дньми со мною беседующе и рассуждающе о душевном спасении. От уст бо ея аз, грешный протопоп, яко меда насыщашеся. Глаголаше бо благообразная ко мне словеса утешительная, ношаше бо на себе тайио под ризами власяницу белых власов вязеную, безрукавую, да же не познают человецы внешнии. И, таящеся, глаголюще: «не люблю я, батюшко, егда кто осмотрит на мне. Уразумела-де на мне сноха моя, Анна Ильична, борисовская жена Ивановича Морозова. И аз-де, батюшко, ту воласяницу искинула да потаемне тое сделала. Благослови-де до смерти носить. Вдова-де я молодая после мужа своего, государя, осталася, пускай-де тело свое умучю постом, и жаждею и прочим оскорблеиием. И в девках-де, батюшко, любила богу молиться, кольми же во вдовах подобает прилежати о души, вещи бессмертией, вся-де века сег[о] суета тленна и временна, преходит бо мир сей и слава его. Едина-де мне печаль: сын Иван Глебович молод бе, токмо лет в четырнадцать; аще бы ево женила, тогда бы и, вся презрев, в тихое пристанище уклонилася». О свет моя, чево искала, то и получила от Христа!

Бысть же в дому ея имения на двесте тысящ или на полтретьи и християнства за нею осмь тысящей, рабов и рабыией сто не одио, близость под царицею — в четвертых боярониях. Печаше бо ся о домовном рассуждении и о християнском исправлении, мало сна принимаше и на правило упражняшеся, прилежаше бо в нощи коленному преклонеиию. И слезы в молитве, яко струи, исхождаху изо очей ея. Пред очима человеческима ляжет почивати на перинах мяхких под покрывалы драгоценными, тайно же снидет на рогозиницу и, мало уснув, по обычаю исправляше правило. В банях бо тело свое не парила, токмо месячную нужду омываше водою теплюю. Ризы же ношаше в доми с заплатами и вшами исполиеины, и пряслице прилежаше, нитки делая. Бывало, сижю с нею и книгу чту, а она прядет и слушает, или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как девице грамота в вотчину писать. И нитки — свои труды — ночью по улицам побредет, да нищим дает. А иное рубах нашьет и делит. А иное деиег мешок возьмет и роздаст сама, ходя по кресцам, треть бо имения своего иищим отдая. Подробну же добродетели ея недостанет ми лето повествовати, сосуд избранный видеша очи мои.

Бысть же в Петров день пожар великии в Москве, и приближающься огнь ко двору ея; аз бо замедлив в дому Анны Петровны Милославские, добра же ко мне покойница была. Егда бо придох к Феодосье в дом, и двое нас, отшед, тайно молебствовали, быша бо слезы от очию ея, яко река, воздыхание бо утробы ея, яко пучина морская колебашеся, глас же тонкий изо уст ея гортанный исхождаше, яко ангельский: «увы! — глаголаше, — боже, милостив буде мне, грешнице!» И поразится о мост каменной, яко изверг некий, плакавше. Чюдно бе видимое: отвратило пламя огненное от дому ея, усрамився молитвы ея сокрушенныя. Обыде и пожже вся окрест дому ея, а за молитв ея и прочих не вредило тут. Аз же тому бысть самовидец сам, и паче слуха видения: моя молитва при ней, яко дым, я же изо уст, яко пламя, восхождаше на небо.

Еще ж оиа, блаженная вдова, имела пред враты своими нища клюсна и расслабленна. Устроили ему келейницу, и верная ея Анна Амосова покоила его, яко матери чадо свое, и гнойные его ризы измываху, и облачаху в понявы мяхкие. Сама же по вся нощи от него благословение приемлюще, рабыня же не отлучашеся от нищаго по вся времена.

Егда же рассвирепела буря никонияиская и сослали меня паки с Москвы на Мезень во отоки акиянския, она же, Феодосья, прилежаше о благочестии и бравшся с еретики мужественне, собираше бо други моя тайно в келью к преждеречеииому нищему Феодоту Стефанову и писавше выписки на ересь никонияискую, готовляше бо ожидающе собора правого. И уразумевше бо сродники ея Ртищевы, и наустиша холопей ея воровским умыслом, и оклевещут ю ко царю. Царь же, лаская ея, присылал к ней ближних своих Иякима архимандрита, патреарха нынешняго, развращая ея от правоверия. Она же глагола мужественно: «аще-де и умру, не предам благоверия! Издетска бо обыкла почитать сына божия и богородицу, и слагаю персты по преданию святых отец и книги держю старыя, нововводная же ваши вся отмещу и проклинаю вся! Аще-де вера наша старая неправа суть, но яко же есть права и истинна, яко солнце на поднебесиой блещашеся. Скажите ц[арю] А[лексею]: «почто-де отец твой, царь Михайло так веровал, яко же и мы? Аще я достойна озлоблению, — извергни тело отцово из гроба и передай его, проклявше, псом иа снедь. Я-де и тогда не послушаю». Посланницы же возвратишася вспять и поведавше царю, яже от нея слышавше. Он же повеле ей с двора не съезжать и отиял лутчие вочины — две тысящи христиаи. А холопи в приказе клевещут на ню, яко блудит и робят родит, и со осужденным Аввакумом водится. Он-де ея научил противитися царю.

Потом приехал в дом к ией сродник ея, Феодор Ртищев, шиш антихристов, и, лаская, глаголаше: «сестрица, потешь царя тово и перекрестися тремя перстами, а втайне, как хощешь, так и твори. И тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя». Она же смалодушничала, обещалася трема персты перекреститися. Царь же на радостях повеле ей вся отдать. Она же по приятии трех перст разболевся болезиию и дни с три бысть вне ума и расслабленна. Та же образумяся, прокляла паки ересь никонияискую и перекрестилась истинным святым сложением, и оздравела, и паки утвердилася крепче и перваго.

Та же паки меня с Мезени взяли, протопопа Аввакума. Аз же, приехав, отай с нею две иощи сидел, несытно говорили, како постражем за истину, и аще и смерть примем — друг друга не выдадим. Потом пришел я в церковь соборную и ста пред митрополитом Павликом, показуяся, яко самовольне на муку придох. Феодосья же о мне моляшеся, да даст ми ся слово ко отверзению устом моим. Аз же за молитв ея пылко говорю, яко дивитися и ужасатися врагом божиим и нашим наветиикам.

И так и сяк, сослали меня в Боровеск, в Пафнутьев монастырь. Она же за мною прислала ми потребная. И, держав мя десять недель, паки возвратили в Москву. Она же со мною не видалась, но приказывала: «ведаю-де я, хотят тебя стричь и проклинать. Обличай-де их с дерзновением. На соборище том-де я буду и сама». И я таки, бедной, за молитв ея столько напел, сколько было надобе. Потом сослали на Угрешу меня за крепостию велиею. Она же и туде потребная присылаше ми. Потом перевезли паки в Пафнутьев монастырь. Она же потребная присылаше ми и грамотки. Потом паки мя в Москву ввезли. Она же, яко Фекла Павла ищущи, — увы мне, окаянному! — и обрете мя, притече во юзилище ко мне, и по многим временам беседовахом. И иных с собою привождаше, утверждая иа подвиги. И всех их исповедал во юзилище: ея и Евдокею, и Иванушка, и Анну, и Неонилу, и Феодора, и святаго комкания сподобил их. Она же в пять недель мало не всегда жила у меня, словом божиим укрепляяся. Иногда и обедали с Евдокеею со мною во юзилище, утешая меня, яко изверга.

Егда же я взят бысть палестинскими, и переселиша мя на горы Воробьевы с Лазарем и со старцем Епифанием, и бысть крепко там, и невозможно видеться. Она же умыслила чином, по-боярскому в коретах ездила, бытто смотрит пустыни Никоновы, и, назад поедучи, заехала на Воробьевы ко мне и, будучи против избы, где меня держат, из кореты кричит, едучи: «благослови, благослови!» А сама бытто смеется, а слезы текут. Потом же так и сяк, ввезли мя паки в Москву на подворье Никольское. Она же по много прихождаше ко вратам двора того и стерегущим воином моляшеся, насилу обрела такова сотника, яко пустил иа двор ея. Она же, прибежав к окиу моему, благодарит Христа, яко сподобил бог видетися, и денег мне на братью дала. Да паки, ко вратом приходя, плакивала. Да и только видания.

Потом меня в Пустоозерье свезли, и писанием возвещахуся. Она же после меня бродила по юзилищам, идеже мучатся мученики. Потом тайно и постриглась, женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприемше, и на муки пошла, Христа ради мучитися. Зверь бо, яко лукавый лис, восхитил ю из дому и предал за приставство воинству, бесчестя и волоча на чепях, яко льва оковану. И сестру ея Евдокею и княги[н]ю так же, мучиша обеих на чепях без милосердия. К ним же последи присовокупиша и Марию Герасимовну, и бысть троица святая, непорочная.

По смотрению же божию скоро преставился Феодосьин сын единородный, Иван Глебович, и вся вотчины и домовная быша в разграблении. Она же вся, яко уметы, вменила ради сына божия. У Евдокеи же княгини преставися дочь во время ея мучения. И еще трое деточек осталося со отцем своим, с князем Петром Урусовым. Писала из своея темницы в темницу ко мне, зело о них печаловаше, еже бы во православии скончалися. Токмо воздыхает и охает: «ох, батюшко, ох, свет мой! Помолись о детушках моих, ничтоже мя так, якоже дети, крушат. Помолися, свет! Помолися, батюшко!» Да тож, да тож одно говорит — целой столбец, и другая целой же столбец, и третья тако же. Ковыряли руками своими последнее покаяние, и рукава прислали рабам своим от чепей с ошейников железом истертые, а с Марьины шеи полотенцо железное же. Аз же, яко дар освящен, восприях и облобызах, кадилом кадя, яко драго сокровище, покропляя слезами горькими.

Егда же оне быша в Москве, тогда и на соборище водили их. Говорит мне: «в сей рубахе была, батюшко, на соборе я. и по многом прении последним запечатала: «все-де вы еретики, власти, от перваго и до последняго! Разделите между собою глаголы моя!» Тако же и Евдокея и Мария, не яко жены, но яко мужие, обличиша безбожнаго июдеянина. И быша все три на пытке пытаны, и руки ломаны, Мария же и по хрепту биена бысть немилостиво. И приступи к ним, вопрошая, верной Ларион, Иванов сын: «еще ли веруете во Христа распятого, и како персты слагаете, покажите ми!» Оне же единеми усты все трое исповедаху: «за отческое готовы умрети! Аще и умрем, ие предадим благоверия! Отъята буди рука наша, да вечио ликовствует, такоже и нога, да по царствии веселится, аще и глава, да венцы вечными увяземся, аще и все тело огню предашь, и мы хлеб сладок святей троицы испечемся». Та же свезоша их в Боровеск на мое отечество, на место мученное, иде же святии мучатся, и устроиша...

...звезда утренняя, зело рано воссияющая! Увы, увы, чада моя прелюбезная! Увы, други моя сердечная! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святии ангели! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобни есте магниту каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Иссуше трава, и цвет ея отпаде, глагол же господень пребывает во веки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя осажденная, три каменя в небо церковное и на поднебесной блещашеся! Аще телеса ваша и обесчещена, но душа ваша в лоне Авраама, и Исаака, и Иякова.

Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя чада зверям на снедеиие. Молите милостиваго бога, да и меня не лишит части избранных своих! Увы, детоньки, скончавшияся в преисподних земли! Яко Давид вопию о Сауле царе: горы Гельвульския, пролиявшия кровь любимых моих, да не снидет на вас дождь, ниже излиется роса небесная, ниже воспоет на вас птица воздушная, яко пожерли телеса моих возлюбленных! Увы, светы мои, зерна пшеничная, зашедшия под землю, яко в весну прозябшия, на воскресение светло усрящу вас! Кто даст главе моей воду и источник слез, да плачю другов моих?

Увы, увы, чада моя! Никтоже смеет испросити у никониян безбожных телеса ваша блаженная, бездушна, мертва, уязвенна, поношеньми стреляема, паче же в рогожи оберченна! Увы, увы, птенцы мои, вижю ваша уста безгласна. Целую вы, к себе приложивши, плачющи и облобызающи! Не терплю, чада, бездушных вас видети, очи яко красны добротою сияющи, ныне же очи ваши смежены, и устне недвижимы.

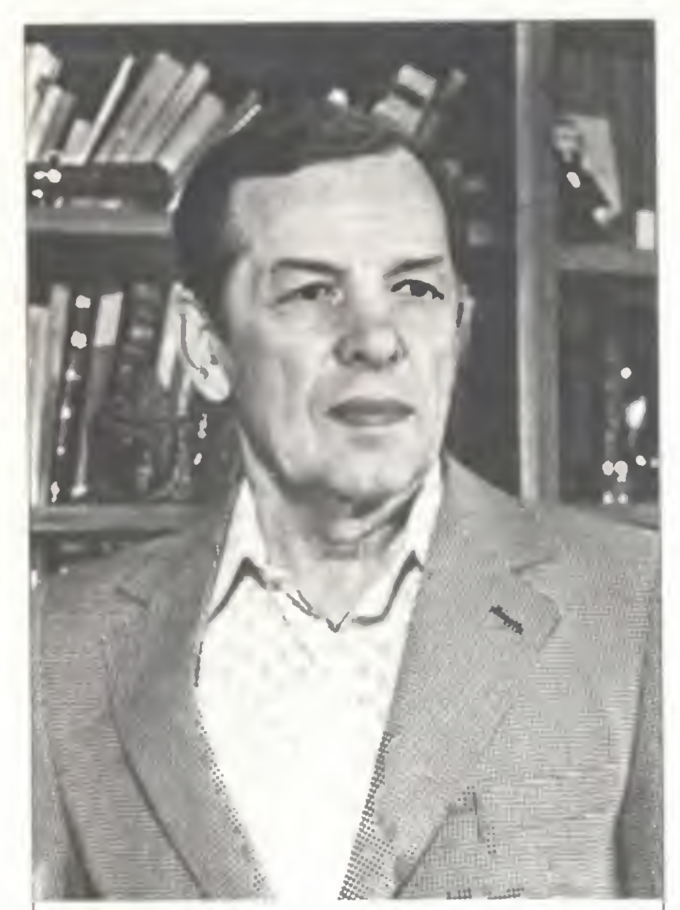
Оле, чюдо! о преславное! Ужаснися небо, и да подаижатся основания земли! Се убо три юницы непорочныя в мертвых вменяются, и в бесчестном худом гробе полагаются, им же весь мир не точен бысть. Соберитеся, рустии сынове, соберитеся девы и матери, рыдайте горце и воскликнем ко господу: «милостив буди нам, господи! Приими от нас отшедших к тебе сих души раб своих, пожерших телеса их псами колитвенными! Милостив буди нам, господи! Упокой душа их в недрах Авраама, и Исаака, и Иякова! И учини духи их, иде же присещает свет лица твоего! Видя вижль, владыко, смерти их нужныя и напрасныя и безгодныя! Воздаждь врагом нашим по делом их и по лукавству начинания их! С пророком вопию: воздаждь воздаяние их им, разориши их, и не созиждеши их! Благословен буди, господи, во веки, аминь».

[1] В рукописи далее почти две строчки выскоблены; с трудом можно прочесть во второй строке: отступника христианского.

[1] Здесь, очевидно, утрачена часть текста.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. РАССКАЗ. ПОРТРЕТ.



Народный артист СССР Георгий Степанович ЖЖЕНОВ родился 22 марта 1915 года, в городе на Неве. В 1932 году закончил Эстрадно-цирковой техникум, в 1935-м — отделение киноактера Ленинградского театрального училища. За время учебы снимался в кинофильмах «Ошибка героя», «Наследный принц Республики», «Золотые огни», «Комсомольск», «Чапаев».

В июле 1938 года по ложному обвинению был репрессирован как «агент американской разведки»... В мае 1954 года был полностью реабилитирован и вернулся в Ленинград; играл в Областном драматическом театре, театре им. Ленсовета. С 1969 года — актер столичного театра им. Моссовета.
На сцене и в кино Г. С. Жженов сыграл около 200 ролей.

— Что вас, вртиста, побудило взяться за перо? Давно ли вы пишете?

— Доверять бумаге свои мысли, чувства, впечатления меня тянуло всю жизнь. А мой учитель — Сергей Аполлинарьевич Герасимов — заставляя нас, студентов, не только придумывать и играть этюды, но и записывать их, даже сказал как-то: «Ты этого дела не бросай, из тебя приличный сценарист получится». До ареста, по молодости, почти не писал. А в лагерях... Да что говорить! В тех лагерях, где я сидел, за клочок бумаги грозила смерть. Ведь темные дела совершаются без свидетелей, без огласки...

Ну, а с середины 50-х годов, после освобождения, желание рассказать людям о пережитом начало выливаться у меня (поначалу в устных воспоминаниях) в то, что потом стало «Саночками» и другими рассказами, опубликованными в периодике.

— Довольны ли вы первой книгой?

— Рад, что вышла, скрывать не буду. Жаль только, что на такой плохой бумаге... И, кроме того, ощущаю угрызения совести: поторопился напечататься! Не все сказал. А сказать хочется многое. Надо было писать и писать, не заботясь об опубликовании. У памяти ведь, как и у добра, дна нету, можно черпать бесконечно!

— Это так, безусловно. Но вот в последнее время раздаются голоса, что, мол, хватит о трагедиях сталинских лагерей, сколько можно. .

— Хватит, согласен... макулатуры на эту тему, спекуляции. А настоящих публикаций, таких, как у Шаламова, Жигулина, думаю, недостаточно. И в этом смысле издательства должны быть более разборчивыми.

— Помогает ли вам при выходе на «литературную сцену» ваша осиовиая профессия?

— Мне кажется, да. Я все пропускаю через себя — актера. И прежде всего, прикидываю, смог ли бы я это сыграть, а, следовательно, жизненно ли это?

— Что значит «жизненно» в применении к автобиографической прозе? Разве вы шли не от факта?

— Конечно, от него. Но подробности, детали, оценки освещались вымыслом. Вымыслом, замешенном на пережитом. Не мне судить, что у меня получилось, но я писал художественную прозу. В первую очередь.

— Я слышала, Сергей Боидарчук сказал про «Саночки»: «Хоть сейчас играй!»

— Нет, он сказал: «Сразу чувствуешь, что писал актер». Кстати, история с «Саночками» не закончена. Сейчас я пытаюсь написать киносценарий по мотивам этого рассказа. Со мной заключен договор.

— И сыграете сами?

— Если мне вернут мои 22 года — с удовольствием!

— От имени редакции и иаших читателей благодарю вас за беседу и желаю новых книг и творческих успехов на сцене и в кино.

Интервью взяла Ольга МЕРКУЛОВА

Внимание! Три читателя, которые пришлют правильные и наиболее полные ответы на публикуемые ниже вопросы, станут обладателями книги Г. Жженова с автографом автора.

А теперь вопросы викторины, которая отныне будет сопутствовать рубрике «Первая книга»:

1. На экраие Г. Жженову приходилось играть пюдей миогих профессий. Назовите, каких и укажите иазвания фильмов.

2. Какие роли в картииах, поставлеииых по произведеиикм Юрия Боидарева и Василия Шукшииа, играл актер!

3. Среди героев Г. Жженова немало военных. Вспомните их звания. Что это за киноленты!

ПЕРВАЯ КНИГА

ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ

ХЛЕБОРЕЗКА

В лагере обнаружилась крупная недостача хлеба. Испугавшись ответственности и самосуда заключенных, хлеборез сбежал.

Хватились его только перед обедом, когда дневальные пришли получать пайки для своих бригад. Хлеборезка оказалась запертой на все замки. Самого хозяина нигде в лагере не нашли. Подняли тревогу...

С комендантского лагпункта примчался встревоженный Николай Иванович Лебедев. Взломали замки — пусто! Хлеб на сегодня получен не был. Некормлеиный лагерь бурлил.

Обозленные, согнанные к вахте работяги отказывались покидать зону, требовали законную пайку.

С крыльца вахты, как с трибуны, Николай Иванович призывал работяг соблюдать порядок, не паниковать... Угрожал, уговаривал потерпеть, обещал, как только поднесут хлеб с пекарни, немедленно отправить его в забой для раздачи.

Пекарня находилась в пяти километрах от «Глухаря», на прииске им. Тимошенко.

Кое-как ему удалось утихомирить работяг, уговорить построиться. Одну за другой конвой принимал бригады и выводил из лагеря за вахту.

Меня вывели из строя и потребовали к начальнику.

Едва я переступил порог кабинета Габдракипова, «Моя судьба», находившийся там, встретил приказом:

— Принять хлеборезку! Будет порядок?

Похоже, настал и мой «звездный час»! Начальник, кажется, сменил наконец гнев на милость.

По его лицу я понял, что мою кандидатуру они обсудили и утвердили сообща с Габдракиповым.

Как объяснить им, что перспектива стать хлеборезом мне ни с какой стороны не улыбается... Как объяснить им это?

— Спасибо за доверие, гражданин начальник, но через неделю кончается срок моего заключения — я освобождаюсь! — Я ударился в дипломатию.

Действительно, 5 июля 1943 года истекал пятилетний срок, вынесенный мне заочно Особым совещанием. Мне интересно было знать, как отнесется к этому Лебедев? Но «на челе его высоком не отразилось ничего...» Он, как и я, прекрасно знал, что никакого освобождения не последует, а состоится лишь «спектакль» на тему освобождения. Не последнюю роль сыграет в нем и мой дорогой начальник.

5 июля, на очередное представление комедии под названием «На-кось, выкуси!» (автор — Иосиф Сталин, в содружестве с Берией Л., Ежовым Н. и др.), разыгрываемой чуть ли не каждый день у письменного стола УРЧ лагеря, буду приглашен и я.

«Моя судьба» попросит меня сесть, неторопливо вытащит из ящика стола важную бумагу с государственным гербом, увенчанным буквами «СССР, СССР, СССР», и зачитает: «Такой-то (имярек), отбыв срок наказания, подлежит освобождению из исправительно-трудовых лагерей, о чем и уведомляется». Под бумагой следуют несколько факсимиле подписей известных всей стране государственных деятелей, олицетворяющих Советскую власть, партию и органы безопасности.

Пока я ставлю подпись под документом и благодарю за освобождение, «Моя судьба» вытаскивает другую, не менее важную бумагу, с тем же гербом, в виньетке тех же букв «СССР, СССР, СССР», и зачитывает: «Такой-то (имярек) задерживается в исправительно-трудовых лагерях в качестве заключенного до окончания Великой Отечественной войны». Под бумагой следуют подписи тех же государственных мужей, ныне известных всей стране и как государственные преступники.

— Почему вы молчите, гражданин начальник? Вы не верите, что меня освободят? Говорите, не молчите.

Он с иронией посмотрел на меня.

— Твое освобождение от меня не зависит, ты же знаешь!..

— Я знаю. Но кого назначить хлеборезом — зависит от вас.

— Вот я и назначаю тебя.

— Но я никогда этим делом не занимался и не хочу заниматься. Честио говоря — все хлеборезы жулики!

— Я не спрашиваю тебя, хочешь или нет! Я приказываю.

— Приказываете стать жуликом? Неужели нельзя найти другого кого-нибудь?

— Кого? Не видишь, кто в лагере находится?

— Вижу.

Я посмотрел на Габдракипова, в надежде найти у него понимание.

— Соглашайся, Жженов! Прошу тебя, — сказал Габдракипов.

— Влипну я с этим хлебом, гражданин начальник! — Упорствовал я. — Не умею я торговать, поверьте... Мало вам одного растратчика, что ли?

— Как только найду подходящего человека — заменю. Но сейчас такого нет!... — Лебедев перешел с начальственного тона на простой, человеческий. — Нельзя дальше держать лагерь голодным. Не видишь, что делается? Меня интересует, будет ли порядок?

Он замолчал, как бы раздумывая, стоит ли сказать мне еще что-то, и, решив, что стоит, неожиданно выпалил:

— Запрос на тебя пришел из Усть-Омчуга. Так что не советую ссориться со мной, артист!..

— Это серьезно, гражданин начальник?.. Вы не шутите? Из культбригады, да? — Обрадовался я.

— Не шучу. Так что, будет порядок?

Он точно рассчитал, чем можно сломить мое сопротивление.

— Обещаю, что «комбинаций» с хлебом не будет. А будет

ли порядок, не знаю, не уверен. В этом деле я младенец, учтите это.

— Ладно, учту. Иди, принимай хлеб и торгуй, младенец.

Вот так я стал хлеборезом.

Получил место, за которое другие дрались, интриговали и давали взятки... Не меньше, чем теперь дают за место в пивном ларьке или на бензоколонке.

Получил место, позволяющее извлекать при желании личную выгоду, стал чуть ли не самым влиятельным «придурком» — единоличным распорядителем основного жизненного продукта — хлеба!

Хлеб — валюта! Единственная в условиях штрафного лагеря. Даже золото отошло на второй план.

На «Глухаре» можно было иметь кучу золота в кармане и в то же время оставаться голодным! Его некуда было деть.

В обычном лагере работяги ухитрялись передавать золото «вольняшкам». Те сдавали его в золотую кассу по нормальной, установленной государственной цене, а с зеками расплачивались хлебом, продуктами... И тех, и других это устраивало. И «вольняшки» зарабатывали, и зеки подкармливались!..

На «Глухаре» вольнонаемных не было, а нести золото начальству не имело смысла. Никаких дополнительных продуктов штрафному лагерю не полагалось. Как бы хорошо лагерь ни работал, как бы ни перевыполнял план — больше штрафной пайки не получишь!

Возможностей расплатиться за добытое сверх нормы золото у начальника не было. Его личный премиальный фонд был настолько мал, что практического значения не имел. Выходило, что, кроме доброго слова, ничего у Габдракипова не было. Одним же добрым словом, как известно, сыт не будешь!..

Зато хлеборез в этой ситуации вырастал в могущественного хищника, перед которым лебезили и пресмыкались сотни доведенных до отчаяния зеков.

Объединившись с другими придурками (старостой, нарядчиком, завхозом, поваром), они превращались в стаю хищников.

В союзе с этими вельможными подонками царствовали и несколько отпетых бандитов — «королей» уголовного мира, узурпировавших власть.

Связанные круговой порукой, эти мерзавцы держали в своих руках все! Не составляло исключение и начальство лагеря — этих приручали взяткой.

Любое сопротивление подавлялось в зародыше. С особенно строптивыми и правдолюбцами расправлялись жестоко, вплоть до убийства, чтобы неповадно было другим. Суд вершили руками «шестерок» — рядовых жуликов, и за страх и за совесть преданных своим главарям.

С одним из главарей мне довелось познакомиться чуть ли не сразу же после прибытия на «Глухарь».

— Тебя хочет видеть дядя Паша! — Сказал мне один из блатных, с которым я сидел в карцере.

— Зачем я ему понадобился?

— Он сам тебе скажет. Пошли.

Не пойти было нельзя. Ослушников дядя Паша не любил и строго наказывал.

О дяде Паше — «крестном отце» блатного мира Омчагских лагерей — ходили легенды. Я слышал о нем еще на транзитке во Владивостоке, в ожидании этапа на Колыму... Оказывается, и до него добрался Лебедев, и его упек на штрафной «Глухарь»!.. Ну и молодец Николай Иванович!

В бараке, куда мы пришли, жили придурки и прочие привилегированные зеки, не занятые на грязных физических работах в забое... Здесь было тихо, чисто. Сюда редко заглядывало начальство.

Тут, в самом дальнем углу, и располагался упырь дядя Паша.

Тихий, чахоточного вида «пахан» лет пятидесяти пяти мирно сидел на одеялах, разостланных на нарах, и потягивал из алюминиевой кружки «чифирок». За его спиной знакомая компания блатных, недавно вместе со мной отбывшая десять суток карцера, резалась в карты, в «коротенькую»...

Вот, значит, какой он, знаменитый «дядя Паша»!.. Вор «в законе», один из немногих, оставшихся еще в живых на Колыме, «королей». Верховный судья и прокурор всех блатных, «качавших права» друг с другом...

Я поздоровался.

Дядя Паша зацепился за меня колючим, как репей, взглядом. Далеко запрятанные за лохматыми короткими бровями острые глазки изучали меня.

— Доброго здоровьичка, милок!... Доброго здоровьичка... Присаживайся. — Он приветливо закивал головой, не спуская с меня нацеленных глаз.

Я примостился на краешке соседних нар рядом с ним.

— Слышал, что ты артист, милок, да?

Я утвердительно кивнул головой, не понимая, к чему он клонит.

— Мы тоже артисты! — Дядя Паша улыбнулся, обнажив частокол нержавеющих зубов. — Артисты-рецидивисты!

Блатные засмеялись. Он поставил в сторону кружку, вытащил из-под матраца четвертушку бумаги, развернул ее, спросил:

— Рисовать можешь?

— Честно сказать — совсем не умею.

— Честно, милок, только честно и никак иначе — нечестных не люблю!.. Врать будешь начальнику, понял меня?

От его тихого, елейного тона стало не по себе, по спине побежали мурашки...

— Вы все вокруг да около, дядя Паша. Говорите, зачем вызвали? — сказал я.

— Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночевать будешь! — Дядя Паша любил, видно, присказки. — Дай сперва наглядеться на тебя, милок... Должен же я понять, с кем имею дело? Значит, говоришь, в гараже РЭКСа диспетчером работал?

— Да.

— Так, ладно, милок... — Дядя Паша положил на одеяло листок бумаги, тщательно разгладил его и сказал: — Смотри сюда. Узнаешь?

На бумаге карандашом был набросан какой-то план. Прямоугольники, квадраты, помеченные разными буквами и цифрами, обозначали какие-то строения, что ли?.. Какие-то линии...

— Что это, не понимаю?

— План РЭКСа, где ты работал. Не так что-нибудь?

Я внимательно вгляделся в бумагу.

— Все не так! — сказал я.

— Да? Обожди-ка.

Дядя Паша полез в изголовье, достал чистую бумагу. Завернув угол матраца, расстелил бумагу на нарах, дал мне в руки карандаш и приказал:

— Рисуй по-своему. Только честно, милок, как есть, понял?

— Чего рисовать-то?

— Все! Укажи, где контора, где магазин, склад, гараж, где «хавира» завхоза... Рисуй, я подскажу.

Я подчинился. Ничего другого мне и не оставалось. Шутить с дядей Пашей в этих обстоятельствах не следовало. Тем более, что смысл происходящего постепенно становился ясен.

Пока я чертил, он внимательно наблюдал, вникал в каждую мелочь, задавал вопросы, требовал подробностей...

Когда я закончил, дядя Паша похвалил меня:

— А говорил, не умеешь рисовать?! Все получилось в лучшем виде... Налейте артисту «чифирку», что ли! — он повернулся к блатным. — Еще несколько вопросов, милок!

Мне передали кружку с «чифиром». Дядя Паша продолжал:

— Ты магазинщика знаешь?

— Да.

— А завхоза?

— И завхоза знаю.

— Перерыв на обед в магазине бывает?

— А как же!

— Каждый день?

— Да. С часу до двух.

— Магазинщик обедает у себя?

— Нет. У завхоза.

— Всегда?

— Всегда.

— Магазин в это время закрыт?

— Да.

— Долго они обедают?

— Не меньше часу, а то и больше. Они ведь поддают за обедом. Магазинщик после обеда почти всегда веселенький...

— Так. Ладно, милок, все. Спасибо. Канай в барак. Спи.

Неделю спустя на «Глухаре» стало известно, что в РЭКСе во время обеденного перерыва был начисто ограблен магазин.

А еще через пару дней, после вечерней поверки, ко мне подошел незнакомый зек, сунул в руки небольшой узелок и сказал:

— От дяди Паши.

В узелке лежали несколько больших кусков колотого сахара. Моя доля!

* * *

Как говорится, первый блин комом! Не пробыв в должности хлебореза и недели, я понял, что взялся не за свое дело. В первые же сутки я оставил без законной пайки человек пятнадцать, в том числе и себя... Проторговался начисто.

Слава богу, недостачу начальство простило. Списало на счет моей неопытности. Начальник лагеря вынужден был пожертвовать свой личный премиальный фонд. Спасибо, конечно, что поняли, вошли в положение, но дальше-то как? Тем более та же картина повторилась в последующие дни. Я был в панике.

Срочно надо было предпринимать что-то... Но что?

Перво-наперво я проверил всю цепочку, начиная с получения хлеба на пекарне и кончая выдачей хлеба в виде взвешенной пайки из хлеборезки лагеря.

Оказалось, что потери начинались уже на самой пекарне, где хлеб, как правило, взвешивался и отпускался горячим (пекарня не справлялась с выпечкой). Остывая, он, естественно, терял вес.

Учитывать это никто не хотел, и меньше всего сам заведующий пекарней — широкомордый деляга, получивший срок за какие-то спекулятивные махинации на воле.

Я пытался заговорить с ним о своей проблеме с хлебом, но он не стал меня даже слушать. По-моему, он поставил целью изжить меня вовсе. Чем-то я не устраивал его с первого появления в этой должности. Видимо, я не подходил под его мерку представлений о «настоящем» хлеборезе, с которым можно иметь дело. Поэтому о нужном мне позарез хлебе разговаривать с ним было бесполезно. Впору было следить за ним, чтобы не обвесил...

Хлеб воровали на пекарне. Воровали в пути, те, кто нес его в мешках в лагерь. Воровали оба мои помощника в хлеборезке, пока разделывали на пайки...

Отчаянные воровали прямо из-под ножа. Улучив момент, хватали хлеб через раздаточное окно прямо с весов, рискуя. Сгоряча я мог хватануть ножом, отрубить руку. Отнять уворованную пайку никогда не удавалось: и догонял укравшего, а он ухитрялся проглотить пайку, не разжевывая... Никакие угрозы, никакие уговоры не действовали. Голодный человек способен на все.

Я кричу: «Руку отрублю!» Мне на это отвечают: — «Ну и х... с ней, с рукой!.. Я есть хочу!..»

Так было до меня, и так будет после меня! Так будет всегда, пока существует штрафной лагерь «Глухарь», где волки и овцы согнаны в один общий загон, где царствует произвол, где торжествует беззаконие и подлость!

Хлеборезку много раз пытались взломать... Сворачивали замки, подпиливали, подкапывали... Устраивали на меня покушения, чтобы завладеть ключами. Без двух ножей за голенищами сапог я не рисковал ходить даже в уборную, боясь неожиданного нападения.

Но не будь всего этого, ничего не изменилось бы... Хлеба не хватало! А то дополнительное количество хлеба, полагающееся на «усушку и утруску», и наполовину не покрывало практических его потерь при транспортировке, расфасовке и прочих непредвиденных, но обязательных тратах.

И если даже хлеборез — человек честный (что маловероятно), не обманывает, не ловчит, не обвешивает полуголодных работяг, прилепляя «грузики» под чашку весов, как это практикует большинство, — хлеба не хватит! Дебет с кредитом не сойдется. Нужда в дополнительном хлебе остается...

Не знаю, удалось ли бы мне избежать участи большинства хлеборезов — встать на путь обмана, заделаться в конце концов жуликом, если бы не случайность... Счастливый случай, давший возможность иметь лишний хлеб и тем самым сдержать данную себе клятву никого ни на грамм не обвешивать.

В хлебе под верхней коркой обнаружилась крыса... Распластанная по всей буханке, запеченная крыса, размером с сиамскую кошку.

Радости моей не было предела. Ура!.. О такой удаче я и не мечтал... Выход найден!

Перво-наперво, в присутствии Габдракипова и коменданта, был составлен соответствующий акт, после чего, запихнув буханку с «кошкой» в мешок, я помчался на пекарню.

Мордатый был в своем закутке на пекарне один. Я вытащил из мешка буханку, сунул ему под нос и приподнял верхнюю корку...

— Смотри сюда, падла! — Сказал я ему. — Этот «пушной зверь» продается. Условия божеские: двадцать килограмм хлеба ежедневно, в течение месяца. Понял?.. Если устраивает — забирай «зверя», он твой! Если нет — несу эту «кулебяку» Лебедеву! Он с тебя, сука, шкуру сдерет. Ну?.. Решай! Быстро!

В течение нескольких минут «сиамская крыса» была продана. Мордатый даже не торговался. Он понимал, чем это грозит ему, окажись крыса у Лебедева.

Ситуация с хлебом рассосалась, по крайней мере, на целый месяц.

Для страховки на гвозде в хлеборезке висел акт, на случай возможного вероломства со стороны Мордатого.

На этот же гвоздь, наряду с разными документами, я накалывал для отчета и письменные распоряжения самого Габдракипова о выдаче дополнительного хлеба тому или иному зеку.

Формулировал он свои указания весьма странно: «Товарищ Жженов, прошу, если можешь, отпусти бригадиру такому-то столько-то кг хлеба. Сегодня его бригада хорошо работала. Габдракипов».

И сколько бы я ни просил его писать свои записки иначе, без компрометирующих его самого слов «товарищ», «прошу», «если можешь», — писать в приказной форме, как обычно и поступает начальство, давая письменное распоряжение заключенному, Габдракипов меня не слушал.

— В приказном порядке я могу распоряжаться своим фондом, — говорил он. — А распоряжаться хлебом, который мне не принадлежит, я не имею права. Поэтому не приказываю, а прошу.

На случай внезапной проверки, из осторожности, я уничтожил следы его деликатности.

Не знаю, чем бы закончилась в конце концов моя ссылка на «Глухарь», не заболей я желтухой... Как говорится, «не было бы счастья — да несчастье помогло!»

Желтуха — болезнь заразная. Необходимо было срочно принимать меры.

Я держался на ногах из последних сил, не рискуя оставить хлеборезку без присмотра. Ходил злой, с температурой и головной болью. Желтый, как тухлое яйцо... Габдракипов позвонил Лебедеву.

Когда тот явился, я пришел в контору, где оба они находились, вытащил из-за голенищ ножи, с которыми в последнее время не расставался ни на минуту, достал ключи от хлеборезки, выложил все это на стол и сказал:

— Гражданин начальник! Забирайте своих солдатиков, больше в эту игру я не играю!.. Что хотите делайте со мной, сажайте в карцер, заводите новое дело, отправляйте в забой... Куда хотите, но хлеборезом не буду!.. Не могу больше, хватит!.. Не умею!.. Не хочу быть жуликом.

«Моя судьба» мрачно и раздумчиво молчал. Молчал Габдракипов. Молчал и я, понимая, что сейчас, в этой долгой паузе, решается моя судьба, а может быть, и вся жизнь...

Нарушил молчание Лебедев:

— До прииска Тимошенко дойти сможешь?

— Попробую... Под гору ведь!

— Тогда марш в барак и собирайся. Через час жду на вахте.

Наконец-то! Прощай, «Глухарь» — век бы мне тебя больше не видеть!.. Прощайте и Вы, Сергей Халилович Габдракипов — уважаемый человек! Спасибо Вам за все, что Вы сделали для меня! Спасибо за Вашу доброту и человеческую порядочность.

Несколько дней я провалялся в санитарном изоляторе лагеря на прииске им. Тимошенко. Когда болезнь отступила и мне стало полегче, Николай Иванович вызвал конвоира, вручил ему мое личное дело и с попутной машиной отправил меня в Усть-Омчуг — в артисты! Одарив на прощание пачкой махорки.

Свое обещание начальник сдержал.

ФОТО ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА

Василий Макарович Шукшин, русский советский писатель, кинорежиссер, актер, лауреат Государственной премии СССР (1971), Ленинской премии (1976, посмертно). Широко известно и любимо его творчество. 25 июля Василию Макаровичу исполнилось бы 60 лет.

ГЛЕБ ГОРЫШИН

КАК ЭТО ЧИТАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Перечитывая рассказы Шукшина в канун его 60-летия (Василия Макаровича нет с нами уже пятнадцать лет), я задавался разными вопросами. Один из них такой: стал бы перечитывать, если бы не заказанная мне к юбилею статья о Шукшине? Подряд едва ли бы стал читать, хотя Шукшин стоит близко (как и Чехов) в стихийно-подсознательном расположении книг на полках у меня дома: одни поближе, другие подальше. Возьмешь томик Шукшина, раскроешь в каком-нибудь месте, прочтешь... про Моню Квасова, «упорного», как он выдумывал свой велосипед, — тут же придут на память другие шукшинские персонажи: Андрей Ерин из «Микроскопа», Глеб Капустин, «срезавший» кандидата, Н. Н Князев, «человек и гражданин», из «Штрихов к портрету», Бронька Пупков из «Миль пардон, мадам»... Это самый верхний ряд запоминания, как бы оставленные по себе Шукшиным опознавательные знаки. Все это вошло в меня, в мою — и нашу общую — «литэрудицию». Но что-то же осталось для открывания-узнавания? Для того Шукшна под рукою и держишь, будто задумал с ним впервой поговорить.

В пору шукшинского «бума», когда о Василии Макаровиче писали все, кому не лень (вскоре после его смерти), настолько он представлялся общедоступным, названных мной героев и родственных им, скопом окрестили «чудиками». Шукшин как бы сам предложил кличку, удобную для классификации, вывел родовые признаки персонажа в рассказе «Чудик». Словечко «истолкователи» подхватили — и пошло, и поехало, в разряд «чудиков» занесли многих, и не замешанных в этом, для истолкования так-то оно легче.

Между тем, «бум» закончился; в отношении творческого наследия В. Шукшина наступило затишье (чтобы не сказать забвение). И вторая моя мысль при перечитывании рассказов этого великого затейника слова, никак не поддающегося заведенной у нас классификации: слава богу, что затишье. Вошло в сознательный возраст поколение людей, после Шукшина живущих, «бумом» не замороченных, узнавших нечто такое про нашу жизнь, о чем «истолкователи» времен повальной «шукшинианы» если и догадывались, сказать не могли. Время — заново перечитывать, открывать Шукшина.

Это я говорю не в укор «истолкователям» написанного Василием Шукшиным, сам приложил руку к «шукшиниане». Однако в перечитывание его прозы лучше пускаться без груза многознания (тем более, всезнания), налегке, непредвзято. И заверяю каждого эрудита, что явит себя Шукшин, как зазеленевшая по весне нива, — знакомым, пусть даже привычным, но с каким-то новым оттенком, смыслом, духом. Духовный мир Шукшина активно живет, развивается во времени, как и мы с вами.

Обладают этой способностью и персонажи шукшинской прозы. Возьмем того же Василия Егоровича Князева — героя рассказа «Чудик». Мужик он, правда, чудаковатый, малость и придурковатый, по совести говоря. Такое его качество проявляется единственно в добрых поступках, несколько даже агрессивных, насколько возможна агрессивность самой природы его доброты. Поехал к брату на Урал, шибко не понравился жене брата своей «придурковатостью». Та и вызверилась на чудика, да так, что с ней и не сладить. И вот чудик забирается в сарайку, там в одиночестве остро переживает... свою некую виноватость перед людьми, совершенно не представляя, в чем она состоит.

Чудик мучается своей чудаковатостью. Вот в чем соль рассказа: в мучении добротой. Едва ли стоит приписывать Чудику типические черты, пусть даже в галерее излюбленных образов Шукшина. Тем более, не стоит выводить из него «русский национальный характер» или еще что-нибудь такое. Случай с Чудиком — пограничный со сферой психопатической. Сюда, в эту сферу, Шукшин простирал свой взор, как и до него бывало — у нас и в мировой литературе.

Описанный в «Чудике» случай — единственный в своем роде анекдот, но не для нашего с вами увеселения, а для серьезного обдумывания. Как говаривали «истолкователи» еще во времена Чехова, «смех сквозь слезы».

С Чудиком — ладно, бог с ним, допустим, что таким мама его родила. Много сложнее с его однофамильцем, Николаем Николаевичем Князевым, в рассказе «Штрихи к портрету». Данный персонаж «соскочил с зарубки» (как говорят в другом шукшинском рассказе «Ванька Тепляшин») опять же по своей приверженности добру. Его «некоторые конкретные мысли» суть те же самые, что насаждаются нашим агитпропом (во всех его видах, повсеместно) и средствами массовой информации. Ну, например: «Человек получает свободное время, чтобы узнать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху?» Такая

элементарная, расхожая нотация (как и другие), будучи вложена в уста частному лицу, высказана в неподобающей обстановке (за столиком в закусочной), да к тому же еще в агрессивной форме, вдруг приводит героя в безысходный конфликт с окружающей действительностью, с иашими согражданами. В финале рассказа Н. Н. Князева, «человека и гражданина», впору вести в психушку. Автор приводит героя этим же в «пограничичую» сферу: к «соскочившему с зарубки» Н. Н. Князеву приглашают врача-психиатра, тот признает пациента вменяемым. Аиамиез его «душевиой болезни» мы находим в последней главке, «Коротко об авторе»: «Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собои, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже иикакого». И далее: «Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильиее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: сколько всего наворочено. А порядка нет».

«Душевная болезнь» вменяемого человека — откуда она? Что с нами происходит?

Вот мы и подошли к тому главному, что вычитываешь сегодня у Шукшина, к тому, что писатель выстрадал и, быть может, не до коица или как-то около, высказал, — по условиям того времени, когда он жил и писал. Я не открою Америк, сказав, что Шукшин — провозвестник нынешней гласности, правды о тяжелой болезни сталинщины, перенесенной обществом. Однако сегодня в прозе Шукшиииа особенно зримо проступают симптомы этой болезни. Того, как болезнь отозвалась в судьбе отдельного человека — вывихнула, выбила из колеи.

Здесь и причина многих чудачеств шукшинских «чудиков». Почитаем внимательно и найдем, из чего что вышло. Откуда, к примеру, у Броньки Пупкова, в рассказе «Миль пардон, мадам!» (вспомним, как жена аттестовала Броньку: «Харя ты неумытая, скот лесной») такая необоримая потребность приписать себе несодеянный подвиг; как бы самооправдаться. В чем? А вот: свел Бронька в 3-м году попа в ГПУ. От попа и следа не осталось. Вроде бы даже и заслуга Бронькина? Крохотная деталь в рассказе, в строку упоминаемая, но для чего-то автору позарез нужная. Едва ли в семидесятом году, когда рассказ появился в печати, кому-то пришло в голову (если кому и приходило, то, извините, публично, как я помню, этого не высказывалось) выводить Бронькин «вывих», его тяжелое, болезиенное похмелье из этой детали. Чудик он и есть чудик... А ведь грех на душе у Броньки, болеет-томится его душа, «соскакивает с зарубки» мужик.

Я думаю, наиболее полно высказался Шукшин на эту тему в рассказе «Осенью», не вошедшем в круг обкатанных для разбора его сочинений. Выпадающий из этого круга даже по стилю, манере — без ерничества, очень серьезный, рассказ логически выстроенный от завязки до кульминации. Впрочем, это вообще отличает последние произведения писателя. «Осень» — повествование о любви, безмерно печальиое. Рассказ о том, как полюбил Филипп Марью. И Марья была хороша, и Филипп хоть куда, активничал на селе, вместе с комсомольцами. Время пришло Филиппу жениться на Марье, по большой взаимной любви, а комсомольцы против венчанья. «Филипп, конечно, тут как тут: тоже против венчанья. А Марья нет, не против... Филипп очутился в тяжелом положении... Марья ни в какую: венчаться и все». Женитьба Филиппа на Марье расстроилась. За главное посчитал Филипп для себя «правильную линию», а любовь предал. Женился на Фекле, без любви, жизнь получилась тусклой, бессчастной. И Марья, выйдя замуж за Павла, в другую деревню, тоже мыкала жизнь абы как. «Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил... Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью...»

Развязка рассказа «Осенью» страшна: паромщик Филипп перевозит через реку машину с гробом Марьи. Кинулся было, в последний раз ее увидеть, проститься... Марьин муж Павел злобно ударил Филиппа. Любовь оборотилась лютой ненавистью...

У Шукшина о любви написано не то чтобы много, но как-то чутко, бережно, свято, с высоким пониманием взаимосвязи любви и добра в каждом человеке, будь то паромщик Филипп или дядюшка Максим в рассказе «Наказ». И с горьким (но сдержанным, мужественным) сожалением о любви, размолотой на железной молотилке неправедного жизнеустройства. (Вспомним: «Сколько всего наворочено. А порядка нет».) Любовь — такое хрупкое существо, а нет ничего лучше на свете; кого мииует, тот обделенным изживет свои дни... Собственно, об этом, быть может, главное сочинение Василия Шукшина — «Калииа красная».

В рассказе «Наказ» говорится вроде бы о другом. Хотя и об этом, несомненно, тоже. Молодого Григория Думкова назначили председателем колхоза (т. е. «избрали»). Вечером к нему пришел дядюшка Максим дать племяшу совет, как повести себя в новой высокой должности: «Ну, Григорий, теперь крой всех, понял?»

«Надо вести дела так, чтобы ему (вольнщику на работе)... это невыгодно было экономически». — Это молодой председатель.

Как видим, в рассказе предложеиа совершенио современная раскладка: с одной стороиы, административио-приказиой метод руководства, с другой, — экономический. Первый метод, как азбука, вытвержен дядюшкой Максимом, как урок, вынесен из опыта прожитой в колхозе жизни. Второй — в духе времени, в прожекте молодости. И вот идет беседа у старого с молодым. Похоже, как комментарий к сюжету, приводится пример из жизненного опыта дядюшки Максима: «Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен. А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне оиа не считает себя женой предателя, и всеиародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их, и вышла за другого фронтовика».

Выходит, что жизненный опыт дядюшки Максима, его премудрость бывалого человека воздвиглись на руинах семейного счастья, может быть, и любви. Всю войну солдат к жене порывался и после, покуда «долго выясняли»... Порыв его, веру, надежду — вдребезги, с треском об пол, да еще принародно. Вот и... «крой их всех». А как же иначе?

«Ну, зачем так уж ставить одно в прямую зависимость от другого, как причину и следствие?» — могут мне возразить, предвижу. Согласен, верно... Кстати, и дядюшка Максим в рассказе «Наказ» не ожесточился. Рассказ, как все у Шукшина, свободен от схемы, написан затейливо-непринужденно; характеры в нем неоднозначные, и много разного «сверх сюжета». Например, интересное наблюдение о русском характере: «Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». И о немецком характере: «И вот я какой вывод для себя сделал (говорит дядюшка Максим): немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет».

И все же позволю себе предположить, что «Наказ» — и про любовь тоже... Любовь не сама увяла (что в порядке вещей, задолго до Шукшина освоено литературой); ее размолотила все та же проклятая, невыносимо долго лязгавшая молотилка — орудие неправопорядка, бесчеловечности, возведенного в политику, почти что в религию — зла вполне конкретного, костоломного. Если изъять из «Наказа» упоминание о главной обиде дядюшки Максима — о его загубленной любви, рассказ утратит свою социально-историческую глубину. А этого никогда не позволял себе Василий Макарович Шукшин, как хороший землепашец мелкую пахоту.

Когда читаешь рассказы Шукшина в хронологическом порядке, от начала шестидесятых до первой половины семидесятых, замечаешь, как нарастает в писателе потребность узнать главное: что с нами происходит. Социальные мотивы психологии персонажей становятся обостренными, даже болезненными, как, скажем, в рассказе «Кляуза». Таков же и рассказ «Алеша бесконвойный». О том, как... Но для чего пересказывать Шукшина? Суть рассказа писвтель выразил в заголовке: до лагерей-то на Алтае — рукой подать; объяснять, что значит «бесконвойный», не надо. Такое вот прозвище у героя рассказа, деревенского пастуха Кости Валикова: Алеша бесконвойный.

Раз в неделю, в субботу, Алеша выламывался из общего порядка, не выходил на работу, парился в бане. Даже на собрания не ходил... (Ну вот, зарекся пересказывать, а как без этого обойтись? Не знаю.) «Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился!» Когда Алешу попрекали, хотя бы и жена Таисья, он думал: «Гори все синим огнем! Пропади все пропадом!» Алеша выламывался из заведенного хода вещей, в чем-то с ним не согласный; на кого-то, на что-то таил обиду в душе; парясь в бане, ие только себя услаждал, ио и как бы мстил кому-то.

Кому же, за что? Поищем в рассказе, и мы найдем в нем роман о любви — о единственной, испепеляющей душу и попранной — Алешииой любви... Алеша с войны возвращался, вез из Германии иемецкий ковер и пару офицерских сапог. Где-то на полустанке в вагон — солдатскую теплушку — попросилась молодая дамочка в крепдешиновом платье, никогда до сих пор невиданной Алешей красы. Алешу и попросила, разглядев в его лице единственно нужную ей простоту. Оказалось, что красавице ехать неподалеку, до такого же полустанка. И там так вышло, что солдат проводил обретенную подругу до какого-то дома, утром проснулся — ни подруги, ни ковра, ни сапог. Красавицу звали Аля.

Крохотный эпизод в рассказе, ио, я думаю, заглавный. В скоротечном своем романе с Алей молодой деревенский парень, только что победивший в страшной войне, оставшийся живым, ощутил всю высоту любовного вознесенья, весь трепет, всю сладость... «Колючечки острые этого крепдешииа, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случаи, а ои ее любил, Алю-то. Вот как».

На Алю Алеша не обиделся. Можно предположить, что оиа была искренна иа коротком пире любви. Однако... оставила Алешу без ковра и сапог, у разбитого корыта — исполнила свою роль, свою функцию зла в общем непорядке жизни. Вот на этот непорядок Алеша и обиделся, как Н. Н. Князев, «человек и гражданин», как многие еще герои Василия Шукшииа. Вот как, — скажем мы от себя, — какие же они «чудики»?

В рассказах Шукшина почти нет авторской речи. Писатель не объясняет, что почем. Но если хорошенько прислушаться к монологам его героев, сказанным вслух или внутренним, можно расслышать знакомый нам по фильмам глуховатый, раздумчивый голос самого Василия Макаровича, познать его святая святых: ради чего он творил и мучился, жил и без времени умер. Легко найти личное, авторское и в рассказе «Алеша бесконвойный». Например, о детях: «Алеша любил детей, но никто бы никогда так и не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малои какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда, что стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся».

Но почему же, почему, — можно задаться вопросом, перечитывая Шукшина, — ни в одной из множества явленных миру писателем супружеских пар любовь не вошла в пору цветенья, плодоношенья? Ведь была же, с нее началось... Почему Алешина жена Таисья, если и не гвоздит своего муженька, в общем, доброго малого, то единственно из боязни, как бы не застрелился? Его брата Ивана жена до того загвоздила, что Иван застрелился... Пожалуй, вечный вопрос. И ответ на него прилежно разжеван: причину дисгармонии в семье ищи в бездуховности, обоюдной или у кого-нибудь одного из пары. Шукшин — за духовность, но, если поискать у него причину разлада, я думаю, можно ее найти все в том же неладном жизнеустройстве, в безысходной нашей нуждишке, в фатальной приниженности социальной личности, в ком-то заданном каждому из нас «потолке».

Впрочем, это предмет для особого исследования, если иметь в виду изощренное внимание Шукшина к психологической обрисовке типажей к человеческому характеру.

Напоследок скажу о маленьком рассказе-этюде «Рыжий», написаиом Шукшиным в форме письма с дороги, от первого лица, как прощальный привет... Мальчишкой Вася ехал из Оиугдая в свое родное село Сростки, по Чуйскому тракту. Навстречу попался грузовик, его водитель — иаглая морда — ие подал, как следовало, вправо, «шваркнул» Зис-5, на котором ехал Вася, по кузову, снес полборта. Васии шофер развериулся, догнал и тоже «шваркнул».

Этот случай Василий Макарович вспомнил в самом конце своего пути, как повод высказать важные мысли: «Ах, и пресио же ехать! И прекрасив моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданиая красота. Описывать ее бесполезио, ею и иадышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором».

Но в этом-то, в любви к Алтаю, Шукшин иам всем хорошо знакомый... А в конце рассказа «Рыжий» (когда рыжий водитель «шваркнул» своего обидчика, развернулся и поехал своим путем) приводится самый главиый для писателя, тогда и родившийся в его отроческом уме, вывод, иастоящая программа на жизнь: «Я... почему-то принялся думать так: нет, жить иадо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезио».

Самое существенное в этом внутрением монологе словечко «нет». Вася Шукшин не согласился с безрассудным ухарством рыжего чуйского шофера, иа краю вполие реальной пропасти, хотя и восхитился его хладнокровным мужеством. «Надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно...»

Написал я и тотчас усомнился: так ли понял шукшинское «нет»? Может быть, оно обращеио к подлости, за которую следует шваркнуть во что бы то ни стало? Может быть, это и имел в виду Василий Шукшин в своем завещательном рассказе «Рыжий»? Не знаю... Шукшин — сложныи. Человек есть тайна...

Когда перечитываешь Шукшина, приходит и эта мысль: нам предстоит еше его открывать и обдумывать. Мы и те, что вслед за нами, много раз заново переживем жизнь замечательно сложного русского писателя. Очень серьезная жизны!

ГОРЫШИН Глеб Александрович — прозаик, очеркист. Родился в 1931 году в Лениинграде. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. По окончании учебы уехал на Алтай, работал корреспондентом барнаульской газеты «Молодежь Алтая». В 1957 году в журнале «Нева» опубликовал первый рассказ «Лучший лоцман», а через год вышла первая книга — «Хлеб и соль». Г. Горышин работает в литературе активно, ои автор более двух десятков книг, включающих произведения разных жаиров.
Василию Шукшину Глеб Горышин посвятил свой очерк «Где-нибудь на Руси». Они познакомились на Алтае, в Горио-Алтайске. «Шукшин, — вспоминает Горышин, — тревожился, что времени остается очень мало и некогда размениваться, что надо говорить о самом главном — о жизни и смерти, и говорить только правду».

КНИГИ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА:

Собр. сочинений: в 3-х т. М.: Мол. гвардия, 1984.
Избранные произведения в 2-х т. — М.: Мол. гвардия, 1975.
Избранные произведения в 2-х т. (Изд. 2-е). М.: Мол. гвардия, 1976.
Беседы при ясной луне. Рассказы. М.: Сов. Россия, 1974.
Брат мой. Рассказы, повести. М.: Современник, 1975.
Вопросы к самому себе (Сборник публицистики). — М.: Мол. гвардия, 1981.
Далекие зимние вечера: Рассказы. — М.: Дет. литература, 1988.
До третьих петухов. Повести. Рассказы. — М.: Известия, 1976.
Библиотека «Дружбы народов».
До третьих петухов. — М.: Сов. Россия, 1980.
Живет такой пареиь. Киносценарий. — М.: Искусство, 1964.
Земляки. Рассказы. — М.: Сов. Россия, 1970.
Киноповести. — М.: Искусство, 1975.
Киноповести. — М.: Искусство, 1988.
Любавины. Роман. — М.: Сов. писатель, 1968.
Нравственность есть правда. — М.: Сов. Россия, 1979.
Повести для театра и кино. — М.: Известия, 1984. Библиотека советской прозы.
Рассказы. — М.: Худож. литература, 1979.
Рассказы. — М.: Детская литература, 1979.
Рассказы. — М.: Московский рабочий, 1980.
Рассказы. — Л.: Лениздат, 1983 —(Мвстера русской прозы XX века).
Рассказы. — М.: Худож. литература, 1985 — (Классики и современники советской литературы).

Леонид Мартынов

СРЕДЬ СОВРЕМЕННИКОВ СВОИХ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

...Первая моя «личная» встреча с Леонидом Мартыновым состоялась, увы, 26 июня 1980 года — в день его похорон. Светило яркое, сменявшееся внезапным дождем солнце, а потом оно снова еще ярче пробивалось из-за летних туч, отражаясь в ослепительных лужах, в чисто вымытых крепких листьях. Прощание происходило в Доме литераторов. Очень молодое лицо было у Леонида Николаевича. Какое-то просветленное. И только сердито, очень выразительно сжатые губы не могли скрыть, что вот от большого раздумья отвлекли человека, нарушили внутреннюю его тишину...

В стороне от суеты, шума, от бездарной ленивой жизни умер один из самых крупных поэтов XX века. Может, поэтому он даже и некрологов не заслужил в центральной (нелитературной) печати?.. Продолжалась жизнь, равнодушная и высокомерная к истинным труженикам! Но утешало одно, что справедливость — высшая (не — официальная, казенная!) была в стихах Л. Мартынова, и она же была ведома Времени, Будущему, в котором живет настоящая поэзия...

Мне всегда казалось, что Леонид Мартынов писал свои стихи при вспышках молний — так много в его творчестве грозовых отсветов, грозовой свежести и внезапной, вырывающейся из тьмы объемности. В этом, конечно, есть своя закономерность, ведь поэт, родившийся почти в самом начале века (1905 год), был свидетелем и участником этапных и переломных событий нашего столетия. Не только он сам — то восторженно, то отчаянно проходил их железными магистралями, но и они (этапы!) крепко прошлись по нему, проверяя на прочность, на выдержку нервов и неистребимость духа.

Человек сибирской силы, Леонид Мартынов словно специально был задуман природой не для штилей и филистерского покоя, а для бурь и штормов времени, для былинного богатырства. Увы, мы не умеем по достоинству ценить своих поэтов! Иначе бесспорно могли бы признать в Мартынове не уступающее уитменовскому укрупненное космическое мировосприятие; не уступающее Фросту мудрое, философское со-родство с природой; не уступающую Неруде насыщенность мировой культурой... Мы умеем щедро и взахлеб превозносить нечто «заморское», к своему же относимся пренебрежительно, свой аршин у нас явно укорочен холопской привычкой ждать оценок «из Европы».

Возвращаясь же к нашему разговору, заметим, что аналогии поэтической смелости Мартынова, его взаимоотношений с современностью скорее обнаружатся в науке, чем в поэзии, то есть там, где свершались пророчества Циолковского, Чижевского, Вернадского. Мы можем говорить о космосе Мартынова, узнаваемом по первой же строчке, детали, новаторской, мартыновской перекличке рифм, созвучий. (Об этих неотступных, догоняющих друг друга созвучиях можно написать отдельное исследование — ибо через них Мартынов передал прекрасно угаданную, уловленную в жизни отзывчивость, неисчезаемость наших жестов, мыслей, поступков, получающих отклик, отзыв, повтор в новых жестах, мыслях, действиях!) В этом грозовом и звездном пространстве — перемешаны революции, войны, путешествия, открытия века, великие и неизвестные люди, реки, моря, горы... И все это словно каким-то бешеным мотором втягивается в стремительный ритм стиха, от которого неуютно становится премудрым коммунальным блюстителям принципов и нравственности. И не только им. И «вершителям судеб». Как это случилось с Наполеоном, к которому пришел Кювье докладывать о состоянии наук (стихотворение «Доклад»).

Вихреобразность, вихреподобность поэзии Мартынова, в отличие от однотипных модернистских, метафорических конструкций, потрясает именно ясным, почти научно выверенным списком. Как когда-то загадочный и, казалось, таинственный неуправляемый космос с открытием ньютоновских законов механики приобрел прекрасную стройность и гармонию, так и в вихре мартыновской стихии всегда сокрыт непременный организующий ее — смысл. И если Кант говорит: «Дайте мне только материю, и я построю вам целый мир», то поэт из соприкосновения с жизнью создает образ мира, образ общества, времени. Почему так часто поэтов объявляли опасными? Почему против них ополчаются — пошлость, толпа, «мундиры голубые» (Лермонтов)? Не потому ли, что от их взгляда не спрятать подлости, тупости, рабства? Поэтический «образ мира» — не есть нечто романтическое, желаемое, воображаемое. Это — неопровержимо реалистическая действительность. Отсюда столько пророческого в настоящей поэзии. Как видно, природа пророческого не в мистицизме, не в гадании по гороскопам, не в телепатическом бормотании, а в самом грубом реализме, в понимании истинного положения вещей, из которого и неизбежно предвидение будущего.

Или стихотворение, написанное (подумать только!) в 1935 году, но словно провидевшее отмеченное особым знаком число — 5 марта 1953 года. Поэт описывает некое кладбище старинных машин (что потом так же созвучно отзовется в смеляковском «Кладбище паровозов», но с другим акцентом!), и вот, стоя над бывшею грозной развалиной, он говорит:

Но думаю:
«Всегда бывает так!
Еще недавно твердь под ним дрожала,
Все грохотало,
И толпа зевак,
Ликуя, как за будущим, бежала.
И вот теперь
На грани роковой
Лежит недвижен, ржав, тяжеловесен.
...А иногда —
Бывает таковой
Судьба людей,
Идей
И старых песен».

(«В мире сорных трав»)

В принципе, каждый поэт пишет свой Апокалипсис. Ибо нельзя не предвидеть крушение тех или иных кумиров, общественных систем, взглядов. Да и вообще — поэт не может не думать о смерти, уготованной каждому из живущих. Но что удивительно — несмотря на все тяготы судьбы (обвинение по сфабрикованному доносу; несправедливые, оскорбительные журнально-газетные проработки; вынужденное самоотлучение от собственных стихов почти на десять лет; равнодушно-снисходительное отношение критики в последние годы жизни!), несмотря ни на что, Мартынов не был мрачным пророком. Наоборот, он как раз пытался найти, показать «грань», которая должна в конце концов стать «роковой» для всего недоброго, злого. Когда сегодня мы удивляемся, как могло случиться, что в июне 41-го народ встретил войну почти безоружный, и о какой «прозорливости» будущего генералиссимуса можно после этого говорить, — вспоминаются стихи Мартынова, написанные в 1938 году и которые наравне с донесением Зорге предупреждали о неизбежности нападения на нашу страну. Но в стихотворении двойное предостережение. Уже тогда в нем говорилось о неотвратимом крахе фашизма, причем судит фашистов — по удивительному совпадению с известным процессом — *«нюренбергский* портной».

...Он повторял: «Вы бредите войной, берлинские вояки-забияки.
Запросите фасон кроить иной, когда в больничном скорчитесь бараке,
Запросите фасон кроить другой, когда с одной останетесь ногой!»
И зло захохотал он в полумраке.

(«Нюренбергский портной»)

Можно было бы еще приводить примеры, когда Мартынов на десятки лет вперед предвидел проблемы исчезающих рек, лесов. Когда он дальновидно прокладывал темы будущих стихотворений, книг, споров. Когда он произнес страшные обвинительные слова в защиту человека, человеческого достоинства, выдвигая эту тему в качестве самой главной до конца столетия и далее. Еще в 1954 году на пределе откровенности он заговорил о том, о чем мы только сейчас начинаем говорить в полный голос, да и то не без предательского холодка в груди, не без привычной оглядки!

Огонь
Идет по человеку!
Все тяготы он перенес,
И всех владык он перерос, —
Вот и палят по человеку,
Чтоб превратить его в калеку,
В обрубок, если не в навоз.

Итак,

К какому же решенью
Он, человек, пришел сейчас?
Он, человек, пришел к решенью
Не быть ходячею мишенью
Для пуль, и бомб, и громких фраз!

(«По существу ли эти споры?»)

Открыв это мощное пророческое начало в поэзии Мартынова, я уже с каким-то взволнованным ожиданием перелистывал страницы его книг, пытаясь найти в них еще одно предсказание. И оно там было, помеченное 1960 годом:

Где-то там
Испортился реактор
И частиц каких-то напустил
Известил о том один редактор,
А другой не известил.
И какой-то диктор что-то крикнул,
А другой об этом ни гу-гу.
Впрочем, если б и никто не пикнул,
Все равно молчать я не могу!

(«Где-то там испортился реактор»)

Странно, мы совсем, кажется, ничему не научились. Может быть, не в последнюю очередь еще и потому, что невнимательно прочитали свою литературу, своих поэтов?.. Может быть, нам еще не поздно открыть старые, якобы давно осмысленные книги, и внять предупреждениям и прозрениям Пушкина, Баратынского, Тютчева?.. Нас задела только музыка Есенина, но не изменили нашего отношения к жизни, друг к другу — его предчувствия. За 26 лет до Чернобыля Мартынов с репортерской точностью описал первую чиновничью реакцию на событие, которое еще ждет своего не только ведомственного, но и философского осмысления! А мы ничего не поняли, пропустили мимо ушей, мимо сознания, мимо сердца. Тем тяжелей и суровей расплата. Видимо, опять прав оказался Леонид Николаевич, сказав: «Нас разглядеть и опыт наш учесть и раньше, разумеется, могли бы!..» Особенно, когда мы живем в эпоху, в которой каждый час, каждый день несет в себе «роковую грань» для планеты, для человечества.

Все сроки
И каждый намеченный путь,
И даже пророкам, пророча,
Не следует очень тянуть.

(«Короче, короче, короче!»)

Мартынов, как, пожалуй, ни один из наших поэтов, обладал счастливым даром иронии, юмора, использовавшимся им не для зубоскальства или светского острословия. Он написал блещущее философское стихотворение «Царь природы», полное раблезианского смеха, обнажающего все человеческие пороки. Он написал свое знаменитое стихотворение о Лукоморье, построенное на виртуозной игре слов и похожее на сказку о чудесной стране, где нет пошлости, грязи, духовной закрепощенности. Это веселое и горькое стихотворение — упрек, напоминание каждому из нас о несбывшейся мечте, о жизни под грудой обломков рухнувших воздушных замков. Если можно определить суть Мартынова-поэта, исходя из этого стихотворения (очень характерного для него!), то его можно назвать реалистом-романтиком. Потому все его творчество преобразовательно, воспитательно по своей сути, он борется за такую реальность, которая не мешала бы осуществлению любой самой дерзкой мечты. Об этом он написал не менее знаменитое, на грани возмущения всеобщего спокойствия стихотворение «Подсолнух», с его оглушительной интонацией:

Вы ночевали на цветочных клумбах? —
Я спрашиваю —
Если ночевали,
Какие сны вам видеть удалось?

Под напором этой могучей энергии снова и снова убеждаешься, что судьба Леонида Мартынова, его книги, его поиски с открытиями и поражениями до последнего вздоха поэта утверждали великое право литературы быть свободной и независимой ни от каких обстоятельств, переменчивых мнений, пристрастий. Ибо —

Из смиренья не пишутся стихотворенья,
И нельзя их писать ни на чье усмотренье.
Говорят, что их можно писать из презренья.
Нет!
Диктует их только прозренье.

(«Из смиренья не пишутся стихотворенья»)

Геннадий КРАСНИКОВ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

* * *

Луна,
Взойди в своей короне,
И в перстень лунный камень вдень,
И озари гнездо воронье,
Плетень и сад, укрытый в тень,—
Луна сонат, луна рапсодий,
Луна и летом, и зимой,
На серебристом луноходе
Блуждая по себе самой.

* * *

По эту сторону капели
Иду я. Здесь ручьи запели,
А не на этой стороне
Снега еще не отскрипели,
Как будто бы в другой стране.

И там мечтают о весне,
Да перебраться не успели
На эту сторону капели —

Боятся ледяной купели!

Но перешли, не утерпели,
Через блистание капели
На эту сторону, ко мне!

* * *

Всё зависит от людей!
Время — это чародей:
Кровь хлестала почем зря,
Прямо — целые моря,
А теперь земля пестра
От вьюнов до архидей.
Время — это чародей!
Чародей-то чародей,
Но, по правде говоря,
Смылась кровь не от дождей,
А, по правде говоря,
Все зависит от людей!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Что-то
Не расходится
Светоний...

«Двенадцать цезарей»
Лежат, не возбуждая никакого ажиотажа.

Купленный лет двенадцать назад у букиниста в старом
суворинском изданьи, этот Светоний, сколько
он стоил?
Кажется — 30 рублей. А в новом изданьи он стоит два
десять. И даже
Есть комментарий. Но никто не
Обращает вниманья на то, что книжка появилась
в продаже.
И кажется,
Так и останутся лежать эти кипы Светония
И до двенадцати цезарей нет никому дела. Дело в том,
Что это — история
И это — не в тон.
А вот всевозможная фантастика, приключенья
Даже в туннелях метро поглощается на лету
Сразу для чтенья тут же в метрополитене.
Но я и Светония куплю:
Перечту.

* * *

Немеркнущий
Во мгле времен
Слит воедино ряд имен:
Стоят Евклид, Сократ, Платон
И Аристотель — всех я вижу,
Но этот мир от нас далек.

Маркс, Дарвин, Мендель и Ван-Гог,
И Уитмен — гораздо ближе.

Я вижу:
Ленин и Эйнштейн,
И Маяковский, и Пикассо —
Вот небосвод имен усеян
Какими звездами.

И часа
Я жду, когда не мне удастся,
Нет, я не так самонадеян,
Чтоб говорить себе:
— Проверь
Всё, что творится ныне в мире!
Какие назовешь теперь
Три имени или четыре,
В единый ряд поставив их,
Средь современников своих.

* * *

О, книги!
Есть книги, как глыбы бумаги,
Есть книги, как пестрые листья растений,
Есть книги, которые блещут, как шпаги,
Когда обнажает их творческий гений.

Конечно, порой, при воздушном налете,
Когда не прочищено горло орудий,
Любою из книг, хоть в каком переплете,
Увы, не прикроются добрые люди.

На это укажет любой переплетчик,
И каждый зенитчик поведает это,
Но если уж кто не стрелок и не летчик,
А пишет он книги, зачем-то и где-то,
Пускай эти книги
Вещают о благе,
Пусть будут они,
Как светила во мраке,
А вовсе не пышные хлопья бумаги,
На коих танцуют печатные знаки!

Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ.

И. А. Бунин.
Конец 20-х годов.

У ПОСЛЕДНЕГО ПРИЧАЛА

21 октября 1928 года, в Грасе, Галина Кузнецова, последняя любовь Бунина, записала:

«В сумерки Иван Алексеевич вошел ко мне и дал свои «Окаянные дни». Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью».

Эту книгу Бунина у нас или обходили молчанием, или просто бранили.

Между тем, при всем накоплении в ней «гнева, ярости, бешенства», а может быть, именно поэтому, книга написана необыкновенно сильно, темпераментно, «личностно». Он крайне субъективен, тенденциозен, этот дневник 1918—1919 годов, с отступлениями в предреволюционную пору и в дни Февральской революции. Политические оценки в нем дышат враждебностью, даже ненавистью к большевизму и его вождям.

Но без «Окаянных дней», по моему убеждению, нельзя понять Бунина.

Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в несправедливости великой — художником. Это только его боль, его мука, которую он унес с собой, в изгнание. И нам следует, мне кажется, проявить, уже с большей временной дистанции, определенную терпимость, не страшиться сегодня давних словесных проклятий и хулы, вырвавшихся под влиянием событий, когда в братоубийственной войне рекой лилась русская кровь.

Еще только будут написаны (или уже пишутся) нашими учеными исследования о гражданской войне в России, где дадут высказаться обеим сторонам. До сих же пор мы выслушивали только одну, «свою» сторону, не получая в итоге полной картины. А гражданская война во все времена была самой жестокой и беспощадной, самой трагической, когда брат шел на брата, сын — на отца. Эта взаимная ожесточенность с замечательной правдивостью передана в нашей национальной эпопее — «Тихом Доне» М. А. Шолохова, где сцены казни большевиков белогвардейцами соседствуют с эпизодами расправы красных над белыми пленными, где в муках неразрешимых мечется, не находя полной, абсолютной правды и взыскуя ее, Григорий Мелехов. Но, кстати, даже и в «Тихом Доне» отсутствуют самые страшные эпизоды: переходящие в геноцид массовые расстрелы мирных жителей Дона (включая женщин, детей и стариков), последовавшие после подписанной Я. М. Свердловым 29 января 1919 года директивы о «расказачивании»...

Предельная внутренняя честность и порядочность Бунина, его чувство независимости, собственного достоинства, неспособность лгать, притворяться, идти на компромисс со своей совестью и своими убеждениями, — все это было жестоко попрано в хаосе гражданской войны.

Он увидел ее только с одной стороны. Однако ведь красный террор был такой же реальностью, что и белый. Производились массовые расстрелы заложников (крупных чиновников, дворян, промышленников, духовенства), уничтожались сдавшиеся в плен юнкера и офицеры (начиная с ноября 1917 года, когда, после подавления белого мятежа в Москве, пленные были расстреляны в Лефортово). А после директивы о красном терроре, подписанной Я. М. Свердловым в ответ на террористические акты, проведенные эсерами в июле 1918 года, ожесточение стало безмерным.

Следует иметь в виду и то, что в революции и гражданской войне, помимо сознательных большевиков, приняли участие анархисты, левые эсеры, просто темные силы, вплоть до настоящих бандитов, вроде атамана Григорьева, «батьки» Махно (несколько раз участвовавших в боевых действиях в составе Красной Армии) или просто помешавшейся на казнях пресловутой «тети Маруси». Кстати, именно атаман Григорьев со своими молодцами вошел в 1919 году в Одессу, когда там находился Бунин.

Они производили обыски, реквизиции, аресты, допросы, казни, не считаясь с «революционной моралью». И элементы эти проникали всюду...

В начале мая 1918 года Иван Алексеевич ненадолго ездил в Тамбов и Козлов вместе с критиком Ю. И. Айхенвальдом устраивать «Бунинские вечера». Подлинная же причина была самая прозаическая: голод. Они привезли окорока, муки и крупы, а Бунин еще, по свидетельству его жены Веры Николаевны, «твердую непоколебимую уверенность, что нужно уезжать, и как можно скорее, на юг». Он пережил в Москве события Октябрьской революции, Брестский мир, начало гражданской войны.

При всей кажущейся аполитичности, отстраненности от «злобы дня», Бунин был — и с годами только утверждался в этом, — человеком глубоко государственным. Он желал видеть Россию сильной, великой, независимой. Однако все, что кололо, мозолило ему глаза, убеждало, что России — как великому государству — конец. И это приводило в отчаяние. Не только унизительный Брестский мир с передачей Германии Украины, каждая мелочь, каждый, казалось бы, второстепенный факт подтверждал это.

Вот в честь празднования первого первомая левые художники получили санкцию Л. Б. Каменева снести памятник герою русско-турецкой войны 1877—1878 годов Скобелеву, находившийся против дома генерал-губернатора (теперь — Моссовета). В полночь

30 апреля Бунин записывает: «Стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса!»

В краткой записи выражена глубоко личная и одновременно, хочется сказать, всероссийская, по Бунину, драма. Вскрыта связь между двумя далекими фактами: монумент победителя турок отправлен на помойку; русская армия на Кавказском фронте отступает, разваливается. Итак — конец.

Вот отчего лейтмотив «Окаянных дней» очень мрачный, можно сказать беспросветный.

Быть может, впервые на страницы Бунина выплескивается улица; митингуют, спорят до хрипоты или же ропщут, жалуются, угрожают разношерстные люди — коренные москвичи и сошедшиеся в российскую столицу (снова, через двести лет — столицу!) рабочие, солдаты, крестьяне, барыни, офицеры, «господа», просто обыватели. Какое обилие типажей, живых физиономий, характеров, схваченных на ходу, словно моментальной фотографией! Сколько наблюдательности и изобразительной силы!

Гордившийся своим парнасским бесстрастием, Бунин еще не так давно — всего каких-то десять лет назад, — утверждал в связи с событиями 1905 года: «Если русская революция волнует меня больше, чем персидская, я могу только пожалеть об этом». И вот этот «парнасец», почетный академик по разряду изящной словесности, бросается в водоворот, в воронку кипящей уличной жизни, жадно впитывает происходящее, но в итоге только укрепляется в своем, давно выношенном суждении: Россия погибла.

«Окаянные дни» — монолог о революции, но написанный человеком, ее не принявшим и проклявшим.

Бунин психологически, просто человечески не был способен на то, что предстояло старой интеллигенции — непростой, мучительный процесс вживания в совершенно новую и подчас враждебную ей действительность. Для него это было равносильно тому, чтобы отказаться от себя самого — от человеческого достоинства, чести и совести, от неукоснительного и священного права на самостоятельное мнение, каким бы оно ни было, и на возможность свободно его высказать.

Шкала прежних ценностей была для него незыблемой, самоочевидной. «Подумать только, — возмущался он, уже в красной Одессе, — надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «интерисуется» стихами!»

Трудности и трудности, рождавшие трагизм положения, заключались еще и в том, что Бунин был прежде всего писатель, художник и наблюдатель зорчайший, что именно это было смыслом его жизни, ее существом. «Я как-то физически чувствую людей» (Толстой), — записал в дневнике от 22 января 1922 года слова своего любимого художника и мыслителя Бунин. И далее, о себе: — Я все физически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и так остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!» И наблюдение это, вернее, самонаблюдение, так важно, что Бунин повторяет его в «Окаянных днях», но уже с большей резкостью: «Я как-то физически чувствую людей», записал однажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляются порой моей страстности, «пристрастности». Для большинства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее».

Рано или поздно и перед ними, разумеется, действительность ставила вопрос о выборе, но он, согласимся, не был столь неотложным.

Мы знаем, что эмигрировали (или были высланы) десятки и сотни людей науки с мировым именем самых отвлеченных, далеких от «злобы дня» профессий. Вроде уехавшего на одном пароходе с Буниным академика Н. П. Кондакова, столь знаменитого в своих исторических изысканиях, что один из крупнейших мировых семинаров византологов именовался «Кондаковианум». Однако именно в литературной среде все происходило необыкновенно резко, размежевание шло немедленно.

В октябре 1917 года Бунин навсегда порывает с Горьким; на общем собрании членов «Среды» единогласно исключают Серафимовича.

Перед Буниным встает вопрос: что делать? Уезжать в эмиграцию, как это собираются сделать бывший московский городской голова В. Руднев, коммерсанты Цетлины, А. Н. Толстой, или... Вопрос непростой. Бунин никогда не был «крайним» — черносотенцем, монархистом; более того, в 1910-е годы заявил в газетном интервью, что ему ближе всего социал-демократы. Но это последнее признание скорее всего вырвалось в результате лишь одного, внешнего ряда влияний: бедная юность, воздействие брата-народника, дружба с Горьким. А ведь был и другой, внутренний ряд, пожалуй, куда более значимый. И несовместимость их породила в бунинской душе болезненную трещину. По воспоминаниям Веры Николаевны, «как-то он (т. е. Бунин — О. М.) говорил о трагичности своей судьбы. Принадлежа по рождению к одному классу, он в силу бедности и судьбы, воспитался в другой среде, с которой не мог как следует слиться, так как многое, даже в ранней молодости, его отталкивало».

Не это ли ключ к бунинской драме?

С течением времени, под воздействием происходящего, тот, «внутренний Бунин» заявляет о себе все сильнее и громче. Сословная гордость и инстинкт государственности толкают его все дальше «вправо». 5/18 марта, в долгом разговоре с женой, он все размышлял, «что была русская история, было русское государство, а теперь нет его. Костомаровы, Ключевские, Карамзины писали историю, а теперь нет и истории никакой (...) «Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — и кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина.

— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство.

Однако это разговор с близким человеком, с глазу на глаз. А ведь были и публичные выступления, статьи, стихи. Новая власть за это по головке не погладит, Одесса вот-вот должна пасть. И все же даже в этих чрезвычайных обстоятельствах все перевешивает одно чувство — любовь к России, любовь к Родине. Вера Николаевна горестно размышляет: «Я знаю, что под большевиками нам придется морально очень страдать, жутко и за Яна, так как только что появилась его статья в «Новом Слове», где он открыто заявил себя сторонником Добровольческой Армии. Но куда бежать? На Дон? Страшно — там тиф! За границу — и денег нет, да и тяжело оторваться от России».

25 января 1920 года, на греческом пароходике «Спарта», Бунин навсегда покинул Россию, чтобы никогда больше не возвращаться. Корабль простоял сутки в гавани. Стрельба в городе усиливалась: в Одессу входили части Котовского.

Россия отодвигалась от него, и Бунин спустился в каюту, твердо уверенный, что ее не стало. Лишь там, в открытом море, ужас от содеянного охватил его: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озарило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Константинополь» («Конец», 1923).

Он покидал Россию, но не как эмигрант, а как беженец. Потому что он уносил Россию с собой.

«Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы так сходил с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто?»

Вспомним еще раз это бунинское признание. Идейный противник Октября, не принявший новую Россию, Бунин был и оставался патриотом и гражданином. Ибо таковые были по обе стороны баррикад в пору величайшей трагедии — гражданской войны, уроки которой нам еще предстоит долго и мучительно осмыслить.

Нет, без таких книг, как «Окаянные дни» бунинские, думаю, гражданской войны, мы, потомки, не поймем, накала ее не почувствуем. Огненным ножом взрезала она грудь России, непримиримо раскидав недавних единомышленников и друзей...

Олег МИХАЙЛОВ

ИВАН БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гений Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, а нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дни вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера были Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля

Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17-го года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и не знал, какую назначить цену.

— В «Европейскую», — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал, — и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только ни кричал, ни командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правительства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздной толпой, для которой уже не стало ничего святого и запретного ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, никто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть и жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследники носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старались внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не наследники, а так только — временные распорядители будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, ко-

Фрагменты из 2-й части «Окаянных дней» (Одесса, 1919 г.)

медию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее досчатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет» русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального теста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того, ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

⟨...⟩

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна: даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование...

«Разочарования, — говорит Герцен, — мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование, величайшее в мире.

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспоминал свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что же мало навоевал? — закричал за ним мужик. — Ты что же, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся). Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда не сдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т. д.

Статья Троцкого «О необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели «проклятого прошлого» готовы на погибель хоть половины русского народа.

В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они *оглядятся*...

Продолжение следует

НА ИЗВОЗЧИКЕ

А. и Б., друзья Н., оба, как и хозяин, холостые, но уже давно не первой молодости, отлично пообедали у него на Песках, сидя в светлой, теплой столовой, посматривая на хорошенькую горничную в белом фартучке с кружевами, выпили кофе с коньяком и закурили, продолжая шутить над знакомыми, вспоминая редкую глупость одного, странности другого, скупость третьего, идиотское самомнение четвертого... Но хозяин вдруг взглянул на карманные часы и сделал испуганные глаза:

— Батюшки мои! Уже почти девять!

— А что такое? — спросил Б.

— Как что такое? А Карцев-то? Надо показаться хоть на первой панихиде...

И все, замяв папиросы в пепельницах, встали и пошли в прихожую. Там Б. сказал хозяину:

— Где тут у вас, дорогой мой? Всегда забываю... А меж тем, после белого вина и нарзана...

— Все прямо, потом третья дверь налево...

На дворе стоял такой густой, морозный туман, что свет фонарей был в нем молочный и быстро проезжавшие мимо извозчики тотчас скрывались из глаз. Наконец, задержали двух и Н. спросил:

— Ну, кто с кем?

— Я отдельно, — сказал Б. — До свиданья, дорогие друзья, я не поеду. Я на Каменноостровский.

— Неловко!

— Нет, Бог с ними совсем, с этими панихидами. До свидания, спасибо за прекрасно проведенный вечер...

И, помахав перчаткой, влез, большой, в золотых очках, а жеребячьей дохе, в промерзлые санки с собачьей полостью. Сильная маленькая финка мелкой рысью понеслась навстречу туманному и морозному ветру. И Б. с удовольствием стал думать:

— Да, Бог с ним совсем. Нынче к нему, через неделю к другому, через месяц к третьему... Милые петербургские зимы!

...Карцев, Карцев... Вот тебе и Карцев. Вот и опять нет на свете никакого Карцева. Ни в Петербурге, и нигде. Конечно, нигде, — что же дурачить-то себя! Побыл на свете тридцать восемь лет и опять исчез, опять не существует, как не существовал и до этих тридцати восьми лет. И как неожиданно! «Слышали? Очень тяжело болен Карцев. Крупозное воспаление легких». «Ну, не велика беда, это только старикам опасно». И вдруг нынче утром в «Новом Времени» черная рамка и крупными черными буквами в строку его имя, отчество и фамилия! Что за вздор? Что-то совершенно нелепое, неподходящее к нему, именно неподходящее! Ведь всего две недели тому назад я обедал у него и восхищался им: как всегда удивительно бодр, энергичен, живые, блестящие черные глаза и сам весь черен, сух, крепок, отлично одет, душисто пропитан дорогим табаком, — ужасно, в сущности, курил! — молодая красавица жена, чудесная квартира, успехи в делах... И вот, вдруг, вместо всего этого — «безвременная кончина» и какая-то «жизнь вечная, бесконечная», здравому человеку совершенно непостижимая... Ах, уж эти панихиды и отпевания! Какой обман душевного умиления и умственной расслабленности! Тут все к вашим услугам: и какая-то будто бы высокая грусть, и какая-то будто бы небесная радость, и будто бы (...тая) вера в это «вечное, бесконечное», и эта одурачивающая поэтика надгробных слов и песнопений, а вышел на площадку лестницы покурить — и все пошло прахом: в воображении стоит только торчащий из-за края гроба и точно с маскарадной маски нос. И вот там сейчас как раз все это и происходит: и холодь на площадках лестницы перед растворенной дверью в прихожую, полную людей; и толпа там, где он лежит в полусвете восковых свечей в руках «предстоящих», на столе под церковным покровом, с лампадкой у изголовья; и это умилительное пение; и конусообразные глазетовые ризы; и развевающийся возле них ладан, и похудевшая, прозрачно-бледная и еще более похорошевшая от этой бледности, прозрачности и траурного платья жена, а в пустой столовой бессмысленно-успокоительное тиканье стенных часов: так было, так будет, так было, так будет...

— Ух, как несет этим чу(...)ым туманом! И охота ей жить в такой дали от всего! Верно, уж злится, что опаздываю, полулежит на тахте, поджав ноги, и со зла курит папиросу за папиросой — все они, худые и маленькие, злы... А уж он никогда не вздохнет больше этим туманом и не узнает, что нынче нового в вечерних газетах. Был — и исчез. Изумительно. Старо, как мир, и все-таки изумительно. Мудрые думы мои обо всем этом, конечно, пошлей пошлого, да что же иное можно тут думать! Да, исчез, а все во всем мире осталось по-прежнему, только без него, и будет без него во веки веков. И будет некогда такой же вечер без меня... Подумать только: без меня! И все-таки еду вот и чувствую себя как нельзя лучше... Зла, а как бывает умна, весела, насмешлива! И эта оливковая смуглость, и худенькие ключицы, и коротенькое, как у девчонки, черное шелковое платьице...

— Да, без меня, без меня... Но без кого это — без меня? Кто это — я? То, что есть мое подлинное я, не есть, конечно, мое тело вот в этой дохе. Да и что такое мое тело? Я и тела своего не понимаю. И близко ли оно мне как следует, по-настоящему? И насколько оно отлично от других тел? Коечем, конечно, отлично, но в общем-то, в общем? Так что же такое я? И чем оно, в свою очередь, отлично от других? И есть ли у меня подлинная власть над этим я? Ведь что во мне происходит всю жизнь? Какая разрозненная, разнообразная чепуха мыслей и чувств, живущая какой-то совершенно самостоятельной, своей собственной и совершенно непонятной мне жизнью! И потом: какая, вообще, раздвоенность проявлений этого моего я! Вот я говорю и то и другое с тем или другим человеком, но разве всем моим я? Все время есть во мне что-то совсем другое, что, наряду с тем, все время живет совсем по-другому, думает и чувствует другое. И как свободно думает и чувствует, меж тем как мое говорящее я нисколько не свободно и не может быть свободно! Вот, например, как мил и вежлив был я, даже почтителен с горничной за обедом у Н. А сам, посматривая на нее, думал о том, что у нее там, под этим фартучком с кружевами... Да, мы свободны только в нашем внутреннем, невысказываемом, в тайных мыслях и чувствах... И уж как пользуемся этой свободой!

— А Елисеев был еще открыт, и я проморгал его — можно было заехать и купить вишен, которые она так любит... А Карцев уже никогда ничего у него не купит, а я вот еду, живу и захочу — поверну сейчас извозчика, зайду и куплю все, что угодно. Я еще живу — и что это значит? Это значит, что я в некий срок родился (нечто совершенно непостижимое и даже как будто совершенно невероятное!) и вот разделяю что-то, называемое жизнью, со всеми миллионами живущих сейчас на какой-то так называемой земле; и со всеми разделю — в некий другой срок — смерть! И что же? Где-то там, за гробом, будто бы увижу все эти мириады ранее меня живших и умерших — может быть, даже Сократа, Юлия Цезаря, Наполеона, Пушкина! Господи, какой вздор! А ведь все-таки порой кажется, кажется, что все они, все эти мириады, и Сократ, и Пушкин где-то как-то существуют. Няньки вбили в голову? Но почему же у самих нянек-то это сидит в голове тысячи лет и будет сидеть до скончания века?

— Да, все одно и то же, одно и то же тысячи тысяч лет: какое-то «мироздание», то есть наше жалкое, младенческое представление о нем, восходы, закаты, круговращение земли, течение солнца, звезд, луны... Наши детства, юности, зрелые годы, радости, печали, любовь, ненависть, тщеславие — и

Рассказ «На извозчике» предположительно написан в октябре 1939 года, когда Бунин перечитал «Смерть Ивана Ильича». В этом рассказе он «вступает в прямую полемику с Толстым и его «Смертью Ивана Ильича» и противопоставляет толстовским вере в бессмертие и поиску смысла жизни леденящий холод полного безверия и разочарования современного человека».

Миниатюры 1930 года принадлежат к новому жанру, который Бунин ввел в те годы в русскую литературу. Все рассказы 1944 года относятся к периоду работы писателя над «Темными аллеями», однако ни один из них не был включен им в сборник.

Тексты даются в современной орфографии. Любопытно, что до самой смерти Бунин не только писал сам, своей рукой и по старой орфографии, но и продолжал пользоваться для перепечатки своих рукописей старенькой пишущей машинкой с «ятем». — Ред.

гроба, гроба! «А если что и остается от звуков лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не минет судьбы...»

— Панихиды, отпевания... Слуга покорный! Нога моя никогда не будет больше на них! Вздор хоть одно это: идиотское несоответствие человека, всю жизнь бывавшего в церкви только на похоронах, со всем тем церковным, что окружает его после смерти — целых трое суток! Несоответствие человека самого среднего, в конечном счете вполне ничтожного, с этими высочайшими словами, которые поются и говорятся над ним трое суток, а затем с торжественнейшими напутствиями перед заколачиванием гроба... С напутствиями куда? Ровным счетом никуда, если не считать трехаршинной мерзкой ямы, в которой завалят его мокрой глиной в новеньком, блестящем ящике из лакированного дуба! И совершенно то же самое будет в некий день и со мной, и ведь я иногда это уже чувствую: среди всех радостей и удовольствий моей неустанно утекающей куда-то жизни уже ношу в себе сокровеннейшее «мементо мори», эту иногда сжимающую сердце тоску... и даже как будто какую-то поэзию ее, поэзию какой-то будто бы утешающей безнадежности, покорности — и укора кому-то: да, обречен, без вины виноват, но обречен и погибну — зиаю, что погибну, но — покоряюсь. Что же я могу? И черт меня дернул надеть этот жеребячий наряд, в нем ужасно холодно! А на Неве и совсем замерзнешь, ровно ничего не стоит схватить и себе какую-нибудь «крупозную» гадость...

— Гони, дядя, в хвост и в гриву — полтинник на водку!

«Смерть Ивана Ильича»... Неплохо написано, а в итоге все-таки ерунда. Ивану Ильичу ужасно было умирать, видите ли, потому, что он как-то не так прожил жизнь. Нет, Лев Николаевич, как ее ни проживи, смерть все равно. Несказанный ужас. Но как верно, что Иван Ильич долго был вполне уверен в случайности и временности своей болезни! Так же уверен был, конечно, и Карцев. Даже, небось, некоторое время испытывал большое удовольствие. День-два крепился, переносил жар и слабость на ногах, потом сдался, разделся, лег в постель и почувствовал себя так сладко, точно в теплую ванну сел. Несомненно, есть некоторое счастье болезни, особенно вначале, — это освобождение от одежды, от галстука, покой постели, покой свободы от обязанности держать свое тело в установленном при здоровье порядке, да и не только тело, а и все свое существо — держать так, как полагается по отношению к людям, ко всем своим житейским делам, по отношению вообще ко всей своей здоровой жизни. Но этого мало. В болезни есть еще повышенное чувство отделения от тела нашего главного я, нашей так называемой души. Так освобождается она, эта душа, от тела и при всяком большом несчастии. Это-то я уж отлично знаю — ведь и сам болел в жизни не раз, и страдал, и любил, и плакал, теряя любимое... Кстати: что такое, в сущности, болезнь? Попробуй-ка определить! Нечто дьявольски таинственное, необъяснимое! А страдание душевное? А любовь, нежность, слезы? Желание пожертвовать собой ради горячо любимого существа? Унижать себя перед любимой женщиной, рабски целовать подол ее платья, ее ноги? Тут опять это освобождение, большое освобождение!

— Да, в известные годы все-таки начинаешь уже не думать, а чувствовать, что я — тоже Кай, что не только мое тело, но и мое сознание, мысль, чувства, душа, дух — все, все должно погибнуть в некий срок навеки — вы только подумайте: навеки! — и без следа, без единого следа! Кости мои могут пролежать еще тысячу лет в земле? Да на черта мне это, не говоря уже о том, что даже и кости-то эти будут совершенно не такие, что были в моем живом теле! А еще что? «Возвратится дух к Богу, создавшему его», возвратится, то есть не пропадет, да ведь я-то пропаду, я, Иван Иваныч Иванов! А еще какой след? Разве это след-то, что тебя будут помнить некоторые, знавшие тебя, любившие или ненавидевшие тебя, и даже не помнить, если уж точно говорить, а только вспоминать иногда? А потом и они умрут, и дети их умрут — и конец, полный конец...

— Боже мой, что же это такое? Сколько миллиардов легло в землю хотя бы за то маленькое время, которое называется нашей историей! Сколько женских тел, из которых великое множество было еще молодо и божественно прекрасно! Сколько жалких детских трупиков! Сколько гнусных старческих! И вот и я буду в числе их через какие-нибудь двадцать, тридцать лет (и это в лучшем случае)! А меж тем все это с меня сейчас, то есть пока, до поры до времени, как с гуся вода! Ничего этого я, в конце концов, не боюсь, ничему этому до конца не верю, еду вот к любовнице, буду с ней есть груши и пить ликер и кофе, потом иметь ее... И наряду с этим: «Ах, я так люблю тебя, что хотела бы умереть в твоих объятиях!» Почему, зачем, откуда эта вечная жажда смерти, погибели в минуты сильной любви, страсти? А вдруг она и в самом деле от чего-нибудь умрет? Это тебе уже не Карцев! И вообще — как это люди могут переживать смерти любимых, близких, возлюбленных, жен, с которыми прожито полжизни, девушек-дочерей, — все то, от чего Бог меня пока избавлял! Ужас, дикий ужас!

МОСКВА

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки и ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристает — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг, с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по... матери! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый.., за трынку хочешь взять!

16.X.30. Грас

* * *

Знакомый старик идет навстречу в совершенно необычном виде: в очках и с красными, полными слез глазами.

— Макар, что это с тобою?

— Да вот очки купил сейчас, а то просто беда, совсем слепой стал.

— Да ты с ума сошел, ты еще хуже ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам.

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся.

* * *

Гуськом, держась друг за друга, подняв незрячие лица, идут мимо слепцы, мрачно дерут на разные лады:

А мы видели,
Диву дивную,
Диву дивную,
Телу мертвую...

1930

* * *

Спят в одной комнате брат и сестра, подростки. За окном лунная ночь. Проснулся, перевертываясь, — она плачет. «Что ты?» — молчит, подавленно рыдает. Подошел, сел к ней на постель; стала рассказывать свое великое горе — несчастно влюблена — в мальчишку, помощника машиниста. Стал утешать, целовать в мокрую горячую щеку, потом в такие же губы... «Ляг, ляг со мною, обними меня покрепче, а то я умру...» Лег — и все произошло само собой, с горячей, порывистой нежностью, счастьем и жалостью, горем.

Самая прекрасная за всю жизнь любовь.

ПИСЬМА

Бросила, он сходит с ума, каждый день пишет ей письма, полные и угроз, и оскорблений, и унизительных нежностей, просьб вернуться, вспомнить «незабвенное прошлое»... Она дает эти письма своему новому любовнику — он после развратной ночи с ней пьет кофе, жрет круассаны с маслом и, потешаясь, вслух читает. Молод, но по утрам — припухшее лицо, нездоровый блеск глаз; размыт в ванне, черно блестят мокрые, стянутые сеткой волосы, не в меру цветистая пижама, голые ноги, их противное тело в лакированных туфлях без задка. У нее рукава матинэ так широки, что когда она наливает кофе, до плеча открывается толстая, как ляжка, рука, видна гладкая подмышка. Слушая чтение, рассеянно усмехается.

— Гренков хочешь? Еще горячие.

— Да-да. «И вот, во имя нашего прошлого, нашей былой любви...» Ты знаешь, он все это откуда-нибудь списывает.

— Вероятно. Из каких-нибудь романов...

Голая подмышка его волнует. Встает, подходит к ней сзади, поднимает ее лицо, впивается в жирные губы. Она закатывает глаза, толчками дышит в ноздри.

15.10.44

МАРИЯ СТЮАРТ

Лето, город на Волге. Большие, разных цветов афиши: «Гастроли знаменитой артистки Марии Николаевны Карелиной в роли Марии Стюарт, при участии артисток: Лаврецкой-Черкасовой, Саблиной-Дольской, Строевой, артистов: Градова, Иртеньева, Тинского, Чаева...» В газете статья о Карелиной, ее портрет в роли Марии Стюарт: зубчатая корона, узорный, стоячий выше ушей ворот, лицо неприступное, ледяное, гордое — таково в ее представлении должно быть лицо королевы. После спектакля, после «бурного успеха и бесконечных вызовов» она «отдыхает» в кругу поклонников, ужинает в садике на Волге.

Все, почтительно и восхищенно обращаясь к ней, четко выговаривают ее имя-отчество:

— Мария Николаевна, рябиновки еще прикажете? Еще икры позволите? Чудный салат оливье — разрешите положить?

И она ест и салат оливье, и зернистую икру с горячим калачом, и «стерлядку» в красном соусе, и «азу по-татарски», и гурьевскую кашу, пьет и рябиновку, и перцовку, и белое вино, и красное, и шартрез, и кофе, курит папиросу за папиросой.

И так чуть не каждую ночь, и хоть бы что. А у Градова, с которым она живет и который совершенно спокойно относится к богатым купчикам, имеющим ее то в том, то в другом городе, тяжкая одышка, хриплый голос, пузыри под глазами.

— Стара стала, слаба стала, — говорит он меланхолически. — Да и не шутка, ангел мой, жизнь с такой донной стервозой, как Марья Николаевна. Королева! Мария Стюарт! А эта Мария Стюарт задницу через ять пишет!

16.10.44

КИБИТКА

Усадьба при большой дороге, на краю деревни. Гимназист стоит возле каменной ограды. От кибитки, отпряженной возле овсов за дорогой, идет с ребенком на руках босая цыганка.

— Барин мой серебряный, дай моему голопузенькому!

Ребенок и правда голопузый, в драной рубашонке, серьезный, мордастый, черный, курчавый; очень тяжел — держа его под ноги, вся перегнулась назад. И на самой лохмотья: истлевшая ситцевая юбка, на плечах выцветшая желтая шаль; выгоревшие от солнца волосы спутаны, на сухой коричневой шее ожерелье из каких-то оранжевых шариков; шаль сползает с правого плеча — виден изгиб коричневой от загара старой ключицы; но зубы в оскале сизых губ молодые, блестящие... Дал двугривенный в толстую слюнявую ручку ребенка, тотчас крепко сжавшуюся. Усмехнулась:

— А мне? Дай синенькую — дело сделаем.

Заломило низ от страшного и сладкого представления, пробормотал, краснея:

— Дам... Приходи, как стемнеет, в сад, перелезь через ограду вот в те липки...

— Приду-приду, жди меня крепко!

После ужина, украв из отцовского письменного стола пятирублевую бумажку, долго ходил понапрасну в темноте под липками. Наконец, вышел на дорогу: возле кибитки жарким костром трещит сухая полынь, она одна сидит возле костра. Перешел через дорогу, подошел с бьющимся сердцем:

— Ты одна?

— Как есть одна.

— А где ж твой цыган?

— Ушел на деревню кур воровать.

— Нет, серьезно?

— Ушел, ушел, правда. Давай деньги, пойдем за кибитку.

— Почему же ты не пришла?

— Боялась. Знала, что сам придешь. Давай деньги, пойдем скорей, получишь свое удовольствие...

В темноте за кибиткой, спрятав бумажку за пазуху, схватила его ледяную руку и таинственно зашептала:

— Пощупай, пощупай. А завтра приходи опять, принеси еще бумажку, тогда совсем дело сделаем... Нет, нет, сейчас нельзя! Пусти, а то на все поле закричу! Цыган услышит, он тут в ваших овсах лошадь кормит!

16.10.44

В КАНАВУ

Сед, лохмат, зол.

— И пожалуйста, без всяких китайских церемоний! Околею — тотчас же в яму, в канаву!

Что это, как не упоение своим воображаемым унижением, мечтой, что люди будут поражены твоим позором?

И так все, всегда:

— Паду на баррикадах за счастье народа!

Это значит: испытаю мгновение высшего опьянения своей ролью и людского восторга передо мною.

— Брошусь из окна с шестого этажа!

Чаще всего это тоже жажда поразить людей, заставить их хоть на минуту забыть весь мир ради меня.

— Побегу и первый крикну о пожаре, о смерти вашей жены, матери — принесу вообще какой-нибудь страшный слух, какую-нибудь ужасную весть!

Опять упоение, наслаждение: ведь это от меня первого узнали люди новость, это я стал предметом общего внимания, вестником события!

Более сладострастного создания, чем человек, нет на земле.

12.XII.44

AU SECOURS!

Мелкий осенний парижский дождь поздним вечером, тесная толпа под черными блестящими зонтиками возле входа в метро, в свете фонаря, пестром от дождя; за толпой резкий крик женщины, от кого-то отбивающейся:

— Gaston, Gaston! Ne me quitte pas, Gaston! Je t'en supplie, Gaston! Je t'en supplie... Ah! Mais voyons, monsieur, vous êtes fou! Laissez-moi! Mais lâcher-moi, voyons! Vous allez me faire mal, espece de brute! Je vais manquer le train si vous ne me laissez pas! Lachez-moi, donc! Ah! Ma tête éclate! Allez-vousen! C'est notre affaire, à nous! C'est toi que j'ai blessé, Gaston, ma vie, mon amour! Vous n'avez pas le droit de me tirer comme ca! Vous êtes tous les brutes! S-ales brutes que vous êtes! Mais non, mais non! Je suis forte, je suis trés forte! Au secou-ours!**

Толпа стоит молча, неподвижно, лица спокойны, бесстрастны. Потом от толпы отделяется один, другой, третий, — все расходятся в разные стороны, дождь усиливается...

18.4.44

---

* На помощь!

** Гастон, Гастон! Не уходи, Гастон! Я тебя умоляю, Гастон! Я тебя умоляю... А-а! Да что вы, господин, вы с ума сошли! Оставьте меня! Да отпустите же меня, ну! Вы мне делаете больно, грубиян! Я опоздаю на поезд, если вы не оставите меня! Отпустите! Да отпустите же меня, наконец! А-а! У меня голова раскалывается. Убирайтесь, это наше дело! Это я тебя ударила, Гастон, жизнь моя, любовь моя! Вы не имеете права тащить меня так! Все вы животные! Грязные животные! Ах, нет, нет! Я же сильная, я очень сильная! На помо-ощь!

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ДОКУМЕНТЫ

Многих читателей в последнее время увлекла отечественная история как стародавних времен, так и недавнего прошлого. Романы и повести о государственных деятелях и первопроходцах, о революционерах и ученых стали чрезвычайно популярны. И все же художественное произведение — это выдумка более или менее добросовестного сочинителя, который зачастую навязывает нам свое понимание истории.

Для изучения же пути, каким через ошибки и героические поступки человечество пытается идти к нравственному совершенству, необходимо знание мемуарной литературы. Воспоминания, дневники, письма нужны нам не столько даже для накопления исторических фактов, сколько для постижения этих фактов, для возможности судить о прошлом не с современной точки зрения, когда мы уже знаем последствия того или иного события и, исходя из своего мировоззрения, судим о нем, а с точки зрения очевидца, человека, живущего страстями и понятиями своего века.

«Какое поле — эта новейшая русская история! — писал незадолго до гибели Пушкин. — И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять! — Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности)».

Горький упрек гения своим соотечественникам был в конце концов услышан, в частности, со второй половины XIX века в России один за другим стали появляться журналы, в которых постоянно публиковались воспоминания, дневники, письма достопамятных людей: «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Былое», «Голос минувшего», «Каторга и ссылка», «Красная летопись», «Красный архив»... Но вот наступили тридцатые годы нашего столетия, историческая наука стала служанкой, мнения, противоречившие взгляду Отца народов на прошлое, стали не только не нужны, но и вредны. Прекратили свое существование последние из вышеперечисленных журналов, вскоре они превратились в библиографическую редкость, и сейчас даже центральные библиотеки не имеют полных комплектов. Все больше пыли стало скапливаться на бесчисленных рукописях, хранящихся в государственных и частных архивах, на блистательных документах, недоступных широкому читателю.

В последние годы положение наконец стало меняться в лучшую сторону. В литературно-художественных ежемесячниках мемуары заняли видное место, вышли в свет первые номера журнала «Наше наследие»; большую популярность приобрели альманахи «Прометей», «Встречи с прошлым», «Московский летописец»; ведущие издательства страны стали регулярно публиковать лучшие документальные произведения прошлого.

Свою роль в возрождении изданий русской мемуаристики призван сыграть и сборник «Записки очевидца», первый выпуск которого будет осуществлен издательством «Современник» уже в этом году.

Долгие годы нас учили, что все мы — миллионы непохожих друг на друга людей — обязаны одинаково смотреть на те или иные события, не размышлять над ними, а зубрить скучный «официозный» учебник. Ныне же все больше и больше людей желают самостоятельно доискиваться истины. Знакомство с воспоминаниями, дневниками, письмами, составляющими сборник «Записки очевидца», помогут читателю найти свой взгляд на историю, выстроить собственное миропонимание, из первых рук получить сведения о том, что же думали о происходивших событиях современники.

В первый выпуск «Записок очевидца» вошли мемуарные произведения, имеющие большую историческую или художественную ценность. Среди них дневник 1796 года тульского писателя и естествоиспытателя Андрея Болотова «Памятник претекших времян, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах». Первая часть дневника посвящена последним месяцам царствования Екатерины II, вторая — первым дням правления ее сына Павла I.

Интересны и письма 1812 года выпускницы Смольного института, московской великосветской барышни Марии Волковой к петербургской подруге Варваре Ланской. Это замечательное произведение эпистолярного жанра наглядно представляет, как большая народная беда переродила беззаботную болтушку в патриота и гуманиста. Письма Волковой были в руках Льва Толстого, когда он задумал роман «Война и мир».

Важным документальным источником для истории русской деревни являются «Записки русского крестьянина» Ивана Столярова, в которых автор запечатлел типичные картины сельской жизни Воронежской губернии конца XIX — начала XX века, рассказал о природе, традициях, народных праздниках родного края, о занятиях крестьян землепашеством и гончарным ремеслом, о торговле, сборе недоимок, своей учебе.

Завершают первый выпуск «Записок очевидца» письма к Луначарскому Владимира Короленко и воспоминания «Себя не потерять...» Евгения Гнедина. Публикации этих документальных свидетельств двух мужественных патриотов в журнале «Новый мир» вызвали широкий читательский интерес.

Все шесть вошедших в сборник произведений написаны не из притязания на известность, а вследствие внутренней потребности оставить память о событиях, значительных и важных как для автора, так и для всей страны.

Публикуемые ниже дневниковые записи последнего российского императора Николая II (1868—1918) за время с 16 декабря 1916 года по 30 июня 1918 года — роковые для русского самодержавия дни — при всем своем лаконизме дают представление о времяпрепровождении царской семьи в последние полтора года жизни, показывают отношение отрекшегося от престола монарха к революции и народу, являются важным первоисточником для изучения событий первых десятилетий XX века.

Михаил ВОСТРЫШЕВ,
редактор издательства «Современник»,
составитель сборника «Записки очевидца»

ОТ РЕДАКЦИИ: Николай II вел дневник ежедневно (ведение дневника было принято у царствующих Романовых), в отличие от других в последние годы не пропуская ни дня. Мы же выбрали только записи, которые падают на те дни, когда рушилась монархия, свершались революции, решалась новая судьба Отечества. И невольно трагически содрогаешься, узнавая, как смиренно и безвольно жил монарх, погруженный в собственные житейские заботы и утешения. Все это представляет исторический и нравственный интерес.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Царская семья. 1914 г. (?)

ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II

1916 ГОД

16-го декабря. Пятница.

Утром было 7° мороза и яркое солнце, впрочем, скоро спрятавшееся.

Завтракало трое новых англичан, француз и трое румын. Прогулка была по дороге на Оршу — Алексей играл в своем арх[нерейском] лесу. Прошел 6 верст. Обедал ген.-ад. Эверт. Вечером читал и писал мамá.

17-го декабря. Суббота.

Доклад был совсем короткий.

Завтракали все три главноком[андующие]. Прогулку сделали туда же в арх[нерейский] лес. Вернулись домой в $4^1/_2$. После чая в штабе происходило совещание по военным вопросам до обеда и затем от 9 ч. до $12^1/_2$ ч.

18-го декабря. Воскресенье.

Утром было 14° мороза. После обедни пошел к докладу Лукомского, нового ген.-квартирмейстера, а затем на заседание главнокоманд[ующих]. После завтрака оно продолжалось еще полтора часа. В $3^1/_2$ поехали вдвоем в поезд. Через час *уехали на север*. День был солнечный при 17° мороза. В вагоне все время читал.

19-го декабря. Понедельник.

Хорошо выспался. Мороз стоял крепкий. Все время в вагоне читал. Прибыли в *Царское Село* в 6 ч. Дорогая Аликс с дочерьми встретила и вместе поехали домой. После обеда принял Протопопова.

20-го декабря. Вторник.

День простоял ясный и морозный — 14°. Утром принял англ[ийского] полк[овника] Burn — адъютанта Georgie, кор[оля] англ[ийского], и затем Шуваева. Погулял перед завтраком и днем с детьми. В 4 ч. принял сен[атора] Добровольского, кот[орый] назначается упр[авляющим] мин[истерства] юстиции. В 6 час. принял Трепова.

После обеда вечер провели вместе.

21-го декабря. Среда.

В 9 час. поехали всей семьей мимо здания фотографий и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек[абря] извергами в доме Ф. Юсупова, кот[орый] стоял уже опущенным в могилу. О. Ал[ександр] Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза. Погулял до докладов. Принял Шаховского и Игнатьева.

Днем сделал прогулку с детьми. В $4^1/_2$ принял нашего Велепольского, а в 6 ч. Григоровича. Читал.

1917 ГОД

1-го января. Воскресенье.

День простоял серенький, тихий и теплый. В $10^1/_2$ ч. поехал с дочерьми к обедне. После завтрака сделал прогулку вокруг парка. Алексей встал и тоже был на воздухе. Около 3 ч. приехал Миша, с кот[орым] отправился в Большой дворец на прием министров, свиты, начальников частей и дипломатов. Все это кончилось в 5.10. Был в пластунской черкеске. После чая занимался и отвечал на телеграммы. Вечером читал вслух.

2-го января. Понедельник.

Мороз снова усилился. Погулял недолго. Принял Григоровича, Риттиха и нового управл[яющего] мин[истерством] путей сообщения Войновского-Кригера. Обошел весь парк с дочерьми. В 6 ч. у меня был Протопопов, затем Танеев. Занимался вечером после прощания с Алексеем.

21-го февраля. Вторник.

Погулял полчаса. Погода была холодная и ветреная, шел снег. Принял Беляева, Покровского, Щегловитова, полк. Доброжанского и Крейтона, нового командира л.-гв. 1-го Стрелко[вого] полка. Завтракала Елена Петровна. Посидел наверху у Ольги и Алексея, кот[орому] лучше. Погулял с Татьяной. В 4 ч. принял Танеева, в 6 час. Стаховича и в 9.45 Протопопова. Обедали Аня и Петровский (деж.).

22-го февраля. Среда.

Читал, укладывался и принял: Мамантова, Кульчицкого и Добровольского. Миша завтракал. Простился со всем милым своим [семейством?] и поехал с Аликс к Знамению, а затем на станцию. В 2 часа *уехал* на ставку. День стоял солнечный, морозный. Читал, скучал и отдыхал; не выходил из-за кашля.

23-го февраля. Четверг.

Проснулся в Смоленске в $9^1/_2$ час. Было холодно, ясно и ветрено. Читал все свободное время франц[узскую книгу] о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Приехал в *Могилев* в 3 ч. Был встречен ген. Алексеевым и штабом. Провел час времени с ним. Пусто показалось в доме без Алексея. Обедал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай.

24-го февраля. Пятница.

В $10^1/_2$ пошел к докладу, который окончился в 12 час. Перед завтраком[?] принес мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная — метель. Погулял недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру.

25-го февраля. Суббота.

Встал поздно. Доклад продолжался полтора часа. В $1^1/_2$ заехал в монастырь и приложился к иконе божией матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В 6 ч. пошел ко всенощной. Весь вечер занимался.

26-го февраля. Воскресенье.

В 10 час. пошел к обедне. Доклад кончился во-время. Завтракало много народа и все наличные иностранцы. Написал Аликс и поехал по Бобр[уйскому] шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сен. Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино.

27-го февраля. Понедельник.

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц[арское] С[ело] поскорее и в час ночи перебрался в поезд.

28-го февраля. Вторник.

Лег спать в $3^1/_4$, т. к. долго говорил с Н. И. Ивановым, кот[орого] посылаю в Петроград с войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилева в 5 час. утра. Погода была морозная, солнечная. Днем проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.

1-го марта. Среда.

Ночью повернули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно и *Псков*, где остановился на ночь. Видел Рузского. Он, Данилов и Саввич обедали. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам господь!

2-го марта. Четверг.

Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. с ним борется соц[иал]-дем[ократическая] партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К $2^1/_2$ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот[орыми] я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.

Кругом измена и трусость и обман!

3-го марта. Пятница.

Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в *Могилев*. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В $9^1/_2$ перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше.

4-го марта. Суббота.

Спал хорошо. В 10 ч. пришел добрый Алек. Затем пошел к докладу. К 12 час. поехал на платформу встретить дорогую мамá, прибывшую из Киева. Повез ее к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали. Сегодня, наконец, получил две телеграммы от дорогой Аликс. Погулял. Погода была отвратительная — холод и метель. После чая принял Алексеева и Фредерикса. К 8 час. поехал к обеду к мамá и просидел с нею до 11 ч.

5-го марта. Воскресенье.

Ночью сильно дуло. День был ясный, морозный. В 10 ч. поехал к обедне, мамá приехала позже. Она завтракала и оставалась у меня до $3^1/_4$. Погулял в садике. После чая принял Н. И. Иванова, вернувшегося из командировки. Он побывал в Царском Селе и видел Аликс. Простился с бедным гр. Фредерикс и Воейковым, присутствие которых почему-то раздражает всех здесь; они уехали в его имение [в] Пензен[ской] губ[ернии]. В 8 час. поехал к мамá к обеду.

6-го марта. Понедельник.

Утром был очень обрадован, получив два письма от дорогой Аликс и два письма от Марии. Их привезла жена кап. Головкина л.-гв. Финляндского полка. Погулял в садике. Мамá приехала к завтраку. Посидели вместе до 3 ч. Гулял; опять началась метель. После чая принял Villiams. К 8 ч. поехал к мамá в поезд.

7-го марта. Вторник.

Получил еще два письма от дорогой Аликс, привезенные двумя офицерами конвоя. В 11 час. принял Williams, Janin, Ryckel; все так тепло и участливо относятся. Завтракала мамá, просидел с нею до $2^1/_2$. Принял Coanda, Romei, Marcengo и Лонткевича. Погулял около часа. Погода была мягкая, но целый день шел снег. После чая начал укладывать вещи. Обедал с мамá и поиграл с ней в безик.

8-го марта. Среда.

Последний день в Могилеве. В $10^1/_4$ ч. подписал прощальный приказ по армиям. В $10^1/_2$ ч. пошел в дом дежурства, где простился со [sic!] всеми чинами штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось! В 12 час. приехал к мамá в вагон, позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть с ней до $4^1/_4$ час. Простился с ней, Сандро, Сергеем, Борисом и Алеком. Бедного Нилова не пустили со мною. В 4.45 уехал из Могилева, трогательная толпа людей провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем поезде!

Поехал на Оршу и Витебск.

Погода морозная и ветреная.

Тяжело, больно и тоскливо.

9-го марта. Четверг.

Скоро и благополучно прибыл в *Царское Село* — в $11^1/_2$. Но, боже, какая разница, на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики! Пошел наверх и там увидел душку Аликс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у кот[орой] корь недавно началась. Завтракали и обедали в игральной у Алексея. Видел доброго Бенкендорфа. Погулял с Валей Долг[оруковым] и поработал с ним в садике, т. к. дальше выходить нельзя! После чая раскладывал вещи. Вечером обошли всех жильцов на той стороне и застали всех вместе.

10-го марта. Пятница.

Спали хорошо. Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы все *вместе*, радует и утешает. Утром принял Бенкендорфа, затем просматривал, приводил в порядок и жег бумаги. Сидел с детьми до $2^1/_2$ час. Погулял с Валей Долг[оруковым] в сопровождении тех же двух прапорщиков, они сегодня были любезнее. Хорошо поработали в саду. Погода стояла солнечная. Вечер провели вместе.

11-го марта. Суббота.

Утром принял Бенкендорфа, узнал от него, что мы останемся здесь довольно долго. Это приятное сознание. Продолжал сжигать письма и бумаги. У Анастасии заболели уши, — то же, что было с остальными. От 3 ч. до $4^1/_2$ ч. гулял в саду с Валей Д[олгоруковым] и работал в саду. Погода была неприятная, с ветром, при 2° мороза. В 6.45 пошли ко всенощной в походную церковь. Алексей принял первую ванну. Зашли к Ане и Лили Д[ен] и затем к остальным.

12-го марта. Воскресенье.

Началась оттепель. Утром были Бенкендорф и Апраксин; последний покидает Аликс и простился с нами. В 11 час. пошли к обедне. Алексей встал сегодня. Ольге и Татьяне гораздо лучше, а Марии и Анастасии хуже, головная и ушная боль и рвота. Погулял и поработал в саду с Валей Д[олгоруковым]. После чая продолжал приводить бумаги в порядок. Вечером обошли жильцов дома.

21-го марта. Вторник.

Сегодня днем внезапно приехал Керенский, нынешний мин[истр] юстиции, прошел чрез все комнаты, пожелал нас видеть, поговорил со мною минут пять, представил нового коменданта дворца и затем вышел. Он приказал арестовать бедную Аню и увезти ее в город вместе с Лили Ден. Это случилось между 3 и 4 час., пока я гулял. Погода была отвратительная и соответствовала нашему настроению! — Мария и Анастасия спали почти целый день. После обеда спокойно провели вечер вчетвером с О[льгой] и Т[атьяной].

22-го марта. Среда.

Ночью была буря, и выпала огромная масса снега. День простоял солнечный и тихий. Ольга и Татьяна вышли в первый раз на воздух и посидели на круглом балконе, пока я гулял. После завтрака долго работал. Младшие много спали и чувствовали себя хорошо. Все время провели вместе.

23-го марта. Четверг.

Ясный день после 2 час. и оттепель. Утром погулял недолго. Разбирался в своих вещах и в книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию. После завтрака погулял с Ольгой и Татьяной и поработал в саду. Вечер провели, как всегда.

24-го марта. Пятница.

Хороший тихий день. Утром погулял. Днем Мария и Анастасия были перевезены в игральную комнату. Успешно поработал с Валей Д[олгоруковым]; теперь почти все дорожки вычищены. В $6^1/_2$ пошел ко всенощной с О[льгой] и Т[атьяной]. Вечером читал вслух Чехова.

25-го марта. Благовещение.

В небывалых условиях провели этот праздник — арестованные в своем доме и без малейшей возможности сообщаться с мамá и со своими! В 11 час. пошел к обедне с О[льгой] и Т[атьяной]... После завтрака гулял и работал с ними на островке. Погода была серая. В $6^1/_2$ были у всенощной и вернулись с вербами. Анастасия встала и ходила наверху по комнатам.

26-го марта. Вербное воскресенье.

Целый день простоял туман. Гулял и работал на острове. Татьяна только выходила. Прибирал книги и вещи. Вечером зашли к жильцам той стороны.

27-го марта. Понедельник.

Начали говеть, но, для начала, не к радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть раздельно; будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый Совет Рабочих и Солдатских Депутатов! Пришлось подчиниться, во избежание какого-нибудь насилия.

Погулял с Татьяной. Ольга опять слегла, т. к. у нее заболело горло. Остальные себя чувствуют хорошо. В 9.45 спустился к себе, Татьяна посидела со мною до $10^1/_2$ ч. Затем почитал, выпил чаю, принял ванну и лег спать на своей тахте!

4 апреля. Вторник.

Дивный весенний день — 12° в тени. Утром погулял почти час. Днем продолжали ломать лед, и толпа попрежнему смотрела из-за решетки с улицы. Начал читать «Историю Византийской империи» Успенского, очень интересная книга. Вечер провел, как последние.

5-го апреля. Среда.

Ночью шел дождь, отчего весь снег почти исчез. День простоял серый и прохладный. Спал плохо и встал поздно. Утром погулял. Днем поработал с Алексеем и его штатом на обоих местах. Смотрело на нас немного народу. Воды было очень много, она переливалась через каменные плиты. До обеда читал свою книгу, а вечером Татьяне вслух.

6-го апреля. Четверг.

Стало совсем холодно, погода простояла серая. Гулял одновременно с Алексеем, а днем колол лед в шлюзе под мостом и затем у ручейка, при этом неизвестно почему нас всюду сопровождало 6 стрелков кроме офицера!

Вечер провел по обыкновению.

7-го апреля. Пятница.

Погода поправилась и потеплела. Долго гулял утром, т. к. было хорошо. Днем с Татьяной и Алексеем на работе. Лица солдат и их развязная выправка произвели на всех отвратительное впечатление. Много читал. С $10^1/_4$ веч[ера] у себя внизу.

8-го апреля. Суббота.

Тихо справляли 23-ю годовщину нашей помолвки!

Погода простояла весенняя и теплая. Утром долго гулял с Алексеем. Узнали, почему вчерашний караул был такой пакостный: он был весь из состава солдатских депутатов. Зато его сменил хороший караул от запас[ного] бат[альона] 4-го стрелкового полка. Работали у пристани из-за толпы и наслаждались теплым солнцем. В $6^1/_2$ пошли ко всенощной с Т[атьяной], Ан[астасией] и Ал[ексеем]. Вечер провели попрежнему.

9-го апреля. Воскресенье.

Чудный весенний день. Погулял утром полчаса. Ходили к обедне. От 2 час. до $4^1/_2$ ч. работали и ломали лед между двумя мостами против средины дома. Читал много после чая. К вечеру собрались тучи, было очень тепло; у Аликс вынули зимние рамы.

30-го апреля. Воскресенье.

Отличная погода. Погулял до обедни. В 2 часа все мы вышли в сад и много наших людей, желающих поработать. Все с большим усердием и даже с радостью принялись за копание земли и незаметно проработали до 5 ч. Погода была наслаждительная. Читал до и после обеда.

1-го мая. Понедельник.

Чудный теплый день. Утром хорошо погулял. От 12 час. был урок географии с Алексеем. Днем опять работали над нашим огородом. Солнце здорово пекло, но работа успешно подвигается. Читал до обеда и вечером вслух.

Вчера узнали об уходе ген. Корнилова с должности главнокоманд[ующего] Петрогр[адским] воен[ным] окр[угом], а сегодня вечером об отставке Гучкова, все по той же причине безответственного вмешательства в распоряжения военною властью (sic!)

В тексте сохранены орфография и пунктуация оригинала, а также некоторые сокращения слов. Слова, пропущенные в подлиннике, и части дописанных слов взяты в прямые скобки. Подчеркнутое в тексте набрано разрядкой.

Сов[ета] Рабоч[их] Депутатов и еще каких-то организаций гораздо левее.

Что готовит провидение бедной России? Да будет воля божья над нами!

2-го мая. Вторник.

Серый теплый день. Погулял. Окончил чтение книги Кассо «Россия на Дунае» и начал многотомное сочинение Куропаткина «Задачи русской армии». Днем работали на огороде, около половины сделано. Под конец пошел дождичек. Вечер провели по обыкновению.

3-го мая. Среда.

У Алексея болела рука, и он пролежал целый день. С утра до вечера лил дождь, очень полезный для появляющейся растительности. Недолго погулял утром и днем — с Марией и Анастасией. Много читал. Вечером окончил англ[ийскую] книгу вслух.

4-го мая. Четверг.

Погода стояла ясная, но прохладная. Рука у Алексея не болела, занятий не было, т. к. он остался лежать. После утренней прогулки читал много. Днем все вышли в сад, опять происходила общая работа по огороду. Вечером начал читать вслух «Le mystere de la chambre jaunce».

5-го мая. Пятница.

После утренней прогулки занимался с Алексеем историей. Рука его прошла, и он встал после завтрака. Продолжали работу в саду; Аликс вышла на час. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. До обеда получил подарки. Читал дочерям вслух.

6-го мая. Суббота.

Мне минуло 49 лет. Недалеко и до полсотни! Мысли особенно стремились к дорогой мамá. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней кроме глупых или противных статей в газетах. День прошел по воскресному: обедня, завтрак наверху, puzzle! Дружная работа на огороде, начали копать грядки, после чая всенощная, обед и вечернее чтение — гораздо больше с милой семьей, чем в обычные года.

19-го мая. Пятница.

Утром было много туч, но к 11 час. вышло солнце, и погода сделалась ясная и сразу теплая. После прогулки занимался с Алекс[еем] историей. Днем усердно копал с другими грядки, которых у нас всего теперь 65. Караул от 2-го стр. полка был опять распущенный и офицеры неважные! До обеда поездили на велосипедах.

20-го мая. Суббота.

Идеальный жаркий день, но без духоты. Погулял час с четвертью утром с Алексеем. Днем работал с другими на огороде и отдыхал, катаясь в байдарке. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Аромат из сада был удивительный, когда сидишь у окна.

Вчера начал читать вслух «Le fauteuil hante».

21-го мая. Троицын день.

Чудесная погода без единого облачка на небе. Погулял с Алексеем до 10 час. В $10^{1}/_{2}$ началась обедня и затем была вечерия, кот[орая] окончилась в $12^{1}/_{4}$. Днем находились в саду три часа. Перепиливал поваленное в саду дерево на дрова, катался в байдарке и на велосипеде. Читал до $7^{1}/_{2}$ и немного погулял с дочерьми до обеда.

22-го мая. Духов день.

Теплый серый день. Пошел гулять до 11 час. с Ольгой, Анастасией и Алексеем. Завтракали в 12 ч. Днем провели три часа в саду, на острове и на пруде. Под конец начался дождь, кот[орый] продолжался до 8 час. Аромат в окна влезал удивительный.

Сегодня годовщина начала наступления армий юго-западного фронта! Какое тогда было настроение и какое теперь!

23-го мая. Вторник.

Тоже серый день; только к вечеру показалось солнце. Днем спилил с моими людьми три сухих дерева — березу на острове и две больших ели подальше в парке. Перед обедом покатался на велосип[еде] с дочерьми. Вечер был чудный.

24-го мая. Среда.

Теплый день с проходящими дождями. Утром гулял с Алексеем. До завтрака занимался с ним историей. Распиливали на части одну из вчерашних елей. Вернулись домой пораньше из-за дождя. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Перед обедом Аликс получила наши скромные подарки.

25-го мая. Четверг.

День рождения моей дорогой Аликс. Да ниспошлет ей господь здоровье и душевное спокойствие!

Перед обедней все жильцы дома принесли свои поздравления. Завтракали наверху по обыкновению. Днем Аликс вышла с нами в сад. Рубил и пилил в парке. В $7^{1}/_{2}$ покатался с дочерьми на велосип[еде]. Погода была хорошая. Вечером начал читать вслух «Le comte de Monte-Christo».

26-го мая. Пятница.

Как раз приехавший к часу прогулки новый главноком[андующий] Петр[оградским] военным округом ген. Половцев задержал выход Алексея и мой в сад на 20 мин. Погода была чудная. В $3^{1}/_{4}$ все мы отправились на прогулку; спилили еще два дерева с короедом. Покатался в байдарке, а вечером на велосипеде.

27-го мая. Суббота.

Забыл упомянуть вчера, что после нашего обеда Коровиченко попросил зайти, чтобы проститься, и привел с собой своего преемника — коменданта Ц[арско]-С[ельского] гарнизона полк. Кобылинского. Никто из нас не жалеет об его уходе, и, напротив, все рады назначению второго. День простоял чудный. Утром погулял дальше в парк, искал еще сухих деревьев. Днем много рубил и пилил. Катался в шлюпке с детьми. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Вечером читал вслух.

3-го июня. Суббота.

После утреннего чая неожиданно приехал Керенский на моторе из города. Остался у меня недолго: попросил послать следственной комиссии какие-либо бумаги или письма, имеющие отношение до внутренней политики. После прогулки и до завтрака помогал Коровиченко в разборе этих бумаг. Днем он продолжал это вместе с Кобылинским. Допиливал стволы деревьев первого места. В это время произошел peché с винтовкой Алексея; он играл с ней на острове; стрелки, гулявшие в саду, увидели ее и попросили офицера взять ее и унесли в караул[ьное] помещение. Потом, оказалось, ее отослали почему-то в ратушу!

Хороши офицеры, кот[орые] не осмелились отказать ниж[ним] чинам!

Были у всенощной. Вечер — по обыкновению.

4-го июня. Воскресенье.

Дивный жаркий день с ветром. До обедни погулял с дочерьми. В первый раз заступил в караул 3-й стрелк. зап. баталион. Разница огромная с прочими. Днем допиливали недоконченные уже сваленные деревья. Покатался в байдарке. До обеда обычная прогулочка.

5-го июня. Понедельник.

Сегодня милой Анастасии минуло 16 лет. Погулял со всеми детьми до 12 час. Пошли к молебну. Днем спилили две большие ели на скрещивании трех дорог около арсенала. Жара была колоссальная, солнце красноватое, в воздухе пахло гарью — вероятно, от горящего где-нибудь торфа. Покатался немного в шлюпке. Вечером погуляли до 8 час. Начал 3-й том «Le comte de Monte-Christo»

10-го июня. Суббота.

Ночью и днем до 3 час. жара и духота продолжались. Утром сделал большую прогулку. Завтракали, как вчера, в детской столовой. Днем работали на том же месте. В стороне прошла гроза, было несколько капель дождя. К счастью, сделалось прохладнее. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Вечером около 11 ч. раздался выстрел в саду, через $^{1}/_{4}$ часа кар[аульный] нач[альник] попросил войти и объяснил, что часовой выстрелил, т. к. ему показалось, что из окна дет[ской] спальни производят сигнализацию красною лампою. Осмотрев расположение электр[ического] света и увидя движения Анастасией своей головой, сидя у окна, один из вошедших с ним унт.-оф[церов] догадался, в чем дело, и они, извинившись, удалились.

11-го июня. Воскресенье.

Вчера Тетерятников сменился, вместо него прибыл Чемодуров. Утром погулял с детьми. В 11 ч. пошли к обедне. День стоял прохладный сравнительно — 17° в тени. Пилить и рубить было совсем легко. Обработали еще две сухие ели. Покатался в байдарке, пока Алексей купался в пруду. До обеда сделали обычную прогулку.

12-го июня. Понедельник.

После приятной прохладной ночи день наступил жаркий. Утром хорошо погулял с Валей. Занимался географией с Алексеем. Днем копали большую грядку на нашем огороде, после чего отдыхал в байдарке. Во время обеда прошла гроза с освежительным ливнем.

25-го июня. Воскресенье.

Утром вышел с Алексеем. Погода была прохладная. Были у обедни. Пошли гулять в 2 часа. Несколько кратких дождей не промочили нас. Срубили и распилили одну ель. Смотрели, как наши люди косили траву. Посидели на огороде и вернулись домой в свое время. Читал много до обеда.

26-го июня. Понедельник.

День стоял великолепный. Наш хороший комендант полк. Кобылинский попросил меня не давать руки офицерам при посторонних и не здороваться со стрелками. До этого было несколько случаев, что они не отвечали. Занимался с Алексеем географией. Спилили громадную ель недалеко от решетки за оранжереями. Стрелки сами пожелали помочь нам в работе. Вечером окончил чтение «Le comte de Monte-Christo».

5-го июля. Среда.

Все утро шел дождь, в к 2 часам погода поправилась; к вечеру стало прохладнее. День провели, как всегда. В Петрограде эти дни происходили беспорядки со стрельбою. Из Кронштадта вчера прибыло туда много солдат и матросов, чтобы итти против Временного Прав[ительст]ва! Неразбериха полная. А где те люди, которые могли бы взять это движение в руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семя всего зла в самом Петрограде, а не во всей России.

6-го июля. Четверг.

К счастью, подавляющее количество войск в Петрограде осталось верно своему долгу, и порядок снова восстановлен на улицах.

Погода была чудная. Сделал хорошую прогулку с Татьяной и Валей. Днем успешно поработали в лесу — срубили и распилили четыре ели. Вечером начал: «Tartarin de Tarascon».

7-го июля. Пятница.

Гулял утром с Марией, Валей и целым конвоем от караула 3-го стрелк. полка. Накрапывал дождь. К 2 час. погода поправилась, но было душно. Работали там же, только вдоль маленькой дорожки. Вечером клеил фотографии из жизни «под арестом» в свой альбом.

8-го июля. Суббота.

Хороший жаркий день. Обошел парк с Татьяной и Марией. Днем работали в тех же местах. И вчера и сегодня караулы были исправны в несении службы и отсутствием шатания по саду во время нашей прогулки — от 4-го стр. и 1-го стр. полков. В составе прават[ельства] совершились перемены; кн. Львов ушел и председателем Сов[ета] Мин[истров] будет Керенский, оставаясь вместе с тем военным и морским мин[истром] и взяв в управление еще мин[истерство] торг[овли] и пром[ышленности].

Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту; чем больше у него будет власти, тем будет лучше.

9-го июля. Воскресенье.

Солнечный день с прохладным ветром. Погулял до обедни. Вышли в 2 часа. Работали в двух местах, под конец на вчерашнем месте срубили три ели; сложили дрова на просеке. Вечером Алексей показывал свой кинематограф. Окончил вслух: «Tartarin de Tarascon».

10-го июля. Понедельник.

Погода была полуясная, приятная, без жары. Сделал утреннюю прогулку по всему парку. Днем срубили четыре сухие ели там же и разделали все на дрова. Вернулись домой ровно в 5 час. Читал много. Перед обедом Ольга получила подарки. Вечером начал вслух: «Tartarin sur Les Alpes».

11-го июля. Вторник.

Утром погулял с Алексеем. По возвращении к себе узнал о приезде Керенского. В разговоре он упомянул о вероятном отъезде нашем на юг, ввиду близости Ц. Села к неспокойной столице.

По случаю именин Ольги пошли к молебну. После завтрака хорошо поработали там же; срубили две ели — подходим к седьмому десятку расчищенных деревьев. Кончил читать 3-ю часть трилогии Мережковского «Петр»; хорошо написано, но производит тяжелое впечатление.

12-го июля. Среда.

День был ветреный и холодный — 10° только. Погулял со всеми дочерьми. Днем работали там же. Распилили четыре дерева. Все мы думали и говорили о предстоящей поездке; странным кажется отъезд отсюда после 4-месячного затворничества!

13-го июля. Четверг.

За последние дни нехорошие сведения идут с юго-западного фронта. После нашего наступления у Галича многие части, насквозь зараженные подлым пораженческим учением, не только отказались итти вперед, но в некоторых местах отошли в тыл даже не под давлением противника. Пользуясь этим благоприятным для себя обстоятельством, германцы и австрийцы даже небольшими силами произвели прорыв в южной Галиции, что может заставить весь юго-запад[ный] фронт отойти на восток.

Просто позор и отчаяние! Сегодня наконец объявлено Врем[енным] Правит[ельство]м, что на театре воен[ных] действий вводится смертная казнь против лиц, изобличенных в государ[ственной] измене. Лишь бы принятие этой меры не явилось запоздалым.

День простоял серый, теплый. Работали там же по сторонам просеки. Срубили три и распилили два поваленных дерева. Потихоньку начинаю прибирать вещи и книги.

19-го июля. Среда.

Три года тому назад Германия объявила нам войну; кажется, целая жизнь пережита за эти три года! Господи, помоги и спаси Россию!

Было очень жарко. Погулял с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией]. Опять целый конвой от караула 3-го стр. полка. Работали на том же месте. Свалили четыре дерева и окончили поваленные вчера ели. Теперь читаю роман Мережковского: «Александр I».

20-го июля. Четверг.

Ночью шел живительный дождь. Утро было туманное. Во время прогулки зашел с дочерьми и Валей в арсенал, где смотрели нижний этаж, т. к. верхний оказался заперт. После завтрака прошел короткий дождь. Работали там же; распилили две вчерашние толстые ели.

Все мы истекали потом.

Дочери получили в первый раз письмо от Ольги из Крыма.

21-го июля. Пятница.

Идеальный день простоял с утра; а также чудная лунная ночь. Утром почему-то поджидал Керенского, хочется, наконец знать, куда и когда мы отправимся? Совершили обычную прогулку от 11 ч. до 12 ч. Опять работали там же и окончили четыре лежавшие дерева. После чая окончил 1-й том «Александра I».

Перед обедом Мария получила подарки.

24-го июля. Понедельник.

День простоял прохладный и серый. Утром обычная прогулка. Во время завтрака был дождь. Вышли в $2^{1}/_{2}$ без него. Спилили четыре ели рядом со вчерашним местом. Кроме прежних помогали тоже Тетерятников и Волков. После обеда начал вслух «The poison belt» Conan Doyle.

25-го июля. Вторник.

Новое Временное Прав[ительств]во образовано с Керенским во главе. Увидим, пойдет ли у него дело лучше? Первейшая задача заключается в укреплении дисциплины в армии и поднятии ее духа, а также в приведении внутреннего положения России в какой-нибудь порядок!

Погода была очень теплая.

Работали там же; срубили четыре ели и распилили столько же.

Окончил чтение «Александра I» Мережков[ского]. Последние караулы были хороши, благодаря присылке с фронта по 300 человек от каждого стрелкового полка и ухода из запасных батальонов многих маршевых рот.

26-го июля. Среда.

Опять настала поразительно жаркая погода. Вследствие духоты Аликс не выходила, в комнатах значительно свежее. Распилили и раскололи все поваленные и срубленные ели там же. Потели ужасно.

27-го июля. Четверг.

Такая же дивная погода, но не душная. Хорошо погуляли утром. Днем работали у маленькой дорожки и распилили три дерева. Читаю книгу «Морская идея в русской земле» ст. лейт. Квашнина-Самарина.

28-го июля. Пятница.

Чудесный день; погуляли с удовольствием. После завтрака узнали от гр. Бенкендорфа, что нас отправляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трех или четырех днях пути на восток! Но куда именно, не говорят, — даже комендант не знает. А мы-то все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии! — Срубили и свалили огромную ель на просеке у дорожки. Прошел короткий теплый дождь.

Вечером читаю вслух.

31-го июля. Понедельник.

Последний день нашего пребывания в Царском Селе. Погода стояла чудная. Днем работали на том же месте; срубили три дерева и распилили вчерашние. После обеда ждали назначения часа отъезда, кот[орый] все время откладывался. Неожиданно приехал Керенский и объявил, что Миша скоро явится. Действительно, около $10^{1}/_{2}$ милый Миша вошел в сопровождении Кер[енского] и караульн[ого] нач[альника]. Очень приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было неудобно. Когда он уехал, стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую залу. Там же сидели Бенкендорфы, фрейлины, девушки и люди. Мы ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. Секрет о нашем отъезде соблюдался до того, что и моторы и поезд были заказаны после назначенного часа отъезда. Извод получился колоссальный! Алексею хотелось спать, — он то ложился, то вставал. Несколько раз происходила фальшивая тревога, надевали пальто, выходили на балкон и снова возвращались в залы. Совсем рассвело. Выпили чаю, и, наконец, в $5^{1}/_{4}$ появился Кер[енский] и сказал, что можно ехать. Сели в наши два мотора и поехали к Александ[ровской] станции. Вошли в поезд у переезда. Какая-то кавалер[ийская] часть скакала за нами от самого парка. У подъезда встретили И. Татищев и двое комиссаров от прав[ительст]ва для сопровождения нас до Тобольска. Красив был восход солнца, при кот[ором] мы тронулись в путь на Петроград и по соедин[ительной] ветке вышли на Северн[ую] ж.-д. линию. Покинули Ц[арское] С[ело] в 6.10 утра.

1-го августа.

Поместились всей семьей в хорошем спальном вагоне межд[унар[одного] о[бщест]ва. Залег в 7.45 и поспал до 9.15 час. Было очень душно и пыльно — в вагоне 26° Р. Гуляли днем с нашими стрелками, собирали цветы и ягоды. Едим в ресторане, кормит очень вкусно кухня Вост.-Китайской ж. д.

2-го августа.

Гуляли до Вятки, та же погода и пыль. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна; глупо и скучно!

3-го августа.

Проехали Пермь в 4 ч. и гуляли за г. Кунгуром вдоль реки Сылве [sic!] по очень красивой долине.

4-го августа.

Перевалив Урал, почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали рано утром. Все эти дни часто нагонял нас второй эшелон со стрелками — встречались, как со старыми знакомыми. Тащились невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно — в $11^1/_2$ час. Там поезд подошел почти к пристани, так что пришлось только спуститься на пароход. Наш называется «Русь». Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Бедный Алексей опять лег бог знает когда! Стукотня и грохот длились всю ночь и очень помешали заснуть мне. Отошли от Тюмени около 6 час.

5-го августа.

Плавание по р. Туре. Спал мало. У Аликс, Алексея и у меня по одной каюте без удобств, все дочери вместе в пятиместной, свита рядом в коридоре; дальше к носу хорошая столовая и маленькая каюта с пианино. II класс под нами, а все стрелки 1-го полка, бывшие с нами в поезде, сзади внизу. Целый день ходили наверху, наслаждаясь воздухом. Погода была серая, но тихая и теплая. Впереди идет пароход мин. пут. сообщ., а сзади другой пароход со стрелками 2-го и 4-го стр. полков и с остальным багажом. Останавливались два раза для нагрузки дровами. К ночи стало холодно. Здесь на пароходе наша кухня. Все залегли рано.

6-го августа.

Плавание по Тоболу. Встал поздно, так как спал плохо вследствие шума вообще, свистков, остановок и пр. Ночью вышли из Туры в Тобол. Река шире, и берега выше. Утро было свежее, а днем стало совсем тепло, когда солнце показалось. Забыл упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села Покровского — родина Григория. — Целый день ходили и сидели на палубе. В $6^1/_2$ час. пришли в Тобольск, хотя увидели его за час с $^1/_4$.

На берегу стояло много народу, — значит, знали о нашем прибытии. Вспомнил вид на собор и дома на горе. Как только пароход пристал, начали выгружать наш багаж. Валя, комиссар и комендант отправились осматривать дома, назначенные для нас и свиты. По возвращении первого узнали, что помещения пустые, без всякой мебели, грязны и переезжать в них нельзя. Поэтому на пароходе и стали ожидать обратного привоза необходимого багажа для спанья.

Поужинали, пошутили насчет удивительной неспособности людей устраивать даже помещение и легли спать рано.

7-го августа. Понедельник.

Спал отлично; проснулся с дождем и холодом. Решили оставаться на пароходе. Проходили шквалы, к часу погода прояснилась. Толпа продолжала стоять на шлюпочной пристани, ноги в воде, и убегала под крышу только тогда, когда шел дождь. В обоих домах идут спешные работы по очистке и приведению комнат в пристойный вид. Всем нам, также и стрелкам, хотелось пойти куда-нибудь подальше по реке. Завтракали в час, обедали в 8 час., кухня уже готовит в доме, и еду нам приносят оттуда. Весь вечер ходил с детьми вокруг наших кают. Погода была холодная из-за N. W. ветра.

8-го августа. Вторник.

Спал отлично и встал в $9^1/_4$. Утро было ясное, позже поднялся тот же ветер, и опять налетало несколько шквалов. После завтрака пошли вверх по р. Иртышу верст за 10. Пристали к правому берегу и вышли погулять. Прошли кустами и, перейдя через ручеек, поднялись на высокий берег, откуда открывался красивый вид. Пароход подошел к нам, и мы пошли обратно в Тобольск. Подошли в 6 час. к другой пристани. До обеда принял ванну, впервые после 31 июля. Благодаря ей спал чудесно.

9-го августа. Среда.

Простояла теплая отличная погода. Утро, как всегда, свита провела в городе. У Марии была лихорадка, у Алексея болела немного левая рука.

До завтрака пробыл все время наверху, наслаждался солнцем. В $2^1/_2$ наш пароход перешел на другую сторону и стал грузиться углем, а мы пошли гулять. Джоя укусила змея.

Ходить было прямо жарко. Пришли на пароход в $4^1/_2$ и вернулись на старое место. Жители катались в лодках и проезжали мимо нас. Стрелки с нашего конвоира «Кормилец» переехали на жительство в свои городские помещения.

10-го августа. Четверг.

Проснулся со скверной погодой — дождь и ветер. Мария пролежала с жаром, у Алексея, кроме руки, заболело ухо!

День был скучнейший, без прогулки и дела. К 5 час. погода разъяснилась.

11-го августа. Пятница.

Алексей спал мало, он перебрался на ночь к Аликс. Ухо у него поправилось, рука побаливала, Марии лучше. День простоял тихий. Все утро ходили наверху. Днем пошли вверх по р. Тоболу. Высадились на левый берег, ушли по дороге, в вернулись вдоль реки с разными затруднениями веселого свойства. В 6 час. пришли в Тобольск и с сильным треском подошли к парох. «Товарпар», обломав об него обшивку борта. Днем была настоящая жара.

12-го августа. Суббота.

Тоже отличный день без солнца, но очень теплый. Утром ходил по палубе и читал там же до самого завтрака. Мария и Алексей встали и днем были на воздухе. В 3 часа спустились по Иртышу и пристали к подножью высокого берега, куда давно хотелось попасть. Немедленно влезли туда со стрелками и затем долго сидели на лысой сопке с чудным видом.

Вернулись в Тобольск во время чая.

13-го августа. Воскресенье.

Встали пораньше, и последние вещи были немедленно уложены. В $10^1/_2$ я с детьми сошел с комендантом и офицерами на берег и пошел к нашему новому жилищу. Осмотрели весь дом снизу до чердаков. Заняли второй этаж, столовая внизу. В 12 час. был отслужен молебен, и священник окропил все комнаты св. водой. Завтракали и обедали с нашими. Пошли осматривать дом, а кот[о-ром] помещается свита. Многие комнаты еще не отделаны и имеют непривлекательный вид. Затем пошли в так называемый садик, скверный огород, осмотрели кухню и караульное помещение. Все имеет старый заброшенный вид. Разложил свои вещи в кабинете и в уборной, которая наполовину моя, наполовину Алексея. Вечер провели вместе, поиграл в безик с Настенькой.

14-го августа. Понедельник.

После вчерашней грозы до обеда, сегодня погода была холодная и дождливая, с сильным ветром. Целый день разбирал фотографии из плавания 1890/1891 г. Взял их нарочно с собою, чтобы на досуге привести в порядок. Простились с Макаровым — комиссаром, уезжающим в Москву. Погулял в садике, дети качались на новых качелях. Вечер провели со всеми.

15-го августа. Вторник.

Так как нас не выпускают на улицу, и попасть в церковь мы пока не можем, в 11 час. в зале была отслужена обедница. После завтрака провели в саду почти два часа, Аликс тоже. Погода была теплая, и около 5 час. вышло солнце; посидели на балконе до $6^1/_2$ час. Продолжал и кончил разбор фотографий дальнего плавания.

16-го августа. Среда.

Отличный теплый день. Теперь каждое утро я пью чай со всеми детьми. Провели час времени в так называемом садике и большую часть дня на балконе, кот[орый] весь день согревается солнцем. До чая провозились в садике, два часа на качелях и с костром.

17-го августа. Четверг.

Дивный день — в тени было 19°, а на балконе 36°. У Алексея болела рука. Провели утром час в саду, днем два часа. Вчера начал читать «L'île enchantée». Вечером грали в домино: Аликс, Татьяна, Боткин и я. Во время чая прошла сильная гроза. Ночь была лунная.

18-го августа. Пятница.

Утро было серое и холодное, около часа вышло солнце, и день настал отличный. Алексей встал. Утром на улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из Петрограда, и побывала у Настеньки Гендр[иковой]. Этого было достаточно, чтобы вечером у нее произвели обыск. Черт знает что такое!

19-го августа. Суббота.

Вследствие вчерашнего происшествия Настенька лишена права прогулок по улицам в течение нескольких дней, а бедная Рита Хитрово должна была выехать обратно с вечерним пароходом. Погода стояла чудная с горячим солнцем. Утром высидели в саду час, а днем два часа. Устроил себе там висячий турник. Начал книгу: «The scarlet Pimpernel».

20-го августа. Воскресенье.

Идеальная погода, днем темп. дошла до 21° в тени. В 11 час. в зале была отслужена обедница. В саду нашел себе работу, срубил сухую сосну. После чая, как все эти дни, читал с дочерьми на балконе под палящими лучами солнца. Вечер был теплый и лунный.

21-го августа. Понедельник.

С наслаждением жарились на солнце целый день на балконе или в саду. Днем срубил сухую березу и наколол из нее дрова. Во время чая прошла гроза и немного освежила воздух. Начал читать «В лесах» Печерского.

22-го августа. Вторник.

Такой же дивный день. Досада берет, что в такую погоду нельзя делать прогулок по берегам реки или в лесу! Читали на балконе, провели три часа в саду и вечером по обыкновению играли в кости.

23-го августа. Среда.

Сегодня два года, что я приехал в Могилев. Много воды утекло с тех пор!

День простоял превосходный — 23° в тени и прошел как и прежние в Тобольске. Перекапывал с Кирпичниковым парниковую землю в садике. Прошел теплый ливень.

1-го сентября. Пятница.

Прибыл новый комиссар от Врем[енного] Прав[ительства] Панкратов и поселился в свитском доме с помощником своим каким-то растрепанным прапорщиком. На вид — рабочий или бедный учитель. Он будет цензором нашей переписки. — День стоял холодный и дождливый.

2-го сентября. Суббота.

Погода была ясная и теплая. Начали гулять в огороженном дворе перед домом; все-таки лучше чем в сыром садике, так как тут солнце светит целый день. Лазил с детьми на крышу оранжерей. Вечером читал вслух «Девятый вал» Данилевского.

3-го сентября. Воскресенье.

Дивный теплый день. В 11 час. была обедница. Гуляли и утром и днем. Вчера кончил «В лесах» и начал «На горах». Хорошо написано.

4-го сентября. Понедельник.

Великолепный летний день. Много были на воздухе. Последние дни принесли большую неприятность в смысле отсутствия канализации. Нижний WC заливался мерзостями из верхних WC, поэтому пришлось прекратить посещение сих мест и воздерживаться от ванн; все от того, что выгребные ямы малы и что никто не желал их чистить. Заставил Е. С. Боткина привлечь на это внимание комиссара Панкрат[ова], кот[орый] пришел в некий ужас от здешних порядков.

5-го сентября. Вторник.

Телеграммы приходят сюда два раза в день; многие состáвлены так неясно, что верить им трудно. Видно, в Петрограде неразбериха большая, опять перемены в составе прав[ительства]. Повидимому, из предприятия ген. Корнилова ничего не вышло, он сам и примкнувшие генералы и офицеры большею частью арестованы, а части войск, шедшие на Петроград, отправляются обратно.

Погода стояла чудная, жаркая.

6-го сентября. Среда.

Такой же день и провели его так же. Выкопал в садике прудок для уток. Дочери играли в bumble puppy.

7-го сентября. Четверг.

Утро было облачное и ветреное, позже погода поправилась. Много были на воздухе; наполнял пруд для уток и пилил дрова для нашей ванны.

22-го сентября. Пятница.

Утром опять лежало много снега, погода была серая, к вечеру все сошло. Гуляли два раза по обыкновению. На-днях прибыл наш добрый бар. Боде с грузом дополнительных предметов для хозяйства и некоторых наших вещей из Ц[арского] Села.

23-го сентября. Суббота.

Между этими вещами было три-четыре ящика с винами, о чем проведали солдаты здешней дружины, а вот днем из-за этого загорелся сыр-бор. Они стали требовать уничтожения всех бутылок в Корниловском доме. После долгого увещевания со стороны комиссара и др. было решено все вино отвезти и вылить в Иртыш. Отъезд телеги с ящиками вина, на кот[орых] сидел пом[ощник] ком[иссара] с топором в руках и с целым конвоем вооруженных стрелков сзади, — мы видели из окон перед чаем. Утром шел дождь, после часа разъяснилось, и настала отличная погода при 11° в тени.

24-го сентября. Воскресенье.

Вследствие вчерашней истории нас в церковь не пустили, опасаясь чьей-то возбужденности. Обедницу отслужили у нас дома. День стоял превосходный — 11° в тени с теплым ветром. Долго гуляли, поиграл с Ольгой в городки и пилил. Вечером начал читать вслух «Запечатленный ангел».

25-го сентября. Понедельник.

Дивная тихая погода — 14° в тени. Во время нашей прогулки комендант, поганый помощник комиссара, прапорщ. Никольский и трое комитетских стрелка осматривали помещения нашего дома с целью отыскать вино.

Не найдя ничего, они вышли через полчаса и удалились. После чая начали переносить к нам вещи, прибывшие из Ц[арского] Села.

26-го сентября. Вторник.

Такой же великолепный день без единого облачка. Долго гулял утром и читал на балконе до завтрака. Днем пилил и играл в городки. После чая разбирали вновь привезенные ковры и украсили ими наши комнаты. Окончил роман Лескова «Некуда».

27-го сентября. Среда.

Погода была превосходная, в тени 14°. Начал читать «Ramuntcho» P. Loti.

28-го сентября. Четверг.

С начала недели у детей пошли по утрам занятия; продолжаю уроки истории и географии с Алексеем. Погода та же восхитительная. Много были на воздухе.

29-го сентября. Пятница.

На-днях Е. С. Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов поганец ответил, что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены. Погода стала прохладнее. Окончил «Ramuntcho».

30-го сентября. Суббота.

День простоял солнечный, хороший. Утром гуляли час, а днем два с половиною часа; играл в городки и пилил. Начал читать пятый том Лескова — длинные рассказы. В 9 час. у нас была отслужена всенощная. Вечером уехал б[арон] Боде.

17-го октября. Вторник.

29 лет прошло со дня нашего спасения при крушении поезда; кроме меня, никого здесь нет из бывших при этом! Начал VIII том Лескова. С Алексеем занимаюсь теперь только русской историей, передав рус[скую] географ[ию] Кл. Мих. Битнер. Узнали о приезде Кострицкого из Крыма.

18-го октября. Среда.

Наконец, показалось солнце, день был хороший, таяло. Пилил дрова. Вечером читал вслух «Женитьбу» Гоголя.

19-го октября. Четверг.

Было тепло, перепадал мокрый снег. Перед завтраком посидел внизу у Кострицкого. Усиленно читал. Вечером начал вслух «Дракула».

20-го октября. Пятница.

Сегодня уже 23-я годовщина кончины дорогого папá и вот при каких обстоятельствах приходится ее переживать! Боже, как тяжело за бедную Россию! Вечером до обеда была отслужена заупокойная всенощная.

21-го октября. Суббота.

Утром видели из окон похоронную процессию с телом стрелка 4-го полка; впереди шел и скверно играл небольшой хор гимназистов. В 11 час. у нас была отслужена обедница. До чая сидел у Кострицкого. В 9 час. была всенощная, и затем мы исповедались у о. Алексея. Легли спать рано.

23-го октября. Понедельник.

Утро было ясное с оттепелью.

Начал 9-й том Лескова.

Сегодня 27-я годовщина моего отъезда в заграничное плавание.

24-го октября. Вторник.

Простоял чудный солнечный день. Были много на воздухе. До чая имел урок истории с Алексеем.

25-го октября. Среда.

Тоже отличный день с легким морозом. Утром показывали Кострицкому все наши комнаты. Днем пилил.

26-го октября. Четверг.

От 10 до 11 час. утра сидел у Кострицкого. Вечером простился с ним. Он уезжает в Крым. День простоял чудный, на солнце 11°. Долго пилил.

27-го октября. Пятница.

Великолепный солнечный день.

Днем помогал трем стрелкам копать ямы для постановки столбов под новый навес для дров, даже вспотел. Написал мамá.

28-го октября. Суббота.

Все та же отличная погода: 4° мороза ночью и до 10° тепла днем. Много гуляли и долго пилил дрова. За всенощной пели любители и 4 стрелка хорошо, но тянули.

29-го октября. Воскресенье.

Встали в 7 час. с полной темнотой и в 8 ч. пошли к обедне. После вторичного чая погуляли. Погода мягкая, серая. Написал Ольге. Начал X т[ом] Лескова. Сегодня производили сбор пожертвований вещами на улицах в пользу армий на фронте.

30-го октября. Понедельник.

День прошел по обыкновению. Погода была теплая. Вечером окончил вслух чтение «Дракула» по-русски.

31-го октября. Вторник.

Та же мягкая погода с оттепелью днем. В $4^1/_2$ был урок истории с Алексеем. Вечером начал читать вслух «Морские рассказы» Беломора.

1-го ноября. Среда.

Ночью выпало много снега, но днем он почти стаял. Укладывали дрова в новый сарайчик — грязная работа. Начал книгу «I will repay» — продолжение «The scarlet Pimpernel».

Продолжение следует.

О великом футуристе Велимире Хлебникове знают многие. Читали же его стихи и поэмы, драмы и «сверхповести», статьи, декларации, заметки, конечно же, далеко не все. И не только потому, что познавать Хлебникова тяжелая работа. Большинству читателей поэт малодоступен в первую очередь по совсем другой причине — издавался у нас в стране редко, неполно, ограниченными тиражами.

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмейся надсмеяльно, — смех усмейных смехачей,
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Эти строки были впервые напечатаны в 1910 году в альманахе «Студия». Именно о них сказал Корней Чуковский: «И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующесладостна наша славянская речь! Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?»

А вот другое суждение о поэзии Хлебникова: его поэтическое творчество не может быть понято вне его же «числовых» теорий. Среди примечаний к одному из наиболее полных современных отечественных изданий произведений поэта («Творения», М., 1986) читаем следующее: «Философия времени, проблема числа, поиски математического определения «закономерностей» в истории и биологии постоянно занимали мысль Хлебникова. Некоторые его идеи о «жизненных ритмах» нашли подтверждение в современной науке хронобиологии».

В статье «Математическое понимание истории. Гамма будетлянина» Хлебников писал: «Перелистаем страницы прошлого. Мы увидим, что законы Наполеона вышли в свет через 317,4 после законов Юстиниана — 533 год. То две империи, Германская — 1871 год, и Римская — 31 год, основаны через 317, 6 одна после другой. Борьба за господство на море острова суши Англии и Германии в 1915 году за 317,2 до себя имела великую войну Китая и Японии при Хубилай-хане в 1281 году. Русско-японская война 1905 года была через 317 лет после Англо-испанской войны 1588 года. Великое переселение народов в 376 году за 317,11 до себя имело переселение индусских народов в 3111 году (эра Кали-юга). Итак, 317 лет — не призрак, выдуманный больным воображением, и не бред, но такая же весомость, как год, сутки земли, сутки солнца».

Разнообразны и удивительны те закономерности (а может быть, все-таки совпадения?), которые во многих статьях вычислял Хлебников. Начала крупнейших государств, оказывается, кратны 413 годам, рождения великих людей с одинаковой судьбой имеют период в 365 лет, и так далее, и тому подобное...

Допускал ли Хлебников математические и хронологические неточности? Наверное, ведь даты и имена он проверял лишь в анналах своей памяти, а расчеты делал только на бумаге. Думается, что вряд ли продуктивно «ловить» поэта на фактических погрешностях. Гораздо важнее понять и почувствовать его логику, ценности, веру.

В 1920 году в журнале «Военмор» была напечатана работа Велимира Хлебникова «В мире цифр». С тех пор в нашей стране она не переиздавалась.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

В МИРЕ ЦИФР

Мы все знаем, как наши бабушки и прабабушки увлекались «звериным числом» — 666, придавая ему особенный таинственный смысл. Это не странно. Научные загадки так часто окружены сиянием «потустороннего» мира. Позднее разум разрушает налет чертовщины и находит холодные законы.

Таких чисел, пожалуй, найдется не одно... Таковы числа 48, 317, 1053, 768, 243.

Судьба таких чисел напоминает распространенную игру взрослых — сношения с загробным миром, эти блюдечки, выстукивающие пророчество, эти удары невидимых крыл пролетающих духов, неземное пение и т. д.

Вероятно, такая же судьба ждет и эти числа. Кто бы, например, подумал, что многочисленные правительства, к которым так применимы слова Пушкина:

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят?
Ведьму ль замуж выдают? —

правительство Львова, Скоропадского и т. д., возникали правильной рябью по волнам времени через 48 дней.

Их уравнение, называя через X день открытия правительства, а через К исходную точку, следующее:

$$X = K + 48n$$

Возьмем исходной точкой 27 августа 1917 года, когда образовалось «Государственное Совещание» и всходила звезда Корнилова. Пусть этот день, написанный очень белым цветом, будет К. Тогда через 48 дней, при $n = 1$, будет 14 октября 1917 года — образование «Временного Совета», с Керенским во главе. Сделав $n = 3$ получим 19 января 1918 года — заседание Учредительного собрания; $n = 4$ дает 8 марта — правительство князя Львова; $n = 5$ дает 26 апреля 1918 года — возникновение правительства Скоропадского; $n = 7$ получим 18 сентября 1918 года — правительство Авксентьева.

Эти белые правительства точно игрушечные кораблики, спускаемые на волны, возникали и тонули через 48 дней.

Лучше всего их судьбу передает следующая таблица: Значение п День открытия $X = K + 48$ п дней $K = 27$ авг. 1917 г. Название правительств

п=о 27 августа 1917 Государственное совещание в Москве (Корнилов)
п=1 14 октября 1917 Времен. Совет России (Керенский)
п=3 19 января 1918 Учредит. Собрание
п=4 8 марта 1918 Сибирское правительство князя Львова
п=5 26 апреля 1918 Правительство Скоропадского в Киеве
п=7 16 сентября 1918 Государственное совещание Авксентьева в Уфе

Так эти имена, похожие на докучливую стаю ворон, соединяются одним управлением.

Вообще 48 дней очень часто соединяются подобные события: так, например, шествие Гапона 22 января 1905 года и 19—22 декабря 1905 года — вооруженное восстание в Москве отделены 48 днями.

Теперь возьмем числа 768 и 1053.

Это настоящие два маленьких «чорта», выступающие всюду, где нужно соединить два последовательных звена одной и той же цепи. Чистые законы времени одинаковы для всех вещей, совсем так же, как законы пространства одни и те же и для треугольника 3 точек на черепе человека, покоящемся на ладони ученого, исследующего его.

Возьмите смерти царей, применив к ним эти числа. Если число 48 помогло составить «уравнение» белых правительств, то число $768 = 48 \times 16$ участвует в «уравнении» смерти отошедших в вечность царей.

«Скорбный лист царей» в виде уравнения имеет следующий вид: $X = 769 \times 5n + 1052\ k$

Если $n = 1$, $k = 1$. $X = 4897$ дней $= 769 \times 5 + 1052$ или числу дней между 16 июля 1918 года (смерть Николая II) и 17 февраля 1905 года (убийство Сергея Александровича).

Если $n = 3$, $K = 2$, $X = 13639 = 769 \times 15 + 1052 \times 2$, т. е. времени между 13 марта 1881 года (убийство Александра II) и 16 июля 1918 года (убийство Николая II). Таким образом, в уравнении X (день смерти) $= 769 \times 5n + 1052k$ при $k = n = 0$ имеем день смерти Александра II, при $n = 2$, $k = 1$ получаем день взрыва Каляевым Сергея Александровича, при $n = 3$, $k = 2$ день расстрела Николая II.

Эти правильности указывают на закономерность происходящих событий. Изучив его до конца, мы сможем делать съемку отдаленных точек времени как в прошлом, так и в будущем.

Изучая «горы будущего», мы будем поступать совершенно так же, как землемер, смерив угол и длину тени, измеряет высоту гор, на которых никогда не бывал.

Но вот те же числа, как связи времени между повторными точками народных восстаний.

I. 31 марта 1871 года — начало Парижской Коммуны. Через 768×22 — 16 июля 1917 года — вооруженное выступление рабочих в Петрограде.

II. 29 мая 1871 года — разрушение колонны, как знак отречения от власти над другими народами. Через 1053×16 — 16 июля 1917 года — вооруженное выступление в Петрограде.

III. 7 марта 1848 года — начало Парижской Коммуны. Через 1053×20 — 3 ноября 1905 года — Красный Петроград.

IV. 29 апреля 1848 года — манифестация безработных с требованием права на труд. Через 1053×8 — 10 апреля 1871 года — провозглашение Парижской Коммуны.

V. Убийство Сипягина (14 апреля 1902 года), бывшее одним из толчков свободного движения, произошло за 1053 дня до указа о созыве народных представителей — 3 марта 1905 года.

VI. Китайская республика (13 февраля 1912 года) возникла за 1054×2 до провозглашения Украинской республики 22 ноября 1917 года и падения военной ставки.

Таким образом, эти числа довольно часто встречаются как меры расстояний во времени, и, может быть, когда-нибудь любознательный ум даст им отвлеченное объяснение.

Но эти уравнения удивительно «уравнивают» все и всех перед лицом какого-то отвлеченного закона.

Что же касается до $3^5 - 1 = 242$, то это число пятая степень трех без единицы, весьма часто отделяет начало деятельности от ее конца.

Керенский стал членом правительства 15 марта 1917 года. Вскоре стал его главой. 14 марта 1917 года издан «Приказ № 1».

Через $3^5 - 1$ после 15 марта — бой в Царском Селе, бегство Керенского — 12 ноября 1917 года.

День 7 ноября 1917 года как конец войны был поворотным днем в русско-германских отношениях и торжеством Германии, вершиной германского могущества.

Через $3^5 - 1$ Мирбах, германский посол, был убит. 21 марта Николай II был арестован. Через $2/3^5 - 1/16$ июля он был расстрелян. Здесь тоже было падение с одной ступени на другую, ниже расположенную, хотя оба события равнозначны.

22 ноября начались мирные переговоры с Германией. В то же время Украина, отчасти под давлением Германии, объявила себя независимой.

Через $3^5 - 1$ Эйхорн, этот носитель германского влияния на Украине, был убит. Обстановка, создавшая необходимость появления Скоропадского, как ставленника немецкого влияния, возникла после разгрома Корнилова, сторонника держав Согласия, и под давлением съезда левых эсеров, требовавших войны с Германией (17 апреля). Через $3^5 - 1$ после 16 апреля — день отречения власти и бегство Скоропадского (14 декабря). Он стал не нужен ходу вещей. Корнилов был убит 13 апреля. Через 3^5 после Лондонского совещания союзников (7 августа 1917 года), выдвинувших Корнилова как своего ставленника. Выступление чехословаков 25 мая было наиболее сильным военным вмешательством союзников в дела России. Через 3^5 — 23 января 1919 года приглашение участвовать в мирных переговорах на Принцевых островах, как отказ воздействия грубой силой.

Точно так же мятеж левых эсеров, направленный против Советской власти (7 июля 1918 года), вспыхнул через $3^5 - 1$ после образования правительства В. И. Ленина 9 ноября 1917 года.

Напротив, через $2/3^5 - 1$ / после начала Советской власти (7 ноября 1917 года), был первый Съезд III Интернационала, 6 марта 1919 года торжественное чествование его.

Здесь как бы выступает старое правило отрицание отрицания дает утверждение, два «нет» дает да».

28 января 1919 года возникло Советское правительство Раковского. За 3^5 до него 30 мая в Киеве разогнан крестьянский съезд.

20 января 1863 года возникновение «Ржонда Народового» в первые дни польского восстания. Через $3^5 - 1$ после него — 19 сентября 1863 года покушение на наместника Польши графа Берга. Этот выстрел был последней заключительной точкой вспыхнувшего 22 января восстания, подавленного русской военной властью.

Убийство Мирбаха и мятеж левых эсеров 7 июля был днем высшего раскола среди левых. Через $3^5 - 1$ был созван 2—6 марта 1919 года III коммунистический Интернационал, положивший конец расколу и вернувший освободительному движению единство.

Таким образом, $3^5 - 1 = 242$ дней отчетливо соединяет начало и конец известного пласта времени.

Надеемся, что эти сопоставления, которые пока только будят ум, скоро станут областью исследования.

П Л А Н Е Т А

ЭССЕ. КНИГИ. КУМИРЫ.

Детские книжки-кумиры, как правило, передаются из поколения в поколение. То, что в свое время полюбилось старшим, на время или навсегда станет достоянием младших. При одном непременном условии: круг авторов и названий должен расширяться... Десятилетия назад пришел к советским детям итальянский сказочник Джанни Родари. Бабушкам и дедушкам сегодняшних малышей полюбился мальчик-луковка Чиполлино. Издателям он тоже пришелся по вкусу. В итоге получилось, что мы знаем Родари, в основном, как создателя «Приключений Чиполлино», а современная итальянская детская литература для нас почти исчерпана этим автором. Чтобы хоть в какой-то степени ликвидировать данную несправедливость, мы публикуем сегодня на страницах журнала неизвестные нашему читателю сказки Джанни Родари, а также представляем популярного итальянского детского писателя Марчелло Арджилли — сочинителя фантастических, а иногда почти реальных историй с различными нетрадиционно-сказочными сюжетами в переводах Юлии Григорьевой.

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ

ДЖАННИ РОДАРИ

Старые пословицы

В одном городе, о котором я когда-нибудь расскажу и опишу его нравы и обычаи, есть дом. Это тихий дом вдали от центра. В нем — приют для Старых Пословиц, где доживают свои дни на покое именно старые пословицы, которые в свое время были, наверное, молодыми и правильными, а теперь им уже больше никто не верит. На покое, сказал я? Правильней было бы сказать по-другому, поскольку все свое время они проводят в болтовне и пререканиях.

— Ослом родился, ослом и умрешь, — изрекает одна Старая Пословица.

— Ну вот уж, — возражают ей слушатели. — А если будешь учиться, трудиться, упорствовать? Каждый при желании может стать лучше, чем он есть.

— Счастлив тот, кто умеет довольствоваться малым, — встревает другая Пословица.

— Будь это так, — тут же одергивают ее, — люди бы до сих пор жили на деревьях, как обезьяны.

Тут слышится: «Тот, кто делает сам, работает за троих!» На крик приходит доктор (он тоже — Пословица, но — молодая) и поправляет:

— Нет, тот, кто делает сам, работает за одного, а в единении сила.

Какое-то время Пословицы молчат. Потом самая старая начинает снова:

— Хочешь мира, готовься к войне!

На это медсестры заставляют выпить ее отвар ромашки, чтобы она успокоилась, и по-хорошему объясняют, что, если хочешь мира, надо готовиться к миру, а не делать бомбы.

Мимо проходит другая Старая Пословица, она говорит: — В своем доме каждый господин.

— Но тогда, — спрашивают ее, — почему же нужно платить за квартиру, свет, газ? Хорошенькое дело, господин.

Как видите, случается, что между собой Старые Пословицы говорят и разумные вещи... В конце концов, их особенность в том, что все они противоречат друг другу.

— Остатки сладки! — говорит одна, и тут же другая парирует:

— Самое трудное в конце!

Иногда их бывает жаль. Они не замечают, что мир меняется, что старых пословиц уже не хватает, чтобы заставить его идти вперед, что нужны новые, смелые, верящие в свои собственные руки и голову. Такие, как вы.

Вернемся к азбуке

Один служащий, будучи в стесненных обстоятельствах, снял крохотную квартирку. Чтобы поставить телевизор, пришлось избавиться от части своих книг, которые, как он счел, были ему не очень нужны. Потом он купил видеомагнитофон, и ему пришлось убрать еще часть книг.

Остались только те, без которых невозможно обойтись грамотному человеку. Прошло какое-то время, и он купил телекамеру, а чтобы пристроить ее, решил расстаться с последними книгами. Из них он выдрал несколько страниц, что, по его мнению, было более чем достаточно, и все они уместились на маленькой полочке. Теперь он подумывает о том, чтобы обзавестись компьютером с видеоиграми — его он поставит на место полочки. Он обнаружил, что все, что написано на вырванных страницах, составлено всего из 25 букв. Их он себе и оставит, эти 25 букв алфавита.

МАРЧЕЛЛО АРДЖИЛЛИ

Вам это кажется справедливым?

Жил один адвокат, который все время рассказывал странные истории. Вот одна из них:

— Однажды ко мне в приемную приходит черно-белый кот в красном ошейничке и, мяукая, говорит: «Ты меня понимаешь?» Я отвечаю: «Конечно». «Тогда, — говорит мне, — будь моим адвокатом: я хочу возбудить дело против одного автомобилиста, который пытался меня переехать, когда я переходил дорогу; против мальчика, который тянул меня за хвост, и против мясника, который выгнал меня пинками из магазина». Я берусь его защищать и прошу суд о таких мерах наказания: отобрать права у автомобилиста, коту предоставить право оцарапать ребенка и обязать мясника пустить кота в лавку беспрепятственно, а помимо этого, в качестве возмещения морального ущерба, выдавать ежедневно килограмм легких, селезенки и требухи. Наступает день суда. Как только мы входим в зал, судья, увидев черно-белого кота с красным ошейничком, кричит: «Кисанька моя! Наконец-то я тебя нашел!» Берет его на руки, гладит, чмокает, как ребенка. Оказывается, он потерял кота еще котенком и с тех пор так и не мог успокоиться. Тут же следует приговор: автомобилиста — на каторгу, ребенку — отрубить руку, мясника — в ссылку. Потом судья мне говорит: «Я вам буду вечно признателен, г-н адвокат, за то, что благодаря вам я нашел моего обожаемого котика: обещаю вам оправдывать всех ваших клиентов, будь они хоть самые лютые разбойники»...

Этот адвокат жил взаперти в комнате, откуда он никогда не выходил, а истории свои рассказыаал человеку, который каждое утро приходил его навещать. Человек внимательно его выслушивал, а потом спрашивал: «Вы верите в то, что рассказываете?» «Конечно», — отвечал адвокат. Выходя из комнаты, человек в белом халате закрывал за собой дверь и говорил: «Он сумасшедший, он продолжает бредить, нельзя его выпускать».

Был еще другой человек. Он жил на роскошной вилле, зарабатывал массу денег, летал на самолете по всему миру, и в разных странах им восхищались. Он тоже рассказывал истории. Например, такие:

— Однажды на Землю прилетел пришелец с другой планеты. По всей видимости, он был плохо информирован, поскольку думал, что растения — это люди, люди — звери, а машины — растения. Поэтому он принял обличье сосны и устроился в чаще леса. Шли годы, а он все ворчал: «Какая скучная жизнь у жителей Земли». Только однажды пришел лесник с топором и начал рубить его. «Скотина, что ты себе позволяешь?» — закричал пришелец. А тот, услышав, что дерево говорит, кинулся к машине и умчался. «Какая странная планета, — подумал пришелец. — Животные не только посягают на людей, но еще и путешествуют на растениях».

Между тем лесник от ужаса заехал в ров, и машина вдребезги разбилась. Пришелец же добрался до машины, выкопал ямку, а в нее посадил колесо, поскольку ему хотелось бы иметь передвигающееся растение. Год и месяц он его поливал, ждал, когда появится новая машина, потом ему надоело. «Какой беспорядок на этой планете, ничего не срабатывает. Я возвращаюсь домой», — сказал он, улетел и больше никогда не возвращался.

Когда кто-нибудь спрашивал у рассказчика, верит ли он в свои истории, тот смеялся: — Не хватало еще, чтобы я в это верил!

Этот человек был знаменитым сочинителем сказок.

Вам кажется справедливым, что человека, который искренне верит в свои фантастические истории, считали сумасшедшим, а лжеца, который придумывает истории, в которые сам не верит, — художником?

Ненасытный Альваро

У Альваро была единственная страсть — учиться. Ребенок, который все время занимается, — большая редкость, и потому его родители были счастливы и всячески поощряли эту его ненасытную жажду знаний.

— Это уникальный мальчик, — говорили они друзьям, — он целыми днями занимается, и даже по праздникам, и во время каникул.

И действительно, когда Альваро бывал дома, он закрывался у себя в комнате и беспрерывно читал.

— Тише, — говорили родители бабушке и дедушке. — Альваро хочет позаниматься историей, не мешайте ему.

Альваро и впрямь с увлечением читал разные истории в иллюстрированных журналах: про индейцев, пиратов, ковбоев. Но занятия не сводились только к чтению. До глубокой ночи не ложился он спать, изучая нравы и обычаи народов мира по телевизору. Он не пропускал ничего, смотрел подряд бразильские телепостановки, японские мультфильмы, английские детективы и даже фантастические фильмы о других планетах.

Если Альваро выходил из дому, а выходил он очень часто и днем, и вечером, то с единственной целью — продолжить занятия...

Субботний вечер он никогда не занимал, это было традиционное время для уроков английского: Альваро отправлялся на концерты послушать живой английский язык. Чтобы закрепить навыки произношения, он просил родителей покупать ему пластинки английских певцов.

В воскресные утренние часы Альваро изучал психологию масс: он шел на стадион, где разделял мнение многих футбольных болельщиков, сопереживая происходящему. Если же случалось, что местная футбольная команда уезжала играть в другой город, Альваро просил у родителей позволить ему дополнительно позаниматься ботаникой и географией и проводил конец недели в горах или за городом.

— А где Альваро? — спрашивали родственники, приехавшие погостить. И родители горделиво отвечали: — Он изучает обитателей морского дна.

Альваро в это время был на море, где занимался подводной рыбной ловлей.

Буквально не было науки, которая бы его не интересовала.

— Папа, — говорил Альваро, — мне нужны деньги, я хотел бы понаблюдать за динамикой движения тел.

Мог ли отец ему отказать? И Альваро шел играть в бильярд.

— Мама, дай мне, пожалуйста, десять тысяч лир: я собираюсь проделать тест на быстроту реакции, — просил Альваро и шел играть в видеоигры.

— Папа, ты мне дашь денег? Я должен позаниматься зоологией, меня очень интересует поведение львов, тигров и слонов в неволе. — И Альваро отправлялся в цирк.

— Мама, мне просто необходимо повторить географию России. Мне нужны деньги, и разреши мне уйти из дома.

— Конечно, иди, сынок.

И Альваро шел в Луна-парк кататься с русских горок.

Вряд ли какие-нибудь родители так гордились трудолюбием своего сына, как родители Альваро, поэтому, когда Альваро провалился на экзаменах в школе, они были возмущены и пошли выразить свой протест директору школы.

— Это вопиющая несправедливость! Наш сын занимается по двадцать четыре часа в сутки, он отказывает себе во всех развлечениях ради учебы!

Родители Альваро грозили устроить скандал, но директор был непоколебим.

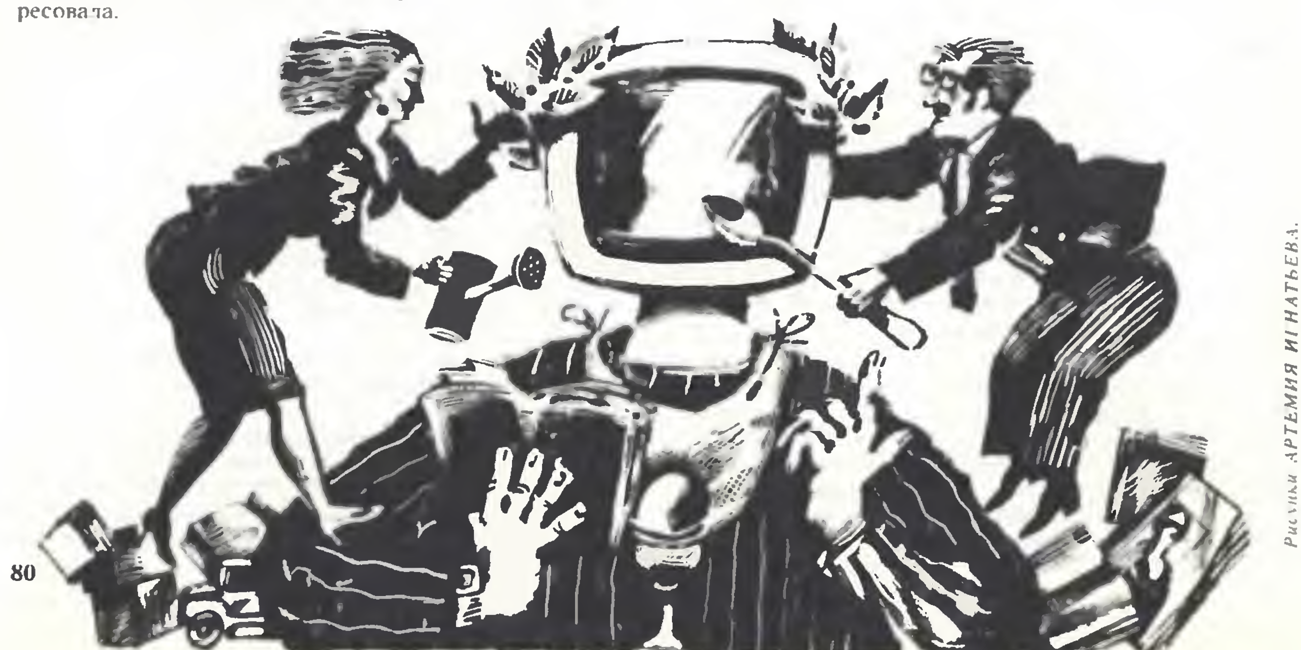
— Учителя неспособны понять тебя, — успокаивали родители Альваро. — Но ты не падай духом, это невежественные старомодные люди.

— Да я совсем не обижаюсь, — отвечал Альваро. — Мне только важно иметь возможность заниматься дальше. И потому я решил отказаться от летнего отдыха и посвятить лето учебе.

— Какой молодец! — восклицали растроганные родители. — Даже несправедливость не сломила тебя. Чем же ты хочешь заняться?

— Я хотел бы попрактиковаться в английском и немецком языках. Вы мне разрешите?

Помимо благословения Альваро получил всю требуемую сумму до последней лиры и отбыл на побережье совершенствовать знания языков в разговорах с английскими и немецкими туристками...



Рисунки АРТЕМИЯ ИГНАТЬЕВА

C

Продолжение. Начало в №№ 6–12/1988 и №№ 1–3, 5, 6/1989

Ведут рубрику Павел БОНДАРОВСКИЙ, Александр НАЛОЕВ

Jim Capaldi
Джим Кэпалди

Английский ударник, певец, композитор.
24.VIII.1944.

Профессиоиальную карьеру начинал в 1963 году в ансамбле «The Hellians», где на гитаре играл Dave Mason (10.V.1947). Вместе они в 1965-м вошли а состав бирмингемской (Birmingham) группы «Deep Feeling», а в марте 1967-го — ансамбля «Traffic», основанного гитаристом, пианистом и певцом Стивом Уинаудом (Steve Winwood, 12.V.1948). Стилистика композиций этого коллектива, синтезироаавшего элементы музыки соул, ритм-энд-блюза, психоделического рока, фолк-, джаз- и фанк-рока, оказала а дальнейшем влияние и на собстаенные работы Джима Кэпалди. В декабре 1968-го, после первого распада группы «Трэффик», Джим образовал с Дэйвом Мэйсоном, Крисом Вудом (Chris Wood, 24.VI.1944 — 12.VII.1983) и Миком Уивером (Mick «Frog» Weaver, экс-«Wynder K. Frog») квартет, выпустивший на фирме «Island Records» альбом «Capaldi, Mason, Wood and Frog». В 1969-м Кэпалди участвовал в записи дебютного сольного диска Мэйсона «Alone Together», а в 1970-м группа «Трэффик» воссоединилась как трио — Кэпалди, Уинвуд и Вуд. Первый сольный альбом Джим аыпустил в 1972 году, еще играя в «Трэффик» («Oh How We Danced»). Пластинка заслужила высокие оценки критиков, как и следующая, «Whale Meat Again» (1974). В 1975-м исполненная им песня «Love Hurts» (интерпретация шлягера Роя Орбисона — Roy Orbison) заняла 4-е место в британском хит-параде. Кэпалди включил ее в третий альбом, «Short Cut Draw Blood» (1975). В 1977 году он основал группу «The Contenders», куда вошли Phil Capaldi (аокал), Peter Bonas (гитара), Chris Parren (клавишные), Brent Forbes (бас-гитара), Ray Allen (саксофон) и Trevor Morais (ударные). Записанные с этим коллективом два альбома аыдержаны в стилях поп-соул и диско-фьюжн, но отличаются оригинальностью аранжировок. В хит-парад вошла песня «Time Is Running» с диска «Electric Nights» (1979). В 1980-м Джим Кэпалди вернулся к сольной работе и выступлениям с другими группами и исполнителями как сешн-музыкант

Диски: Oh How We Danced (1972, Island Rec.); Whale Meat Again (1974, Island); Short Cut Draw Blood (1975, Island); The Sweet Smell Of Success (1980);
с группой «Кэнтендерз» —
The Contenders (1978); Electric Nights (1979)

Captain and Tennille
Кэптин энд Теннилл

Американский дуэт. 1972—1984.
Состав: Daryl Dragon (27.VIII.1942) вокал, клавишные, Toni Tennille (8.V.1943) — вокал, клавишные.

Имя Тони Теннилл стало известным благодаря мюзиклу «Mother Earth» (1970), который она написала в соавторстве с Роном Тронсоном (Ron Thronson). Как пианистка Тони участвоаала в постановке мюзикла. На гастролях в Лос-Анджелесе в состав группы вошел местный сешн-музыкант Дэрил Дрэген, до этого сотрудничавший с группой «The Beach Boys». По окончании гастролей Дрэген вернулся в состав аккомпаниаторов «Бич Бойз», пригласив с собой Тони Теннилл, которая не только играла на фортепьяно, но и пела. Совершив с ансамблем «Бич Бойз» турне по стране, Дэрил и Тони начали выступать как дуэт в ресторане «Smoke House» (город Encino, штат California). Приняв назаание «Кэптин энд Теннилл», они записали в частной студии города Burbank композицию «The Way I Want To Touch You», выпущенную затем на сингле независимой фирмой «Butterscotch Castle». Тираж пластинки составлял всего 500 экземпляров, но и этого оказалось достаточно, чтобы песня вошла в программы сразу нескольких калифорнийских радиостанций. Творчеством дуэта заинтересоаалась фирма «Joyce Records», переиздавшая как дебютный, так и второй сингл молодой супружеской пары — «Disney Girls» (из репертуара «Бич Бойз»). Дебютный альбом, «Love Will Keep Us Together», дуэт записал в 1975 году на фирме «A&M Records». Пластинка составлена из композиций коммерческого поп-рока в манере Нила Седаки (Neil Sedaka). Заглавная песня (авторы — Нил Седака и Howard Greenfield) 21 июня того же года на четыре недели возглавила национальный хит-парад США; 1 июля сингл с ее записью стал «золотым», а в конечном итоге разошелся тиражом свыше 2,5 миллиона экземпляров, заслужиа титул лучшего сингла года и премию «Grammy». В 1975—1976 годах еще три сингла дуэта входили в Америке в пятерку лучших: «The Way I Want To Touch You» (29.XI.1975 — № 4), «Lonely Night (Angel Face)» (3.IV.1976 — № 3), «Muscrat Love» (13.XI.1976 — № 5). С 20 сентября 1976-го по 14 марта 1977-го «Кэптин энд Теннилл» выступали в собственной телепрограмме (корпорация «ABC-TV»). В 1979 году дуэт заключил контракт с фирмой грампластинок «Casablanca Records», на которой дебютировал с синглом «Do That To Me One More Time» (автор — Тони Теннилл; 16.II.1980 — № 1). Композиция, как большинство песен дуэта начала 80-х, была выдержана а традициях [...]. В 1984-м Дрэ[...] прекратили совместное [...] после чего Тони начала сольную карьеру.

Диски: Love Will Keep Us Together (1975, A&M Rec.); Came In From The Rain (1977, A&M);
Тони Теннилл, соло — More Than You Know (1984, Mirage Rec.).

Captain Beyond
Кэптин Бийонд

Американский ансамбль. Основан в 1971 году.
Начальный состав: Rod Evans — вокал, Lee Dorman — бас-гитара, клавишные, вокал, Rhino — гитара, Bobby Caldwell — ударные, клавишные, вокал.

Группу основали Род Эванс (экс-«Deep Purple») и Ли Дормен (экс-«The Iron Butterfly»). Гитарист Райноу прежде выступал как сешн-музыкант (сотрудничал с «The Iron Butterfly»). Бобби Колдуэлл играл в аккомпанирующем составе певца и гитариста Джонни Уинтера (Johnny Winter). Дебютный альбом квартета был выдержан а традиции софт-рока. В том же стиле создан и второй диск, «Sufficiently Breathless» (1973), а записи которого участвовали Reese Wynans (клавишные), Marty Rodriguez (вокал, ударные), Guille Garcia (конги). Несмотря на благожелательные отзывы прессы, коммерческого успеха эти пластинки не имели, и группа распалась. Бобби Колдуэлл в 1974-м вошел в состав ансамбля «Armageddon»; Гилл Гарсиа как сешн-музыкант участвовал в записи дискоа многих звезд (Joe Walsh, 1974, Bill Wyman, 1976...). В 1977 году группа «Кэптин Бийонд» воссоединилась, пригласив вместо Рода Эванса нового вокалиста, Уилли Дэфферна (Willy Daffern), но вскоре опять исчезла с рок-сцены.

Диски: Captain Beyond (1972); Sufficiently Breathless (1973); Dawn Explosion (1977).

Captain Sensible
Кэптин Сенсэбл

Английский гитарист, пианист, композитор, певец.
Настоящее имя: Ray Burns.

Профессиональную карьеру начинал как бас-гитарист в группе «The Damned» в 1976 году. Впоследствии играл в этом коллективе на соло-гитаре, клавишных. В конце 1981-го занялся подготовкой материала для первого

сольного альбома, «Women And Captains First» (1982, продюсер — Tony Mansfield). Композиции «Wot» (в стиле поп-рэп) и «Happy Talk» (из мюзикла «South Pacific») попали в национальный хит-парад, причем вторая 10 июля 1982 года возглавила его. В записи дебютного диска принимали участие певец и гитарист Robyn Hitchcock (экс-«The Soft Boys») и женское вокальное трио «Dolly Mixture». В целом стилистический диапазон пластинки на редкость широк: кроме музыки рэп, на нем присутствуют кантри-энд-вестерн, пауэр-поп-рок, композиции в так называемом «стиле кабаре». Более цельное впечатление производит второй альбом Сенсэбла, «The Power Of Love» (1983); в хит-парад входили сразу четыре его песни: «It's Hard To Believe I'm Not», «Secrets» (обе написаны в соавторстве с Робином Хичкоком), «Stop The World» и «The Power Of Love». Диск-сборник «A Day In The Life Of... Captain Sensible» (1984) был выпущен только в США и включал лучшие композиции ранее вышедших пластинок. «Sensible Singles» (1984) — тоже является сборником; он составлен из 13 песен, до этого появлявшихся на синглах.

Дискография: Women And Captains First (1982, A&M Rec.); The Power Of Love (1983, A&M); A Day In The Life Of... Captain Sensible (1984, A&M, compilation); One Christmas Catalogue (1984, A&M, EP); Sensible Singles (1984, A&M, compilation).

Caravan
Кэрэвэн

Английский ансамбль. Основан в 1968 году.
Начальный состав: Pye Hastings — гитара, вокал, David Sinclair — клавишные, Richard Sinclair — бас-гитара, вокал, Richard Coughlan — ударные.

Группу образовали четверо музыкантов из распавшегося ансамбля «The Wilde Flowers». Стиль нового коллектива представлял собой синтез джаз-рока, ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и музыки соул. Дебютные альбом («Caravan») и сингл («A Place Of My Own») коммерческого успеха не имели. Зато диски «If I Could Do It All Over Again...» [1970] и «In The Land Of Grey And Pink» (1971) вывели группу в лидеры английского андерграунда. В сентябре 1971 года Дэвид Синклер перешел в ансамбль Роберта Уайэтта (Robert Wyatt) «Matching Mole»; его сменил певец и пианист Steve Miller (экс-«Delivery»). После выхода альбома «Waterloo Lily» (1972) группу покинул и Ричард Синклер (основал ансамбль «Hatfield and The North»). В дальнейшем перемены в составе следовали одна за другой, постоянными участниками квартета оставались лишь Пай Хэстингс и Ричард Кофлэн. В разные периоды в группе играли бас-гитаристы John Perry и Mike Wedgewood, гитарист Phil Miller, гитарист, скрипач и флейтист Geoff Richardson, ударники David Grinsted и Pip Pyle, пианист Jan Schelhaas. В 1976 году коллектив записал наименее удачный диск, «Blind Dog At St. Dunstans». Интерес к его творчеству постепенно угас, и к концу десятилетия ансамбль фактически исчез с большой рок-сцены.

Дискография: Caravan (1968, MGM Rec.); If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You (1970, Deram/Decca Rec.); In the Land Of Grey And Rink (1971, Deram); Waterloo Lily (1972, Deram); For Girls Who Grow Plump In The Night (1973, Deram); Caravan And The New Symphonia (1974, Deram); Blind Dog At St. Dunstans (1976, WTM Rec.).

Belinda Carlisle
Белинда Карлайл

Американская певица.
17.VIII.1958.
Профессиональную карьеру начала в мае 1978 года в лос-анджелесском женском рок-ансамбле «The Go-Go's», выступавшем с большим успехом. После распада группы в 1984 году ненадолго покинула сцену, а затем вернулась на нее как солистка. В 1986-м выпустила альбом «Belinda», записанный при участии гитаристки Charlotte Caffey (экс-«The Go-Go's»), явившейся и соавтором ряда композиций. Стиль альбома — поп-рок с элементами традиционного блюза. Сотрудничество с Шарлотт Кэффи продолжилось при подготовке второго диска Белинды Карлайл, «Heaven On Earth» (1987). Продюсером пластинки выступил Rick Nowels, партии клавишных исполнил Thomas Dolby. Альбом завоевал популярность по обе стороны Атлантики. Наиболее удачными были признаны оригинальная обработка композиции «I Feel Free» из репертуара трио «Cream» и песня «Heaven Is A Place On Earth» (авторы — Rick Nowels и Allen Shipley), включенная также в двойной альбом-сборник произведений мастеров мировой рок-музыки «Greenpeace — Breakthrough», выпущенный в СССР 6 марта 1989 года.
Дискография: Belinda (1986, IRS Rec.); Heaven On Earth (1987).

Kim Carnes
Ким Карнс

Американская певица, пианистка, композитор.
Los Angeles, California.
Учиться игре на фортепьяно начала в 3 года и уже через несколько месяцев сочинила первую оригинальную композицию. Окончив школу, решила всерьез заняться композиторской деятельностью, но поначалу в течение трех лет выступала как аккомпаниатор в небольших клубах Лос-Анджелеса. С помощью менеджера и продюсера Джимми Боуэна (Jimmy Bowen) заключила контракт с фирмой грампластинок «Amos Records», затем перешла на фирму «A&M Records», где записала три альбома, ни один из которых не имел и малейшего успеха. Более удачным оказалось сотрудничество с новой фирмой «EMI-America Records», контракт с которой певице помог заключить менеджер Jim Mazza. В марте 1979 года сингл Ким Карнс «It Hurts So Bad» занял в национальном хит-параде США 56-е место; чуть выше поднялась следующая записанная композиция, «Don't Fall In Love With A Dreamer», сочиненная ею вместе с мужем, Дэвидом Эллингсоном (David Ellingson) и исполненная в дуэте со звездой кантри-рока Кенни Роджерсом (Kenny Rogers). Настоящим же шлягером стала интерпретация песни «More Love» из репертуара группы «The Miracles», вышедшая на сингле в 1980 году (продюсер — George Tobin). Триумфальным явился для Ким год 1981-й: ее сингл «Bette Davis Eyes» возглавил 16 мая американский хит-парад и продержался в нем 9 недель. Изданная за рубежом, пластинка заняла первые места в таблицах популярности двадцати одной страны. Это была обработка песни Джекки ДеШэннон (Jackie DeShannon) и Донны Уэйсс (Donna Weiss), посвященной киноактрисе Бетти Дэвис. Примечательно, что в исполнении самой Джекки ДеШэннон эта композиция, записанная еще в 1975 году, почти не была замечена. Вариант Ким Карнс 24 февраля 1982-го получил сразу две премии «Grammy» — как песня года (1981-го) и как пластинка года. Столь крупный успех способствовал быстрой раскупаемости и альбома «Mistaken Identity» (1981), включавшего песню «Bette Davis Eyes». Диск Ким записала в очень короткий срок — 15—20 декабря 1980-го и 6—12 января 1981-го, — причем каждая композиция исполнялась сразу и в окончательном варианте, без последующих студийных наложений инструментальных или вокальных партий. Альбом продемонстрировал лучшие образцы характерных для Ким Карнс стилей — поп-рока и софт-рок-баллады. Привлекала слушателей и оригинальная вокальная манера певицы, свидетельствующая о большом влиянии на нее творчества Рода Стюарта (Rod Stewart). С ним, кстати, Ким Карнс выступила 18 декабря 1981-го в лос-анджелесском зале «Forum» на концерте, который, благодаря спутниковой связи, могли видеть 35 миллионов телезрителей в разных частях света. Впоследствии Ким еще не раз выступала в дуэте со знаменитыми исполнителями, такими, как James Ingram, Kenny Rogers (сингл «What About Me», ноябрь 1984), Barbra Streisand (сингл «Make No Mistake, He's Mine», январь 1985). В апреле 1985 года она участвовала в транслировавшемся на весь мир сеансе записи знаменитого рок-гимна «We Are The World». В том же месяце в национальный хит-парад США попал сольный сингл певицы, «Crazy In The Night (Barking At Airplanes)». С начала десятилетия Ким Карнс выступала с аккомпанирующей группой в составе: Bill Cuomo (синтезаторы), Steve Goldstein (клавишные), Craig Hull (гитара), Josh Leo (гитара, мандолина), Brian Garafalo (бас-гитара), Jerry Peterson (саксофон) и Craig Kramph (ударные).

Дискография: Rest Of Me [1972, A&M Rec.]; Kim Carnes [1975, A&M]; Sailin' [1976, A&M]; St. Vincent's Court [1979, EMI-America Rec.]; Romance Dance [1980, EMI]; Mistaken Identity [1981, EMI]; Voyeur [1982, EMI]; The Best Of Kim Carnes [1982, A&M]; Cafe Racers [1984, EMI]; Barkin' At Airplanes [1985, EMI]; Light House [1986, EMI].

The Carpenters
Карпентерз

Американский дуэт. 1968—1983.
Состав: Richard Carpenter [15.X.1946, New Haven, Connecticut] — клавишные, вокал, Karen Carpenter [2.III.1950, New Haven — 4.II.1983, Downey, California] — вокал, ударные.

Ричард освоил фортепьяно в 12 лет и, хотя учили его исполнению классической музыки, отдавал предпочтение собственным интерпретациям поп-шлягеров. Подростком выступал как пианист-аккомпаниатор в одной из пиццерий (pizzeria) родного города Нью-Хэвен. В 1963 году семья переселилась в город Дауни (Downey), штат Калифорния, где Ричард стал играть в ансамбле, которым руководил его школьный учитель музыки. С детства интересовалась поп-музыкой и Карен: в 14 лет она начала играть в поп-группе на... ударных. В 1965-м Ричард, Карен и контрабасист Wes Jacobs образовали поп-джазовое трио, одержавшее победу в конкурсе молодых талантов «The Battle Of The Bands» в зале «Hollywood Bowl» (Лос-Анджелес). Призом был контракт на два сингла (четыре композиции) с фирмой грампластинок «RCA Records», однако, прослушав записи, руководство фирмы отказалось выполнить обязательство, сочтя трио бесперспективным. Коллектив распался. Вскоре Ричард познакомился с молодым хористом Джоном Беттисом (John Bettis), который, как оказалось, сочинял превосходные песенные тексты. С ним, а также с Карен и еще тремя музыкантами-любителями Ричард основал новую группу, «Spectrum». Коллектив несколько месяцев выступал в клубах разных городов штата Калифорния, но тщетно предлагал фирмам свои демонстрационные записи и в конце концов тоже распался. В 1967—1968 годах Ричард Карпентер и Джон Беттис сочинили целую серию композиций (позднее они легли в основу первых трех альбомов «Карпентерз»), часть которых брат и сестра с помощью сешн-музыканта Джо Осборна (Joe Osborn) записали методом многократного наложения на пленку. Записи заинтересовали продюсера Джека Доэрти (Jack Daugherty), и он помог Ричарду и Карен заключить контракт непосредственно с одним из владельцев фирмы «A&M Records» Хербом Элпертом (Herb Alpert). Дебютный диск «Offerings» (1969) сразу привлек к дуэту внимание публики и критиков, а песня «Ticket To Ride» (обработка композиции квартета «The Beatles») с этой пластинки попала в национальный хит-парад США. Стилем «Карпентерз» стал мелодичный поп-рок с изящными вокальными партиями. Заглавная песня второго альбома, «Close To You» (1970), 25 июля на четыре недели возглавила американскую таблицу популярности, хотя тоже не являлась оригинальной: ее написали еще в 1963 году Burt Bacharach и Hal David. Выпущенная на сингле, композиция 16 марта 1971-го принесла дуэту премию «Grammy» и звание «лучших новых артистов» года («Best New Artists»). С ноября 1970-го по ноябрь 1973-го еще шесть синглов «Карпентерз» занимали в хит-параде США либо второе, либо третье место. 1 декабря 1973 года песня Ричарда Карпентера и Джона Беттиса «Top Of The World» (с диска «A Song For You») вновь внесла название дуэта в первую строчку таблицы популярности, а альбом «Now And Then» (стилизованные интерпретации ранних поп-шлягеров) 18 августа того же года вышел в лидеры в Англии. Еще больший успех имел сборник синглов «The Singles 1969—1973»: появившись в первые дни 1974-го, он уже 5 января возглавил хит-парад США, а 26-го — и Великобритании, где оставался в десятке лучших 19 недель! Грандиозным заключительным аккордом в этой полосе сенсационных удач явился альбом «Horison» (1974), в работе над которым Ричард и Карен выступили и в роли продюсеров. Критики оценили пластинку как наиболее цельную и выразительную в дискографии «Карпентерз». Первое место в США (25.I.1975) и Великобритании (15.II.1975) заняла песня «Please Mr. Postman» — оригинальная обработка композиции (авторы — William Garrett, Georgia Dobbins, Brian Holland и Robert Bateman), возглавлявшей американский хит-парад еще в 1961 году в исполнении соул-трио «The Marvelettes», а в 1963-м включенной в альбом «With The Beatles» квартета «Битлс» (в США вышла в составе альбома «The Beatles' Second Album», апрель 1964-го). В дальнейшем, однако, творческая активность Ричарда и Карен снизилась. В 1978 году они временно прекратили совместные выступления, в 1979-м Карен начала готовить материал для сольного диска. Лишь в 1981-м дуэт воссоединился и выпустил новый альбом, «Made In America». Публика с радостью встретила возвращение «Карпентерз», но 4 февраля 1983 года Карен умерла от сердечного приступа. Ее единственный сольный диск (продюсер — Phil Ramone), вышедший в ноябре, оказался посмертным.

Диски: Offerings [1969, A&M Rec.]; Close To You [1970, A&M]; The Carpenters [1971, A&M]; Ticket To Ride [1972, A&M]; A Song For You [1973, A&M]; Now And Then [1973, A&M]; The Singles 1969—1973 [1974, A&M, hits]; Horison [1974, A&M]; Made In America [1981, A&M];
Карен Карпентер, соло — Voice Of The Heart [1983, A&M].

The Cars
Карз

Американский ансамбль. Основан в 1976 году.
Состав: Ric Ocasek (настоящее имя — Richard Otcasek) — вокал, гитара, Ben Orr (настоящее имя — Benjamin Orzechowski) — бас-гитара, вокал, Elliot Easton — гитара, Greg Hawkes — клавишные, саксофон, David Robinson — ударные.

Ансамбль, являющийся одним из популярнейших представителей американского нью-уэйв-рока и добившийся гармонического синтеза жесткой стилистики пост-панка с поп-музыкальными традициями, был основан Риком Окасеком. Как певец Рик дебютировал в 6 лет в телевизионной шоу-программе родного города Балтимор, штат Мэриленд (Baltimore, Maryland). В 12 научился играть на гитаре. В конце 60-х познакомился с бас-гитаристом и певцом Беном Орром, с которым играл в разных любительских группах. С ним же в 1971 году записал в частной студии города Бостон, штат Массачусетс (Boston, Massachusetts) альбом «Milkwood» (в 1972-м выпущен фирмой «Paramount Records»), не имевший, впрочем, успеха. В 1975-м Окасек и Орр обосновались в городе Ньютон (Newton) того же штата, где год спустя образовали квартет под названием «Cap'n Swing», пригласив в него соло-гитариста Эллиота Истона и пианиста Грега Хоукса. Чуть позднее к ним примкнул ударник Дэвид Робинсон (экс-«The Modern Lovers»), предложивший назвать группу «The Cars» («Автомобили»). Дебютный альбом коллектива вышел в 1978-м на фирме «Elektra Records» и записывался под руководством знаменитого продюсера Роя Томаса Бейкера (Roy Thomas Baker). Сразу две песни с этой пластинки («My Best Friend's Girl» и «Just What I Needed») попали в национальный хит-парад США. Следуя традициям английской бит-музыки и ориентируясь на ранее творчество таких ее представителей, как ансамбли «The Beatles» и «The Hollies», Рик Окасек

сделал в аранжировках акцент на звучании соло-, ритм- и бас-гитары, которое подкрепил эффектными пассажами клавишных в стиле электро-поп и характерным для хард-рока построением гитарных импровизаций. Подобный оригинальный синтез присущ практически всем альбомам группы. 3 ноября 1978 года квинтет отправился в первое гастрольное турне по странам Европы (ФРГ, Франция, Бельгия, Великобритания), а 27 декабря его дебютный альбом стал в США «платиновым». 25 января 1979-го ансамбль был признан «открытием года» (1978-го, по данным журнала «Rolling Stone»). Второй диск группы, «Candy-O» (1979, продюсер — Рой Томас Бейкер), тоже заслужил «платиновую» награду. В национальный хит-парад попали композиции «It's All I Can Do» и «Let's Go». На концерте «Карз» в нью-йоркском Сентрал-парке (Central Park) присутствовало рекордное число зрителей — 500 тысяч. «Эталонным образцом коммерческого поп-рока» назвали критики песню «Gimme Some Slack» с третьего альбома коллектива, «Panorama» (1980), занявшего 5-е место в американской таблице популярности и 15 октября того же года ставшего «платиновым». Аналогичный успех имел и четвертый диск, «Shake It Up» (1981). Параллельно с выступлениями в квинтете Рик Окасек как продюсер сотрудничал с дуэтом «Suicide» и отдельно с одним из его участников Элэном Вигой (Alan Vega), с группой «Bad Brains», а в 1982 году выпустил первый сольный альбом, «Beatitude», по звучанию близкий к работам «Карз». В записи пластинки участвовали Грег Хоукс, а также музыканты из ансамблей «Bad Brains», «Dark», «Ministry», «New Models», «Reflectors». Песня «Jimmy Jimmy» с этого диска, аранжированная в стиле диско-фьюжн, попала в национальный хит-парад США. По примеру Окасека занялся сольной работой и Грег Хоукс: в 1983 году он выпустил самостоятельный альбом «Niagara Falls», тоже близкий к манере «Карз», но менее удачный и не имевший успеха. В этот период квинтет не давал концертов и не записывал новых дисков. Лишь в 1984-м музыканты вновь собрались в студии, чтобы подготовить к выпуску альбом «Heartbeat City» — один из самых значительных в дискографии «Карз». На сей раз в хит-парад вошли три композиции — «Drive», «You Might Think» и «Magic». В дальнейшем, однако, пути музыкантов опять разошлись. В 1985-м появился сольный диск Эллиота Истона «Change To Change», в 1986-м — второй альбом Рика Окасека «This Side Of Paradise» (в записи участвовали все члены группы, кроме Дэвида Робинсона, а также Tom Verlaine, экс-«Television», гитара, вокал, и Roland Orzabal, клавишные, из группы «Tears For Fears»). В 1987 году квинтет выпустил альбом «Door To Door», созданный на прежнем высоком уровне, но не содержащий каких-либо новаторских элементов и встреченный критикой довольно сдержанно.

Дискография: The Cars (1978, Elektra Rec.), Candy-O (1979, Elektra); Panorama (1980, Elektra); Shake It Up (1981, Elektra); Heartbeat (1985, Elektra, hits); Door To Door City (1984, Elektra); Greatest Hits (1987, Elektra);

Рик Окасек, соло — Beatitude (1982, Geffen); This Side Of Paradise (1986, Geffen);

Эллиот Истон, соло — Change To Change (1985, Elektra).

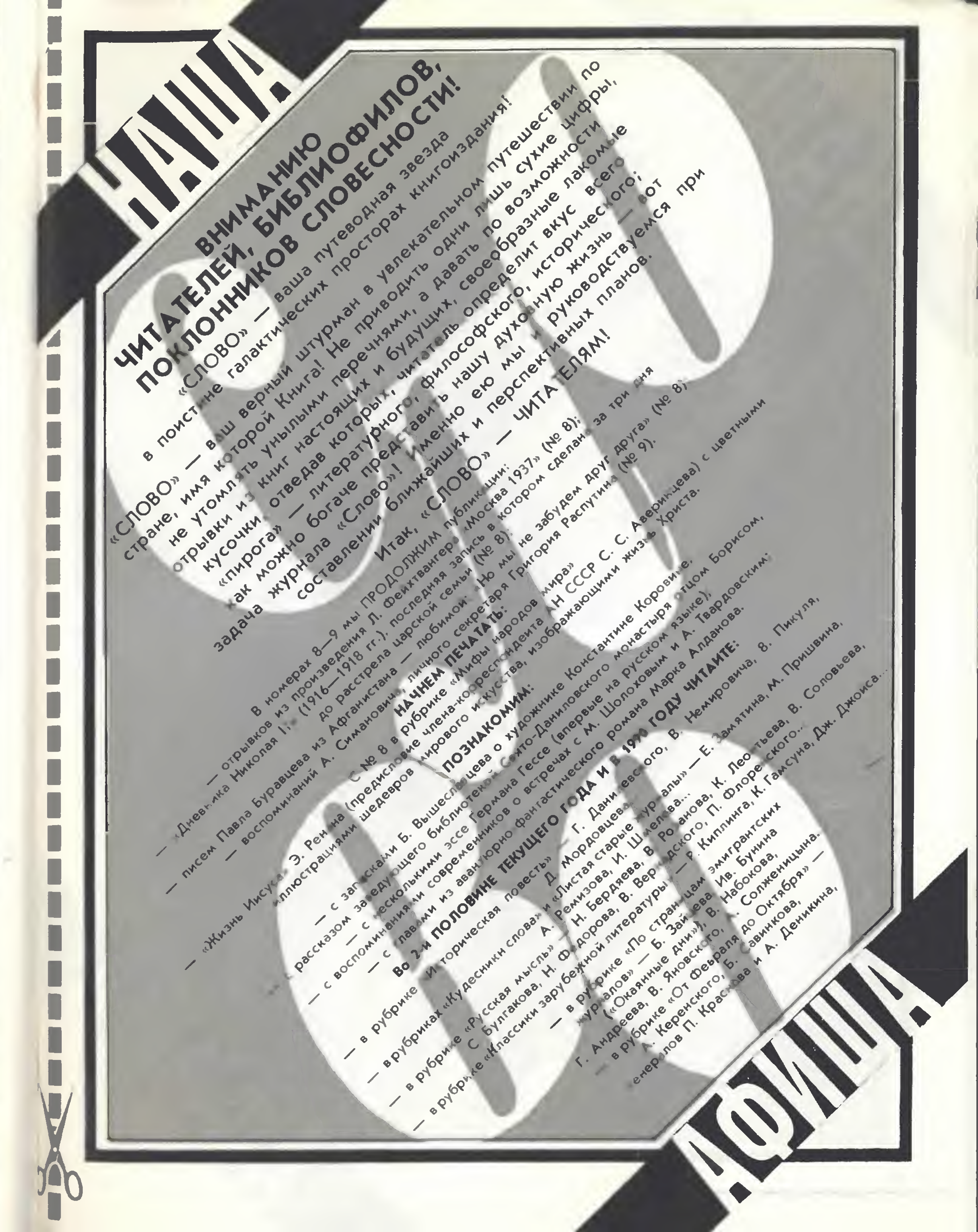
Johnny Cash
Джонни Кэш

Американский певец, гитарист, композитор.
Настоящее имя: John R. Cash. 26.11.1932, Kingsland, Arkansas.

Родился в семье сельскохозяйственного рабочего. Подростком освоил гитару и по вечерам выступал перед соседями и родными с песнями собственного сочинения в стиле кантри. В 1954 году, после службы в армии, женился на Вивьен Либерто (Vivian Liberto) и переехал в Мемфис, штат Теннесси (Memphis, Tennessee), где занялся торговлей электроприборами. В 1955-м образовал ансамбль «The Tennessee Two», в состав которого вошли такие же, как он, музыканты-любители Luther Perkins (гитара) и Marshall Grant (бас-гитара). Владелец мемфисской фирмы грампластинок «Sun Records» Sam Phillips согласился выпустить пробным тиражом сингл «Cry, Cry, Cry» с записью собственной композиции Кэша, и 5 октября 1955-го песня возглавила хит-парад штата Теннесси. Второе место в тот день и в том же региональном хит-параде занял сингл «I Forgot To Remember To Forget Her» Элвиса Пресли (Elvis Presley). Имела успех и следующая запись Джонни Кэша и его группы — «Folsom Prison Blues», — появившаяся на сингле 15 ноября 1955-го. Широкое признание пришло к Кэшу в сентябре 1956 года, когда вышел его сингл «I Walk The Line», попавший в двадцатку лучших национальной таблицы популярности и вскоре ставший «золотым». 4 декабря 1956-го Джонни Кэш, Элвис Пресли, Carl Perkins (гитара, вокал) и Jerry Lee Lewis (клавишные, вокал) записали совместно серию песен как квартет звезд фирмы «Sun Records», названный «The Million Dollar Quartet», однако на пластинке эти композиции вышли лишь 25 лет спустя. В начале 60-х Джонни Кэш активно выступал с песнями в стилях кантри-энд-вестерн и рокабилли, давая в год до 300 концертов. Нервное перенапряжение и физическую усталость он все чаще снимал с помощью наркотических таблеток, но в результате слег в больничную постель. Жена ушла от него, в творческой деятельности наступила томительная пауза. Только в 1967 году он смог вернуться на сцену. Женившись на певице Джун Картер (June Carter), из знаменитой в 40-е годы семьи исполнителей музыки кантри-энд-вестерн, выступавшей как ансамбль «The Carter Family»). Джонни выпустил с ней два сингла, имевшие крупный успех («Jackson» и «If I Was A Carpenter»). В 1968-м и 1969-м он в знак протеста против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах «Фолсом» и «Сан-Квентин» записал два концертных альбома, «At Folsom Prison» и «At San Quentin», составленные на базе фонограмм его выступлении в каждой из этих тюрем. Как первая, так и вторая пластинка разошлись более чем двухмиллионным тиражом, причем вторая (продюсер — Bob Johnson) 23 августа 1969 года на четыре недели возглавила американский хит-парад, а 27 сентября вышла на лидирующее место и в британском. В том же году Джонни Кэш участвовал в записи альбома Боба Дилана (Bob Dylan) «Nashville Skyline»; в свою очередь Боб Дилан выступил в концерте Кэша «The Johnny Cash Show». Синглом года была признана композиция «A Boy Named Sue» с диска «At San Quentin». 7 февраля 1970-го «золотым» стал альбом Джонни Кэша «Hello, I'm Johnny Cash» (1969), а 17 апреля он принял участие в престижном шоу в Белом доме, куда его пригласил лично президент США Ричард Никсон (Richard M. Nixon). Эталонным образцом стиля кантри-энд-вестерн назвали критики диск «One Piece At A Time» (1976), где Джонни Кэш выступил и в роли продюсера. В 70-е годы он снялся в ряде кинофильмов («Five Minutes To Love», «Gospel Road», «A Gunfight» и др.). В 1974-м и 1975-м в свет вышли две книги о его жизни и творчестве — «Winners Got Scars Too» и «Man In Black» (вторая — автобиография певца и музыканта). К концу десятилетия он все реже выступал и записывал пластинки один, зато все чаще работал совместно с другими ветеранами рок-сцены. 23 апреля 1981 года Джонни Кэш, Карл Перкинс и Джерри Ли Льюис записали в Штутгарте (Stuttgart, West Germany) диск «The Survivors» (1982). В том же 1981-м крупный успех имел сингл «Seven Year Ache», выпущенный его дочерью Розанной (Rosanne Cash), избравшей своим стилем кантри-рок.

Диски: Song Of Our Soil (1959, CBS Rec.); There Was A Song (1960, CBS); The Sound Of Johnny Cash (1962, CBS); Ring Of Fire (1963, CBS), Bitter Tears (1964, CBS); That's What You Get For Lovin' Me (1966, CBS); Carryin' On (1967, CBS); Greatest Hits (1967, CBS); At Folsom Prison (1968, CBS, live); At San Quentin (1969, CBS, live); Hello, I'm Johnny Cash (1969, CBS); One Piece At A Time (1976, CBS); A Free Man (1981, CBS); The Survivors (1982, CBS, with Carl Perkins & Jerry Lee Lewis), The Cowboys (1982, CBS, with Marty Robbins); The Man, The World, His Music (Sun Rec, 2LP, anthology); Original Golden Hits, vol. 1 (Sun Rec., hits); Original Golden Hits, vol. 2 (Sun Rec., hits); The World Of Johnny Cash (CBS Rec., 2LP, anthology).

Продолжение следует



НАША АФИША

управляющего делами Временного
правительства В. Д. Набокова,
одного из лидеров меньшевизма
Ф. Дана, министра иностранных дел
Временного правительства П. Милюкова,
Председателя Государственной Думы
М. Родзянко, французского посла в России
М. Палеолога, английского посла в России
Дж. Бьюкенена, Л. Троцкого,
В. Бонч-Бруевича,
А. Луначарского, А. Шляпникова, С. Мстиславского, В. Антонова-Овсеенко,
Н. Подвойского, И. Сталина, Л. Каменева, Г. Зиновьева, Л. Мартова, Н. Крупскую,
Г. Плеханова, И. Церетели
— в рубрике «Литературное наследие» — В. Чивилихина, В. Федорова, И. Акулова,
И. Майского, С. Маркова...
— в рубрике «Таинства магии» — фрагменты сочинения С. Максимова «Нечистая,
неведомая и крестная сила».

ИЗ РЕДКИХ ИЗДАНИЙ

— воспоминания Айседоры Дункан «Моя исповедь»;
— фрагменты романа А. Дюма-отца о Пушкине;
— размышления Надежды Мандельштам;
— дневники Бориса Шергина;
— незаконченную повесть Николая Гумилева «Веселые братья»...

На страницах журнала выступят ПИСАТЕЛИ-СОВРЕМЕННИКИ: Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Бондарев, Иван Васильев, Михаил Воздвиженский, Михаил Вострышев, Павел Горелов, Николай Доризо, Борис Екимов, Дмитрий Жуков, Станислав Золотцев, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов, Виктор Лихоносов, Юрий Максимов, Олег Михайлов, Гарий Немченко, Михаил Петров, Сергей Плеханов, Юрий Прокушев, Валентин Распутин, Михаил Синельников, Николай Старшинов, Анатолий Ткаченко, Ярослав Шипов...

ПО-ПРЕЖНЕМУ мы будем вести остро-полемический, заинтересованный разговор о тенденциях литературного процесса, о проблемах современного книгоиздания.

СО СТАТЬЯМИ ОБ ИСКУССТВЕ, которые будут сопровождаться цветными иллюстрациями на вкладке, выступят И. Евдокимов, Л. Бежин, О. Иванов, В. Нестеров, Э. Горчакова...

СЛОВО ВОЗЬМУТ:

Председатели Госкомиздатов: Белоруссии — М. Делец, Казахстана — К. Закирьянов, Литвы — Ю. Некрошюс...

Директора издательств: А. Авелличев («Прогресс»), В. Адамов («Книга»), Г. Анджапаридзе («Художественная литература»), Д. Евдокимов («Московский рабочий»), А. Курилко («Книжная палата»), В. Набирулин (Лениздат), Л. Фролов («Современник»)...

ТАКОВЫ НАШИ ПЛАНЫ

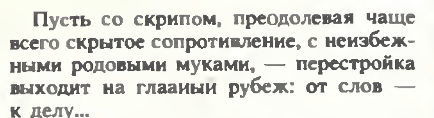
А кого и что вы хотели бы прочесть помимо указанных авторов и произведений? Просим ответить, что вас особенно заинтересовало в Афише и, не откладывая, прислать предложения, замечания, заявки с тем, чтобы редакция смогла уточнить и скорректировать свои планы.

Подписавшись на наш журнал, вы сможете за 10 руб. 80 коп. — такова цена годовой подписки — стать обладателями сразу нескольких уникальных, еще не изданных книг, которые вам останется лишь переплести.

СЛОВО ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

Подписка на журнал «Слово» принимается
во всех почтовых отделениях
и учреждениях «Союзпечати»
С ЛЮБОГО НОМЕРА БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ.
О случаях отказа в подписке просим
сообщать в редакцию. Очень сожалеем,
но в розничной продаже
нашего журнала **НЕТ.**
В каталоге «Союзпечати» ищите журнал
«В мире книг» (индекс 70110).

РОМАН-ГАЗЕТА ДЛЯ ЮНОШЕСТВА



Пусть со скрипом, преодолевая чаще всего скрытое сопротивление, с неизбежными родовыми муками, — перестройка выходит на главный рубеж: от слов — к делу...

И вот, после дебатов на трех писательских съездах, бесчисленных совещаний, неимоверными усилиями подвижников (а так и было) «Роман-газета для юношества» создана. Первые четыре пробных номера под общим названием «Поиск» юный читатель уже получил. Открыта она «Донскими рассказами», «Судьбой человека» Михаила Шолохова. В таком дебюте есть преемственность, ведь «Тихий Дон» начал свою народную жизнь на страницах первых номеров взрослой «Роман-газеты».

Во втором и третьем номерах «РГЮ» — «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, «Маршал Жуков» Николая Яковлева, в четвертом — приключения и фантастика, «Спящий Джинн» Василия Головачева и «Голубой кедр» Елены Грушко.

Обращаясь к юным друзьям, главный редактор «Роман-газеты» Валерий Николаевич Ганичев рассказал:

— В этом году мы планируем выпустить двенадцать номеров. В них будут опубликованы произведения Валентина Распутина, Анатолия Приставкина, Владимира Богомолова, Альберта Лиханова, Сергея Высоцкого, Александра Кулешова, молодых писателей-фантастов. Одна из особенностей нового издания в том, что юношеская газета это симбиоз книги и журнала. В каждом номере будут представлены личность писателя или размышления на тему произведения, чтобы вызвать юного читателя на продолжение духовного общения. Мы постоянно будем вести рубрики: «На перекрестке мнений», «Спорзал», «Странички читателя».

Именно желание вести с ним прямой диалог явилось причиной создания Всесоюзного клуба читателей «РГЮ», который «Роман-газета» открыла совместно с ЦК ВЛКСМ, ВГО «Союзкнига», Всесоюзным добровольным обществом любителей книги, Государственной республиканской юношеской библиотекой РСФСР. Членами этого клуба могут стать читатели юношеских и школьных библиотек, члены магазинов-клубов, первичных организаций книголюбов, техникумов, вузов, молодежных объединений.

Впереди у клуба «РГЮ» большая духовная жизнь, так как он создан не для того, чтобы покрасоваться, поораторствовать, полидерствовать, а затем лопнуть как мыльный пузырь, — он вызван насущной духовной потребностью юношества, заботой старших об идеа-

ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

лах своих детей. Поэтому быстро ширится его состав, так близко к сердцу принимают его участники дальнейший рост своего «младенца».

— Новая «Роман-газета» должна нести подросткам и юношам здоровье — физическое, нравственное и интеллектуальное... Самый главный у нас дефицит — человеческое достоинство. Вот его и надо пестовать. В сегодняшней жизни юношей не все так весело и эстрадно, — отметил на недавнем собрании клуба в республиканской юношеской библиотеке В. Н. Ганичев.

— Не всеядность, не дань литературной моде, а концепция очищения, нравственные посылы, стремление к доброте, к общечеловеческим ценностям должны быть взяты за основу при отборе произведений для юношей. Но как смехотворно мал тираж — пятьсот тысяч, — возмущался Альберт Лиханов. — На чем мы экономим?! На нашем будущем, на наших детях.

Продолжая мысль Анатолия Алексина об опасности масскультуры, библиотекарь из Калининской области Эмилия Левина подчеркнула: «Надо равняться на духовность высшего порядка. По своему опыту знаю, как ребята тянутся к Пушкину».

Сорок лет проработавший в уголовном розыске председатель секции «РГЮ» детективной литературы Владимир Федорович Чванов с тревогой заметил, что преступность среди молодежи растет, а некоторые авторы, мастерски описывая технологию преступления, слабо показывают, как иные юноши скатываются в преступный мир, и своими произведениями не ставят преград против рецидивистов.

Юношеская «Роман-газета» делает первые шаги, но уже имеет свою почту.

— Нас порадовало, что большая часть юных читателей отдает предпочтение отечественной и зарубежной классике, — рассказал ответственный за выпуск «РГЮ» Александр Иванович Жуков. — С этого года каждый номер будет иметь свою композицию и определенную направленность. Например, номер под общим названием «Кровь» включает произведения трех авторов: Ирины Черваковой, рассказывающей об исковерканных судьбах детей, брошенных родителями; Валерия Хайрюзова — о другой стороне этой проблемы, которая прочитывается в самом названии — «Опекун»; Юрия Иванова — «Долгие дни блокады». У этой повести необычная судьба. У нас она была издана небольшим тиражом и наибольшую известность повесть получила в Японии, где стала одной из самых популярных книг года. По ней японские школьники писали даже сочинения. По просьбе юных читателей мы опубликуем произведения писателей-фантастов. За «круглым столом» они обсудят проблемы своего жанра. Один из номеров «РГЮ» будет посвящен творчеству Карема Раша. На его страницах читатель найдет повесть «Сибиряки против СС». Этот писатель долгое время работал с детьми. В Новосибирске он организовал клуб юных фехтовальщиков (мушкетеров) «Виктория», который отметил свое двадцатилетие. В публицистической статье Карем Раш делится своими мыслями о создании юношеского адмиралтейства и воспитании подростков на отечественных традициях. По номеру «РГЮ», в котором будут опубликованы повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой» и его публицистика, мы объявили всесоюзную заочную читательскую конференцию. В ней примет участие и писатель. О результатах этой конференции мы расскажем в одном из последующих номеров.

Так что прямой диалог между «РГЮ» и юным читателем начался.

А. ЧЕРНЕНКО

СЛОВО № 7 июль 1989

В мире книг.
Литературно-художественный
ежемесячник Госкомиздатов СССР и РСФСР

КУЛЬТУРА. Традиции. Духовность. Возрождение.

М. Антонов. Вернуть забытые истины 1
Э. Гордиенко. Храм над Волховом 3

ВРЕМЯ. Идеи. Диалоги. Поиски.

Э. Мачульский. Книга и перестройка. Мнение издателя 7
Я. Гординский, В. Прошляков. Учебник — во вред! 9
В. Бондаренко. Полемические заметки 11

ИСКУССТВО. Графика. Живопись. Скульптура.

В. Замков. Семья Мухиной 18
Л. Бежин. Пробуждение 24

ДУХОВНИКИ. Жизнь. Мысли. Деяния.

К. Гемп. Сказы об Аввакуме 40
Протопоп Аввакум. Кудесники слова 46

ЛИТЕРАТУРА. Стихи. Рассказ. Портрет.

Г. Жженов. Хлеборезка 48
Г. Горышин. К 60-летию со дня рождения В. Шукшина 52
Г. Красников. Слово о Леониде Мартынове 58
Л. Мартынов. Стихи 58
О. Михайлов. У последнего причала 59
И. Бунин. Окаянные дни. Рассказы 61

ИСТОРИЯ. Воспоминания. Очерки. Документы.

Дневник Николая II 67

ТАИНСТВА МАГИИ.

В. Хлебников. В мире цифр 75

ПЛАНЕТА. Эссе. Книги. Кумиры.

Д. Родари. М. Арджилли. Сказки 77
Рок-энциклопедия 81

Наша афиша 85

«Роман-газета» для юношества 87

Экспресс-издания 1989 г. 23

Главный редактор А. В. Ларионов

Редакционная коллегия: Д. С. Бисти, В. И. Десятерик, Е. П. Егорунина, В. Н. Звягин, В. И. Калугин (зам. главного редактора), Н. П. Карцов, И. П. Коровкин, А. В. Кочетов (зам. главного редактора), В. Ф. Кравченко, В. С. Молдаван, А. И. Пузиков, С. В. Сартаков, Н. В. Тропкин, В. С. Хелемендик, Ю. П. Чернелевский

Главный художник А. Н. Игнатьев
Художественно-технический редактор Е. М. Верба
Техничесий редактор Н. Н. Козлова
Корректор В. И. Серикова

Сдано в набор 27.04.89. Подписано в печать 05.06.89. А03346. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. 13,76+0,81. Тираж 147 469. Заказ 259. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомиздата СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Древний Кремль

Чем дальше в своем воображении уходим мы в глубь веков, тем все более и более схематичным становится зрительный образ прошлого. И потому ничто не может сравниться с теми его изображениями, которые сделаны руками самих наших предков. Таков вид Новгородского кремля на иконе конца 17 в. «Знамение Богоматери». Мы видим на нем различные постройки, не существующие ныне: на переднем плане — Пушечный двор (главный арсенал Новгорода); на заднем — Воеводский двор (главную правительственную канцелярию); множество деревянных построек, уничтоженных по приказу Петра I вскоре после написания «Знамения...» (ввиду предполагаемой осады города шведами: дерево могло загореться и тем нанести урон защитникам Новгорода). И, наконец, мы видим Софийский собор и убеждаемся в том, что он почти не изменился с 11 в.

Существуют и более ранние изображения Новгорода и его кремля: на иконе «Видение пономаря Тарасия», на некоторых миниатюрах. Но они стилизованы, написаны в духе канонов и шаблонов своего времени. А изображение, о котором сейчас идет речь,— первое реалистическое изображение. Поразительно здесь то, что кремль показан как бы с высоты птичьего полета. Это говорит о недюжинном пространственном мышлении художника, опиравшегося, конечно же, на план кремля, но так сделавшего его аксонометрическую проекцию, будто бы он сам поднялся над городом и увидел кремль с небес...

ВАЛЕНТИН ЯНИН,
член-корреспондент АН СССР

ISSN 0321—0561
СЛОВО
В МИРЕ КНИГ 7 89
В лѣто 6553. Заложи князь Володімеръ Ярославичь и владыко Лука святую Софію, каменую, в Велікомъ Новѣгородѣ.
Из Новгородской летописи

ПОКЛОН ХРАНИТЕЛЬНИЦЕ!

Ксения Петровна Гемп, будучи еще милой, очаровательной девушкой, закончившей Бестужевские курсы в Петербурге, связала свою жизнь с Беломорьем. Поселилась в Архангельске, лично знала покорителя Арктики Георгия Седова, провожала его в ледовый поход к Северному полюсу... Тяжело пережила его трагическую гибель...

Увлеклась изучением морских водорослей, пропадала каждым летом на Беломорье, деля нелегкую долю с ловцами ламинарий. Но чем бы она ни занималась — биологией, географией, историей и этнографией Севера, фольклором, одно дело, одна душевная страсть оставалась всегда — интерес к творчеству и памяти великого писателя древней Руси протопопа Аввакума. А началось это увлечение еще на Бестужевских курсах, потом встречи с поморами-староверами обострили интерес. И с 1913 года она начала в своих дальних научных экспедициях, помимо основного дела — ламинарий, записывать легенды и сказы поморов об Аввакуме, поморскую бывальщину, старину, их нравы и обычаи.

Ни о какой книге она тогда еще и не мечтала, просто записывала все интересное... Книга «Сказ о Беломорье» появилась к четырехсотлетию Архангельска, когда автор уж подступил к рубежу девяноста прожитых лет. А по выходе «Сказ...» сразу же стал библиографической редкостью. Конечно, и тираж мизерный, но и интерес большой на Севере к знаменитой архангелогородке. Жаль, что за шесть лет книгу не переиздали на Севере, но не издали и в Москве или Ленинграде, несмотря на высокую похвалу Федора Абрамова... Хотя еще не поздно поправить дело...

А сколько радости и удовольствия вас ждет от прочтения такой книги, вы легко убедитесь, открыв сорок первую страницу этого номера...

Арс. КУЗЬМИН

ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА

КУЛЬТУРА

ТРАДИЦИИ. ДУХОВНОСТЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ.

МИХАИЛ АНТОНОВ

ВЕРНУТЬ ЗАБЫТЫЕ ИСТИНЫ

Союз духовного возрождения Отечества — одна из самых молодых общественных организаций. Его учредительная конференция, а работе которой принялн участие около 200 делегатов от патриотических организаций Москвы, Лениинграда, Урала, Сибири, Украины и Белоруссии, состоялась в Москве 16—17 марта с. г. Учредителями Союза явились Научный совет по проблемам русской культуры АН СССР, издательство «Советская Россия», Государственная библиотека им. В. И. Ленина, журнал «Молодая гвардия», Московское городское отделение Всероссийского общества охраиы памятников истории и культуры, колхоз «Ленинская Искра» Ядринского района Чувашской АССР и другие организации.

У тех, кто наслышан о возникновении в последнее время множества различиых, в том числе и вроде бы конкурирующих между собой общественных организаций, может возникнуть вопрос: к чему еще один патриотический союз, не достаточно ли «Отечества», «Товарищества русскнх художников», Народного дома России? Не дробим ли мы тем самым наши силы, не ослабляем ли пока еще не столь многочисленные ряды?

Я убежден, что Союз — организация необходимейшая, он заполнил собой ту нишу, которая образовалась в нашем патриотическом движении, дал то главное, чего всем нам так остро ие хватало — ведущую идею.

Будем откровенны: страна переживает всестороиний глубочайший кризис. Экономика к концу периода застоя оказалась накануне полного краха, а проведенное совершенствование хозяйственного механизма к коренному улучшению дела пока не привело (и уверен, при сохраненин существующего подхода, не приведет). Экологическая обстановка у нас намного сложнее, чем в других развитых страиах, и полноценная жизнь человека невозможна, почти все дети в последние годы рождаются больными и увечными, а то и дебилами, что грозит в недалеком будущем демографической катастрофой. Быстрыи рост тяжелых преступлений (на 30—40% в год) и усиление позиций организованной преступности свидетельствуют о распаде общественной нравственности и могут привести к тому, что всему народу будет навязана мораль уголовного мира.

Как аыходить из этого тяжелейшего положения? Ведущие ученые-экономисты, особенно те, кто выступает советниками высших руководителей страны, призывают к расширению сферы товарно-денежных отношений и к уснлению связей с капиталистическим миром, получению от него кредитов, сдаче нашей территории в аренду или концессии, но это — палка о двух концах. К какому-то (хотя и не очеиь большому) росту производства этот путь может привести, но одновременно резко усилит имущественное расслоение и социальную напряженность в обществе, а в конце коицов грозит обернуться превращением страны а колонию транснациональных корпораций. Лидеры различных демократических фронтов видят выход в либерализации нашего общественного строя, но этот путь, как показывает весь мировой опыт, приведет не к свободе вообще, а к свободе имущих. Богатых же людей, мультимиллионеров у нас уже много, и им тесно в рамках социализма. Им надо пускать капитал в оборот, чтобы он приносил сверхприбыли, свободно играть на бирже и пр., так что у демократических фронтов есть и социальная база, и надежные покровители. Есть организации, которые считают главной причиной всех бед засилье «инородцев» в различных управленческих и прочих обществеиных структурах и потому направляют всю свою энергию на отрицание, а не на созидание. Иные деятели с такимн воззрениями объявляют себя патриотами только потому, что, не будь «инородцев», им бы достался большой кусок пирога. Но ведь подлинным патриотом движет не корысть, а любовь к Родине, особенно когда она больна. Мы отвергаем и космополитнзм, и корыстный «патриотизм» того рода. О том, что страиа сбилась с пути, что выход пока очень приблизительно представляют себе и ее высшее руководство, и народ, свидетельствуют и прошедшая кампания по выборам народных депутатов СССР, и высказывания «властителей дум» — наиболее видных мыслителей н ряда писателей современности. В этом отношении, пожалуй, особенно характерны две недавние статьи. Писатель А. Рекемчук говорит о том, что в начале перестройки народ плохо представлял себе, с какнми трудностями она будет саязана, и верил, что лидер хорошо знает дорогу; теперь же очевидно, что дорогу эту надо искать вместе и, как говорится, на рааных («Известия», 25 марта 1989 г.). А первый секретарь Московской писательской организации Ал. Михайлов повторил в «Литературной газете» (15 марта с. г.) мысль, высказаиную им на столичной партконференции: наше общество утратило духовиую цель; коммунизм, обещанный романтиками революции, оказался призра-

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

АНТОНОВ Михаил Федорович, кандидат технических наук, писатель-публицист, член редколлегии журнала «Москва».
Автор книг «Нравственность экономики» и «НТР: роль человеческого фактора» (М.; Молодая гвардия, 1984 и 1987), а также статей в журналах «Наш современник», «Октябрь», «Москва», «Волга», «Сельская молодежь», «Студенческий меридиан», «Молодая гвардия», «Родина», «Техника и наука» и др. Основная проблематика — связь экономики с нравственностью и духовными ценностями, пути обогащения и дальнейшего развития теории марксизма-ленинизма и приведения ее в соответствие с реалиями конца XX века.
На учредительной конференции Союза в марте в Москве М. Антонов был избран председателем Центрального совета Союза духовного возрождения Отечества.

ком, а достойной замены этой светлой мечте не выработано. А страна, не имеющая возвышающей национальной цели, обречена на топтание на месте, на движение методом проб и ошибок с большими излишними потерями и жертвами.

Наш Союз, пожалуй, ближе других к пониманию причин тяжелого положения страны. Кризис в экономике и экологии, другие негативные явления — это лишь следствие кризиса в области идеологии, утраты веры и идеалов, распада души человека и народа, и без устранения этой первопричины, видимо, не будут иметь успеха меры, принимаемые для устранения ее неизбежных последствий.

А выход один: начинать надо с духовного возрождения народа, с того, чтобы вернуть людям давно забытые понятия о смысле жизни, о месте человека в мироздании, о высоком человеческом призвании. Надо напомнить им, что они — не только производители и потребители материальных благ, а и социальные и нравственные существа. Человек — звено в цепи поколений, у него есть долг перед прошлым, настоящим и будущим, обязывающий к тому, чтобы оценивать свои дела и мысли не только с точки зрения сиюминутной или даже дальней выгоды, но и с позиций вечности. Тогда только может осуществиться идея В. И. Ленина о социализме как строе цивилизованных кооператоров. Нам ведь и осталось для налаживания жизни совсем немного: цивилизовать экономику и самих себя, но это сделать гораздо труднее, чем построить тысячи заводов, повернуть вспять реки, осушить болота и превратить в болото пустыню.

Мы, выражая ясно, во всеоружии теории, то, что народ лишь смутно сознает, не допустим дальнейшего разорения страны ведомствами-колонизаторами, такого ведения хозяйства, которое нацелено на достижение миражей вроде роста национального дохода, валового национального продукта, объема производства или освоения средств (все эти показатели легко «накручиваются», например, выпуском ненужной продукции). Критериями социально-экономического развития страны должны стать продолжительность жизни, уровень духовного и физического здоровья народа при соответствующей материальной обеспеченности, свободное время, плодородие почв, состояние окружающей среды. Мы выступаем также против безответственного растранжиривания природных богатств и сдачи в аренду на длительный срок иностранным фирмам территории страны, что грозит, по нашему мнению, превращением ее в сырьевой придаток, а затем и в колонию транснациональных корпораций.

Наш Союз от объединений патриотов-эмпириков отличает высокий духовный потенциал, достигаемый за счет обогащения теории марксизма-ленинизма ценностями мировой и особенно русской культуры. Мы напомним нашим современникам, забывшим (или никогда не слышавшим), что на рубеже XIX—XX веков Россия была единственной из великих держав, располагавшей нравственно и космически обоснованной системой воззрений на философию хозяйства, корни которой уходят в глубь истории — в XVI в. (сочинения Ермолая-Еразма) и далее — к их предшественникам и нашим византийским учителям. Мы поставим на службу нашим современникам глубинные пласты мировой культуры, в частности, мыслителей каппадокийской школы и Максима Исповедника, который довел до классической стройности (естественно, в форме, присущей средневековью) учение о правильных взаимоотношениях человека, хозяйства и природы.

Особое место в деятельности Союза займет книга. Так, работа Московского отделения Союза началась с серии сообщений о русском нравственном идеале, основанных на произведениях писателей — древности, классического периода, современников, оказавших наибольшее влияние на формирование нашего национального самосознания. В числе источников для этих сообщений — первое дошедшее до нас оригинальное произведение древней литературы — гениальное «Слово о законе и благодати» Иллариона (XI в.), летописи и жития святых, светские произведения, несущие ярко выраженную нравственную идею. Союз будет издавать труды великих мыслителей прошлого, раскрывать общность духовных ценностей и исторических судеб братских народов нашей Отчизны. Кроме того, предполагается со временем издавать ежегодник «Духовное возрождение Отечества».

От либерально-демократических организаций и фронтов наш Союз отличает приверженность идеям социализма, но обращенного к реальным нуждам народа. Мы решительно отвергаем все попытки конвергенции, «слияния» социализма и капитализма, поскольку они ведут к утрате социальных завоеваний.

От различных творческих союзов и товариществ нас отличает иеэлитарный, всенародный характер. Спасать свою Родину, способствовать ее духовному возрождению могут не только писатели и художники, мыслители и артисты, но и рабочие, и крестьяне, и инженеры, и врачи, и священнослужители, и пионеры, и пенсионеры. Мы зовем в свои ряды всех, кто интересы Отчизны ставит выше своих личных выгод и амбиций.

От националистических организаций нас отличает подлинный интернационализм, ибо мы убеждены: нет на Земле народов «низшей расы», как нет и народа, который мог бы претендовать на какую-то особую избранность. Мы никогда не допустим никакого экстремизма, но твердо выступаем за духовное возрождение каждого народа страны, за сохранение ее независимости и территориальной целостности.

Мы — не Демократический союз, не Народный фронт, не «Память», не путайте и не отождествляйте нас с ними. Мы — СОЮЗ духовного возрождения Отечества.

Мы твердо убеждены, что не имеют будущего ни один теоретик, ни один политический деятель, которые не опираются на патриотические силы народов и не понимают первостепенного значения духовного начала.

А потому уверены: будущее принадлежит народу, осознавшему свои многовековые святыни, свои непреходящие духовные ценности.

Пусть японцы пока лучше нас умеют производить ЭВМ, но на вопрос, зачем и во имя чего это производство, они (как и западный мир) ответить не смогут. Каким бы тяжелым ни было современное положение нашей страны, спасение придет только от нас самих.

ЭЛИСА ГОРДИЕНКО

ХРАМ НАД ВОЛХОВОМ

[989 год.] В лѣта 6497. Постави владыка Иакимъ церковъ деревяную святую Софію, имущи верховъ 13, и стояла 60 лѣтъ, и поднелась церковъ святаа Соѳіа отъ [о]гня, мѣсяца марта в 4, в суботный день, бывше честно устроена и украшена; а стояще конеци Епископли улици, на[дъ] рѣкою надъ Волховомъ...

[1045 год.] В лето 6553. Заложи князь Володімеръ Ярославичь и владыко Лука саятую Софію, каменую, в Велікомъ Новѣгородѣ.

Из Новгородской летописи

Когда в начале новой эры славянские племена пришли к берегам далекой северной реки, они встретили богатую, но суровую лесную природу. Чтобы найти теплое жилье и одежду, добыть пищу, скрыться от непогоды, защититься от зверя и врага, человеку нужно было проникнуть в тайну ее законов. В жестокой борьбе за жизнь оттачивалась мысль, накапливались познания, обострялась память, рождалось суждение. Постепенно человек становился властелином своей земли. Накопив громадный опыт в освоении и подчинении природы, он разделил его между многими богами созданного им же пантеона. Боги стали воплощением тех категорий, которые лежали в основе мироздания, составляли объемное пластическое миропонимание древнего человека. Разумное начало было двигательным и образующим стержнем первоначальной философии, позволившей перейти к восприятию абстрактных символов христианского единоначалия. Введение новой религии проходило не просто. Крещение «огнем и мечом», проведенное посадником Добрыней, было не первым и не последним актом ее насаждения. И все же христианство внедрялось широко и энергично. Оно открывало иной, более сложный мир отношений, захватывая в себя многое из языческого многобожия, утверждая зародившуюся издревле веру в разум человека.

Может быть, поэтому на земле языческих славянских племен в 989 г. был поставлен христианский храм Софии Премудрости Божией. «Честно устроенный и украшенный», он возвышался над Волховом, знаменуя начало следующего жизненного этапа новгородцев, потомков людей, поселившихся с незапамятных дней в этом краю. Теперь он казался землей обетованной, защищенной благодатью божественной Премудрости. Сложный символ христианской религии был принят в самой своей изначальной ипостаси как знак высшего покровительства сильным, умелым и свободным людям, основавшим город избранной исторической судьбы.

Деревянная новгородская церковь Софии о тринадцати верхах обликом своим мало походила на византийский храм. В ее многоглавой кровле настойчиво пробивалось чуждое христианскому догмату представление о небе. Епископ Иоаким Корсунян едва ли видел прежде что-нибудь подобное. Не потому ли одновременно он построил собственную церковь Иоакима и Анны. Каменная, украшенная резьбой, она больше напоминала храмы Херсонеса (Корсуни), откуда происходил епископ. Некоторые хронографы отмечают, что покуда не построили новый каменный собор, богослужение происходило в церкви Иоакима и Анны.

Дубовая София сгорела, «вознеслась», по одним источникам в год, когда был заложен новый храм, по другим — в год его завершения. Каменную Софию (см. 1-ю обложку. — Ред.) начали возводить в 1045 г. 21 мая, «на Константина и Елену». Освятили храм 14 октября 1050 г., на праздник Воздвижения креста.

Строительством руководил князь Владимир, выполнявший волю своего отца Ярослава Мудрого. В Киеве в то время уже стоял Софийский собор. Зачем же нужен был Ярославу подобный храм и в Новгороде? Очевидно, сказалась привязанность князя к городу, где прошло его детство, где завоевал престол и учредил первый русский свод законов. Расширяя и укрепляя свою державу, он закреплял границы государства, над которым от юга и до севера простиралось крыло Софии. Но не исключено, что возведение Софийского собора в Новгороде было условным признанием его независимости от Киева.

Новгородский собор во многом повторяет киевский прототип. И вместе с тем это совершенно самостоятельное сооружение, в котором живет дух молодой здоровой культуры и таится дух вечности, идущий из самых недр новгородской почвы. В соединении жадно воспринимаемого нового и почитаемого, стоящего вне времени представления о красоте, заключена художественная убедительность памятника, с момента своего возникновения ставшего у истоков местного зодчества.

В кладке Софийского собора использованы ракушечник и известняковая плита, добывавшиеся в береговых карьерах Паозерья. Ни снаружи, ни изнутри стены его не были сразу оштукатурены и побелены. Строители рассчитывали на декоративную выразительность кладки, создававшей мозаику красно-коричневых, зелено-голубых, коричнево-сиреневых камней, объединенных общим тоном связующего раствора.

Выявляя форму дикого камня, дополняя красочное многообразие кладки орнаментальными деталями, мастера подчеркивали крепость материала, трудности и успех его преодо-

ГОРДИЕНКО Элиса Алексеевна — искусствовед, кандидат наук — окончила Московский Государственный университет, по кафедре истории и теории искусства. Работала в Новгородском музее-заповеднике, где занималась историей новгородской иконописи. С 1979 года — сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.
Труды Э. А. Гордиенко посвящены новгородской иконописи, развитие которой рассматривается ею на фоне общего исторического процесса, определившего закономерности и особенности развития всех видов художественной культуры древнего Новгорода — архитектуры, живописи, письменности, декоративно-прикладного искусства — в их нераздепимом, взаимосвязанном единстве. Результатом подобных исследований явилась работа по истории Софийского собора.

ления. В неровной бугристой поверхности стены ощущалась внутренняя сопротивляющаяся, грозящая разрушительным освобождением сила и мощная, покоряющая стихию десница зодчего.

Новгородский Софийский собор в основе имеет традиционную для крестово-купольных храмов конструкцию. Своеобразие памятника состоит в нарушении принятых норм построения несущих и несомых частей. Причиной изменений явились дополнительные субструкции зданий, приделы и галереи, которые не были сразу задуманы зодчими, но создавались в процессе строительства и отвечали требованиям общественного заказа.

В соответствии с ним с трех сторон поставили три храма. Существует весьма убедительное суждение, что это были собственные церкви трех концов города, и с их возведением собор приобрел устройство, аналогичное административной топографии, отвечая назначению общегородского храма.

Ширина придельных церквей, равная центральному нефу собора, была необычайно велика, и, когда возникла необходимость надстроить объединяющие их галереи, перед зодчими встала непростая задача построения сводов. Нужно было перекрыть пространство более шести метров и, кроме того, увязать систему этого перекрытия с уровнем пола второго этажа самого здания.

Тогда и появилась смелая конструктивная идея. С помощью четвертных пологих арок, по характеру близких романским аркбутанам, был укреплен полукоробовый свод и перекрыто небывалое для средневековых построек пространство. Своды-колодцы создали в своей далекой высоте впечатление бесконечного пространства, тревожащего мрачной, таинственной нереальностью. Они оказали сильное воздействие на последующие поколения местных архитекторов, не раз повторявших в своих творениях образ софийских сводов.

Почти сто лет простоял собор в неприкосновенности. Новшества последовали с поставлением епископа Нифонта. Бывший инок Киево-Печерского монастыря, как никто прежде него, украсил и облагородил новгородскую Софию. Оплывшие снаружи красно-коричневыми потоками каменные стены храма, багровый сумрак интерьера должны были претить эстетическому вкусу владыки, воспитанному в традициях рафинированной киевской культуры, освещенной многоцветной красотой софийских и михайловских мозаик. Начав с росписи притворов в 1144 г., Нифонт обмазал известью и оштукатурил мозаиками цоколь и полы в алтаре, устроил новый синтрон и горнее место, соорудил над престолом киворий, возвел алтарную преграду.

До наших дней по существу дошла София Нифонта. Ее архитектурный облик мало исказили последующие переустройства. В 1408 году архиепископ Иоанн, кроме обычного ремонта кровли, позолотил центральный купол: «маковицю большую златоверху устрои». С тех пор цветовая композиция новгородской Софии стала традицией, воспринятой в XVI в. и московскими зодчими. Золотой и четыре голубых купола венчают Архангельский собор Московского Кремля и Смоленский собор в Новодевичьем монастыре, сохраняя память о главном храме древнейшего русского города (см. 3-ю обложку. — Ред.).

Важнейшей частью собора были его двери. С ними связывалось понятие о библейских вратах, хранителях города, дверях горнего Иерусалима и их великом привратнике апостоле Петре. В Софийском соборе было много врат, одни из них сохранились, другие утрачены, но все они — как врата рая или преисподней, отделяющие вертоград от геенны огненной, величественны и загадочны. Не исключено, что древнейшими в храме были Корсунские врата, закрывающие ныне вход в Рождественский придел. Процветшие кресты на филенках, розетки, маскирующие винтовые крепления, львиные головы ручек — приметы византийского литья XII в. Но как соотнести с ними орнаментальную резьбу XVI в. на полях? В 1336 г. архиепископ Василий заказал медные врата, украшенные в технике золотой наводки. Они стояли на южном портале собора. В середине XVI в. Иван Грозный увез их в Александровскую слободу. На их месте архиепископ Пимен поставил деревянные резные позолоченные двери, исчезнувшие неведомо куда. Может быть, благодаря им и в воспоминание о Васильевских вратах паперть называлась Золотой? В конце XIV — начале XV в. на западном портале были установлены бронзовые врата, изготовленные в Магдебурге в 1158 г. по заказу епископа Вихмана для польского города Плоцка. Позднее, в момент благоприятных отношений с Новгородом, польский король Ягайло мог подарить их Софийскому собору, где они были собраны и дополнены в соответствии с новым местом.

Сцены из Нового и Ветхого заветов, аллегорические и портретные фигуры, латинские и русские надписи, орнаментальные фризы покрывают их створы сплошным ковром. Экскурсовод несколько раз в день показывает туристам изображения трех мастеров: Риквина, Вайсмута и Авраама, клеймо новгородских серебряников — кентавра, но и поныне не раскрыто содержание этого премудрого произведения.

Внешние стены собора мало украшены. Они впечатляют своей чистотой и строгостью. Тем прекраснее на их спокойной глади выглядели нарядные врата. В 1360 г. к ним присоединился поклонный четырехконечный каменный крест, поставленный архиепископом Алексием после возведения на святительскую кафедру. Теперь крест находится внутри собора, но, отделенный от предназначенного ему места, он затерялся в храме среди таких же оторванных от своей сущности собратьев по искусству.

Вступая под своды Софии, музейный прихожанин любуется раскрытой реставраторами красотой икон, легко воспринимает тонкую эстетику древних художников, виртуозное мастерство их рисунка, изящество композиций. Но от него требуются

Софийский собор в Новгороде. Фото из книги И. Грабаря «История русского искусства». 1909 г.

неимоверные усилия, чтобы не только понять духовное содержание памятников древнерусской культуры, но и увидеть их в историческом времени, осознать их общественное значение. А между тем ни одна икона не была в соборе случайным явлением. Каждая из них свидетель совершенно определенных событий, современница связанных с ними людей. В иконе находили воплощение сложные рассуждения о мире, через нее осуществлялось общение между горним и дольним, от нее шел путь от земли к небу.

Древнейшим храмовым образом была икона «Апостолы Петр и Павел» (см. 4-ю обложку. — Ред.) Она входила в состав нифонтовой алтарной преграды и располагалась первоначально на столбе у жертвенника. Апостол Павел изображен на ней слева, одесную Христа. Эта почетное место отведено Павлу как провозвестнику Слова. В иконе он выступает неким вождем, предлагающим народу свое учение, которому он сам «яко премудрый архитектор основание положил». Но и апостол Петр, согласно Евангелию Матфея, — тот камень, на котором стоит церковь земная. Оба они, верховные ученики, знаменуют в иконе храм Премудрости, являясь аллегорическим выражением многоликого понятия Софии.

Этот символ волновал новгородцев своей неоднозначностью, непостижимой бесконечностью воплощений. София для них — прежде всего Богоматерь, храм Слова, Дева, наследница Афины Паллады, носительница новой христианской идеи Премудрости. Она крепость, целостные врата, нерушимая стена града. Но на этом не останавливалось развитие мысли, ибо образ Богоматери не давал полного ответа на упрямый вопрос: «Что есть Софей Премудрость Божия?». Более глубокое толкование символа находится в иконографических интерпретациях живописцев. В XV в. в местном ряду иконостаса появилась храмовая икона Софии. Красноликий ангел на престоле, Богоматерь с Христом-младенцем в лоне, Иоанн Предтеча, предрекающий его явление в облике ангела мира, небесный звездный свод, развернутый ангелами, благословляющий Христос и престол уготованный, определяют новгородский тип Софии, в котором прослеживается длинный путь размышлений: от верховных апостолов к Богоматери-заступнице — до Христа Владыки мира, держащего в руке «весь Новгород».

Не менее сложный путь проделал и софийский иконостас. Вначале невысокая преграда с несколькими иконами не закрывала пространство алтаря, а к XVI в. громадная стена икон заслонила престол от мира людей. Средством взаимосвязи остались иконы с изображением избранных святых и сцен. В этом пространстве образов слышен голос жен, оплакивающих своих мужей, доносится молитва князя, приносящего благодарение за рождение сына, плач грешника, просящего о снисхождении. В Софийском соборе множество икон, поставленных разными людьми с единственным желанием — не пропасть бесследно, быть помянутым и, значит, остаться среди живых.

В местном ряду Большого иконостаса находятся иконы царя Алексея Михайловича, патриарха Никона. Были здесь образы, заказанные Борисом Годуновым. Есть в храме иконы, которые можно считать вкладом самого Ивана Грозного и членов его семьи. В них скрыты тайные помыслы, сердечные желания. Но среди икон Софийского собора больше таких, в которых раскрываются величественные деяния человека. К торжественным памятникам относится Рождественский иконостас. Свое название он получил в XIX в., когда был перенесен в придел Рождества Богородицы. Создан же он был для придела епископа Никиты. В 1558 г. была объявлена война с Ливонией и сразу же триумфально взята

Нарва. Всеобщее ликование выразилось в строительстве храмов, создании других памятников в разных городах. В Новгороде по случаю радостного события были «чудесно» обретены останки епископа Никиты, святого покровителя Нарвской победы. У гробы святителя поставили украшенный серебряным позолоченным окладом иконостас. В мажорной тональности его колорита неумолкающей фанфарой звучал аккорд красного, зеленого и белого цветов. И казалось, впереди предстоят счастливые сражения и еще свершатся самые гордые замыслы. Но проходили десятилетия, война затягивалась, бесчинствовала опричниина, угасало хозяйство. Бесславное заключение мира после изнурительной осады Пскова в 1580 г. отмечено в Софийском соборе иконой князя Всеволода Гавриила. Потомок Владимира Мономаха, он был изгиан из Новгорода в 1136 г. и вскоре скончался в Пскове, будучи причислен к лику святых.

В Софийском соборе сохранилось иемного древних росписей. Нет надежды отыскать их и под поздней посредственной клеевой живописью XIX в., покрывающей теперь стены храма. И все-таки то немногое, что уцелело, являет нам замечательные примеры вдохновенного творчества, рожденного осознанной волей.

На пилоне южной, Мартирьевской паперти сохранилось изображение Константина и Елены, выполненное в 1052 г., вскоре после завершения строительства храма. Расположение этой композиции у входа в собор напоминало о закладке здания 21 мая. Но основная причина появления росписи состояла в исторической роли представленных на ней персонажей. Император Константин впервые утвердил крест как символ официальной религии Византии, христианства. Императрица Елена считалась сподвижницей сына, ей приписывали чудо обретения креста.

В другой раз художники-монументалисты были приглашены в 1108 г. для росписи центральной главы. Изображение пророков в простенках между окнами дошло до нашего времени. Изящное многослойное письмо сочетается здесь с широкой размашистой манерой, в которой сказывается свободное владение сложной техникой фресковой живописи.

В Мартирьевской паперти сохранился деисусный чин над святительской гробницей, фрагменты из жития мученика Георгия. Последний цикл посвящался памяти Ярослава Мудрого, которого новгородцы с полным основанием причисляли к строителям своего собора.

Храм Софии Премудрости в Новгороде соединил в себе все значительное, что создавалось людьми с момента их сознательного принятия христианства. Но главным его сокровищем было воплощениое в письменности слово, наиболее полно выражавшее содержание сложного философского символа. Надписи на стенах, богослужебные книги, исторические хроники, своды законов, юридические акты, поминальные листки, инвентарные храмовые описи запечатлели все многообразие человеческой жизни и стали главным источником исторических знаний о прошлом.

Первое, что появилось в храме после его завершения, была кннга. Написанная крупным, как опорные храмовые столбы, уставом, она положила начало иакоплению книжной сокровищницы. В ней, кроме обязательных канонических сочинений, необходимых для совершения литургии и треб, была обширная поучительная литература. Творения попа Упиря, писателя начала XI в., и епископа Луки Жидяты, одного из основателей каменной Софии, призывали к милосердию и чистоте душевной. Новгородские владыки были иеустанными собирателями и творцами книг для Софии. Живое участие архиепископа Аркадия ощутимо в интерпретации и отборе канонических песнопений. Местные легенды и предания составляли интерес владыки Ильи. Сочинительством занимался Антоний (Добрыня Ядрейкович), описавший свое путешествие в Царьград в начале 13-го века. Основателем нового свода законов был Климент (1276—1296), включивший в состав «Кормчей» текст «Русской Правды». В XIV в. «много писцы изыскав и книги многы исписал» архиепископ Моисей. Его современник Василий был автором знаменитого «Послания о земном рае», в существовании которого сомневался тверской епископ Федор. Владыки Евфимий II и Иона в XV в. заботились об украшении церковной службы похвальными словами в честь местных святых и реликвий. В 1499 г. в литературном кружке Геннадия создан первый полиый перевод Библии на русский язык. В 1546 г. Макарий, будущий митрополит, положил «на полатях» Софийского собора 12 томов Четьи-Миней, включавших нравоучительные чтения житий и притч, расположенных в календарном порядке.

Но самым главным занятием владык было составление летописных сводов, в историческом содержании которых отражалось духовное состояние общества, определялось направление внутренней и внешней политики. В летописях осознавался нравственный опыт человека. Прошлое в этих хрониках выступало эталоном подлинной реальности, образцом, к которому должны были стремиться современники.

Книги в соборе хранились в алтарях, наиболее ценные и ветхие — в диаконнике. На «полатях», хорах размешалась юридическая часть библиотеки, обетные вклады, дары и пожалования отдельных лиц, летописи и храмовые описи. В собственных кельях владыки, в домовых и сенных церквах, в казенных палатах содержались разные книги, принадлежащие Софийскому дому.

Только в XVIII в. книжная казна отделилась от собора. Библиотека становится самостоятельиым новообразованием по воле митрополита Гавриила. Наблюдая постепенное разрушение книжного наследия в окрестных и провинциальных монастырях и храмах и в самом Софийском соборе, он приказывает собирать книги и сосредоточивать их в одном помещении. Для того чтобы «никто ничего не разнес», в 1779—1781 гг. был составлен реестр книг с подробным описанием каждой из них.

Но спасательные мероприятия Гавриила лишь отсрочили упразднение Софийской библиотеки. В 1859 г. большая ее часть была перевезена в Петербургскую Духовную академию. Тогда было отправлено из Новгорода 1570 рукописей и 585 книг печати. В настоящее время они составляют Софийский фонд в отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Тем не менее, часть книг осталась в соборе. Сборник XV в. с Лествицей Иоанна, Евангелие 1496 г., Евангелие мастера Андрейчины, первопечатное, так называемое анонимное, дофедоровское, Евангелие, крошечный старообрядческий Сииодик, учебники времени Петра Первого, календарь Брюса — уникальные экземпляры нынешней библиотеки напоминают о былом великолепии софийской книгохранительницы.

Вместе с тем Софиский собор в Новгороде никогда не был явлением замкнутой региональной культуры. Уже с самого момента своего возникновения он служил символом не только крепости и самостоятельности Новгорода, но и озиачал непреходящую связь его с Киевом, выступал вторым духовным центром русского государства. Впоследствии, в период княжеских усобиц, он для многих оставался олицетворением «отчины и дедины», ибо в его стенах, под его плитами покоились предки мятежных воителей, искавших в разных краях «доли и славы». В лихую пору русской истории, под напором татарской орды завершилась древияя история многих городов. Среди уцелевших, сохранивших свою культуру, остался Новгород. Он платил «черный бор» завоевателям, защищал западные рубежи страны. Именно тогда возвышается значение Софии. Новгородцы в своих летописях особенно подчеркивали избранное покровительство Премудрости Божией, но оно распространялось далеко за пределы вольнолюбивой республики, притягивало к себе бесчисленных приверженцев и паломников.

Утверждение Софии новгородской как всеобщего храма нового русского государства происходит при Иване III, присоединившем в 1478 г. Новгород к Москве. Его сын Василий III в 1510 г. завершил объединительную политику своего отца взятием Пскова. В ознамеиование этого события князь поставил в соборе перед иконой Софии Премудрости свечу неугасимую. Все русские цари считали своим долгом поклоииться святыням храма, оставить в нем память о себе. Им не мешали старые новгородские легенды о независимости и непокорности «низовцам». Некоторые из них московские государи возрождали в новых сказаниях, в повторениях чудотворных икон. Все славные русские баталии отмечены в соборе пожалованиями и вкладами. Здесь хранились реликвии Полтавы, 1812 года.

На все концы русской земли сиял купол Софии, под сенью которого сохранялся корень русской культуры, питаемый источником несякнущей человеческой мудрости.

Новгород — Ленинград

ЭДУАРД МАЧУЛЬСКИЙ,
директор издательства «Юридическая литература»

КАЗАЛОСЬ БЫ, ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ...

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА МИТИНА

МАЧУЛЬСКИЙ Эдуард Иванович родился в 1940 г. Закончил юридический факультет МГУ. Кандидат юридических наук. Работал в Институте государства и права АН СССР, в редакции журнала «Проблемы мира и социализма», заместителем начальника главка Госкомиздата СССР. С 1984 г. директор издательства «Юридическая литература». В начале текущего года избран председателем созданного при Госкомиздате СССР бюро совета директоров издательств.

Так уж сложилось в нашей стране (и причины тому хорошо известны), что право в его истинном смысле — как общечеловеческая культурная ценность — долгое время не признавалось ни в теории, ни на практике Правовая наука была в загоне, на деле царило беззаконие, а потому юридическая книга еще сравнительно недавнего прошлого, в основном, воспевала «гуманизм» сталинского режима, вслед за ним — ложные нравственные ценности застойных лет «развитого социализма» (когда в действительности во многих сферах общества царило беззаконие) вместо того, чтобы служить средством защиты высших достояний личности — гражданских прав и свобод. Поэтому понятно, почему иаше юридическое книгоиздание нескольких десятилетий не только не имело авторитета в обществе, но и вообще оказалось на задворках общественной мысли. В правовой литературе господствовали догматизм, оторванность от жизни, схематизм, боязнь новой идеи, новой мысли, не совпадающих с официальными «установками». Так что ни правовая наука, ни юридическая книга практически не влияли на подготовку политических решений и законодательных актов. Сама возможность смелых, критических публикаций казалась фантастической. Такие принципы породили и особого рода редактора, который фактически был лишь первым цензором во всей дальнейшей цепочке «контролеров» мыслей автора...

После апреля 1985 года, казалось бы, все изменилось: партия возрождает ленинское понимание роли права при социализме, люди начинают осознавать, что только с помощью права они приобретут подлинную свободу и в полной мере ощутят человеческое достоинство. Юридическая книга — главный источник правовых знаний — становится нужной каждому человеку, каждой семье. Ведь правовое государство не построить в условиях правовой безграмотности населения (да и чиновничьего аппарата тоже, который часто произвольно толкует и даже создает собственные «законы»). Однако на словах как будто все признают, что правовой книге нужна немедленная материальная помощь. Но не делается для этого почти ничего.

Юриздат в силу могучей инерции бюрократической махины по-прежнему остается «золушкой». Хотя очевидно, что в ходе перестройки лимиты материальных средств должны быть весьма подвижны и меняться в зависимости от общественной потребности на тот или иной вид литературы. Закономерен вопрос: кто этим будет заниматься? Ведь ресурсами бумаги распоряжается не только — даже не столько — Госкомиздат.

В условиях острейшего дефицита на нее зачастую оказываются в привилегированном положении отнюдь не те издательства, книги которых больше всего иужны обществу на данный момент. Чем иначе объяснить, что в ином из них

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА.
МНЕНИЕ ИЗДАТЕЛЯ

неожиданно может быть опубликован французский детективный роман тиражом три миллиона экземпляров, «съедающий» столько бумаги, сколько всему Юриздату выделяется на год! Попроситься бы хоть сто тонн бумаги на увеличение тиража «Юридического справочника для населения» (заказ на него пять миллионов экземпляров)... Да где там.

По моему глубокому убеждению, единым владельцем всей бумаги должен стать Госкомиздат СССР, с тем чтобы распределять ее пропорционально общественной важности на тот или иной период отдельных видов литературы.

Взять наше издательство. Правовое государство, к созданию которого мы идем, невозможно без поголовной юридической грамотности. Между тем, популярной юридической литературы хронически не хватает, даже кодексов. Получить в библиотеке КЗоТ — проблема. Тема эта постоянна в нашей почте. Но ведь не в каждом письме объяснишь читателю, что, например, в 1988 году, израсходовав три тысячи тонн бумаги, мы выпустили 14 миллионов экземпляров книг. Много ли это? Отнюдь. Потребности читателей — по самым оптимистическим подсчетам — были удовлетворены лишь на одну треть. Положение без преувеличения кризисное. Чтобы его преодолеть, мы должны ежегодно получать пять-шесть тысяч тонн бумаги.

Что же происходит в нынешнем году? Нам выделили менее 2,5 тысячи тонн. Это значит, что объем выпуска книг упадет уже до 12 миллионов экземпляров. Как же удовлетворять быстро растущий спрос на юридическую литературу? Какими средствами выполнять решение XIX партконференции о всеобщей доступности правовой литературы? Если прибавить к этому зависимость объема дохода (а он, если не повышать цены, зависит только от объема выпуска) и оплаты труда, нетрудно увидеть, в каких ненормальных экономических и финансовых условиях оказалось наше (да и не только наше) издательство.

Между тем, если говорить о демократизации самой редакционной работы, то здесь перемены более заметны. Мы без промедления воспользовались известными решениями Госкомиздата СССР о демократизации издательской деятельности — изменили положение и роль редактора. У нас теперь нет «надсмотрщиков» в лице заведующих редакциями. Созданные вместо редакций редакционно-творческие группы — это маленькие (из двух-трех человек) коллективы единомышленников. Руководитель каждой такой группы — вовсе не администратор. Он тоже редактор, человек творческий, но более опытный, компетентный.

Каждая редакционная группа получает теперь «сверху» только половину, а то и менее плана работ, подлежащих обязательному изданию. Остальные должна найти и подготовить к печати сама. Такие условия логически привели и к новым формам изложения — редакторы все больше осваивают творческий арсенал журналистов: интервью, диалог, беседу нескольких авторов. Сейчас мы делаем следующий шаг: половина редакторов будет работать самостоятельно, что должно привести к большему творческому началу в их деятельности, изменению характера и направления нашей литературы. Новые задачи встали перед юридической книгой: обобщать и помогать использовать мировой опыт демократического политического устройства, достижения политической и правовой культуры прошлого; воспитывать уважение к праву как величайшей гуманистической ценности; бороться с проявлениями правового нигилизма; учить людей осознавать себя юридически равными в отношениях с любыми государственными институтами, защищать свои законные права и интересы — вот на что направлены теперь наши устремления, наши книги.

Лишь несколько примеров. Недавно вышла в свет примечательная книга о правовом государстве — первая не только в нашем издательстве, но и вообще в стране. Ее буквально на одном дыхании — за месяц — написал видный юрист, член-корреспондент АН СССР С. С. Алексеев. Уже через три месяца она попала к читателям. Название книги — «Правовое государство — судьба социализма» — точно отражает стремление ученых доказать, что наше общество не достигнет высот цивилизации без разрушения административно-командной системы и замены произвола чиновников «правлением закона».

Вскоре появится еще несколько интересных книг: «Социалистическое правовое государство: концепция и пути реализации» (по материалам «круглого стола»), «Советское законодательство. Пути перестройки» (итоги дискуссии ученых-юристов), «Бюрократизм и его преодоление» М. М. Пискотина.

На мой взгляд, любопытен такой факт. К подготовке книги «Закон о печати и других средствах массовой информации» издательство привлекло ученых-юристов, которые участвовали в разработке проектов двух законов — о гласности и средствах массовой информации. Впервые в нашей истории через книгу по существу обнародуется инициативный авторский проект Закона о печати, что должно внести немалое оживление во всенародное обсуждение проекта аналогичного закона, готовящегося рядом ведомств.

Чтобы построить правовое государство, надо четко представлять, что же является его альтернативой. Как говорится, все познается в сравнении. Поэтому нам кажется очень важной новая серия «Возвращение к правде». Два первых выпуска под названием «Реабилитирован посмертно» — это воспоминания, очерки и другие материалы, посвященные беззакониям времен сталинского культа личности.

Из других публикаций назову только одну — сборник «Смертная казнь: за и против». Это принципиально новое для нас издание. Потому что на страницах книги идет настоящая борьба мнений противников и сторонников исключительной меры наказания. Среди авторов — знаменитые юристы и философы прошлого (Гернет, Розанов, Соловьев) и наши современники — ученые, писатели, публицисты. Прочитав эту книгу, читатель, разумеется, может занять ту или иную позицию, но это будет позиция, основанная на знании, а не эмоциях.

Нужно сказать, что, конечно, и другие новинки — кодексы, комментарии, практические пособия, учебники — помогут в той или иной мере повышению правовой культуры.

Однако сейчас идет интенсивное законотворчество, и все мы буквально не успеваем следить за появлением все новых и новых законов. Да и в действующие ежегодно вносится немало изменений. Как успеть издательству за этим потоком? Во всем мире давно придумано множество способов, позволяющих — в случае внесения в текст небольших изменений — перепечатывать не всю книгу, а только ее часть. Но наша полиграфия, кажется, даже не думает об этом. Существует кое-какая примитивная технология замены части листов с применением металлических скоб (как в скоросшивателях), но мощности производства этих устройств чрезвычайно малы, а сами изделия получаются дорогими, громоздкими и неудобными.

Правда, сегодня, когда бурно идет совершенствование всего законодательства, проблема разъемных книжных блоков временно отступила: приходится не столько переиздавать, сколько издавать заново. Но рано или поздно законодательство стабилизируется, изменения будут все более редкими. Однако боюсь, что и к тому времени проблема разъемных блоков не будет решена. И придется по-прежнему нерационально расходовать массу бумаги.

Где же выход? Я его вижу в создании крупного издательско-полиграфического книжно-журнального объединения «Юридическая литература». Только в таком случае сама «фирма» стала бы развивать столь необходимую для ее изданий полиграфию.

Демократизация, реконструкция и «законотворчество» в нашей отрасли еще не закончены. Кризис книгоиздания, о котором сейчас так много говорится, преодолевается пока медленно. Потому что был порожден не только экономическими трудностями. Нельзя сбрасывать со счетов, в частности, пренебрежительное, в течение долгих лет, отношение административно-командной системы к развитию культуры (а издательства — прежде всего культурные и только потом хозяйственные организации!). И сейчас насущнейшей необходимостью становится также подведение строгой и цельной правовой базы под издательскую деятельность. Вот почему состоявшийся в начале года всесоюзный актив издателей поддержал мое предложение о том, чтобы Госкомиздат СССР выступил с инициативой о создании Закона об издательской деятельности в СССР. Этот закон должен защитить интересы издательств как в области сотрудничества с партнерами, так и во взаимоотношениях друг с другом. Ведь не секрет, что, например, не урегулирована правом даже практика выпуска одним издательством книг, подготовленных и ранее выпущенных другим. В результате права и финансовые интересы чувствительно ущемляются.

Некоторые считают, что названные здесь проблемы можно решить в Законе о печати и других средствах массовой информации. Но, на мой взгляд, это нецелесообразно, если хорошо представлять, насколько сложна, многогранна и обширна та сфера, которую предстоит урегулировать Законом об издательской деятельности. Да и сам закон должен быть лишь частью особой отрасли права — издательского, как существует, например, право авторское.

Наше издательство готово привлечь к разработке проекта будущего закона видных юристов, ученых, практических работников, которые могли бы выступить с инициативным авторским проектом. В свою очередь Госкомиздат СССР после всестороннего внутриотраслевого обсуждения проекта мог бы внести его на рассмотрение в законодательные органы.

Думаю, что такой документ стал бы надежной охраной прав издателей, гарантией безусловного и точного выполнения Закона о предприятии и в нашей отрасли.

Большие надежды в направлении демократизации издательского дела, защиты его интересов мы связываем сегодня с Советом директоров издательств — первым шагом к созданию, надеюсь, в недалеком будущем Ассоциации советских издателей. Конечно, ни Совет директоров, ни Ассоциация не заменят Госкомиздат СССР как орган идеологического руководства книгоизданием. Но остальные его функции, в том числе хозяйственно-организаторские, должны с развитием и углублением перестройки полностью перейти к самим предприятиям. Вот здесь-то и понадобятся добровольные объединения издателей для коллективного самостоятельного решения своих во многом схожих проблем, для выработки и проведения единой политики во взаимоотношениях с государственными и общественными организациями, книготорговыми, полиграфическими, бумажными и другими предприятиями.

А пока Совет директоров, участвуя в подготовке важнейших нормативных актов Госкомиздата, выступая с инициативой принятия решений по самым болевым точкам книгоиздательского дела, займется накоплением опыта для будущего своего превращения в самоуправляющуюся ассоциацию. Его деятельность, основанная на принципах гласности, самоуправления, коллегиальности, поможет усилить те положительные процессы демократизации, которые все больше дают о себе знать в нашей отрасли.

УЧЕБНИК — ВО ВРЕД!

ПИСЬМО В НОМЕР

Откуда есть пошло «раскрестьянивание» сельского хозяйства? Каким дурным волшебством чудовищная идея ликвидации «неперспективных» деревень претворилась в реальность? Авторов! — все настойчивее раздаются голоса со страниц прессы. «И, наконец, доплыли мы до неперспективных деревень. Я считаю, что люди, которые готовили, «протаскивали» идею неперспективности, преподносили ее правительству, должны понести государственную, административную ответственность. Это было преступление против крестьянства... Вдумаемся: из 140 тысяч нечерноземных сел предполагалось оставить лишь 29 тысяч!» — гневно восклицает Василий Белов («Возродить в крестьянстве крестьянское...». «Правда», 15 апреля 1988 г.).

Многие ссылаются теперь на то, что были ведь постановления правительственных органов, декретировавшие ликвидацию мелких населенных пунктов и переселение из них жителей. Да, были. Но кто-то вносил и обосновывал такие идеи. Кто-то доказывал экономическую целесообразность и социальную допустимость тотального уничтожения веками сложившегося уклада. Кто-то развивал эту теорию в научных трудах.

Участники дискуссии, развернувшейся на страницах печати несколько месяцев назад, пытаются: одни — взвалить всю вину на Т. И. Заславскую и возглавляемую ею некогда комиссию, другие — горячо защитить академика. Не принимая ни той, ни другой стороны, считаем, что дело не только, да и не столько, в Заславской.

Вряд ли стоит исследовать диалектику явления — чья вина первична: руководителя, выдавшего безответственную директиву, или тех щедринских типов, которые «имеют специальность усугублять вредоносностью сущность чужих выдумок». Но назвать имена ученых, подвизавшихся на ниве землеустроительства в качестве теоретиков «сселения», мы думаем, стоит. Тем более, что никто не пытался этих имен стыдливо скрыть, печатные труды и по сей день занимают свои места на библиотечных полках, так же, как их авторы — в солидных кабинетах. Перечитать все — вот это была работа: какое обширное наследие оставлено потомкам.

Во всем виноваты строители, это они разрабатывали проекты и схемы районной планировки! — такова еще одна распространенная точка зрения. Верно, Госстрой СССР внес немалый «вклад» в «раскрестьянивание». С поистине угрюм-бурчеевской непререкаемостью давал он руководящие указания: «К сселяемым на первую очередь населенным пунктам относятся поселения, которые, исходя из потребностей и возможностей или другим причинам,.. должны быть ликвидированы, а их жители переселены в перспективные населенные пункты», «...сселение следует производить на основе проектов районной планировки», «...намечается значительное уменьшение числа поселений за счет ликвидации бригадных поселков и хуторов», «...определяется конкретный срок переселения и меры, обеспечивающие это переселение». Это цитаты из всевозможных документов, руководств, справочников, которые в 60—80-е годы издал наш главный строитель. Что ж, нрав строителей, суровый и непримиримый к чаяниям населения, которому жить в городах и весях, вошел в пословицу. Стоит ли возлагать на Госстрой всю вину за планомерное проведение «реконструкции системы сельского расселения», как научно поименовали эту кампанию.

Но где же были люди, близкие к земле, те, кто призван думать не об одной лишь организации, технологии и стоимости проводимых мероприятий, но и о нравственных, социальных и бытовых аспектах проблемы? Кто подбрасывал мысли строителям, предлагал материалы для начальственных решений, ведущих к ликвидации сельского уклада, «вымыванию» людей из сел и деревень?

Предложим читателю вместе ознакомиться с научными трудами тогдашнего Главного управления землепользования и землеустройства Министерства сельского хозяйства СССР (начальник главка Е. И. Гайдамака) и подчиненных ему институтов — своеобразных теоретических центров сселения.

По непримиримости позиций, густоте выступлений и прицельности огня, безусловно, приоритет в этом деле принадлежит Целиноградскому сельскохозяйственному институту (кстати, вышеупомянутый Е. И. Гайдамака работал когда-то в этом крае). А в нем — трудам неутомимого теоретика, всесторонне обосновавшего необходимость ликвидации «неперспективных», профессора М. А. Гендельмана, в то время ректора СХИ. В книге «Планировка целинных сельскохозяйственных районов» («Колос», Москва — Целиноград, 1964) ученый со своими соавторами Е. Д. Тихомировым и М. Д. Спектором рекомендуют из имеющихся на 1.01.62 г. 5019 населенных пунктов оставить 2845 и сообщают далее: «Схемами районных планировок в Северо-Казахстанской области намечается законсервировать 178 населенных пунктов, то есть более трети всех населенных мест... В степной зоне надо развивать только населенные пункты размером более 200 человек» (с. 133).

«Заблуждение молодости»? Непохоже. Проходит десятилетие, а М. А. Ген-

дельман не думает расставаться с любимой идеей. За годы плодотворной научной деятельности оттачивается мысль, делаются более лаконичными формулировки, смелыми — суждения. На основании взвешенных расчетов резюмируется, что села следует разделять на четыре группы: «Села первой группы обязательно будут развиваться, третьей — при определенных условиях, второй — медленно отмирать, четвертой — перспектив развития не имеют и подлежат ликвидации». («Сельскохозяйственная районная планировка». Целиноград, 1973, стр. 139). Что значит «медленно отмирать», думаем, понятно и горожанину. Трудно забыть страшную картину упадка, разложения деревни, населенной одними лишь немощными старухами, описанную В. Астафьевым в «Печальном детективе».

Следующий труд профессора, судя по названию, претендует на роль основополагающего в своей области — «Научные и методологические основы землеустройства» (М.: «Колос», 1978). Здесь уже с удовлетворением сообщается о происходящем неуклонном сокращении числа сельских поселений. Намечаются дальнейшие перспективы. Так, в Нечерноземной зоне РСФСР «предусматривается уменьшить число сел в 5 раз... Значительное сокращение числа сельских поселений намечается на Украине, в Казахстане, Прибалтике и других районах страны» (с. 139—140).

Словом, учение создано. Издательство «Колос» загодя позаботилось об учениках. Им, то есть студентам сельскохозяйственных вузов, адресован учебник «Землеустроительное проектирование» (М., 1976). Тот же автор соответствующего раздела, та же непримиримость к малому селу. Здесь, учитывая аудиторию, авторы заботятся о большей наглядности. В качестве одного из примеров рассматривается колхоз «Заветы Ильича» Калужской области, в котором еще существует 16 населенных пунктов. Пока. Но по схеме районной планировки должно остаться всего три (с. 179). Кому, как не студентам, осуществлять эти дерзновенные замыслы — как бы надеются авторы — ученые Целиноградского СХИ и Московского института инженеров землеустройства (МИИЗ), еще одного теоретического центра «реконструкции».

Теперешнему маститому профессору, а некогда скромному преподавателю МИИЗа В. П. Троицкому и его коллегам принадлежит заметная роль в развитии теории ликвидации «неперспективных». Свои выводы он обобщил, систематизировал и даже распределил по столбцам и графам. Так, таблица на странице 16 книги «Сельская районная планировка и использование земель» (М.: Экономиздат, 1962) сулит такие перспективы: численность сел Холмогорского района Архангельской области сократится с 460 до 30, в Волосовском районе Ленинградской — с 230 до 22. Те же зловещие пропорции для других областей России.

Еще одно название, третье, десятое, энное... Как «самостоятельных» авторов, так и объединенных под эгидой научных центров. Например, Государственного научно-исследовательского института земельных ресурсов (бессменный директор — С. И. Носов), созданного в 1967 году «для научной разработки вопросов рационального использования земельных ресурсов страны, ...методов упорядочения землепользования и землеустройства», но все свои силы употребившего преимущественно на то, чтобы эти ресурсы были разбазарены. Научные труды, выпускаемые государственным институтом регулярно и во множестве, пронизаны каким-то необъяснимым восторгом разрушительства. Разнящиеся лишь «конкретными примерами» и долями скрупулезно высчитанных процентов, они были бы просто скучны для прочтения, если бы за каждой цифрой не стояли остывший очаг, брошенная пашня, изломанная судьба.

Итог всей этой бурной деятельности таков: за 26 лет, с 1961 по 1987 год, сельское население страны сократилось со 108,4 миллиона до 95,7 миллиона человек, число сел и деревень за это время уменьшилось на многие тысячи.

А маховик продолжает крутиться, вовлекая в свою орбиту все новые поселения: «Как сообщили в Госагропроме СССР, за последние четыре года в стране исчезло 5 тысяч деревень. Сколько за этой цифрой трагедий, разрухи!» («Сельская жизнь», 19.2.89). Мы это восклицание хотим перевести в вопрос: будет ли за содеянное кто-то отвечать? «Сселители» за годы неуемной деятельности получали научные звания и степени, чины, ордена. Может быть, пора назвать неперспективными их? Ну хотя бы Е. И. Гайдамаку, вплоть до ликвидации Госагропрома СССР занимавшего в нем пост начальника подотдела землепользования и землеустройства, или профессора-консультанта Целиноградского СХИ М. А. Гендельмана?

Кто-то скажет, что ретивые ученые были лишь «безропотными детьми своей эпохи», исполнителями чужой воли. Да, массовая атрофия совести охватывала не одних лишь землеустроителей, и охотники «усугублять вредоносностью сущность чужих выдумок» находились в самых разных сферах жизни общества. Но в ошибках молодости раскаивается кто угодно, только не теоретики «сселительства». Они и по сей день не оставляют честолюбивых планов, находя поддержку у начальства и общий язык с руководством Всесоюзного объединения Агропромиздат. Не когда-нибудь, а в 1986 году здесь вышел учебник «Землеустроительное проектирование». Не кто иной, как Гендельман, становится его редактором и составителем. На должность главного рецензента издательство предусмотрительно приглашает Гайдамаку. Кто, кроме него, даст «добро» на такую вот рекомендацию: «...все населенные пункты можно разделять на четыре группы... Села первой группы обязательно будут развиваться, второй и третьей — при определенных условиях, четвертой — перспектив развития не имеют...». Знакомо, не правда ли? Учебник этот на сегодня — основное пособие для студентов-землеустроителей. Другого пока не издали. Но готовят. Агропромиздат запланировал новый учебник. Кто же авторы? Троицкий и... Гендельман! Жив курилка! Вернее, будет жить. Неужели так же долго и благополучно?!

Яков ГОРДИНСКИЙ,
агроном,
Валентин ПРОШЛЯКОВ,
кандидат экономических наук
Москва

ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 1 августа открывается подписка на книжное обозрение «СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ», которое публикует рецензии, статьи и обзоры иностранных новинок поэзии, прозы, драматургии, критики и публицистики, информацию о новинках книжного рынка, литературно-издательскую хронику, а также подготавливает специальные тематические номера (детективная и приключенческая литература, фантастика, документальная проза, литература и кинематограф или — как № 4 за 1989 год — «белые пятна» в советском зарубежном литературоведении).

Год издания — 29-й. Выходит раз в два месяца
Цена годовой подписки 3 руб. 60 коп.
Индекс 70931

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

ОБРЕТЕНИЕ РОДСТВА

ФОТО СЕРГЕЯ ГОЛУБКОВА

БОНДАРЕНКО Владимир Григорьевич родился в Петрозаводске в 1946 году. Закончил Ленинградскую лесотехническую академию, Литературный институт им. А. М. Горького. Работал инженером-химиком. Затем был корреспондентом в газете «Литературная Россия», заведовал отделом критики в журналах «Октябрь», «Современная драматургия», литературным отделом МХАТ им. А. М. Горького; сейчас помощник худ. руководителя этого театра по литературной части. С 1972 года печатается в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Москва», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Звезда», «Вопросы литературы», в газетах «Правда», «Литературная газета», «Советская Россия»..

Автор книг «Очерки литературных нравов» (Минск: Знание, 1988), «Позиция» (М.: Молодая гвардия, 1989). Член СП СССР. Живет в Москве.

Все более читатель задается вопросом: что происходит в нашей культуре? Откуда свирепость в литературной полемике? Что разъединяет мастеров искусства? Думаю, свирепость — от общего бескультурья. От заниженных нравственных норм. От ощущения безнаказанности.

Конечно, от бескультурья быстро не избавишься. Заниженные нравственные мерки останутся у их обладателей до конца жизни. Одна надежда — на Закон о печати, который четко укажет и права, и ответственность за сказанное. Таким образом, мы, по крайней мере, избавимся от политических доносов и клеветнических обвинений. Что до самой литературной ситуации, то она и в дальнейшем будет развиваться в сторону, может быть, еще большего противостояния.

Не вижу в этом ничего дурного. Литература в России во все века развивалась в противостоянии. Никон и Аввакум, славянофилы и западники, Маяковский и Есенин... Гибельной была нивелировка литературы в тридцатых, гибельно мнимое единодушие в семидесятых. Надеюсь, что, избавившись от нынешнего противоестественного накала страстей, который явно на руку притаившимся чиновникам, уже готовящимся «спасти» культуру от «гражданской войны» и привести ее к новому единству посредственностей, мы всерьез разберемся в основных эстетических, этических, мировоззренческих принципах каждого из литературных направлений.

Поймем силу и необходимость каждого из этих направлений. Неизбежность их появления и неизбежность размежевания.

Во-первых, по-прежнему послушные чиновникам, мы явно пошли за ними в их безусловном дальтонизме, не различая цветов; они предложили, а мы приняли деление на черно-белое изображение картины нашей общественной жизни. Этакое баррикадное мышление, наши и не наши. По одну сторону баррикады Валентин Распутин и Александр Проханов, Анатолий Софронов и Александр Солженицын. По другую — Виктор Конецкий и Василий Аксенов, Роберт Рождественский и Фазиль Искандер.

Позвольте, но это новая ложь. Герои «Прощания с Матерой» ближе героям «Сандро из Чегема». Виктор Конецкий быстрее найдет общий язык с Александром Солженицыным, и даже с Валентином Пикулем, чем с Аксеновым или Рождественским. Я сейчас не выставляю оценок писателям, не говорю о своих читательских симпатиях, не говорю, кто хуже, а кто лучше.

Говорю о действительной многоцветности современной литературы, которую упорно загоняют на баррикаду. При более

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

свободном развитии литературы, что, я надеюсь, вскорости и произойдет, мы получим десятки литературных направлений, достойно представленных в десятках разнонаправленных журналов. Мы увидим, что между концепцией «Нашего современника» и концепцией «Молодой гвардии» есть заметное различие. Скажем, я не представляю себе публикацию статьи Малахова в «Нашем современнике» и публикацию статьи Солоухина «Почему я не подписался под тем письмом» — в «Молодой гвардии». Хорошо ли это? По-моему, даже очень хорошо. У каждого журнала, рано или поздно, будет свое лицо, появится свой круг авторов, своя сверхидея.

Пусть у «Огонька» будет своя аудитория, представляющая интересы, как откровенно заявил В. Коротич, «этого самого населения», которое «требует колбасы, одежды, повышения зарплаты». Ехидно замечает В. Коротич, что «народ у нас великий, свободолюбивый, самоотверженный и так далее. Но у него есть один недостаток — его трудно увидеть». Что же, все справедливо, «Огоньку» не под силу разглядеть народ, легче работать на население, которое «все время болтается под ногами». Население становится народом, когда за ним — большая культура, свои национальные традиции, свой национальный идеал. Как пишет о русском народе Д. С. Лихачев: «Народ, создающий высокий национальный идеал, создает и гениев, приближающихся к этому идеалу». Или совсем недавно заметил Игорь Виноградов: «Народ как духовная общность формируется только при существовании общенародного дела — тогда и появляется тот народный дух». Конечно, при всем желании очередь за колбасой общенародным делом не назовешь, так что оставим популярному журналу «гениев колбасы», пусть занимаются работой среди населения.

Поговорим о серьезной литературе, которая не подчиняется недавно открытому закону Анатолия Рыбакова, согласно которому «в литературе это процесс естественный: сегодня популярны одни книги, завтра — другие, послезавтра — третьи». Готов согласиться с популярным беллетристом, перенеся этот закон на явления массовой культуры. Даже удивлен его смелостью, признанию, что его книгам суждено жить столь короткое время. Сегодня — «Дети Арбата», а завтра, согласно утверждению А. Рыбакова — «другие книги».

Но не этот же временной водораздел существует между книгами В. Распутина и А. Вознесенского, В. Шаламова и В. Гроссмана, М. Шолохова и В. Набокова?

Попробуем пока лишь тезисно определить признаки различия.

Может быть, основное различие в идеологии? Одни придерживаются, скажем, социалистической идеи развития общества, другие — приверженцы капитализма?

Не подходит. К идее социализма скептически относились и относятся как В. Набоков, так и А. Солженицын, как И. Бродский, так и И. Бунин.

Когда в Копенгаген на первую встречу советских писателей и писателей-диссидентов выехали из Москвы Г. Бакланов, М. Шатров, Н. Иванова, А. Герман и другие, а из остальных стран мира — В. Аксенов, Е. Эткинд, А. Гладилин, А. Синявский, Л. Копелев, М. Розанова и другие — на встрече произошло дружное объединение, как выразилась редактор журнала «Синтаксис» М. Розанова, всех сил против «антиперестроечных сил, как в СССР, так и среди эмиграции». Поэтому, с одной стороны, ругали В. Максимова и окружение журнала «Континент», журнал «Вече» и особенно антиперестроечника А. Солженицына, с другой стороны, как наиболее четко заявил В. Аксенов: «И что естественно, проза деревенщиков органически вписалась в структуру застоя». Это был — в литературном плане — круглый стол эстетических единомышленников. Что мешает принимать Г. Бакланову и В. Аксенову, М. Шатрову и А. Синявскому, занимающим разные политические позиции, прозу деревенщиков В. Астафьева, В. Распутина, В. Белова, лагерную прозу А. Солженицына и В. Максимова?

Чем антисоветизм одного нобелевского лауреата И. Бродского приемлемее для журнала «Огонек», нежели антисоветизм другого нобелевского лауреата А. Солженицына?

Что думает драматург ленинской темы М. Шатров по поводу антиленинских высказываний И. Бродского и В. Аксенова?

Как видим, политические соображения при определении признаков противостояния литературных направлений ни при чем.

Может быть, дело в социальной тематике? Одни пишут о городе, другие — о деревне, третьи — о войне, четвертые — о сталинских репрессиях.

Поверхностный читатель, даже литературовед, этим объяснением и удовлетворяется.

Но почему, читая внимательно, начинаешь разделять для себя и в антисталинской тематике, с одной стороны — прозу А. Солженицына и В. Шаламова, с другой стороны — того же А. Рыбакова или Д. Гранина. Почему повесть о деревне Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» так и не вошла в хрестоматийный ряд произведений деревенщиков — «Привычное дело», «Прощание с Матерой», «Царь-рыба»? Почему «окопная правда» В. Быкова, К. Воробьева, В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Некрасова отделена незримой чертой от популярных произведений о войне А. Чаковского, К. Симонова?..

И все-таки существуют разные взгляды на войну у автора «Василия Теркина» и у романтических максималистов «земшарного» мышления П. Когана, М. Кульчицкого и других. В баррикадной свалке ожесточенных критиков читателю нелегко разобраться, о чем идет речь, кого и в чем «обвиняют».

Успокойся, читатель, никого не обвиняют, никого не сбрасывают с корабля современности. Определяют направленность самого литературного явления. К сожалению, защитники молодых довоенных поэтов-ифлийцев применили дюжину запрещенных приемов. Среди них первый, в расчете на обывателя, не очень-то разбирающегося в поэзии — упреки в том, как можно критиковать погибших на войне, они свои жизни отдали ради того же Куняева... Не обращается ни малейшего внимания на то, что у него разбирается не их геройское поведение на войне, а их поэзия. И даже не критикуется, а анализируется как явление.

Меня удивляет то, как смешиваются все критерии. Со злобными окриками накинулись критики на статью Малахова из «Молодой гвардии», где пишется о всеобщем энтузиазме тридцатых годов. Как можно говорить об энтузиазме, когда в то время гибли в тюрьмах миллионы людей, — гневались «названные сестры» Ивановы. Но что же такой антисталинский бастион, как журнал «Знамя», кинулся в поддержку стихов, где этот энтузиазм тридцатых годов, пожалуй, наиболее пафосен? «Мальчики» из «Знамени», если вы верите в то, что печатаете, что защищаете, то вы и сегодня «плачете ночью о времени большевиков», руководивших страною в конце тридцатых годов. В тридцать девятом году поэты славили грядущую войну и людей «чекистской породы», восхваляли «матросские продотряды», которые «судили корнетов револьверным салютом», мечтали о подчинении всего мира Кремлю, о том времени, когда «только советская нация будет и только советской расы люди». Куда там всем нинам андреевым, шеховцовым и малаховым до такого апофеоза образца тридцать девятого года.

Что заставляет наших прогрессивных критиков Н. Анастасьева и Л. Лазарева так яростно защищать «романтиков разнаипоследних атак», еще до войны мечтающих о советских танках «за Таллинном»? Неужели и сегодня Николай Анастасьев мечтает о мировой революции, об исчезновении с земли всех народов и замене их «людьми советской расы», когда приветствует «земшарное мышление»? В стихах молодых ифлийцев очень конкретно утверждалась советизация всей земли. По логике социальной тематики стихи «земшарцев» должен был защищать журнал «Молодая гвардия», а «Знамя» не менее яростно должно было развенчивать это «сталинское наследие». Значит, дело не в тематике стихов П. Когана, М. Кульчицкого, А. Копштейна, В. Багрицкого, Б. Смоленского. В чем же?

Может быть, настроенный ожесточенными баталиями вокруг национального вопроса, догадливый читатель скажет — дело в национальности поэтов.

Пусть среди «земшарцев» есть и русские, и украинцы, но ведущие выразители подобного поэтического взгляда на мир — евреи. И вся полемика идет между представителями русской и еврейской национальных культур?

Не вижу ничего плохого в том, если, откинув непарламентские выражения и экстремистские проявления чувств, мы снимем табу с откровенного разговора как о русской национальной стихии, так и о еврейской, проведем открытую дискуссию на тему «Евреи и русские в культуре XX века». Естественно, не избежать разговора и о крови, или, говоря современным языком, о генетической памяти народа. Не понимаю, почему, вовсю пропагандируя генетиков, мы и сегодня умудряемся замалчивать их точные открытия? Как формируется народ, нация? Съехались все в одно место и образовали быстренько новую нацию, так что ли?

Как может Игорь Виноградов мечтать о превращении журнала «Новый мир» в «знамя русской национальной культуры» и при этом считать себя «презирающим всякий признак крови».

Объясните, как соединить «национальную культуру» — независимо, русскую, грузинскую, эстонскую, еврейскую, с отсутствием конкретных признаков данной национальности? Уважаемый Игорь Иванович, кто создает национальную культуру? Представители других наций? Грузинскую культуру создали эстонцы, японскую культуру — французы и так далее? Есть неизбежное взаимопроникновение, взаимообогащение, практически любой народ в XX веке — генетически открыт, и, может быть, наиболее открыт — русский народ. Но, даже заимствуя, любой народ творчески перерабатывает чужую культуру в главном. Не представляю, как можно превратить журнал в «знамя русской национальной культуры» без участия в нем прежде всего русских национальных писателей. Очевидно, Игорь Виноградов спутал, и речь идет о журнале «Дружба народов», который обязан быть всепринимающим, или об «Иностранной литературе» как о знамени мировой культуры, для которого мировые ценности приоритетны по отношению к ценностям национальным? Мне бы хотелось знать, как Игорь Виноградов относится к протесту грузинской интеллигенции против пошловатого использования в разрекламированном нашей центральной прессой американском боевике с участием Шварцнегера святого для каждого грузина имени Руставели. Лично я к этому протесту отношусь с большим уважением! Культура даже самого маленького народа несет в себе неповторимое видение мира, отличающееся от других. И, конечно, взгляд еврейских, эстонских, якутских, грузинских писателей на мир, на другие народы отличается от взглядов русских писателей, если эти писатели несут в своих произведениях чувство своего народа, чувство своей национальной культуры. И это замечательно. Меня восхищает еврейский национальный мир И. Бабеля и М. Шагала, грузинский национальный мир Ладо Гудиашвили и М. Джавахишвили, якутский национальный мир Алампа Софронова и Алексея Кулаковского. Понимаю, что возможны споры между иногда противоположно рассматривающими то или иное явление национальными культурами. Скажем, взгляд на Чингисхана или на Суворова, взгляд на мировые религии и так далее.

Но в данном примере — в противостоянии сторонников и противников «земшарной поэзии» конца тридцатых — начала сороковых годов — не вижу я спора национальных культур.

Мне кажется, два основных направления в нашей отечественной культуре можно обозначить коротко: почвенничество и космополитизм.

Как всегда и бывает, среди этих направлений есть свои взаимовлияния, взаимопроникновения, есть разные оттенки того или другого, есть иррациональный художественный синтез, казалось бы, логически несовместимых понятий.

Каждое из направлений имеет свои вершины, свои ориентиры в классике. На мой взгляд, эти слова, как ключи, открывают двери к самым запутанным явлениям нашей культурной жизни. В том числе и к объяснению, почему не «Молодая гвардия», а «Знамя» защищает поэзию (а не судьбы конкретных людей, незачем смешивать), прославляющую сталинскую политику всемирной советизации. Молодые поэты были искренни и талантливы, и поэтому им веришь больше, чем изолгавшимся приспособленцам, меняющимся в русле последних директив.

Почвенничество и космополитизм. Слова эти необходимо очистить от всех политических инсинуаций, от налипшей за десятилетия грязи.

Почва есть у любой культуры, которая опирается на народность, на традиции, на культурную память. С тревогой пишет С. Аверинцев: «Сейчас существует реальная возможность полной утраты культурной памяти, потому что это предоставлено выбору человека, акту свободной воли. Пока человек «рождался вовнутрь», это от него не зависело... Сейчас мы находимся в таком положении, что даже то, что прежде было беспочвенностью, для нас уже почва... Можно было сказать, что разночинная культура — как раз непочвенная культура, в отличие прежде всего от крестьянской, дворянской, также купеческой. Ан нет, есть какая-то почва, я это чувствую. Но и это все тоже исчезает».

Эти «акты свободной воли» пропагандируются повсеместно, как нечто крайне прогрессивное, противопоставляемое «застойному», традиционному, мещанскому. Жить «вовнутрь» той или иной культуры, по мнению наших прогрессивных публицистов, — значит вести «полуживотное, ограниченное существование», как пишет критик Н. Агишева, разбирая кинофильм «Маленькая Вера». Меня в этом распропагандированном кинофильме поразил не столько «наш советский половой акт», сколько положительный герой, студент-медик.

Семья живет своим, не очень одухотворенным, но традиционным укладом. И отец, и мать всю жизнь работают, по-своему стремятся быть — не хуже других. Так живут сегодня многие и многие рабочие семьи. Они мечтают и о счастье дочери. Ждут в гости жениха...

Приходит в каких-то цветных трусах на первую встречу с родителями любимой. Больше мы его в этих трусах не видим. С друзьями он общается во вполне цивильном виде. Значит, это не то что — чужой уклад, пусть и самый экзотичный. Это не герой «Ассы», для которого серьга — принцип жизни. Это грязная провокация — иначе не назовешь. Рассчитанный эпатаж. После подобной выходки, извините, не верю в его любовь к Вере. Ради любви к ближнему атеисты не стесняются пригласить священника на отпевание, согласно воле умершего. Не стесняются идти под венец с любимой... Дальше — больше. Если не нравится тебе уклад жизни, так не живи, ищи выход. Вот и получается, что, с одной стороны, родители Веры, испытывая чувство стыда от того, что их дочь живет еще до свадьбы у них же дома с женихом, но — смиряют себя, терпят абсолютно для них чужой стиль жизни. С другой стороны, этот полуобразованный эгоист, ворвавшись в чужой дом, в чужую жизнь, тотально разрушает все. Так кто же из них — плюралист? Все-таки — родители Веры, которые об этом слове и не слыхали.

Повторяю, я не идеализирую их образ жизни, но это — их образ жизни. Так же можно врываться в жизнь чужой религиозной секты, в жизнь чужого народа, ломая и круша все, что не нравится.

Может быть, здесь столкнулись два уклада? Нет, за студентом ни интеллигентности, ни аристократичности, ни высокой духовности не просматривается. Точно так же оказался бы он разрушителем, попади в какую-нибудь старомосковскую дворянскую семью — со своим прочным укладом, или в традиционную еврейскую семью со своими обрядами, нормами. Не отец или мать Веры, а этот, по мнению критиков, «положительный герой» — самое страшное явление наших дней, вот откуда будет произрастать новый сталинизм, истребляющий все, что мешает его «акту свободной воли». Отцу бы трезвому — спустить героя с лестницы, пусть выражает волю среди себе подобных. Но — долготерпелив русский человек. А кончается терпение — начинается бунт, в данном случае — поножовщина. И опять в героях наш герой — он становится жертвой «полуживотного существования» народа. Примерно так же ходят в героях многие жертвы тридцать седьмого года. Осуждаю их палачей. Осуждаю отца Веры за поножовщину. Но мне интересно, допустил бы англичанин с его укладом «мой дом — моя крепость», чтобы его так долго унижали в его же собственном доме? И что делать Вере?

Думаю, реакция западной кинокритики на этот фильм будет совсем иной, чем предполагают наши «перестройщики». В нормальной западноевропейской семье даже после брака не очень-то приветствуют желание молодых жить в семье родителей. А так просто поселять, заведомо нарушая сложившийся десятилетиями семейный уклад, никто не позволит. Если дочь решила проверить свой союз с кем-то, пусть поживет отдельно, пусть узнают друг друга. Но пускать к себе в дом? Полиция изначально будет на стороне хозяина — оборона своего жилища и уклада этого жилища. Нарушено святое право хозяина.

По мнению наших кинокритиков, Вера поступила нехорошо, не стала доносить на родного отца, выгородила его. К чему призываете, товарищи либералы — чтобы дочь упекла родного отца в тюрьму? Так ведь было уже подобное. Упекали — и отцов, и матерей, и братьев. Может, хватит?! К чему ведет эта новая тенденция — обвинять во всем поколение отцов, эта перестроечная хунвейбиновщина, заполонившая экран, страницы журналов и газет?

Я писал уже о том, что высоко ценю кинофильм «Покаяние», но обряд выбрасывания трупа родного отца на свалку — омерзителен. Само по себе разрывание старых могил — это осквернение не столько тех, кого выбрасывают, сколько религиозных и национальных понятий. Мы только-только отошли от вскрытия мощей со святыми угодниками, как радуемся новому осквернению. Сначала растопчем Сергия Радонежского, затем выкинем из могилы Леонида Брежнева? Кого дальше? Думаю, даже переносы могил наших великих соотечественников так легко принимаются нами из-за продолжающейся атмосферы воинствую-

щего атеизма. И еще из-за любви к стандартизации.

Собрали по всей Карелии десять церквей, перевезли в Кижи, а остальное — гори на здоровье. Собрать на одно кладбище всех именитых граждан всех веков — дружно ходите и поклоняйтесь сразу всем.

А к Федору Абрамову на поклонение надо в Пинежье ехать. Вот бы и к Велимиру Хлебникову на могилу туда, где он был похоронен на новгородской земле. Нет, перенесли прах на Новодевичье кладбище. Святые места — Пятигорск и Тарханы, Михайловское и Ясная Поляна, Вешенская и Пинежье. Ох, как не хватает нам сегодня святых мест, как испоганили мы сами свою жизнь.

Нам ли трогать даже чуждые нам могилы? Да еще руками детей. Вот и получается — один герой выбрасывает труп родного отца на свалку, на помойку. От другой требуют показаний на родного отца. Что это — мораль перестройки? Или осознанное стремление к полной ликвидации всяческих традиций?

Есть у одного из самых талантливых поэтов наших дней Владимира Корнилова стихотворение «Русский рай»:

И каким был край чудесным
И как много растерял,
Сразу понимаешь, если
Ездишь по монастырям...
И величие России,
И разор ее земли
Все соборы отразили,
Все обители несли...
Будто каменные были
— Церкви и монастыри —
Страстотерпцы возводили,
А хранили дикари.

Вот и получается, что большим дикарем для родной земли является не отец маленькой Веры, вкалывающий весь день за рулем и стремящийся дома найти привычный для себя, столь презираемый «мещанский уклад», а типичный представитель «образованщины», философ-аморалист, не уважающий и не любящий ближних своих, циничный разрушитель и провокатор — неудавшийся женюх Веры.

Почвенничество и космополитизм. Одни идут от взрастившей их земли, ничего не теряя, добираясь до всечеловечной высоты нравственной философии. Другие — от абстрактных моделей всемирности мышления, от не ведающего границ пространства мировой культуры, пространства «любви к дальнему», как четко определил Юрий Давыдов, спускаются до конкретного человека, уже не признавая его приоритетных национальных, религиозных, социальных ценностей. Космический человек — это «голый человек», которого оторвали от привычных связей, от любой почвенности.

Говоря о космополитическом мышлении, мы должны снять с понятия «космополит» оттенок сталинской кампании конца сороковых годов. Спокойно пишут о космополитическом видении мира во всей западной прессе, спокойно признаются в космополитизме многие западные художники. И уж тем более, не связано это понятие с той или иной национальностью.

Скажем, для меня художник Марк Шагал — величайший почвенник, а его современник Казимир Малевич — представитель космополитического интерстиля в живописи. Где бы ни работал Марк Шагал, как бы далеко ни был он от родных местечек Витебщины, он не отрывался от своей почвы. «Я только хочу сказать, что всегда чувствовал себя художником из России. Когда в 1922 году я оказался за рубежом, то почувствовал себя деревом с вырванными корнями, висящими в воздухе... Я испытывал тяжкие мучения. Я выжил и даже — если сравнить меня с деревом — не переставал расти только потому, что никогда не порывал духовной связи с Родиной». Витебск известен всему миру по работам Шагала. Уже в старости, будучи в России, он не решился поехать на родную Витебщину. «Я испытывал страх не увидеть своего города таким, каким храню его в своем сердце все время», — писал мастер. Анна Ахматова обещала Царскому Селу:

Но тебя опишу я,
Как свой Витебск — Шагал.

Старый художник был прав в своих опасениях об изменении лика родного города. Победила та самая безликая космополитическая архитектура, которую проповедовал его давний оппонент Казимир Малевич, призывающий в печати каждые пятьдесят лет уничтожать все города и поселки и строить новые. Так сказать — мир одноразового пользования. Многие и не догадываются, что из Витебска Марка Шагала изгнали не «комиссары в пыльных шлемах», а им же в свое время приглашенные в город Казимир Малевич и Эль Лисицкий с компанией непримиримых разрушителей: «Я был вынужден уехать из Витебска после того, как приглашенные мною... Казимир Малевич и его единомышленники вступили со мной в резкую и нетерпимую полемику». Конечно, древняя ветхозаветная мистика Шагала, его старички в пейсах, окруженные домочадцами и летающими по небу влюбленными, никак не совмещались с черными квадратами и архитектонами нетерпимых ко всему природному супрематистов. Посмотрите в свои окна — вы увидите победу Малевича. Способен ли новый Арбат сохранить старомосковскую атмосферу?

Старая Витебщина сохранилась на полотнах Шагала так же, как старый Арбат в незатейливых песенках Б. Окуджавы.

Почти одновременно уехали в Париж Марк Шагал и Натан Альтман, но что осталось российского в творчестве Альтмана того периода, подчинившегося жестким рыночным законам «парижской школы»? Интерстиль — безнационален, в парижской школе одинаково сосуществовали японец и венгр, еврей и болгарин, русский и немец. Были художественные достижения, был высокий профессионализм, но не было своей почвы. И потому авангардисты всех стран схожи так же, как дома-новостройки в Москве. Приоритет всемирного мышления приводит к стандарту даже искусство.

Почвенное искусство Николая Рубцова и Гранта Матевосяна, Марка Шагала и Фазиля Искандера дает нам каждый раз не только личностное видение художника, но и видение его народа, видение родной ему почвы. У Марка Шагала есть проникновенные стихотворные строчки о своей родной земле.

Во мне звенит
тот город дальний,
церквушки белые —
белы как мел они —
церквушки дальние
и синагоги...
Во мне грустят
кривые улочки,
надгробья серые — на склоне,
где лежат
в горе благочестивые евреи.

Нет, никак не национальная проблема в основе противостояния двух основных линий развития искусства. И даже группировки, сколоченные на скорую руку «в лихорадке буден», в скоротечных общественных баталиях, не дают истинной картины развития. Очень уж они зависят от личных обид, претензий, родственных связей, дружеских отношений и тому подобное. На это обратил внимание Юрий Давыдов, написавший в «Литературной газете» о художниках, идущих в своем творчестве нравственной философии. «Последнюю четверть века это устремление, обозначенное образом одного из первых воистину «ближних» в нашей литературе — Ивана Денисовича, наиболее последовательно и бескомпромиссно осуществляли Астафьев и Айтматов, Залыгин и Распутин, Белов и Искандер. Причем делали это независимо от борьбы различных литературно-политических групп, к которым их сегодня причисляют. И попытка затемнить эту суть дела, переводя разговор в плоскость окололитературных страстей — это, на мой взгляд, больше, чем простая неблагодарность. Это тревожный симптом тоски по азартным играм в «любовь к дальнему».

Мне кажется, что «любовь к ближнему» и «любовь к дальнему» в трактовке Юрия Давыдова в чем-то схожи с моим разделением — почвенничество и космополитизм. Я бы добавил к этому верному давыдовскому списку Василя Быкова и Владимира Корнилова, арбатскую поэзию Б. Окуджавы и жесткую лагерную прозу Варлама Шаламова, Владимира Тендрякова и Федора Абрамова, наиболее искренние, прочувствованные, пережитые стихи и песни Владимира Высоцкого.

Время доказывает, что даже самым яростным поклонникам творчества Высоцкого необходим строгий, высокопрофессиональный отбор в его литературном наследии, если мы не хотим, чтобы всеобщее восхищение сменилось сначала всеобщей апатией, а затем и разочарованием. Очень много неровного, сырого, скороспелого и, не побоюсь сказать — конъюнктурного — в смысле следования времени и моде.

Послушаем, что пишут о нем ценящие его творчество деятели культуры.

Юрий Трифонов: «По своему человеческому свойству и в творчестве своем он был очень русским человеком. Он выражал нечто такое, чему в русском языке я даже не могу подобрать нужного слова. Немцы называют это менталитет, что приблизительно переводится, как склад ума, образ мышления, характер души. Так вот, менталитет русского народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень далеко... И все это было спаяно вместе, и все это была картина жизни современной ему России...»

Евгений Евтушенко: «Думаю, что о Высоцком будет много написано. Хочу только сказать, что существует понятие «русская национальная культура», существует понятие «мировая культура». Я убежден, что частью мировой культуры становится только то, что имеет свои глубокие национальные корни. Мы с вами с детства не любили бы книги Марка Твена, если бы они не были чисто американскими книгами. Мы бы никогда не любили так Сервантеса, если бы он не был настоящим испанцем, и никогда бы люди всего мира не преклонялись перед Толстым, Достоевским, если бы они не были настоящими русскими. У каждого есть, конечно, свой удельный вес в истории культуры, отечественной и мировой, но я абсолютно убежден, что имя Высоцкого, все то, что он здесь, на нашей земле, сделал, является неотъемлемой частью нашей национальной культуры, и именно поэтому он уже становится частью мировой культуры...»

Так вот, этот самый менталитет, это почвенничество Высоцкого — на мой взгляд, трансформировано и во многом занижено — стремлением к беспочвенности нашей эпохи, все более распространяющейся беспочвенной пустоте значительной части нашего народа. К Высоцкому, как ни к кому другому, относятся слова С. Аверинцева — «даже то, что прежде было беспочвенностью, для нас уже почва».

Почва Владимира Высоцкого — это тот самый уклад множества семей, схожих с родителями маленькой Веры. Честь и хвала Высоцкому, что он, в отличие от создателей кинофильма, не презирает своих «полуживотных» героев, а живет в искусстве одной жизнью вместе с ними. Он — почвенник барака, его почва — «лимита» семидесятых годов, обитатели «хрущоб», архаровцы поселков городского типа. Хоть и слабые — в отличие от крестьянских или дворянских — но живые корни живого народа. Подобная «новая почвенность» характерна для прозы Венедикта Ерофеева, Евгения Попова, пьес Михаила Ворфоломеева, поэзии Анатолия Передреева и Олега Чухонцева.

И города из нас не получилось,
И навсегда утрачено село.

Конечно, между «новой почвенностью» советских мутантов и почвой стержневых слоев народа есть свои противоречия, свои противостояния. В этой статье — не о них речь. За каждой почвой — своя истина, своя этика, но в любом случае это «любовь к ближнему», а уже через него — и всечеловеческая любовь. Там, где кончается «почва» у стержневой словесности и начинает складываться «новая почвенность» архаровского типа — возникает объяснимый пессимизм, эсхатологическое чувство близкого конца — у одних; осторожный анализ зарождающейся новой системы понятий, зарождающихся новых традиций, пусть самых нелепых, мещанских, забытовленных — у других.

Прорывается у Михаила Дудина:

России нет, Россия вышла
И не звонит в колокола.
О ней ни слуху и ни духу,
Печаль никто не сторожит.
Россия глушит бормотуху
И кверху задницей лежит.
И мы уходим с ней навеки,
Не уяснив свою вину.
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину.

Как понимает читатель, дело не в узбеках, обида не к ним относится. Просто в самый конец застоя была проведена показательная кампания по спасению Нечерноземья. С этой целью наши «интернационалисты» в Средней Азии вербовали рабочую силу для совхозов Новгородчины и Псковщины. К счастью, скоро эта затея среднеазиатского филиала на нечерноземных землях провалилась, не встретив энтузиазма ни в Средней Азии, ни в русских деревнях.

Этот мотив «И мы уходим с ней навеки» заметен в «Прощании с Матерой» В. Распутина, «Последнем поклоне» В. Астафьева, «Последнем колдуне» В. Личутина. Пожалуй, первым обратил внимание на «новую почвенность» советских мутантов Василий Шукшин. Выпустил книгу за рубежом «Зияющие высоты» А. Зиновьев. Пошла по рукам исповедь русского алкоголика «Москва-Петушки» Венимина Ерофеева, лишь недавно опубликованная журналом «Трезвость и культура». Но что может «новая почвенность» противопоставить все возрастающему давлению космополитического направления в культуре общества? «Новая почвенность» эмпирична, не имеет своей нравственной философии, потому ее охотно стараются подчинить, ввести в свои абстрактные структуры, размыть еще больше. Если в различных газетных заявлениях противопоставляют имена Василя Быкова и Василия Белова, Фазиля Искандера и Валентина Распутина, это, на мой взгляд, к литературе отношения не имеет. Всегда будут разные личностные, тематические, даже политические разногласия между художниками, близкими корневой, почвенной основой своей. Дело другое, если, скажем, в последних произведениях Фазиля Искандера начинает исчезать всегда присущее писателю чувство родного народа. «Народ разнародился, совесть рассовестилась?» — задается вопросом писатель. Так надо ли еще больше углублять этот процесс «разнародивания»? Может ли быть народ без своего национального чувства, что в последнее время утверждает Ф. Искандер? Потому и уступают по художественной силе «Кролики и удавы» знаменитому «Сандро из Чегема», что в этой абстрагированной социальной сатире напрочь отсутствует присущая всегда писателю «краска родной земли». Пропала искандеровская уникальность видения.

Я не скрываю своей приверженности к почвенному искусству. Думаю, что все-таки вершинные достижения мировой культуры принадлежат и принадлежали художникам, обладающим чувством почвы. Мне могут возразить — проза В. Набокова, поэзия В. Маяковского, живопись Пикассо.

Конечно, этим талантливейшим художникам был более близок космополитический взгляд на мир. Отсюда желание обойтись без Латвий и Россий у В. Маяковского, отсюда переход на английский язык и безнациональных героев у В. Набокова, отсюда злое пародирование великих картин мастеров прошлого у П. Пикассо. Но — «Другие берега» и «Дар» пронизаны чувством России у В. Набокова, но — такая испанская «Девочка на шаре», да и весь голубой период — у П. Пикассо, но — «я хотел бы жить и умереть в Париже, если б не было такой земли — Москва», или грустные «по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь». Мне кажется, что во всех высших творческих проявлениях самых стойких сторонников «земшарного мышления» обнаруживается тот самый «менталитет», о котором так хорошо сказал Ю. Трифонов.

Космополитизм распространен сегодня более всего, думаю, в западноевропейском искусстве, как в формах авангардизма, так и в форме массовой обезличенной культуры. Его претензии на всеобщность, на всепредназначенность равно для француза и немца, финна и каталонца, как ни парадоксально, снижают интерес к нему. Космополитизм в авангардных формах скучен, в форме массовой культуры — кратковремен. Сила его, как правило, в высоком профессионализме, в мастеровитости.

Интересно, что представители этого направления в искусстве — всегда и везде — более перестроечны. С изменением всеобщего взгляда на мир, с изменением «земшарного мышления», абстрагированного от живой жизни, меняются и сами художники. Почва любого народа меняется крайне медленно. При Сталине и при Николае Втором, при Кастро и при Батисте, при Франко и в сегодняшней Испании — все те же народные типы, та же природа, та же история страны в прошлом, те же привычки. Тот, кто способен видеть глазами народа, делает лишь корректировку на социальные условия. Изменение почвы — это катастрофа народа, что мы и имеем вместе с «новой почвенностью». Перестройка у почвенного художника — это всегда трагедия мастера. Перестройка у представителя «земшарного мышления» — легка и искренна. Незачем таких перестройщиков обвинять в конъюнктурности, они с неизбежностью меняют листву в зависимости от времени года. Потому не страшен сталинизм молодых поэтов-ифлийцев для ли-

деров сегодняшнего журнала «Знамя». Заменены элитарные установки во времени, но основа творчества нынешних авторов «Знамени» и певцов тридцать девятого года — одна и та же: мировые идеи, приоритетные по отношению к национальным ценностям, безразличие к стране, среде и времени пребывания героя.

Государственная структура чаще поддерживает художников космополитического направления, как бы ни утверждалось ими самими обратное.

Во-первых, космополитическое искусство, как правило, элитарно, но и чиновная структура всегда стремится к элитарности. И те, и другие чувствуют и очень ценят «избранничество».

Во-вторых, бюрократия всех стран, времен и народов — всегда космополитична, она тоже идет не от почвы, а от «мировой бюрократической культуры». Бюрократ всегда легко пересаживается из кресла в Кишиневе в кресло в Алма-Ате, из Магадана — в Воронеж, из Иркутска — в Сочи, он действует везде одинаково, он — «безроден», какой бы крови ни был. Бюрократ, играющий в национализм, — это всего лишь игрок. Почва и бюрократическая машина — вещи несовместимые, что, кстати, хорошо показано в пьесах И. Друцэ «Святая святых», «Рыжая кобыла с колокольчиком».

У нас постоянно умалчивается, что издания славянофилов преследовались в девятнадцатом веке гораздо более жестоко, чем издания западников. Умалчивают ныне и о постоянных преследованиях в годы застоя журнала «Наш современник». Да и основные удары по «Новому миру» наносили именно за глубоко почвенные произведения Ф. Абрамова, В. Семина, В. Быкова, А. Солженицына. Произведения творцов «земшарного мышления», даже если они исповедуют не то мировое видение, которое надлежит, не так страшны, ибо в них или совсем человек отсутствует, или он показан вне почвенных связей, вне народной среды и потому отвечает лишь сам за себя, какие бы негативные высказывания он не произносил.

Потому и оказался «пробным камнем гласности» у нас вопрос об А. Солженицыне, что в его книгах написана правда о лагере глазами народа. На мой взгляд, загвоздка с публикацией его произведений не связана с антисоциалистической позицией писателя. Печатаем же мы А. Галича, Г. Владимова, В. Войновича, устраиваем выставки Э. Неизвестного и М. Шемякина, приглашали на постановки Ю. Любимова, не согласуясь с их высказываниями. Значит, дело не в собственной позиции А. Солженицына. Не опасна чиновникам публицистика писателя, какие бы опасные примеры они в ней ни находили. Это всего лишь мнение одного из известных деятелей культуры. Главное у А. Солженицына — его глубоко национальная русская проза. Если бы даже не было ареста, не было «ГУЛАГа», все равно А. Солженицын стал бы большим прозаиком. Мы бы прочитали прекрасные повести о войне, наряду с прозой В. Быкова и В. Астафьева. Блестящая русская деревенская проза, кроме «Матренина двора», включала бы в себя еще не один роман или повести Солженицына. Но есть и великая «неслучайность» его судьбы, что именно такой большой писатель понадобился народу для рассказа о трагическом лагерном лихолетье. О чем бы он ни писал, он пишет о главном в народе. Он пишет чуть ли не документальные судьбы (говорят, и у Матрены, и у Ивана Денисовича есть реальные прототипы), но уровень его художественного обобщения и выбор героя таковы, что мы читаем правду о самом народе. Правда отдельного заключенного, какой бы страшной ни была, легко подводится под исключение, случай. Самым страшным рассказам о ГУЛАГе нынешних беллетристов не хватает силы художественного обобщения. При всей жалости к себе, Саша Панкратов из «Детей Арбата» не передает ощущение страшного времени. Элитарный герой вдруг случайно оказывается замешан в политическую игру и попадает в ссылку вместо того, чтобы верно служить сталинскому времени, как его дядя и другие близкие люди. Если бы не закравшиеся в НКВД антисоветчики типа Шарока, то так бы и строил Саша Панкратов светлое будущее, руководя где-нибудь на дядином заводе колоннами рабочих в казенных ватниках с номерами. Не понимаю, как не заметили, что «Дети Арбата» — это правоверный сталинский роман, в духе той же «земшарной поэзии», и главный отрицательный сконструированный герой — спрятавшийся антисоветчик Шарок.

Почему многие наши плюралисты вместе с чиновниками боятся главной правды А. Солженицына? Подумаешь, еще одно мнение о лагерях рядом с сотней уже опубликованных. Но там — личностная правда пострадавших людей, здесь — правда пострадавшего народа. Предельно жестокая правда глазами одного человека не так опасна для бюрократов. Общая правда глазами народа вызывает тревогу и у плюралистов, и у бюрократов. И увидели мы тесное единение «Огонька» и некоторых влиятельных кругов чиновного аппарата в противостоянии большому русскому писателю, а неожиданная публикация в журнале «Матрёнина двора» — это лишь маневр.

Еще одно доказательство близости чиновной структуры и «земшарной» литературы в одинаковой беспочвенной основе героев, как элитарной космополитической прозы, так и чиновной, секретарской прозы.

Многочисленные секретари обкомов, главные герои многотомных произведений А. Ананьева, Г. Маркова, С. Сартакова и других — так же наднациональны, так же лишены природной среды, почвенного видения мира, как и элитарные герои поэм А. Вознесенского, Р. Рождественского, И. Бродского.

Как пишет В. Распутин: «Мы много говорим в последнее время об успехе латиноамериканского романа. Он закономерен, потому что литература эта глубоко национальна и дает нам богатейшую пищу в постижении малоизвестного нам национального характера. То же самое происходит и в восприятии литературы любой страны, любого народа. Мы искренне радуемся, когда открываем хорошего национального писателя — примеров тому много и в советской литературе: Чабуа Амиреджиби, Грант Матевосян и многие другие. Мне кажется, что и русскому писателю позволительно быть глубоко национальным, тогда его литература много даст и его народу, и особенно — другим народам».

Характерно, что, когда говорится об успехе литературы какого-либо народа, речь, как правило, идет о почвенной литературе, художникам космополитического склада более присуще избранничество, неотождествление себя с народом. Отсюда — более нейтральное отношение и к среде обитания. «Словно шарики ртути, мы катимся по безразмерной отчизне» — эти строчки из стихотворения А. Плахова очень точно определяют кочевой настрой жизни. Дело не в ярлыках семидесятых годов — диссидентство, измена Родине и т. п. Думаю, при дальнейшей демократизации общества у нас у каждого будет постоянный заграничный паспорт, как, к примеру, у любого жителя ЮАР. Но потребность в постоянном общении с родной почвой у глубоко национального писателя-почвенника всегда будет сильнее, чем у писателя космополитического толка. Жорж Нива во французском журнале «Мэгэзин литтерэр» пишет: «Лучшие представители советской литературы, так называемые «деревенщики» Валентин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев и некоторые другие не ждали, когда им дадут «зеленый свет»... Русское слово «народный» нередко становится камнем преткновения для переводчиков, поскольку несет в себе два значения — национальный по духу и выражающий чаяния народа. Народность — это то направление, которое избрала советская проза около десяти лет назад. Как подчеркивает Залыгин в статье о Распутине, народный писатель хранит память о прошлом и, повествуя о страданиях и надеждах народа, пытается понять его историю сквозь призму преемственности нравственных и национальных ценностей. Он отвергает «табула раза» как принцип исторического развития, ему чужда революционная жажда начать все с нуля...»

Писатели космополитического направления всегда идут от мировых идей: идеи мировой революции, идеи мировой советизации, идеи мирового разума, идеи мировой культуры, идеи мировой цивилизации, идеи мировой технократизации. Я перечислил лишь некоторые из основных мировых идей XX века. Эти идеи могут спорить друг с другом, быть непримиримыми друг к другу, но их сторонники сходны в главном — лишь в контексте мировой идеи определяют они место того или иного района, народа, языка — в общей картине человечества. Меняются мировые идеи на противоположные, но даже если победит идея мировой перестройки, опять — в жесткой зависимости от нее — будут решаться сторонниками этого направления судьбы малых народов Сибири и ядерной энергетики, репутации исторических деятелей прошлого и вопросы мелиорации. На мой взгляд, даже самый заманчивый вариант мировой идеи, скажем — идея мирового коммунизма, представляет собой тупик в развитии общества, ведет к очередной катастрофе.

Вот почему не верю я и в господство над миром какого-нибудь одного, пусть самого пассионарного на нынешний момент народа, все попытки заканчивались крахом — от Александра Македонского до Чингисхана, от Наполеона до Гитлера, и кто бы ни претендовал на роль мирового учителя: греки, римляне, монголы, персы, французы, англичане, немцы, евреи, американцы, русские — рано или поздно это приводит к разочарованию в данном народе всех других народов мира.

Писатели-почвенники идут от идеи народа, от его нужд и его интересов, на уровне малых талантов это часто приводит к национальному эгоизму, но в целом почвенничество от идеи своего народа, своей природы, своей культуры приходит к пониманию мира как совокупности народов, совокупности культур. Понимая свою уникальность в мире, быстрее признаешь и уникальность иной культуры. Уничтожение чужих культур, как правило, шло под знаком мировой идеи, будь то христианизация мира — и уничтожались культурные ценности инков, языческие капища в России; европоцентрической идеи цивилизации — и уничтожались африканские культуры, спаивались северные народности; или мировой советизации, американизации, сионизации...

Диалог всех культур мира, конечно, всегда происходит и будет происходить под влиянием определяющих в данную эпоху ведущих культур. Но в этом влиянии не должно быть абсолютного господства, подавления. В мире нет неизменного. Сегодня, скажем, проза всех народов мира учитывает мощный латиноамериканский расцвет. Конец девятнадцатого века определяли в литературе русские гении. Перед первой мировой войной все зачитывались скандинавами... Так было, так будет.

Другая крайность космополитического видения мира — крайняя индивидуализация человека, разговор об изначально одиноком человеке, о его трагедиях, бедах, комплексах, о его вине и его торжестве — вне общества, которое рассматривается как нечто откровенно чуждое, враждебное. Так можно говорить о трагедии человека на войне, в сталинских лагерях, в бюрократическом учреждении — даже в постели с женщиной. При таком взгляде мы никогда не поймем ни причин войны, ни возникновения сталинизма, ни даже причин разрыва любовных связей. Мы поймем лишь человека с его «актами свободной воли».

Но ведь «акты свободной воли» могут оказаться оскорбительными не только для людей, но и для целых народов. В том и особенность космополитического видения мира, что без злого умысла, без заранее рассчитанной политической акции (бывает и по расчету, но в этой статье речь идет не о провокаторах, о художниках), лишь в силу неприятия любых национальных чувств, отрицания понятий национальной гордости, чести — звучат пародийно святые для народов символы и понятия. Самый наглядный пример — история с нашумевшим романом Салмана Рушди «Сатанинские стихи». С одной стороны — перед нами пример мусульманского фанатизма. Издавать приказ об убийстве гражданина другой страны за оскорбление национальных и религиозных чувств — чревато опаснейшими последствиями. Вполне может быть, Салман Рушди даже не предполагал столь яростной отрицательной реакции. Так же, как не предполагали голливудские кинопродюсеры отрицательной реакции грузин на издевательское использование имени Руставели. Но надо отделить борьбу за отмену угрозы Салману Рушди от некоего абсолютного «права на свободу мнений и их выражение». В «Обращении ко всему миру» ряда известных мировых деятелей культуры, среди них от советских писателей — А. Рыбакова и Т. Толстой, на мой взгляд, смешаны два разных понятия. Протест против любых форм терроризма не может одновременно содержать в себе право на словесный терроризм, на словесное издевательство. Можно материться и в церкви, можно издеваться над талмудом в синагоге, можно оскорблять национальные святыни под знаком «защиты права всех людей выражать свои идеи верования», но любое государство, любой народ имеет право законодательно защищать от оскорблений каждого из своих сограждан, национальное достоинство, религиозные святыни. Как признает министр иностранных дел Великобритании Джеффри Хау, книга Салмана Рушди оскорбительна не только для всех мусульман, но и для всего британского общества. «Эта книга подвергает нас грубой экстремистской критике. В ней Британия сравнивается с гитлеровской Германией!»

Да и так ли подписавшие «Обращение...» советские писатели терпимы к любому словоизъявлению, не они ли призывают к уголовной ответственности деятелей «Памяти»? С одной стороны, отечественные космополиты, устроившие демонстрацию в Москве в поддержку С. Рушди, требуют запрета именно словесного выражения чуждых им идей, с другой стороны — считают возможными любые оскорбления национальных и религиозных святынь. Вместо четкого разделения двух абсолютно друг с другом не связанных понятий: государственного терроризма Ирана, а может быть, и сознательно рассчитанной политической акции, защиты человеческой жизни и — ответственности писателя за сказанное слово, соблюдения нравственных, религиозных и национальных норм общества, в котором ты живешь — мы вместе с крайней формой фанатизма наблюдаем и крайнюю форму нигилизма, презирающего любую почву.

Не случайно в списке книг, рекомендованных для чтения Ватиканом, есть немало произведений советских авторов. Как объясняют итальянцы, это связано с тем, что советской литературе совершенно чужда проповедь безнравственности и насилия. Вряд ли Ватикан или православная церковь будут пропагандировать сегодня произведения, где оскорбляются чувства мусульман или иудеев. Мы вправе рассчитывать, что эти нормы нравственности и уважения будут соблюдаться художниками, какое бы направление они ни поддерживали.

Виктор Лихоносов пишет о людях, потерявших всякое родство с прошлым своей земли. «Столько забыть, столько проклясть, столько стереть с лица земли чудесных уголков истории — на чем же было воспитаться чувству? Читайте «Раздумья у старого камня» Л. Леонова. Поразительно! — за романом «Дети Арбата» гоняются, как за сахаром для самогоноварения, а «Раздумья» никто и не прочитал. Между тем горечь Леонова тяжелее, страдания тысячелетнее, сыновняя любовь выше. Люди потеряли родство и не плачут».

Думаю, та же дилемма — почвенничество и космополитизм — лежит в основе противостояния двух первых волн эмиграции и так называемой третьей волны последнего десятилетия. При всей нашей гласности, широко публикуя произведения этой третьей волны на страницах газет и журналов, мы как-то умалчиваем, что по приезде на Запад вначале новые эмигранты были встречены дружески русской колонией. Русская культура, в основном за счет первой — дворянской и купеческой, казацкой и офицерской — волны и их потомков, продолжала развиваться. Существовали издательства, выходили журналы и газеты. Приезжавших литераторов и художников встретили как соратников. И быстро опешили. Увидели прежде всего не политическую, а нигилистическую, антинациональную окраску их выступлений. Культура первой волны эмиграции — по преимуществу — почвенная. Этические требования — предельно высокие. Если даже «Дар» В. Набокова в эмигрантском журнале по требованию редакции печатали без пасквильной главы о Чернышевском, оценив ее тон, как недопустимый для русского интеллигента, то, прочитав «Прогулки с Пушкиным» А. Синявского, где пишется, как наш гений вбежал в литературу на эротических ножках, отозвались не иначе, как рецензией «Прогулки хама с Пушкиным». Сейчас эту книгу собираются публиковать у нас... Может быть, для начала опубликовать рецензию Романа Гуля? Зинаида Шаховская, автор трех великолепных книг воспоминаний, в знак протеста против оскорблений русских национальных святынь вышла из состава редколлегии «Русской мысли». Примеры можно продолжать, но, думаю, было бы лучше нашим почвенным журналам, нашим литературно-критическим изданиям представить читателям во всей полноте полемику между виднейшими представителями русской культуры в эмиграции. И мы увидим все то же — не политическое, не тематическое, не национальное, не классовое — размежевание двух основных направлений во всей русской культуре XX века.

Почвенничество и космополитизм. Мое пристрастие к почвенническому направлению, может быть, приводит к определенной субъективности в трактовке фактов, и подборе цитат. Было бы хорошо, если разговор на эту тему продолжили бы оппоненты. Читателю интересно узнать их доводы. Но несомненно одно — настала пора открытого разговора.

Направления эти были, есть и будут. Они — не результат неких интриг и разгула страстей. Они — соперники в вечном пути познания человеком самого себя и всего человечества.

ИСКУССТВО

ГРАФИКА. ЖИВОПИСЬ. СКУЛЬПТУРА.

К 100-летию великого мастера

СЕМЬЯ МУХИНОЙ

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 1914 г.

Вера Игнатьевна МУХИНА (1889—1953), выдающийся советский скульптор, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР. Лауреат пяти Государственных премий СССР. Автор ряда монументальных произведений и портретов. Наиболее известны — «Рабочий и колхозница», памятники М. Горькому в г. Горьком, П. И. Чайковскому в Москве, портреты деятелей культуры, ученых, героев Великой Отечественной войны.
В 1960 г., тиражом в 5 тысяч экземпляров, в издательстве «Советский художник» вышел трехтомник: два тома посвящены художественному наследию В. Мухиной, один — литературно-критическому. В нем собраны частные письма скульптора, теоретические статьи, доклады, выступления, публицистика.

ВСЕВОЛОД ЗАМКОВ

Гость из Лондона

9 мая 1945 года, в начале седьмого утра, меня разбудил телефонный звонок. Спросонья, прошлепав через всю квартиру, я услышал английскую речь и несколько секунд не мог сообразить, в чем дело. «Победа! Воля, скорее приходите к нам на Красную площадь. Победа! Немцы капитулировали!»... Это был голос нашего нового знакомого, настоятеля Кентерберийского собора, Хьюлетта Джонсона, «Красного настоятеля», как его называла правая западная пресса.

За несколько дней до этого мама познакомилась с ним на каком-то банкете и, заинтересовавшись его лицом и всем его обликом, предложила вылепить его бюст. Через пару дней он появился у нас в доме в сопровождении своей переводчицы Тамары Соловьевой, которую я встречал и до этого. Высокий, с медно-красным лицом, белыми, как снег, поредевшими волосами и таким же белым стоячим воротничком, в черном суконном сюртуке с наперсным крестом на цепочке — подарком московского патриарха, он заинтересовал Веру Игнатьевну возможностью удачно реализовать ее давнюю мечту — создать цветную скульптуру: из красной меди с серебряными прядями волос и воротничком и черной оксидировкой одежды. Так в нашем доме появился замечательный человек, дружба и переписка с которым продолжалась до самой его смерти в 1967 году.

Горный инженер по образованию, он с молодости увлекся общественной деятельностью: занимался организацией медицинской помощи, рабочих и детских лагерей, издавал журнал лейбористского направления. Размышления над вопросами морали привели его в возрасте 30 лет на богословский факультет Оксфордского университета, по окончании которого он принял священнический сан. Когда в 1931 году умер настоятель Кентерберийского собора, главного кафедрального собора Англии, в котором происходят коронации английских королей, лейбористское правительство Макдональда постаралось обеспечить этот важный церковный пост за человеком, близким к идеям лейборизма, и добилось назначения Джонсона. Он не без юмора рассказывал о многочисленных попытках «подкопаться» под него и заменить более сговорчивым человеком. Но по английским правилам должность настоятеля является пожизненной (Джонсон сам подал в отставку, достигнув 90-летнего возраста) и он может быть смещен только в двух случаях: в случаях доказанной ереси или аморального поведения. Ни то, ни другое Джонсону не грозило. Он рассказал забавный случай, когда в освобожденной от немцев Польше поляки, желая показать, как быстро восстанавливается нормальная жизнь, привели его в кабачок со стриптизом. «Я вылетел оттуда как пробка, — рассказывал он со смехом,— так как любая заметка о моем там появлении, написанная каким-нибудь проворным репортером, могла бы мне дорого стоить».

Кроме своих обязанностей настоятеля («Я присутствовал при коронации трех английских королей», — не без гордости рассказывал он), доктор Джонсон много занимался вопросами взаимоотношения религии и этики. Он объехал весь мир. Его рассказ о путешествии в Лхассу и об аудиенции и богословском споре с Далай-Ламой был для меня чем-то вроде книги Рериха или романа Хоггарда!

Его переводчицы, обнаружив, что моего знания английского языка хватает не только для элементарного перевода, но и для разговоров на философские темы, доставив его к нам, обычно отправлялись по своим делам или болтали с Верой Игнатьевной, предоставляя мне возможность погрузиться в дебри философских или литературных рассуждений. Очевидно, я пришелся Джонсону по душе, и он часто просил меня сопровождать его вместе с переводчиком в его поездках и визитах в Москве и ее окрестностях. Не могу не рассказать о двух случаях.

Однажды Джонсон предложил мне сопровождать его в мастерскую художника Корина. Я с радостью согласился: очевидно было, что Павел Дмитриевич покажет Джонсону свою серию портретов «Уходящая Русь», в которых он запечатлел многих, иногда скрывающихся деятелей православной церкви, странников, юродивых. Мы, конечно, знали о существовании этих работ, мама кое-что видела, но в то время об их открытом показе не могло быть и речи. Портреты Корина поразительны и произвели на нас глубочайшее впечатление. Позже, за чаем, Павел Дмитриевич и Джонсон вступили в какую-то богословскую дискуссию. Они так и сыпали цитатами из Библии, и, прекрасная переводчица Кулаковская совершенно растерялась. К счастью, я читал Библию и по-английски, и по-русски, и моего знания обоих текстов оказалось достаточно для того, чтобы осуществлять «наводящий» перевод вроде: «Это то место, где в книге пророка Даниила говорится о его втором суде...»

В другой раз мы поехали в Истру, поглядеть на остатки взорванного Ново-Иерусалимского монастыря. Местные крестьяне, которым какое-то начальство сообщило, что должно приехать высокое духовное лицо, вообразили, что приедет патриарх, и встретили нас хлебом-солью! Джонсон растрогался и ответил им проповедью, естественно, на английском языке. Должен сказать, что это было в первый раз, когда я понял силу живого ораторского слова: несмотря на несовершенный перевод, крестьяне плакали, да и у меня, и у переводчицы были на глазах слезы.

Доктор Джонсон был первым в моей жизни человеком высочайшей духовной культуры, с которым мне довелось подолгу беседовать на самые различные темы. Я достаточно хорошо знал Л. В. Собинова, Н. К. Кольцова, С. И. и Н. И. Вавиловых, но я был еще мал, и мое общение ограничивалось присутствием при разговорах моих родителей. Поэтому доброта, терпимость к окружающим, в том числе и к чужой вере или безверию, проявляемые доктором Джонсоном, произвели на меня глубокое впечатление. При этом все, что он говорил, даже комплименты, отличались изысканной формой, даже изяществом, редкими и почти шокирующими в то время. В последний день своего пребывания у нас потом, во время повторных визитов в Советский Союз (он всегда заходил к нам или хотя бы звонил по телефону), он обратился к маме со следующей речью: «Вы знаете, мадам Мухина, так уж случилось, что все, к чему я в жизни стремился, мне удавалось достигнуть, но чрезвычайно поздно: когда я поступил в Оксфорд, мне было больше 30 лет; в пятьдесят семь я стал настоятелем собора; я полюбил и счастливо женился, когда мне было больше шестидесяти; моя жена почти на сорок лет моложе меня, и у меня две очаровательные дочки; я всю жизнь хотел увидеть мир. Мне это удалось, но только в старости, и, наконец, мадам, я встретил вас!»

Года через три после этой первой встречи из Англии пришла книга с дарственной надписью, и там, к нашему изумлению, мы обнаружили главу «Скульптор и ее сын» — о нашем доме и о том, как он к нему «прижился». По-видимому, это единственное описание встреч с Верой Игнатьевной, записанное иностранцем, и притом человеком мудрым и доброжелательным. Поэтому я осмеливаюсь привести перевод этой маленькой главки из книги Хьюлетта Джонсона целиком. Перевод сделан мной и публикуется впервые.

Скульптор и ее сын

На банкете, организованном в нашу честь в мае*, многие гости выступали с речами: Бородин, Колесников, Капица, Эренбург... Рядом со мной сидела дама, среднего возраста,

ЗАМКОВ Всеволод Алексеевич родился в 1920 году в Москве. Сын скульптора Веры Мухиной и ученого-медика Алексея Замкова.
Из-за длительной болезни в детстве (туберкулез) пошел в школу сразу в седьмой класс. В 1938 году поступил на физический факультет Московского университета, который окончил в 1947 году. В военные годы работал лаборантом-физиком в ряде исследовательских институтов. С 1951 по 1972 год преподавал на физическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, а с 1972 по 1987-й — заведовал кафедрой физики в 1-м Ленинградском медицинском институте. Доцент, кандидат физических наук, автор монографии и более 80 работ по молекулярной физике.

невысокая, крепко сбитая, с интеллигентным лицом и мягкими уверенными манерами — вылитая директриса школы в Челтенхеме или в Бедфорде. В своей краткой и несколько официальной речи она сказала, что хотела бы вылепить и подарить своей стране бюст ее друга — настоятеля Кентерберийского собора, если, конечно, он даст свое согласие и посетит ее мастерскую. Это была Вера Игнатьевна, вдова доктора Замкова, известный русский скульптор, более известная под своим профессиональным именем «мадам Мухина». Вежливо приняв приглашение, я попал в очаровательный дом. Мадам Мухина живет со своим сыном, Всеволодом Замковым, и опытной и верной служанкой, которая работает в доме с молодости и глубоко привязана ко всей семье.

Мое первое посещение состоялось летним вечером. Дом расположен на углу большой пятиугольной, полной движения площади на окраине Москвы. Его внешний вид был такой же запущенный, как и все вокруг. Заброшенный двор вел ко входу в красивое старое здание, разрушающееся в тяжелые времена. Огромные куски дерева загромождали холл, ожидая резца Мухиной.

Высокая жилая комната несла следы былого величия, да и сейчас содержала много прекрасных вещей: серебро и фарфор на кофейном столике, цветочный мед с дачи Замковых, книги и рисунки, разбросанные в легком беспорядке, характерном для домов больших художников, — скорее прихожая художественной мастерской, чем гостиная жилого дома. Всюду следы высокой культуры. Ни следа богатства или роскоши, в то время как художники принадлежат к наиболее высокооплачиваемым трудящимся в Советском Союзе.

Старая домработница, узнав, что я священник и увидев мой крест, схватила и поцеловала его. «Она верующая», — сказала мадам Мухина, с нежностью глядя на старую женщину.

Попивая великолепный кофе в перерывах между сеансами, мы оживленно разговаривали. Воля, как мы кратко называли Всеволода, молодой человек двадцати шести лет с очаровательными задумчивыми манерами, которые часто бывают у юношей, в раннем детстве оторванных болезнью от нормальной активной жизни (он переболел разными видами туберкулеза). Благодаря активным занятиям в детстве, Воля рано научился читать и глубоко разбирается в литературе. Он тонко выражает свои мысли по-английски. Профессионально он занимался физической оптикой, и мои посещения совпали с его выпускными экзаменами в университете. Оживленные, калейдоскопические разговоры с ним и с Тамарой (их хорошей знакомой) прерываются веселым хохотом. Мадам Мухина поднимает глаза, улыбается и продолжает работать. Они только что с удовольствием посмотрели английский фильм «Генрих V» и говорят, что он менее реалистичен, чем большинство других фильмов, что дает большие возможности для художественного отбора и выявления главного.

Воля увлечен английской жизнью, литературой и культурой, и он надеется когда-нибудь поучиться в Оксфорде. Однажды он извлек большую английскую книгу по медицине семнадцатого века, обнаруженную у букиниста. Он прочел там описание средства от экземы — настой листьев анютиных глазок. Его знакомый, заболевший экземой в Париже, консультировался у парижского специалиста, который ему посоветовал отвар листьев анютиных глазок как новейшее и наиболее эффективное средство.

В вопросах философии Воля обладает острым и свободным умом. Как и многие другие русские, он согласен с тем, что смерть скорее является концом главы, чем концом книги, но считает трудным поверить в то, что человеческое эго, как мы его понимаем, сохраняется и по ту сторону жизни. Он, однако, готов признать силу аргументов, вытекающих из того научного факта, что индивидуализация непрерывно возрастает с ростом взаимосвязи и что это является законом жизни и эволюции. Воля обладает и практической жилкой, помогая своей матери во всех ее планах, например, в постройке нового дома и мастерской. В мастерской он помогает своей матери, которую он нежно любит и глубоко уважает. Он готовит глину и каркасы, усаживает и фотографирует модели со всех сторон. Его фотографии великолепны.

Мастерская хранит прекрасные произведения искусства: полки с бюстами, некоторые из них, очевидно, просто портреты, другие являются разными истолкованиями модели. Мадам Мухина так же хорошо режет по дереву, как и лепит. Ее любимый материал — коричневое твердое узловатое дерево. Монументальная голова профессора стоит в мастерской. Про мой собственный бюст я могу сказать две вещи: во-первых, я увидел в нем то, чего никогда не видел в моем зеркале — невероятное сходство с моей матерью. Во-вторых, она изобразила скорее того, кем хотел бы меня видеть Бог, чем того, кем я являюсь на самом деле. Этот мой отзыв ее позабавил.

Наше последнее утро памятно мне разговорами и юмором. Мадам Мухина только что вернулась из Франции, где она участвовала в собрании 3000 женщин, англичанок, итальянок, но больше всего француженок. Одна делегатка прибыла из Испании, и, к ее удивлению, только одна из Бельгии, где женщины все еще лишены избирательного права. Для мадам Мухиной страна не является свободной, если в ней женщины не имеют права голоса. Мадам Мухина тщательно подготовила доклад об искусстве, который, по ошибке, был прочитан в Марселе, где он не был понят. Она также подготовила доклад о французском искусстве, которое, по ее мнению, является слишком абстрактным и лишенным содержания. Когда я спросил ее, что она в точности понимает под содержанием, она показала на бронзовую статую молодой, крепкой крестьянки с полными грудями и округлой фигурой, стоящей со скрещенными руками и высоко поднятой головой — воплощение уверенности в честной работе и изобилии, которое возникает от упорядоченной экономии. «Вот это содержание», — сказала она. Статуя привлекла внимание Муссолини, который заказал ее, отлив для одной из своих прибрежных вилл.

Как и Герасимов, мадам Мухина не приемлет работы Пикассо. Она предпочитает работы Александры Экстер, имеющие хоть какое-то содержание в дополнение к изысканному чувству цвета.

Россия, наименее похотливая страна из всех, какие я знаю, и наиболее морально здоровая, является одновременно и наиболее откровенной. Совершенно естественно, безо всяких следов отвращения русские говорят о вещах, которые совершенно недопустимы в английских гостиных. Например, Тамара, которая только что вернулась из поездки с австралийским ученым, рассказывала, что на конном заводе ученый настоял на подробном описании практикуемого там искусственного осеменения кобылиц. Все семейство забавлялось ее трудностями при переводе.

Мы снова и снова обсуждали труды отца Воли, Алексея Замкова, историю жизни и смерти которого я узнал от самой мадам Мухиной. И она, и Воля объяснили совершенно точными словами открытия и опыты доктора Замкова по инъекциям стерилизованной мочой беременных женщин, содержащей, по его утверждению, избыток веществ, необходимых для создания нового организма. При этом основной целью является не борьба с болезнетворным началом, а укрепление тех органов, которые атакует болезнь. Статистика излечений доктора Замкова весьма впечатляюща. Мадам Мухина сказала, что, систематически пользуясь инъекциями, она ни разу не болела в продолжение восемнадцати лет. Для меня, однако, наиболее интересным был тот факт, что весь разговор между молодым человеком и молодой женщиной в присутствии матери молодого человека происходил абсолютно беспристрастно, без малейшего намека на неловкость или следа сальности.

Мы обсуждали вопросы искусства. Мадам Мухина согласилась с Тамарой, что работа над моим портретом была бы гораздо больше в духе Корина, хотя и согласилась с высоким качеством работы Герасимова. «Он был бы духовно более выразительным», — сказала она. Мадам Мухина хочет поэкспериментировать при отливке моего бюста. Он должен быть в черной одежде, с посеребренными волосами и с лицом темно-красной бронзы.

Мадам Мухина рассказала мне историю своей жизни. Ее отец происходил из богатой купеческой семьи, торговавшей пенькой и хлебом. Во время революции семья потеряла около двух миллионов рублей. Она постаралась мне объяснить, что русские, веками привыкшие к нападениям татар и поляков, воспринимают такие потери менее серьезно, чем на Западе. Ее мать, от которой у нее была примесь чужой, немецкой или французской крови, умерла в 1891 году в Ницце в возрасте двадцати девяти лет. В это время Мухиной было полтора года, и ее отец, опасаясь за здоровье детей, переехал в Крым, где в Феодосии он основал завод по производству конопляного масла. С раннего детства мадам Мухина любила рисовать. Я рассматривал ее старую фотографию: прекрасное дитя с высоким лбом, внимательно склонившееся над своим рисованием. Отец умер, когда ей было четырнадцать лет, и опекуны отвезли ее в Курск, где она окончила гимназию и откуда переехала в Москву, чтобы продолжать свои занятия рисунком в той же школе, где занималась и мать Тамары — у широко известного в то время художника Машкова.

1912 год оказался поворотным в ее жизни. При катании с гор сани налетели на дерево. Мухина ударилась о ствол. Придя в сознание, она поняла, что сильно пострадала. Прежде всего, она ощупала лоб и убедилась, что он цел, но нос был изуродован. К счастью врач, к которому ее немедленно отвезли, оказался специалистом высокого класса и так совершенно соединил сломанные и оторванные части, что только когда мадам Мухина стояла совсем близко от меня, я сумел рассмотреть у переносицы большой шрам.

В то время, однако, лицо ее было сильно обезображено. Она была красивой, впечатлительной девушкой и боялась, что будет вынуждена, как это было принято в то время, уйти в монастырь и окончить свои дни в заточении. Наступила полная депрессия. Затем ее охватило внезапное желание отправиться за границу, где, никому не известная, она сможет заниматься своим искусством. Ее опекуны, сначала сопротивлявшиеся, так как в то время считалось неуместным для молодой двадцатилетней девушки отправляться за границу одной, не знали, что делать, но наконец сдались, и она уехала в Париж. Свой успех в искусстве мадам Мухина приписывает своему исковерканному лицу: «Это падение на горе сильно обогатило жизнь».

В Париже она поступила в художественную академию, где преподавал ученик Родена — Бурдель. Она пробыла там две зимы и ушла: «В этом заключалось все образование, которое я получила, — сказала она, — по сути дела я самоучка». Бурдель, однако, дал ей урок, который она никогда не забывала. «...Он научил меня видеть монументально, Роден, учитель Бурделя, никогда не был монументален. Ни в «Гражданах Кале», ни в «Викторе Гюго» нет подлинной монументальности. Я больше почерпнула от Индии и от Египта, чем от Родена», — говорила она. По ее выражению, у Родена взгляд «бульвардье». Он смотрит на вещи, как на них смотрел бы человек улицы: как он их видит, так и изображает. «Я насчитала двадцать восемь примеров подобной вульгарности», — сказала она. Она увидела у Родена и элементы эротики, которые также показались ей безвкусными.

Два года пребывания в Париже не прошли бесследно. Она интенсивно училась и узнала множество людей, посещала школу кубистов. Она хотела изучить все достойное изучения, хотела все понять. Мухина обнаружила, что работает в двух совершенно различных мирах. С Бурделем она была в школе природы. С кубистами она была в школе абстракции. Кубисты в своем творчестве исходили из природы, но старались избежать ее ощущения в произведениях. Она считала себя обязанной овладеть видением и техникой кубизма: «Я не могу пренебрегать чем-либо, чего я не понимаю, и я им (кубизмом) овладела», — сказала она. Овладела, но только для того, чтобы от него отказаться. «Абстрактное искусство уводит от сути вещей», — считает она. Хотя Мухина вспоминает художественную школу кубизма с известной благодарностью: «Это было нечто вроде лаборатории, в которой мы исследовали вещи». Эта лаборатория сыграла хорошую роль в ее художественном воспитании. Перед тем, как покинуть Париж, Мухина нашла свою собственную линию в творчестве: она должна отыскивать и изображать внутреннюю душу и содержание вещей и воплощать их монументально. Она покинула Париж с пристрастием к реалистическому искусству, к тому, что начинать надо с вещей, как они есть, но не кончать на этом; к тому, что путь развития искусства от того, что есть, к тому, что может быть и должно быть.

Я подумал о моем собственном бюсте и о своем замечании: «Это тот человек, каким меня хотел сделать Бог». Да, это не тот человек, каким, увы, я являюсь, но «исходный материал» — я, какой я есть. В портрете нет ничего абстрактного, но нечто действительное и существующее. Это та же причина, по которой крестьянская девушка, стоявшая подбоченясь передо мной в мастерской, была не «фотографией» какой-либо крестьянской девушки, а идеалом всех крестьянских девушек. Именно поэтому так величественны, так одухотворены лица скульптур молодых людей рабочего и колхозницы на советском павильоне в Париже. Они выражают романтическую приподнятость, целеустремленность советской молодежи.

Когда мадам Мухина вернулась из Парижа, разразилась война 1914 года. Долг призывал ее. Она покинула Россию как несчастная молодая девушка, страдающая от погибшей красоты; двумя годами позже она вернулась возмужавшей и целеустремленной молодой женщиной, готовой служить своей родине в качестве сестры милосердия.

Во время гражданской войны она работала в московском госпитале, расположенном между позициями красных и белых. И аристократы, и пролетарии, и буржуи одинаково попадали под ее опеку. Она помогала всем. Однажды Мухина переправляла своих самых тяжелых пациентов в военный госпиталь. На всю жизнь она запомнила эту дату: 17 декабря 1917 года. В этот день она снова встретила уже знакомого ей Алексея Замкова, за которого через год, в 1918 году, вышла замуж.

Мухина была счастлива в браке. Ее муж обладал высокими душевными качествами, он был добр и оказал большое влияние на ее характер. Он уважал ее художественный дар. Он дал ей свободу заниматься искусством.

Во время гражданской войны жизнь была тяжела. Она зарабатывала на жизнь рекламой и этикетками, но позже снова занялась скульптурой и, наконец, получила место преподавателя в центральной художественной школе в Москве.

В 1920 году родился Воля, и, хотя сначала руки Мухиной были связаны домашними обязанностями, она вскоре снова вернулась к работе, а в 1927 году завоевала первый приз на Юбилейной художественной выставке и командировку во Францию. Наконец ей предложили участвовать в конкурсе на создание скульптуры, которая должна была украшать и завершить знаменитый советский павильон на выставке в Париже, где я впервые увидел ее работу. Это был огромный труд, и целый штат из 200 человек, включая 30 инженеров, помогал ей в этом. Потрясающая арка шарфа, летящего по воздуху дугой в тридцать метров длины и весом в пять с половиной тонн, касается группы только в двух точках. Вся работа была очень трудна и была выполнена только благодаря помощи, которую она получала от правительства. Работа была поучительна и обогатила рабочих новым пониманием искусства. Многие до сих пор хотели бы работать вместе с ней. Свою премию она разделила с рабочими.

Воля и Тамара любят и знают Англию. Обращаясь к США в вопросах техники, производства и инженерных решений, в Англии они ищут культуру. По их словам, Америка слишком занята бизнесом и слишком материалистична. Американская культура появится позже. Культура страны достигает своей высшей точки, когда страна напоминает спелую вишню, даже немного переспелую; когда население материально обеспечено и достижение богатства больше не поглощает лучшие силы нации, когда жизнь обеспечивает досуг для деяний духа. Англия уже достигла этой ступени.

В личной спальне, в которой мадам Мухина пишет, читает и отдыхает, на маленьком столике я увидел фотографию поразительно красивого мужчины с сильным и добрым лицом. Перед ней всегда стояли свежие цветы. Это был портрет доктора Замкова, мужа мадам Мухиной, и в этот последний день она рассказала мне историю его жизни, его усилий для того, чтобы стать врачом, и о его творческом подвиге в медицинской науке.

Мне было жаль покидать мастерскую, бронзовую крестьянку, голову профессора, бюст сильного юноши с голыми руками (их родственника, до смерти замученного нацистами), большую синюю вазу, массивный хрусталь и старый фарфор, пожилую служанку и Волю, и Тамару, и мадам Мухину: веселую, остроумную, целеустремленную — серьезную советскую семью, которую я так полюбил».

Семья и дом

Семья и личная жизнь всегда оказывают большое влияние на творческого человека. О семейной жизни Веры Игнатьевны почти ничего не известно и не опубликовано. Поэтому

я осмеливаюсь, к столетней годовщине со дня ее рождения, написать несколько строк, основываясь на личных воспоминаниях и немногочисленных сохранившихся документах.

Вера Игнатьевна Мухина родилась в богатой купеческой семье в Риге. Семья была большая и по-европейски культурная: дед Мухиной был назван Козьмой в честь знаменитого основателя флорентийского рода Медичи — Козимо. Семья занималась международнои торговлей: пеньку и пшеницу из Смолеиска и Рославля, откуда происходил род, сплавляли по Западной Двине (Даугаве) в Ригу и там перегружали на корабли, увозившие товары за границу, главным образом в Англию.

Во время моего первого посещения Риги в 1937 году еще был жив управляющий деда и отца Веры Игнатьевны И. В. Пивоваров. Когда я пришел с ним познакомиться, глубокий старик (ему было около 95 лет) сидел в кресле на крылечке старой деревянной мухинской гостиницы (на этом месте на улице Тургенева сейчас стоит здание Латвийской Академии наук) и грелся на солнышке. К моему ужасу, он встал и поцеловал мне руку! Увидев мое смятение, он сказал: «Всеволод Алексеевич, ведь Пивоваровы были управляющими у Мухиных более ста лет».

Мне показали мухинское «наследство»: старые дома по Тургеневской, лесопилку на берегу Красной Двины, вереницу огромных трехэтажных каменных складов, которые и сейчас тянутся за железнодорожной станцией от рынка до самого берега Двины. Так как Вера Игнатьевна не предъявила своих прав на все это имущество, то оно было конфисковано, как вымороченное, буржуазным правительством Латвии в 1938 году.

Мне мало что известно о детских годах моей матери. После смерти бабушки от чахотки в 1891 году в доме поселилась ее компаньонка и приятельница Анастасия Степановна Соболевская. Воспитанница Московского Сиротского Дворянского Института, она отличалась справедливым, но властным и иногда вздорным характером. Она по сути дела вела дом и ведала воспитанием девочек, мамы и ее старшей сестры Марии, в особенности после того, как в 1904 году умер их отец и они остались сиротами. Дяди-опекуны продали дом и заводик в Феодосии. Семья перебралась в Курск. Здесь Вера с отличием окончила гимназию и вместе с сестрой начала вести светскую жизнь богатых девушек на выданье. Появился и первый жених: за нее посватался блестящий гвардейский офицер, Александр Александрович Кондрашов, «самый красивый офицер во всей гвардии», как писала одна из подруг моей матери. Однажды, разбирая старые фотографии, мы наткнулись на его карточку. Он был действительно очень хорош! Я спросил маму: «Почему ты не вышла замуж за такого красавца?» — «Он очень добрый и хороший человек, но он так неумен! Вот и теперь он запутался в трех женах, как между тремя соснами, и наведывается к нам за полезными советами», — ответила она. Действительно, после революции А. А. Кондрашов занимался пожарной охраиой Москвы и время от времени наведывался к нам. Огромный, седой и все еще красивый, он присутствовал на похоронах Веры Игнатьевны.

Второй, более серьезный роман мама пережила в Париже. В художественной школе, где она занималась под руководством Бурделя, работал молодой эмигрант из России Александр Вертепов. Уроженец Северного Кавказа, он еще гимназистом стрелял в пятигорского губернатора и был вынужден бежать из России. Вера Мухина, Иза Бурмейстер, Борис Терновец и Александр Вертепов, а позже и его друг Василий Крестовский, составляли тесную компанию, занимавшуюся скульптурой, философией и музыкой. Вероятно, не без влияния Вертепова Мухина впервые задумалась о революционном движении. Во всяком случае, в одном из ее высказываний она сказала о посещении в Париже лекций и о знакомстве с Луначарским. Можно думать, что и художественное влияние Вертепова было достаточно сильным: сохранилось высказывание о нем Бурделя: «Этот мальчик уже сейчас сильнее Родена!». Когда началась мировая война, Вертепов и Крестовский, движимые патриотическими чувствами, поступили добровольцами во французскую армию. Они и были убиты одним снарядом в первый же год войны, под Соммой. После смерти мамы, разбирая ее самые дорогие личные документы, я обнаружил два письма Вертепова с фронта и газетную вырезку с сообщением о его смерти. Все, что нам от него осталось, это прекрасная голова с лицом поэта и духовидца — вероятно, лучший портрет, сделанный Верой Игнатьевнои до революции.

В пятнадцатом году, окончив школу медсестер, Вера Игнатьевна и ее двоюродная сестра Наташа Печковская начали работать в госпитале. Питались они вместе и как-то, поев зараженной колбасы, обе заболели трихинозом. Болезнь протекала очень тяжело, и тетя Маруся — сестра Веры Игнатьевны, пригласила своего знакомого, молодого, но уже известного врача Алексея Андреевича Замкова. Как рассказывала мама, и она и Наташа Печковская обязаны жизнью его врачебной чуткости и таланту. Вскоре, когда они начали поправляться, он снова уехал на фроит. Они встретились в декабре семнадцатого года, а еще через год, в 1918 году, они поженились.

Брак с Замковым оказался необычайно счастливым: «Я выиграла Алешу, как сто тысяч по трамвайному билету», — говорила неодиократно Вера Игнатьевна. Несмотря на сильный характер и большую самостоятельность, судьба свела Веру Игнатьевну с человеком, и духовно и морально еще более сильным, чем она.

Я плохо знал отца. На моей памяти веселый и многолюдный дом моего детства после ареста родителей в 1930 году и их возвращения из воронежской ссылки в 1932-м сильно изменился. Отец спокойно, но методически отвадил от дома всех, кто не вел себя достойно в годину испытаний, даже своего отца и сестер. Он им помогал материально, лечил, но не звал к себе и не общался лично. Остались только те, кто ничем не запятнал себя в его глазах: младший брат Сергей, талаитливый архитектор, погибший в начале войны в конце 41-го года, одна из сестер — Анна Андреевна, семья певца Л. В. Собинова, опекавшая меня во время отсутствия родителей, научный руководитель и друг отца профессор Н. К. Кольцов, архитектор В. А. Веснин, Надежда Петровна Ламанова. О каждом из этих замечательных людей можно и стоит написать подробнее. Много позже, уже во время войны, я понял, что объеднняло этих людей в нашем доме: высочайшая этика поведения и взаимоотношений.

Отец происходил из крестьянской семьи деревни Борисово в четырех километрах от г. Клина. Семья, состоящая из пятнадцати детей, была бедная. Многие умерли в младенчестве. Отец — второй ребенок в семье. В четырнадцать лет он окончил три класса приходской школы и был отправлен дедом на заработки грузчиком в московскую таможню. Проработав в таможне три года, отец окончил бухгалтерские курсы и начал работать артельщиком в банке «Взаимного кредита». Во время революции 1905 года он познакомился с большевиками (Л. Б. Красиным, М. Ф. Андреевой) и, отличаясь отчаяниой смелостью, участвовал в переброске оружия через баррикады во время восстания на Пресне. После он сблизился с левыми эсерами и принимал активное участие в экспроприациях. В частности, из одного разговора в 1942 году я узнал, что, работая в банке, он был одним из организаторов нашумевшей экспроприации «в Фонарном переулке» в Петербурге. Где-то около 1907 года в его жизни произошел резкий перелом: он перестал заниматься революционной деятельностью, познакомился и сблизился с Чертковым и другими толстовцами, решил завершить свое образование. После двух лет усиленных занятий ему удалось сдать на аттестат зрелости и поступить в Московский университет на медицинский факультет. В медицине отец нашел свое призвание. Его учитель, знаменитый хирург Алексинский, отмечает его легкую руку, талант днагноста и называет его «драгоценнейший».

Окончив университет в 1914 году, он тут же отправился иа фронт врачом-добровольцем. В пятнадцатом году он уже был начальником нескольких госпиталей Юго-Западного (Брусиловского) фронта.

Меня неоднократно спрашивали: что же соединяло моих родителей, столь различных по происхождению, воспитанию и образованию? Тяжелая жизненная школа отца, желание служить людям, приведшее его к медицине, соедиившись с природной смелостью, силой воли и необычайной внимательностью (обусловившей его способности, как прекрасного диагноста), выковали из него человека с духовным складом, близким к Ганди или Швейцеру. И отец, и мать бесконечно доверяли друг другу.

Ленинград

АФИША «КНИГИ»

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989 ГОДА

Экспресс-издания «Книги» торопятся донести до читателя остроактуальные проблемы современности. Здесь и освобожденные из-под спуда долгих лет воспомнинания, дневники, исторнческие материалы. Иные из этих книг уже увидели свет, другие — готовы выйти из типографии.

РАЗГОН Л. НЕПРИДУМАННОЕ. 14 л., 2 р. 50 к., 100 000 экз.

Автор, осужденный в тридцатые годы по ложному доносу, рассказывает о годах, проведенных в заключении. Люди, с которыми свела его судьба в тюрьмах, лагерях, на поселении, — герои повествования. Среди них — крупные военные, политические деятели, а также члены их семей.

ХАРОН Я. ЗЛЫЕ ПЕСНИ ГИЙОМА ДЮ ВЕНТРЕ. 12 л., 3 р., 100 000 экз.

Книга эта — еще одна «лагерная повесть». Но это не просто рассказ о лишениях и тяготах. Ее автор, разносторонне одаренный человек, в труднейших условнях нашел применение своим творческим силам. Стал рационализатором, изобретателем. И поэтом. И мистификатором. Вместе со своим товарищем по лагерю он придумал некоего французского поэта XVI века Гийома дю Вентре. Сочинил сто его сонетов. Его биографию. Комментарии к сонетам. На фоне реальной судьбы автора сонеты мифического поэта обретают особую драматичность и глубину.

АГНИВЦЕВ Н. БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 3 л., 1 р., 50 000 экз.

Издание является репринтным воспроизведением лучшей книги стихов полузабытого русского поэта Николая Яковлевича Агнивцева (1888—1932), вышедшей в 1923 году в издательстве И. П. Ладыжникова в Берлине. Поэт посвятил книгу своему городу, его истории, традициям, быту. Издание сопровождается кратким послесловием, из которого книголюбы, любители поэзии могут узнать о Н. Агнивцеве.

СЕМЕВСКИЙ М. И. ЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ. 15,5 л., 2 р. 40 к., 100 000 экз.

Исследование известного русского историка прошлого века (первое издание — 1883) о быте и нравах Россин в эпоху Петра I составляет одну из книг «Очерков и рассказов из русской истории XVIII в.» Книга, написанная в жанре исторической беллетристики, повествует о судьбе царицы Прасковьи, жены царя Ивана Алеексеевича, правившего в 1682—1696 гг.

ЩЕГОЛЕВ П. АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАВЕЛИН. 22 л., 3 р., 100 000 экз.

Книга ученого и писателя, не переиздававшаяся в нашей стране более шестидесяти лет, раскрывает тайны секретной тюрьмы XIX века, рассказывает о судьбе ее узников, среди которых были не только деятели освободительного движения России, но и лица, чье поведение правительство расценивало как вызов существующему порядку.

ЗЕМЛЯ, ЭКОЛОГИЯ, ПЕРЕСТРОЙКА. 4 л., 50 к., 30 000 экз.

В сборник вошли материалы Пленума правления Союза писателей СССР, посвященного экологическим проблемам: доклад секретаря правления СП СССР Ю. Черниченко, содоклад секретаря правления СП СССР В. Распутина, выступления Д. Кугультинова, Ю. Щербака, С. Залыгина, а также обращение участников Пленума к Академии наук СССР, Академии медицинских наук и Министерству здравоохранения СССР.

ЧЕРНЯК А., ЧЕРНИЧЕНКО А. КОНСОЛИДАЦИЯ. 15 л., 95 к., 50 000 экз.

Цель книги — воссоздание возможно более точной картины межнациональных отношений в нашей стране, анализ самых болезненных конфликтов на этнической почве, их природы и возможных путей развития.

Основные разделы книги:

— Национальные проблемы в СССР — имитация и реальность.
— Есть ли у шовинизма точка опоры?
— «Карабахский комплекс» — реакция на застой.
— Народны ли «народные фронты»?
— 60 миллионов людей без территории?
— Выживут ли малые народы?

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Слово» и издательство «Книга» традиционно разыгрывают в этой афише семь призов, семь экспресс-изданий. Предлагаем ответить на наши вопросы:

ЛЕВ РАЗГОН хорошо известен читателю как популяризатор, автор познавательной литературы для школьников. Одна из его наиболее известных книг «Под шифром «Р6» посвящена выдающемуся деятелю культуры прошлого века. Что это за шифр и о ком рассказал писатель?

«Царица Прасковья» — лишь часть трилогии, принадлежащей перу **МИХАИЛА ИВАНОВИЧА СЕМЕВСКОГО**. Назовите другие исторические очерки, вошедшие в ее состав.

Тревога за судьбу родной земли зазвучала в художественном творчестве **ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА** задолго до того, как об экологии в полный голос заговорили печать, общественность, официальная наука. В каких произведениях писатель развивает эту тему?

Итак, ждем правильных ответов.

АФИША «КНИГИ»

ЛЕОНИД БЕЖИН

ПРОБУЖДЕНИЕ

Рассказ-воспоминание

БЕЖИН Леонид Евгеньевич родился в Москве в 1949 году.
Окончил Институт стран Азии и Африки при МГУ. Кандидат филологических наук, член Союза писателей СССР. Автор книг «Метро «Тургеневская», «Гуманитарный бум», «Ангел Варенька», «Ду Фу» (серия ЖЗЛ), «Под знаком «Ветра и Потока», «Се Линь Юнь». Основная творческая тема — жизнь интеллигенции, психологические проблемы человеческих взаимоотношений.

I

Не представляю себе Москвы без мастерских художников — не тех, которые назойливым и шумным табором раскинулись на старом Арбате, а уединенных, скрытых от посторонних глаз, прилепившихся, словно ласточкины гнезда, под крышами домов, на мансардах, в пристроечках и флигелечках. Посмотришь и не подумаешь, что мастерская, настолько все по-домашнему — даже цветок на окнах и палисадничек разбит, и леечка возле крыльца, и кошка на кирпичном заборе, но мелькнет за занавеской угол мольберта или гипсовая античная голова, и ясно станет: художник... А вскоре и он сам появится — с окладистой бородкой, рукава ковбойки закатаны до локтей, в руке скляика с разбавителем, — значит, кончил работу и сейчас будет мыть кисти и чистить палитру. По сосредоточенному выражению лица, с каким он это делает, по едва заметному движению губ и бровей, по обозначившимся на лбу глубоким морщинам угадываешь человека, привыкшего подолгу разговаривать с самим собой: лицо невольно участвует в разговоре. Глаза туманит рассеянная задумчивость, и струйка разбавителя не попадает в пригоршню руки. «Да ты, брат, из тех отшельников, которых сутками не оторвать от мольберта и которые по штришку, по мазочку выделывают свои полотна!» — готов воскликнуть свидетель этой сцены, и действительно, он прав: по штришку, по мазочку. Не показывая своих полотен даже самым близким друзьям. Сам себе — ценитель, сам себе — судья. Если что не так — скребок в руки, и полугодовой работы как не бывало. Зато к другим полон мягчайшей, участливой снисходительности, и случись оказаться на старом Арбате, перед мольбертами незадачливой уличной братии — никакой надменной позы учителя, никакого сознания своего превосходства. Окинет взглядом и кивнет головой, как бы даже поощряя, как бы даже похваливая, и только откровенное кощунство или полная неумелость заставят вдруг поугрюметь и отойти в сторону...

Признаться, и я бывал свидетелем таких сцен и частенько захаживал в московские мастерские. С видом робкого гостя, благодарного за полученное приглашение, я усаживался в кресло, подолгу разглядывал холсты, висевшие на стенах, и тоже кивал головой, тоже похваливал, хотя не столько живопись привлекала меня, сколько сами мастерские, эти фантастичнейшие углы, особые хранилища духа московского. Почему особые? Да потому что они совершенно непохожи на все то, с чем связываем представление о настоящей старой Москве — на белокаменный храм с пятью золотыми маковками, на особнячок-музей, дремлющий в арбатском переулке, на гнездо московского старожила. Каким образом та или иная пристроечка или флигель могут стать мастерской? Крыша течет, паркет коробится; в щели задувает ветер — отдать художнику. Так и выходит, что художник получает во владение эти удивительные чердаки и подвалы, мансарды и мезонины, брошенные прежними хозяевами, но сохраняющие следы их недавнего пребывания. Иными словами, это жилища, где когда-то жили, но уже не живут. Зато теперь там грунтуют холсты, выдавливают на палитру краски, пишут картины. Отсюда и этот странный, нереальный, фосфоресцирующий быт. То хозяин притащит со свалки рассохшийся буфет с цветными стеклышками в дверцах, то раздобудет старинный, затейливый поставец, то повесит на стену икону да еще лампадку зажжет — как подобает по православному обычаю. Вот и становится мастерская и храмом, и музеем, и гнездом старожила, и воцаряется в ней некий таинственный дух, некое загадочное свечение, столь свойственное всякому необычному месту. И робкий гость, сидящий в кресле и старательно разглядывающий холсты, иногда вздрагивает от неясного скрипа, от смутного шороха — словно незримая тень проносится над ним, и с наигранной беспечностью спрашивает хозяина: «Послушай, а как у тебя с домовыми? Не шалят?» А хозяин и рад бы ответить шуткой, да самому страшно. Поэтому он лишь прикладывает палец к губам и предостерегающе произносит: «Т-ссс!»

Среди московских мастерских есть одна, где мне доводилось бывать особенно часто. И не только потому, что расположена она в самом центре Москвы, на Пречистенке (все равно название это будет возвращено нынешней Кропоткинской, как Остоженка — бывшей Метростроевской), а главным образом, из-за давней дружбы с хозяином — художником Юрием Григоряном. Познакомились мы в ту пору, когда у него и мастерской-то своей не было и он урывками работал у брата, тоже художника Григория Григоряна, обитавшего на Остоженке (тогда еще — Метростроевской), в маленькой комнатушке, из окон которой была видна вся Москва — и Кремль, и Александровский сад, и два крыла старого университета, разделенные улицей Герцена, и красное теремное здание Исторического музея, и крыши Манежа — одним словом, все самое дорогое и близкое сердцу. Потому-то и любил я здесь бывать и с сожалением думал о том, что когда-нибудь мой друг получит и свою мастерскую — где-нибудь в новых районах, на краю Москвы, и — прощай, Остоженка! Для меня навсегда исчезнет картина, неведомой рукой вставленная в раму окна. Но случилось так, что мастерская Юрия оказалась на соседней улице, в двух шагах от мастерской Гриши, и вскоре для меня стало привычным и необходимым ритуалом войти под своды пречистенского дома, построенного в стиле модерн (изразцовый фриз, мозаика, лепной декор), подняться в лифте на последний этаж, а там — ступеньками потаенной лесенки — наверх, под самую крышу, к маленькой дверце, ведущей на мансарду! Надо позвонить — в дверном глазке вспыхнет свет, дверца откроется, и появится сам хозяин, хмурый и не слишком разговорчивый (оторвали от мольберта), с черной армянской бородкой, в длинном фартуке, делающем его похожим на каменотеса, в клетчатой ковбойке... да, да, рукава подвернуты и веер кистей в руке. Две-три фразы вместо приветствия и — тихонечко сесть в уголок, спрятать голову в газету, расставить фигурки на шахматной доске, всем своим видом показывая: я занимаюсь своими делами, тебе не мешаю, а ты — работай.

Или еще лучше — подойти к окну и посмотреть на крыши. Нигде нет таких московских крыш, какие видны из окон мастерской — высокие и низкие, пологие и горбатые, похожие на пюпитры огромного оркестра. А какие пожарные лестницы — старые, проржавевшие, местами забитые досками (чтобы не соблазнять мальчишек). Какие слуховые окна, тускло поблескивающие остатками выбитых стекол! Какие водостоки, трубно ревущие во время грозы и выплескивающие из жерла пенную дождевую муть! Поистине этот заповедный мир крыш так же много говорит сердцу москвича, как и царство глухих переулков, тихих двориков и тенистых бульваров, и я, живущий на третьем этаже, завидую моему другу, чья мастерская висит над Москвой, словно корзина воздушного шара... Последний мазок, и мой друг кончает работать — мое навязчивое присутствие все-таки заставляет обратить внимание на гостя. После ритуального подъема в лифте и восхождения по ступенькам потаенной лесенки меня ждет следующий ритуал — показа новых работ. Я выбираю точку обзора, складываю на груди руки и немного прищуриваюсь, как и подобает искушенному знатоку и ценителю, обязанному вынести взыскательное суждение. Мой друг ставит передо мной картины, которые до этого были повернуты к стене. И что же? Нахожу ли я в них продолжение чему-то московскому? Нахожу ли то самое веяние, которое незримо сопровождало меня, пока я шел знакомыми переулками от Арбата до Пречистенки? Признаться, и да, и нет... Порою мне бывает странно, попадая сюда, на эту мансарду, висящую над московскими крышами, видеть на холстах нечто совсем иное, восточное, то изнывающе сладостное, напряженное, яркое, то строгое и суровое, как домотканый армянский ковер. Откуда здесь, в Москве, Армения?! Зачем?! Почему?! Да потому что без этой озадачивающей странности, без этого дразнящего миража, без этого затейливого фокуса Москва — не Москва. В ней и Армения, и Италия, и древняя Русь! Еще герой «Чистого понедельника» удивлялся: «Странный город! Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в остриях башен на кремлевских стенах...» Вот и пылающие краски армянской живописи тоже под стать Москве, где Запад издавна сливался с Востоком, классический особняк соседствовал с боярскими палатами, мавританский замок — с каким-нибудь конструктивистским чудом (дом Мельникова в Кривоарбатском), словом, смешивались самые разные стили и веяния.

Что ни говори, а Москва — не просто город. Москва — это столица, метрополия, и ей суждено некое объединяющее, соборное начало, без которого не могли бы возникнуть ни Василий Блаженный, ни Спас-на-Бору, ни Успенский собор в Кремле, построенный итальянцем Фиораванти. Вот и Юрий Григорян для меня московский художник, хотя он не пишет переулков Пречистенки, особнячков с колоннами и каменными львами. Но он москвич по духу, а это так важно для художника — быть москвичом (да не обидятся на меня ленинградцы или владимирцы!), наследовать тем традициям, которые сложились в городе, издавна взявшем на себя миссию духовного центра. Поэтому из глухих уголков — в Москву! В этом исконном стремлении коренного россиянина, в этом ломоносовском подвиге заложен тот высший максимализм духа, который способен удовлетвориться лишь истиной в первой инстанции. Москва давала конечный ответ на духовные запросы, и пытливый ум поверял ею себя — испытывал на крепость знаний и веры, взращенных в родном углу. Поэтому паломничество в Москву никогда не было бегством от родных мест: малая родина обретала завершающую полноту в большой. «Тот Англии не знает, кто знает только Англию», — гласит пословица. Не побывать в Москве, не испытать очищающего воздействия ее атмосферы, не попытаться хотя бы мысленно соотнести свой опыт с ее духовными достижениями — означало погрязнуть в самодовольном провинциализме, и точно так же, как древние паломники возвращались домой с горстью святой земли, художники находили в Москве свою святыню — приобщение к вольному артельному братству, творческое соперничество и дружбу. Вспомним удивительное начало века — манифесты, выставки, споры, борьбу направлений: «мне четырнадцать лет, ВХУТЕМАС...» Как легко себе представить бродящими по булыжной Москве, в тусклых отсветах уличных фонарей, под вывесками сапожных мастерских и галантерейных лавок и молодого Якулова, и молодого Сарьяна, и всех тех, с кого начиналась (вместе с веком!) современная армянская живопись. Скажут: Сарьян учился в Париже. Да, но путь в Париж лежал через Москву, через осмысление и претворение ее духовных традиций, и этот путь так или иначе проделали все армянские художники — от Сарьяна до Минаса Аветисяна. Вот и Юрий Григорян принес в Москву краски Нагорного Карабаха, где он родился и вырос, а в Нагорный Карабах — дыхание далекой Москвы.

Московский художник, он верен своей теме, и то постоянство, с которым он выписывает стену древнего храма, фигурку крестьянина с осликом или женщин, склонившихся у очага, сродни кропотливой работе чеканщиков или камнерезов. Мастерская моего друга тоже напоминает мастерские ремесленников, постукивающих молоточком по наковальне, — в ней нет ничего богемного, артистического, призванного намекнуть на утонченные запросы хозяина, вызвать почтительное перешептывание и многозначительное переглядывание гостей, на которые можно ответить небрежным жестом: «Так... досталось от предков... остатки фамильной роскоши». Повторяю, ничего подобного в мастерской нет, — это именно жилище, а не храм и не музей. Порою мне даже кажется — жилище слишком аскетическое для московской мастерской, и я исподволь внушаю моему другу: а что если раздобыть какую-нибудь штуковину, какой-нибудь странный и замысловатый предмет вроде кованого сундука с громадным ржавым замком, старинной пищали или железного рыцаря с алебардой, но мой друг лишь улыбается в свою бородку и терпеливо ждет, когда иссякнут мои фантазии. Зачем ему рыцарь с алебардой?! И тут я начинаю понимать: он, живущий в Москве много лет, живет здесь по-карабахски — теми устоями, которые усвоил еще с детства. Эти устои просты, как армянский хлеб, как виноградное вино — имей вокруг себя лишь то, что тебе нужно. В этом секрет и его мастерской, и его живописи. Мой друг и в Париже, и в Лондоне, и на Таити будет писать все те же стены древнего храма, фигурку старика-крестьянина и женщин, склонившихся у очага. Вот замечательные слова французского писателя Э. Фромантена (кстати говоря, не только писателя, но и художника), вложенные им в уста главного героя романа «Доминик»: «Не в обиду будь сказано тем, кто отрицает, быть может, влияние почвы, я чувствовал, что есть во мне нечто чисто местное и неподатливое, чего мне никогда не пересадить всецело, и пусть бы даже я хотел акклиматизироваться (в Париже — Л. Б.), бесчисленные связи с родной землей, которых вырвать нельзя, доказали бы мне, причиняя постоянные и тщетные страдания, что это напрасный труд».

Пожалуй, это о нем, о моем друге, чьи «связи с родной землей» заставляют каждый год брать этюдник и туго набитый рюкзак, садиться в скорый поезд, затем пересаживаться в пыльный рейсовый автобус, а затем пешком подниматься в горы, в свою деревню. Говоря об этом, я хотел бы избежать того ложного умиления, с которым иногда рассказывают о таких поездках, о стремлении художника прикоснуться к родным корням и вновь обрести утраченные «связи». Уми-

ляться надо другому: как это художник сумел не поехать... не прикоснуться... не обрести... ведь это требует гораздо большего мужества, большего усилия над собой, большего самоотречения — разумеется, если художник истинный. Вот мне и бывает жаль моего друга, когда ему не удается вырваться из Москвы и он все лето проводит затворником в мастерской, заваривает зеленый чай в пузатом чайнике, передвигает на доске шахматные фигурки и смотрит в окно на горбатые московские крыши. Это — то, что я вижу. *Не вижу* я того, как он по утрам натягивает на подрамник новый холст, выдавливает из тюбиков краски и — работает. Но я знаю, что снова не найду на его холстах ничего московского, и это не огорчает меня. Я как бы говорю себе: да, он московский, но он *армянский* художник со своим «дыханием почвы и судьбы». Именно оно, это дыхание, уберегло Юрия Григоряна от всех соблазнов новомодных течений и сохранило в нем органичное живописное начало. Точно так же, как в убранстве своей мастерской он остается верен нехитрой житейской мудрости, он и в живописи доверяет простому правилу — будь самим собой, не гонись за модой и не старайся походить на других, даже самых знаменитых и признанных. Юрий Григорян не выстраивает в своих картинах условных рядов, ему чужда *знаковость* современной живописи, превращающей реальность в элемент концепции. Живопись для него — прежде всего именно живопись (хочется с большой буквы), свободная, непредсказуемая, живая, а для художника — это самое главное.

II

Кого я только не повидал в мастерской моего друга! Поистине его мансарда обладала загадочным свойством — притягивать самых разных, самых непохожих друг на друга, самых фантастических и невообразимых людей с той неуемной силой характера, которая — словно стеклянная масса, расплавленная в печи стеклодува — свободно принимает любые формы. Вот и среди гостей моего друга встречались чудаки и оригиналы настоящей московской складки, разгуливающие по бульварам в войлочных ботинках, прикармливающие голубей на лавочках, исподтишка мяукающие и кричащие петухом, чтобы затем (когда обернутся прохожие) принять серьезный вид человека, неспособного на такие глупости. А впрочем, наведывался всякий народ, и ладно бы только художники — им, как говорится, сам бог велел, а то ведь и коллеги-музыканты, и друзья-актеры, и братья-литераторы взбирались вереницей по лесенке, звонили в дверь, нагибались к дверному глазку, определяя по вспыхнувшему свету, дома ли хозяин, а когда тот показывался на пороге, дружно набрасывались с рукопожатиями и объятиями. Тут уж не спрячешься, тут уж не поработаешь — накрывай на стол, принимай гостей! Надо сказать, мой друг всегда умел это делать, и на столе тотчас же появлялась свежая зелень, горы овощей, горячий лаваш, приправленная кислым мацони долма. Хозяин занимал свое место во главе стола, и начинался восточный пир. А где пир, там и разговоры, возвышенные речи, пылкие и восторженные признания, и все это искренне, от самого сердца. Случалось, что в разгар пира распахивалась дверь, и приехавший прямо с концерта альтист вставал посреди мастерской, брал в руки тугой смычок и, чуть склонившись к своему инструменту со звучным названием виоль-де-амур, играл старинный армянский речитатив. Или скрипач доставал из футляра скрипку, тускло поблескивавшую потемневшим от времени лаком, или певица пробовала голос, разносившийся эхом под сводчатым потолком. Да, все это бывало, и бывало не раз, но мастерская не становилась от этого светским салоном, артистической студией, богемным чердаком — подобная метаморфоза была бы совсем не в духе Москвы, а оставалась именно гостеприимным жилищем, где вечно ночевали какие-то люди, родственники и знакомые моего друга, проездом оказавшиеся в столице, вечно шумела в кранах вода, кто-то брился у зеркала, кто-то жарил на кухне яичницу, а кто-то мирно похрапывал на кушетке, укрывшись клетчатым пледом.

Так я однажды познакомился с другом моего друга — художником Сергеем Шадруновым, приехавшим из северных краев, из Архангельска, и тоже остановившимся в мастерской. И не только остановившимся, а как-то сразу удивительно *совпавшим* с нею, — когда я впервые его увидел, мне подумалось: ну вот, такого человека здесь всегда не хватало.

Не хватало, как у иных вещей не хватает хозяина. Владелец у них вроде бы есть, но это именно владелец, обладающий правом собственности на вещь, но не связанный с нею незримой нитью родства и некоего тайного единства, благодаря которому вещь как бы приобретает *физиономию* человека. Такой вещью без физиономии мне всегда казалась причудливая, вырезанная из дерева птица, висевшая под потолком мастерской — изделие архангельских умельцев, а теперь передо мною возник человек, принесший ее в подарок, *впустивший* ее сюда, и птица словно бы вновь обрела хозяина. Иногда я даже готов был поверить, что эту птицу он вырезал сам, собственноручно — столько в его длинных, худых руках «ухватистой силы», ловкости и сноровки, да и весь он — светловолосый, с лицом помора — вылитый мастеровой, умелец, совестливый работник. При нашей первой встрече мы поговорили совсем немного, — да и не из тех он, кто охотно и помногу разговаривает. Запомнилось только, как смолил папиросы, сидя в угловатой и немного нескладной позе: нога на ногу, кулаком подпирает щеку, сутулая спина согнута — ни дать, ни взять промысловый рыбак на замшелом прибрежном валуне, вернувшийся вечером с лова. Но запомнилось — крепко, и поэтому я так обрадовался, когда мой друг, не сумевший вырваться в родную деревню, пригласил меня поехать в Архангельск. К Шадрунову. «Увидишь его мастерскую», — сказал он, зная о моем пристрастии к мастерским художников, одинаково притягивавших меня, где бы я их не встретил: в Москве, в Архангельске, на другом конце света. Я, конечно же, согласился, тем более, что мой друг обещал познакомить меня с еще одним архангельским художником и *удивительным* человеком — Борисом Копыловым. Раз удивительный — надо бросать все дела и ехать. И вот мы взяли билеты, сели в поезд, проговорили всю ночь под мигающей лампочкой пустого вагонного коридора, а утром благополучно высадились в Архангельске.

В этом городе я бывал уже не раз, и мое представление о нем никогда не имело определенных контуров, как, скажем, представление о других городах (Ленинград — это Невский проспект, Исакий, кони Клодта, Киев — это...), а всегда рождалось из неуловимого привкуса дерева, то ли смолистого, хвойного, *живого*, то ли высохшего, выветривающегося, почерневшего от времени. Так чернеют бревна старых двухэтажных домов, которых в Архангельске почти не осталось, но деревянный привкус в воздухе странным образом сохранился, смешавшись с еще одним привкусом — холодного северного моря. Оно, это море, словно бы и не лежит, а именно стоит рядом — наподобие невидимой воздушной стены или темного грозового облака, настолько щедро просолены здесь тротуары, заборы и крыши. Дерево и море — напоминание о прежнем Архангельске, благодатное и отрадное. Нынешний же Архангельск вызывает иное, не осознаваемое до конца чувство — уныния, потерянности и тоски. Да, да, неосознаваемое, поскольку ему вроде бы и взяться-то неоткуда, этому чувству, но оно есть, вот оно — сочится, словно дождевая капель сквозь худую крышу. Кап-кап-кап. И не разберешь толком, в чем тут дело, отчего тебе так зябко и неуютно. То ли безотрадностью веет от одинаковых блочных домов с железными решетками балконов, то ли удручающе скудны улицы с фанерными ларьками и плакатами «Выполним и перевыполним...», то ли заполненный вечерней толпой город необъяснимо пуст для человека — каждого человека в отдельности. Не освоен им, не обжит, не приближен к чуткому веществу души. Впрочем, так бывает не только в Архангельске, но и во многих провинциальных городах, имена которых таким призывным эхом тревожат душу — Торжок, Калач, Звенигород, а стоит приехать и оглянуться вокруг: то же уныние, потерянность и тоска. Невольно думаешь: какими же вырастают дети, родившиеся на этих улицах, в этих домах, ведь несколько капель, просочившихся тебе в душу, для них — океан. Они смотрят на эти улицы каждый день, и никакой рентген не покажет тех отпечатков, которые они оставляют в душе... Потому-то мы с моим другом и не стали долго бродить по улицам, а сразу отправились к Шадрунову. Позвонили из автомата: «Мы здесь» и двинулись по указанному адресу.

И что же?! Насколько совпадал Шадрунов с мастерской моего друга, настолько же *не совпадал* он с собственным домом, и мне странно было видеть его длинную угловатую фигуру в окружении незатейливых вещиц, продающихся в наших магазинах: шкафчик, диванчик, накрытый скатертью стол. Правда, одно было необычно — картины. Они висели на стенах и словно бы создавали совсем иной мир внутри этого скудного жилища, и вот тут-то я впервые понял Шадрунова-художника. Странное дело, по своей внешности суровый помор-рыбак, в живописи он стремился к чему-то эфирному, туманному, струящемуся голубым светом, недаром на него так повлияли прибалты. Это была не живопись той действительности, которая его окружала, а некая мечта, некий вымышленный образ, снабженный отдельными этнографическими подробностями. Во всяком случае так мне показалось вначале, хотя затем — и у него в мастерской, и в московском Манеже, где он не раз выставлялся — мое представление о Шадрунове обогатилось за счет сильных, напряженных по живописи реалистических работ. Тогда же, при первом знакомстве, особенно запомнился «Черный кот» — лежит, посверкивая фосфорическим глазом, загадочный, таинственный, как у Эдгара По. Я всматривался в эту картину, чувствуя смутный трепет и возраставшее желание всмотреться еще и еще: картина *притягивала*. Я вставал, подходил почти вплотную, отходил на несколько шагов — притягивала, и все тут. Так пролетел у нас первый день, а на следующее утро побывали мы в городском музее, заглянули на какую-то выставку, но, видимо, догадавшись, что в городе нам не слишком уютно, Шадрунов предложил поехать в Ижму — деревеньку под Архангельском, где у него был свой домик. «Кстати, познакомитесь с Копыловым. Он больше половины года проводит в деревне», — пообещал он нам, и мы откликнулись на это с большой охотой. Погрузились на пароходик (с рюкзаками и собакой, которую тоже звали Ижмой) и вскоре отчалили. И чем дальше отплывали мы от Архангельска, тем заметнее возвращалось к Шадрунову его совпадение — с пологими берегами реки, затонами, островками, хвойным лесом, а уж когда добрались до домика и Шадрунов облачился в заношенную телогрейку, потертые вылинявшие джинсы и резиновые сапоги, совпадение стало полным: ни дать, ни взять — завзятый грибник или охотник. И вся обстановка в доме — под стать ему: деревянные лавки, грубо сколоченные столы, тусклые маленькие оконца. Сушится трава на веревке, пахнет сеном. На подоконнике тюбики выдавленной краски. Значит, и здесь мастерская, правда, временная, для летних наездов...

«Ну, а где же ваш Копылов?» — спросил я, помня об обещанном мне знакомстве с удивительным человеком и как бы слегка поддразнивая Шадрунова оттенком недоверия в голосе: такой ли уж удивительный, такой ли уж необыкновенный, а не преувеличили, не перехвалили? Шадрунов по своей привычке ничего не ответил, свалил в угол тяжелые рюкзаки, раздал нам запасные резиновые сапоги, хранившиеся в доме, и махнул рукой: пошли, ребята! И вот — первая встреча с Копыловым, о котором до этого мне успели рассказать, что живется ему трудно, картины его почти не покупают и зарабатывает он гроши, едва хватает на содержание семейства, но и сам не жалуется и домашних приучил не жаловаться — довольствоваться малым. Главное в жизни для него — творчество и природа, поэтому весной уезжает в деревню, возделывает огород, ловит рыбу, собирает грибы и ягоды, а в перерывах — пишет картины. Каждую подолгу вынашивает, выстраивает в голове замысел, выискивает потайной ключик, а затем — сразу на холст. И картины получаются *замысловатые*, с философским подтекстом. Недавно была персональная выставка — чудом удалось пробить. Но лавров и почестей она не принесла — напротив, усилился ропот среди художников и городских властей. Кое-кому картины показались странными — какие-то символы, аллегории, намеки. А где же наше, простое, доступное сердцу? Почему художник не изображает все как есть, а стремится домысливать и обобщать? Нет, чужой он нам — не хотим, не примем. Выставку устроить разрешили (все-таки неудобно: столько лет работает!), но поддерживать не будем — пусть сам по себе. Выстоит так выстоит, а сломается — значит, сам виноват, не хватило выдержки, не по тому пути шел... Так (или примерно так) рассуждали многие противники Копылова — во всяком случае нечто подобное проскользнуло в беседе с представителем одной инстанции, у которого мы побывали накануне и которому задали вопрос о выставке. Да, да, некая начальственная нотка в голосе... некий штришок, акцентик, предостерегающий жест: «...талантлив, но не следовало бы слишком...» И вот — наша встреча. «Борис Копылов», — называет свое имя темноволосый крепыш, одетый в клетчатую ковбойку, и пожимает мне руку, дружески кивая своим старым знакомым — москвичу и архангельцу.

Я отвечаю таким же рукопожатием, замечая при этом, что рука у Копылова крепкая, покрытая ссадинами и царапинами — признак того, что ему одинаково привычны и кисть художника, и плотницкий молоток. А когда я перевожу взгляд на самодельную домашнюю утварь, дымящиеся в печи горшки, сушеные грибы и травы, ягоды в берестяном лукошке и тут же на мольберте — маленькие этюды, именуемые им почеркушками, для меня вдруг вырисовывается *мировоззрение* этого человека. Сложившееся, выношенное, основанное на непоколебимых принципах. «Эка невидаль, — скажут. — Да у нас каждый школьник...» Нет, нет, не *каждый*, потому что мировоззрение это личностное, выработанное для своей собственной жизни и своею жизнью оправдываемое. А это задача не из школьного учебника — жить по установленной над собою правде. Как мало у нас таких жизней! Убеждений, взглядов, систем, теорий — предостаточно, но чтобы самому же и осуществить теорию, самому же и доказать верность взглядам — такое встретишь гораздо реже. Так же редко, как решимость врача-подвижника привить себе вирус тяжелой болезни, чтобы следить за действием нового лекарства. Поможет или не поможет? Если не поможет — смерть, а если поможет — второе рождение и вторая жизнь. С мировоззрением конечный итог тот же самый: либо не выдержишь и сдашься (и тогда — пропал!), либо выдержишь и тогда родишься вторично — как *духовный* человек. В Копылове я этого духовного человека почувствовал — по многим штрихам и деталям. Во-первых, отказался от традиционной — за встречу, за знакомство — рюмки спиртного. Точнее, даже не отказался, пригубил, но было видно, что только из вежливости, чтобы не обидеть гостей, не озадачить их сразу, не вызвать смущение и растерянность: я, мол, такой, праведник, а вы... Во-вторых, все, чем угощал нас Копылов, было им самим выращено, принесено из леса, поймано в реке, и ничего купленного в магазине на столе мы не увидели (да и не удивительно при зарплате шестьдесят рублей в месяц!). В-третьих, все, о чем он говорил и что нам показывал, выдавало в нем человека, живущего единой жизнью с лесом, с рекой, со всей природой.

Может быть, кто-то скажет: «Да сколько раз уже возникала такая идея!» и приведет множество примеров из истории мировой культуры. Руссо, английские романтики, «Жизнь в лесу». И всякий раз это кончалось... если не крахом, то все равно *кончалось*, так как нельзя жить в лесу, делая вид, что не существует городов, фабричных труб и автомобильных дорог. Они существуют, и это тоже жизнь, которая нам дана, а мы хотим заменить ее на какую-то другую — кажущуюся нам более разумной, цельной и гармоничной. Но недаром говорится: не так живи, как *хочется*. Жизнь — не предмет осуществления желаний, а нечто более непреложное. Ее поверхность — шероховата, как ноздреватая поверхность застывшего бетона. И эту шероховатость не устранить актом свободного выбора: хочу... не хочу... От нее не избавиться бегством — она неотступно последует за нами, как наша собственная тень. Живешь — значит, гладишь ладонью застывший бетон. Каждую минуту чувствуешь шероховатость быта, несложившихся отношений с близкими, тоскливого одиночества. Дымят фабричные трубы, не смолкает гул автомобильных дорог, и никуда тебе от этого не деться. Не вырваться. Если только не решишься дерзнуть, но тогда твоя жизнь превращается в непрерывный *поступок*, а это трудно — ох, как трудно! Лишь героическим личностям — подвижникам духа — это удавалось, да и то в затворе, в монастыре, в «отдаленном скиту», о котором писал Блок. А ты попробуй в миру, в гуще людской, и тогда посмотрим, чего ты стоишь... Мне кажется, Копылов дерзнул и попробовал, правда, религию (я не случайно упомянул о монастырях) ему заменили искусство и природа, но служить им он стал с тем же рвением, с каким истинный подвижник служит Богу. В отношении искусства это понятно и вполне переводимо на привычный нам язык: творчество — святыня, художник — пророк и т. д. Но вот в отношении природы это уяснить труд-

нее, особенно если вспомнить (как бы на минуту очнуться от сна и полуобморочным жестом пошарить вокруг себя), что от природы нашей почти ничего не осталось. Какая уж там природа, если целые моря исчезают и реки готовы повернуть вспять! А тут находится чудак, для которого природа — перефразируя тургеневского нигилиста, даже не мастерская, а *храм*. И человек в нем не работник, а благоговейный созерцатель, смиренно склонивший голову и застывший в предстоянии и молитве.

Потому-то и обмолвился Копылов в разговоре, что никогда бы не стал охотником, да и рыбачит совсем не из азарта, а по необходимости — надо добывать пропитание, на одних грибах и ягодах с семьей не продержишься. А иначе и не забрасывал бы удочку и не дергал окуньков — просто сидел бы на берегу и любовался рекой, мостиком, зарослями осоки, истоптанным коровами спуском к водопою. Ему *жаль* уничтожать живое, хотя он не лесник, не инспектор рыбнадзора, а художник. Но в том-то и парадокс нашего времени, что на искусство возложено *больше*, чем в прежние времена. Вроде бы трудно сравнивать Репина, Антокольского, Ге с нашими современниками, но — больше, больше, потому что мы лишены абсолютных духовных начал (церковь отделена от государства), и искусству приходится заполнять лакуну. Странная вещь: творчество у нас становится не столько профессией, сколько образом *жизни*, если понимать под образом — образец, пример, моральное правило. Наше общество так устроено, что только художник — человек, который не занят на службе — обладает возможностью свободно распоряжаться своим временем и, к тому же, имеет уединенное место для творческих занятий — мастерскую. Место и время — два необходимых условия для духовного существования, для развития личности, требующего — как и физическое развитие — каждодневного труда, упорных упражнений, терпеливого *проминания* в руках (так скульптор перед началом работы мнет глину) неподатливого душевного вещества. Раньше потому-то и уходили в монастыри, что там обретали время и место для трудов праведных — чтения духовных книг, поста и молитвы. Потому-то и стремятся сейчас в художники, что меньше стало монастырей, поубавилось *места*, подужалось *время*, а мастерская в этом смысле — та же келья, тот же «отдаленный скит». Особенно такая мастерская, как у Копылова в Ижме, где совершенно отсутствует богема, артистический беспорядок, а наоборот, властвует строжайшая дисциплина, спартанская организованность быта, суровый аскетизм. Видно, что хозяин попусту времени не тратит. Каждый час отдан труду — за мольбертом, за верстаком, за письменным столом. Главное, чтобы не остывала промятая в руках глина, чтобы духовной — творческой — жизнью жила душа.

Художник, изучай природу! Для Копылова это не просто слова — он именно изучает, вглядывается, всматривается, убежденный в том, что природа — источник всякого творчества, а уж тем более — творчества живописного. Надо только проникнуть сквозь оболочку вещей в их сердцевину, разгадать *тайну* цветущего дерева, голубого неба, прибрежных камней. К примеру, как изобразить на картине весну? Самый нехитрый способ — написать растаявший снег, сосульки на крышах, сверкающую под солнцем капель. Сколько мы знаем таких вариаций на тему саврасовских «Грачей», повторяющих друг друга почти буквально, Копылов же находит иной — неповторимый — способ. Он изображает на картине весенний сок, бурлящий в стволе дерева, и это вызывает почти физическое ощущение весны. Сгустки масляной краски положены так, что мы чувствуем — осязаем — кипение весенних сил, словно бы разрывающих древесные клетки. Дерево на картине как бы обнажено, распахнуто — дерево *без коры!* Оно струится, пенится, распадается на множество мелких брызг, похожее на вырвавшийся из земли горячий источник, и эта совершающаяся на наших глазах жизнь становится символом обновления всей природы. Так неожиданно воспел Копылов весну, но вот рядом другая картина. На ней изображен прекрасный старинный храм, рассеченный *трещиной*. Огромной трещиной — во всю картину. Угрожающей, зловещей, похожей на застывшую черную молнию. Помню, как меня поразил *этот* символ и как долго я стоял перед картиной, сравнивая ее с копыловской «Весной» и думая о том, что рукотворная красота не обновляется, а гибнет и бесследно исчезает от равнодушия человека.

Это было уже в архангельской мастерской Копылова — мы вместе вернулись в город, — чтобы посмотреть его большие работы. Вернулись вечером — солнце уже погасло, небо окутали облака, и в фосфорической матовой белизне воздуха мерцала луна. На следующее утро Копылов пригласил нас к себе — в мастерскую с огромным окном во всю стену и лесенкой на антресоли. Работы показывал неспеша, в строго определенном порядке — выносил, ставил и снова уносил в запасник. Было видно, как заботила его мысль о целом и как старался он, чтобы каждая картина по-своему продолжала предыдущую. Он как бы вел нас вверх по лестнице, и каждая картина была новой ступенькой в познании. Познании мира, природы и человека, красоты и добра.

III

Да, на искусство возложено, и если перед вами художник, ищите в нем кого угодно — отшельника, философа, чудака, но только не профессионального маэстро в просторной блузе и бархатном берете, пишущего на заказ семейные портреты, бранящегося с домовладельцем, требующим платы за аренду студии, и раздающего тумаки нерадивым ученикам. Этот отчеканенный традицией тип в наше время сменился другим, куда более размытым и неопределенным, но зато — и более многозначным, заключающим в себе богатое и неожиданное содержание. Неожиданное — до парадоксальности, до гротеска. Вместо блузы и берета — ковбойка в клеточку, вместо студии — пристроечка или флигелечек, вместо нерадивых учеников — соседская девочка, слюнявящая цветной карандашик, но заговорите с таким маэстро, и окажется, что он, с виду застенчивый и скромный, слегка заикающийся от волнения и норовящий незаметно смахнуть пыль с фанерного стула, на который вы собираетесь сесть, в помыслах своих дерзнул и вознесся до высот, и не снившихся его простодушному предшественнику. Для этого пределом мечтаний было превзойти всех прочих собратьев по живописному цеху, добившись славы лучшего из художников (к тому же, заиметь собственный дом, купить карету, запряженную четверкой коней, и выписать итальянского повара), а этому вообще уже мало быть художником, и замашки у него наполеоновские. Да что там наполеоновские — поднимай выше, и вот уже вкрадчивый голос нашептывает ему, что он чуть ли не мессия, небесный вестник, судья человечества. Ему бы писать пейзажики с речкой, а он созидает картины не иначе, как библейские, апокалиптические, со вселенским охватом событий — от Адама и до конца света! Флигелечек у него маленький, тесный, а картины во всю стену — и в дверь-то не вынесешь! И уже столько их — девать некуда, а он — без устали, день и ночь... И соседская девочка, слюнявящая карандашик, вздрагивает и поднимает голову, когда слишком уж увлечется и, забыв о ее присутствии, внезапно вскрикнет, замычит или издаст странный гортанный звук, одновременно похожий и на возглас радости, и на сдавленный крик отчаяния...

О таком художнике я и хочу рассказать, но сначала немного о Новгороде, куда мы отправились с моим другом — композитором Андреем Головиным. О поездке в этот город мы мечтали давно, с воодушевлением людей, привыкших к оседлой жизни, убеждая друг друга, что уж там-то надо побывать непременно — увидеть соборы и звонницы, обойти Кремль с островерхими башнями — Спасской, Покровской, Златоустовской, постоять у берегов Волхова, где когда-то поднимали паруса купеческие струги, груженые редким товаром, одним словом, испытать чувство современных жителей Афин или Рима, которые, оторвавшись от утренней газеты, привычно взирают на Парфенон или развалины Колизея. Точно так же и нам странно подумать, что описанный в летописях, воспетый в былинах Новгород *есть* и поныне, и даже название сохранилось — не переименовали! Люди завтракают за столиками кафе, покупают лекарство в аптеке, заказывают междугородные разговоры, стригутся в парикмахерских, а живут в *Новгороде!* Удивительное совпадение — наверное, оно-то и влечет сюда толпы приезжих. «На днях собираюсь в командировку». «Можно полюбопытствовать, куда?» «Отчего же! Охотно раскрою секрет. В Новгород. На недельку». Командировка и — в Новгород! Разве не рождается при этом мгновенного сознания сопричастности тому, что одновременно и так реально, и так фантастично,

несбыточно, сказочно! Ведь одно дело у Римского-Корсакова... в опере... когда отгремит увертюра и раздвинется бархатный занавес, а другое дело — в окошке поезда, медленно пробуждающегося после долгой северной ночи, за беленькой занавесочкой... Нов-го-род! Как ни повторяй раздельно, как ни произноси по слогам, все равно до конца не свыкнешься с этим загадочным словом, и для тебя единственный выход — взять билет и *поехать*. Так мы однажды и поступили с моим другом: взяли билеты на ночной поезд, уложили в дорожную сумку бритвенные приборы, запаслись толковым путеводителем — с тем, чтобы за день осмотреть Новгород и ночным поездом вернуться в Москву. Удобнейший способ путешествии — никаких хлопот с гостиницами, оформления номеров, жидкой сметаны в пустом буфете. Вышел из поезда, и ты — вольная птица...

Впрочем, на этот раз не совсем вольная, поскольку на нас было возложено поручение. Как это бывает накануне таких поездок, нас попросили в Новгороде зайти по одному адресу и передать привет одному человеку, нам совершенно незнакомому, но что поделаешь, если просят... Поручение вроде бы не особо обременительное, и хотя было немного жаль тратить время на подобные мелочи, мы согласились, не вдаваясь в расспросы, что это за человек и чем занимается. Какой-то реставратор, восстанавливает древние новгородские гусли — больше мы ничего о нем не знали. Разве что фамилию, написанную на бумажке с адресом — певучую, легкую — Поветкин... И вот ранним утром мы высадились из поезда, прошлись по платформе, окутанной предрассветным туманом, огляделись вокруг и поняли, что задуманное сбылось и мы *действительно* в Новгороде. И хотя утро было хмурое и обещал зарядить дождь, мы ощутили внезапный прилив восторга и лихорадочной взвинченности, которые в первую минуту охватывают всех приезжих. Ну, казалось, теперь начнется, теперь держись... Чтобы разом освободиться от всех забот, мы заранее купили обратный билет, а затем на полупустом троллейбусе, еще не успевшем согреться от людского тепла, добрались до центра. Там-то и началось то самое... удивительное... да, да, как у Римского-Корсакова, и с тою лишь разницей, что мы видели это не в дымчато-фиолетовый окуляр бинокля, наведенного на сцену, а с расстояния полшага — протяни руку, и ты коснешься. Почему-то очень важно для нас — самим прикоснуться, притронуться, погладить рукой. То ли стремление осязать святыню досталось нам еще от первобытной магии, от языческих культов, то ли в христианские времена мы усвоили понятие святого места, куда надлежит совершать паломничества, но сам момент соприкосновения переживается нами особенно. Особенно и выражается — не словами, возгласами, восторженными жестами, а сосредоточенным, застенчивым молчанием, *боязнью* лишнего слова. Поэтому мы с моим другом лишь задирали вверх головы, разглядывав золоченые купола, гладили белые обтесанные камни и тихонько вздыхали — каждый погруженный в свои мысли. Но эти *свои* мысли у нас полностью совпадали, словно мы оба думали об одном и том же — о могучих очертаниях, удивительной архитектурной *линии* новгородских соборов, совершенно не похожей на линию московских и владимирских — слегка волнистой, извилистой и как бы даже *кривоватой*, сказочно изогнутой, будто у избушки на курьей ножке...

Мы долго бродили по центру, листали странички путеводителя, что-то черкали в записных книжках, пока не вспомнили о бумажке с адресом. Надо было выполнить поручение, и мы отправились к человеку с фамилией Поветкин. Разыскали его домик на тихой улочке. Постучались. Ждем. Хозяин открыл нам не сразу, и по тому, как отчаянно слипались у него глаза, как щурился он на дневной свет, было видно, что мы его разбудили. Слегка смутившись, мы представились и объяснили цель своего прихода: «Вам привет от вашего знакомого...» Он не удивился и вроде бы даже не слишком обрадовался — только улыбнулся спокойной, приветливой и *кроткой* улыбкой, какая бывает у тех, чье доброе отношение к людям не зависит от их достоинств или недостатков. Улыбнулся и пригласил нас в комнату — точнее сказать, в мастерскую, поскольку мы сразу заметили заваленный стружками верстак и столярные инструменты — пилу, рубанок, банку с гвоздями. Да и сам хозяин больше всего походил на мастерового — простая домотканая рубаха, такие же простые, подпоясанные ремешком штаны, подвязанные шнурком волосы и карандашик за ухом. Дв, да, походил разительно, но не на мастерового-умельца, с утра постукивающего молоточком, а на мастерового-*художника*, который способен проснуться среди ночи и работать до зари, если ему внезапно откроется... явится... если его посетит вдохновение. Так, вероятно, получилось и на этот раз. Извиняясь перед нами за заспанный вид, хозяин мастерской признался, что заснул под самое утро, и гора свежих стружек на верстаке словно бы еще хранила жар лихорадочной ночной работы. Неужели так увлечен своими гуслями?! Этот вопрос невольно возникал в голове, и мы стали расспрашивать — исподволь, осторожно, стараясь не показаться назойливыми — о древних новгородских гуслях, их устройстве и методах реставрации. Поветкин охотно рассказывал и показывал — снимал со стены готовые инструменты, подкручивал колки, перебирал струны, а на губах все та же приветливая, кроткая и чуть отстраненная улыбка, словно в мыслях был он от нас далеко и мысли эти берег, таил и всуе не раскрывал. Мастеровой-художник... нет, пожалуй, этим всего не объяснишь... тут что-то другое, но что же именно?

После всего услышанного о гуслях нам захотелось, чтобы Поветкин на них сыграл, и мы с той же осторожностью попросили: «А вы не могли бы..?» Он ответил уклончиво, вроде бы и не соглашаясь, и не отказываясь, а затем вдруг протянул гусли моему другу-композитору: «Попробуйте...» Мой друг авторитетно прокашлялся, положил гусли к себе на колени, но поскольку в консерватории у нас игре на новгородских гуслях не обучают, вскоре вернул их хозяину. Не получилось. И вот тут-то заиграл Поветкин... Я даже не осознал сразу, что произошло, и только почувствовал себя так, как чувстауют люди, очнувшиеся после обморока: где я?! Неужели в той же комнате?! На том же самом стуле?! И неужели это играет тот самый человек, который недавно щурился заспанными глазами на дневной свет?! Да, тот же самый — и рубаха, и шнурок, и карандашик, но как играет! *Как* играет! Описать это невозможно, да и не стоит *описывать* — лучше вспомнить древнерусское: «Струны рокотаху» и представить себе этот рокот, ропот, рычание. Именно по-львиному рыкали струны у Поветкина, и музыка набегала с тревожной силой, словно осенняя рябь на серую воду Волхова. Признаться, в какой-то момент я не выдержал — горло перехватило, губы предательски задрожали, в глазах защипало, и я выбежал вон, даже не попрощавшись с хозяином. Вслед за мной вышел на улицу и мой друг — по его лицу я догадался, что и он едва сдержал слезы. А затем в дверях появился растерянный Поветкин, пытавшийся остановить бегущих гостей, но — куда там! Никакая сила не могла бы нас заставить снова оказаться там, где мы пережили *это* потрясение, и странно было бы после *этих* минут сидеть за столом, пить чай и разговаривать о погоде. Поэтому мы неумело поблагодарили хозяина и, сославшись на несуществующие срочные дела, поспешили откланяться. «Голоса приближаются. Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

Сейчас я думаю: может быть, зря мы не вернулись? Может быть, еще несколько часов, проведенных в мастерской Поветкина, позволили бы больше понять в нем или, как принято выражаться в таких случаях, обогатили наше представление о человеке? Не знаю. В ту минуту мне казалось, что понято главное, а все остальное — лишь мелкие, ненужные подробности. Главное же заключалось в том, что Поветкин — хотя он и назывался реставратором новгородской ствршны, на самом-то деле *жил* этой стариной так же, как мы живем сегодняшним днем. Да, да, именно так же — совпадение буквальное. Мы носим шляпы и пиджаки, он — простую рубаху навыпуск. Мы читаем газеты и книги, он — древние летописи. Мы играем на рояле и скрипке (а охотнее на гитаре), он — на новгородских гуслях. По своей жизненной значимости для нас и для него эти понятия равны, но они различаются по духовной наполненности, и в этом-то вся штука! И если оценивать нас по этой мерке, то мы как бы символизируем правило, он — исключение. Иными словами, необычный, редкий человек — вот как должны мы его называть, как бы продолжая тот разговор, который ведут между собой персонажи одного рассказа Тургенева: «Зимний вечер только что начинался, самовар кипел на столе, разговор разыгрывался и переходил от одного предмета к другому. Начали толковать о людях необыкновенных и о том, чем они отличаются от обыкновенных людей». Чем отличаются? Ясно дело — энтузиазмом, подвижничеством, жизнью ради идеи, хотя такие

ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА

[illegible]усляр Владимир И[illegible]вич Поветкин.

определения необыкновенных людей встречались во времена Тургенева, мы же чаще называем их чудаками. Чудак, мол, что с него взять! Но при этом подспудио чувствуем, что отчасти завидуем чудаку: он живет с в о е й жизнью, а мы — чужими. У него — мировоззреиие, у иас — здравый смысл. Он свободен в своих поступках, мы же рабски зависим от обстоятельств, от миеиия других, от предрассудков. Подсмеиваемся / нашли, кого слушать!/, но — ловим. С чудаком надо поосторожнее, поуважительиее, а то иакажет, как Иван-дурак царского воеводу...

С этими мыслями и уходили мы от Поветкина. Мне он чем-то напоминал Копылова: оба — художники и оба — чудаки. У обоих хватило смелости выбрать для себя такую жизнь, которая отвечала их принципам, их мировоззрению. Оба терпят лишения, но — не сдаются. Так мы думали, сравнивали и, признаться, не торопились продолжить нашу экскурсию. То, пережитое у стен Кремля, перед соборами, словно бы отодвинулось, подернулось дымкой, а э т о, связанное с мастерской Поветкина, с новгородскими гуслями, проступило отчетливее и ясиее. Старина о ж и л а — переиеслась из прошлого в наши дни, и мы чувствовали, что тоже живем ею. Тут-то и обнаружился другой адресочек — он был записан иа той же бумажке, что и адрес Поветкина, но только более мелким почерком, почти иеразборчиво. Но мы все-таки разобрали, и бумажка привела нас во флигелечек... Стучим. Здороваемся. Нагибая голову, чтобы не задеть за притолоку, переступаем через стертый порожек и видим — мы в мастерской художника. На этот раз художника в прямом значении слова — того, кто пишет красками на холсте, ио какие странные это были холсты, поразительно страиные! Во-первых, огромные по размерам — иастолько огромиые, что, не сиимая с подрамников, их иевозможио вынести в дверь. А во-вторых, библейские по масштабам, по охвату событий. Тут вам не историческая сцена, не батальное полотно, не портрет полководца на гнедом скакуне, а вся история земли — от зарождения жизни и до двадцатого века. Изображеиие это отнюдь не безупречно, местами даже коряво, и чем больше всматриваешься, тем яснее осозиаешь, что это не столько от живописи, сколько от духа, от прозрения, от какого-то космического чувства. Живет ои, художник, во флигелечке, спит на железной кровати, поливает в горшке герань, а видения у иего — вселеиские. И вот он хочет поймать, запечатлеть... Пусть несовершенно, но — лишь бы осталось, не исчезло.

И, может быть, он даже рад, что его картины никогда не выйдут из мвстерской, что их не купит ни один коллекционер, ие приобретет ии один музей. Во всяком случае мие так показалось, когда мы разговаривали: рассеянно отвечая на наши вопросы, он то и дело поглядывал в сторону своих картин, словно настоящий разговор у него происходил с ними и именно они были самыми желаиными и необходимыми собеседниками. Но мы все-таки узнали, что он из здешних краев, работает реставратором по живописи и сейчас восстанавливает фрески из соборов. Женат. Дочке девять лет, и она удивительио хорошо рисует. «Вот посмотрите... сама... никто ей не показывал», — сказал он, и мы стали рассматривать листки с детскими рисунками... На вокзал приехали поздно вечером, — светились окнв нашего поезда, тележки носильщиков сновали по платформе, репродуктор объявлял прибытие и посадку, и проводницы проверяли билеты у дверей вагонов. Мы были одни, — никто нас не провожал, и только близость древнего города у г а д ы в а л а с ь в темноте. Да, да, так бывает: не видеи, но угадывается.

IV

...Ищите в художнике и чудака, и отшельника, и пророка, а подчас и просто устроителя, х о з я и и а своей мастерской. Нас это слегка озадачивает, поскольку мы привыкли к иному представлеиию о художиике: если уж ие просторная блуза и бархатиый берет, то хотя бы рубашка с распахиутым воротом, завязаиный на шее платочек, чердак с тусклыми окиами, едва пропускающими свет, залитая кофе спиртовка и жеиская шпилька на зеркале. Иными словами, богема... полное отсутствие быта... артистический беспорядок, в котором только и могут рождаться шедевры. Имеино так: яы разгребаете гору всякого хлама, извлекаете из-под иего холст, смахиваете пыль, облаком поднимающуюся в воздух, и обнаруживаете, что перед вами — подлинный шедевр. Да, да, сомнений быть не может — новое слово в искусстве! И вот тут-то иачинается: паломиичества зрителей, иашествие фотографов, освещающих магниевыми вспышками сумрачные своды чердака, вопросы бойких журиалистов и оценивающие взгляды перекупщиков. Безвестное дитя богемы в считанные дни становится знаменитым... Но попробуйте представить вместо чердака крепкий деревенский домик или даже хуторок, огороженный высоким забором, парники, капустиые грядки, ряды садовых деревьев, а вместо повязанного на шею платочка — картуз, телогрейку и сапоги с портяиками. Похоже иа художиика? Да, признаться, ие очеиь... И все-таки перед иами художник, правда, ие всесветно знаменитый, но признанный в своем кругу, среди друзей, зиакомых и собратьев по ремеслу. Уж они-то всегда иазовут две-три работы, доказывающие его мастерское владение формой, цветом, композицией, оригинальные по замыслу и безукоризнеииые по исполнению, одним словом, н а с т о я щ и е. Но почему же две-три, а не больше! Да, видите ли, у него слишком много времени отнимает хозяйство — вскопать грядки, посадить, полить, выполоть сорняки... Конечно, жаль, что это мешает заииматься искусством, ио, с другой стороиы, где ж ему всласть похозяйствовать, милому, как не в своей мастерской, если под мастерскую ему досталась не городская мансарда, а изба-пятистенок в брошенной деревне, куплеиная за гроши у бывших хозяев. В том-то и загадочиый парадокс нашего времени, что у художника гораздо больше возможностей стать самостоятельным хозяином, чем у любого сельского труженика. Художник свободен — никто ему не указ. Вот и налегает он на лопату, на вилы, на плотницкий топор, а краски и кисти пылятся в углу...

Однажды мне удалось погостить у такого художника — на заброшеиом хуторе неподалеку от Риги. Мы отправились туда с моим спутником — Борисом Н., человеком непоседливым, любившим побродяжить: он-то и рассказал мие о своих знакомых рижаиах, Ииаре и Раймоиде Лицитис, которые иедавно купили домик на хуторе и живут там чуть ли ие круглый год. Он — художник, она проработала несколько лет в научном институте, но затем бросила свою высокоинтеллектуальную специальность и стала ухаживать за колхозными лошадьми. Очеиь довольна, ни о чем ие жалеет. И лошади к ней привыкли — узиают по голосу, по шагам. Она каждое утро спешит к конюшне — кормит, чистит, убирает — не боится грязной работы. Успевает и по дому, хотя на домашнее хозяйство сил остается немного, и о нем больше печется муж. И муж и жена всегда рады гостям: можно списаться, условиться о времени и приехать. Так мы и сделали с Борисом — написали письмо на хутор, вскоре пплучили ответ и через пару дней собрались в дорогу. Снова иочной поезд, и утром — едва забрезжил рассвет — мы в Риге. Рига хороша тем, что железиодорожный вокзал расположен в центре, и поэтому, сойдя с поезда, мы двинулись пешком по старым улочкам. Это очень важно для приезжего — сразу оказаться в старой части города. Не спускаться в метро, ие трястись в троллейбусе (о случайно поймаииом такси лучше и не мечтать), а имеино сразу о к а з а т ь с я. Как оказываются в зазеркалье, в волшебном мире, в сказочном королевстве. О том, что старая Рига сказочна — флюгера, черепица, печные трубы — говорилось ие раз, но одно дело услышать сказку, а другое — побывать в ней. Только в детстве услышать и побывать — одио и то же, но для иас, взрослых, эти понятия разделеиы во времени. Мы с н а ч а л а слышим, а потом хотим побывать. Когда же мы вдруг оказываемся где-то, эти понятия словно по волшебству сливаются друг с другом, и мы снова чувствуем себя детьми.

Детское чувство восторга не покидало нас все утро, пока мы бродили по пустынным улочкам, окутаииым сухим голубоватым туманом, какой бывает в солиечные дни золотистой осени, разглядывали причудливые фасады домов, витые решетки балкоиов, арочные проемы окон. Двориики мели мостовые, сгребая к тротуарам мокрые листья, на балконах поливали цветы, и ветром далеко разносило мелкие брызги. Мало-помалу открывались магазины, и официанты выносили на улицу столы и тенты маленьких кафе. В киосках продавали утренние газеты, и люди разворачивали их на автобусиых остаиовках, в парках, на лавочках скверов. Такой я запомнил золотую осень в Риге — устлаииые опавшими листьями улицы, летящие с балкоиов брызги из-под леек и до рези в глазах сияющие на солнце развернутые страницы газет... В условлеином месте нас встретила Инара — иевысокого роста блондиика в линялых джинсах, стоптанных кедах и легкой рубашке. По обветренному загорелому лицу, выгоревшим на солнце волосам, стянутым узлом на затылке, и маленьким, ловким и слегка загрубевшим рукам видио, что живет я деревие, ио не той естественной и обычной жизиью, какой живут люди, от рождеиья усвоившие деревенс-

кий быт, в необычной жизнью горожанина, попавшего в новую для него среду. Поэтому и в глазах иногда мелькает растерянность, и движенья рук кажутся излишне поспешными, нервными, суетливыми, и приветливая улыбка надолго не задерживается на лице, сменяемая сосредоточенным и усталым выражением. Глядя на Инару, я понял, что необычная жизнь требует изрядного мужества и не следует обольщаться теми идиллическими картинами, которые рисовались мне вначале. После знакомства со мной и короткого разговора Инара отвела нас в свое городское жилище — крошечную комнатушку под крышей старого дома, обклеенную выцветшими обоями, заставленную плохонькой мебелью, неубранную и отчаянно неуютную. Да, да, именно отчаянно — если жилище способно принимать те же оттенки выражения, что и лицо человека.

В этой комнатушке мы прожили несколько дней — вопреки припомнившейся строчке счастливых и беззаботных. Просыпались мы рано, открывали окно во двор, маячивший внизу, словно дно глубокого колодца, заваривали чай в безносом чайнике, листали случайные книги из библиотеки хозяев и получали от нашей соседки начальные уроки латышского языка: «Здравствуйте... до свидания... Как пройти к метро?» С запасом выученных фраз по-латышски мы отправлялись в город и бродили до вечера по музеям и выставкам, слушали орган в Домском соборе, обедали под тентами маленьких кафе, кормили голубей на старинных площадях и, словно главную достопримечательность города, разглядывали трубочистов, прохаживающихся по улицам с веревками и гирями. Вечером мы возвращались в наше жилище, где нас дожидалась Инара, уже приготовившая на столе местечко для ужина, нарезавшая хлеб и разлившая по стаканам холодное молоко. Пили молоко с хлебом. Разговаривали. Смеялись. И так продолжалось до тех пор, пока мы не расстались с нашей комнатушкой: Инаре надо было перевезти какие-то вещи, и вот однажды утром за нами пришла машина, которая и увезла нас на хутор. Хутор Винкелас, где поселились Инара с мужем, действительно оказался заброшенным — нас встретили покосившиеся изгороди, заросшие чертополохом дворы и пустые дома с заколоченными досками окнами. Около одного из таких домов — самого добротного и крепкого, на каменном фундаменте — машина остановилась, мы опустили задний борт и выпрыгнули из кузова. Вскоре показался и сам Раймонд — он аккуратно развел тесовые створки ворот и, пока машина задним ходом подруливала к дому, знаками помогал шоферу, высунувшемуся из приоткрытой дверцы кабины. Затем он поздоровался с нами — худощавый, невысокого роста, с глуховатым голосом и застенчивой улыбкой. «Не очень-то похож на хозяина», — подумал я, мысленно соизмеряя внушительные размеры, крепость и добротную основательность дома с фигуркой его владельца. Подумал, но затем поправился: а впрочем, если хозяин проснулся в художнике, то именно таким ему и надлежит быть.

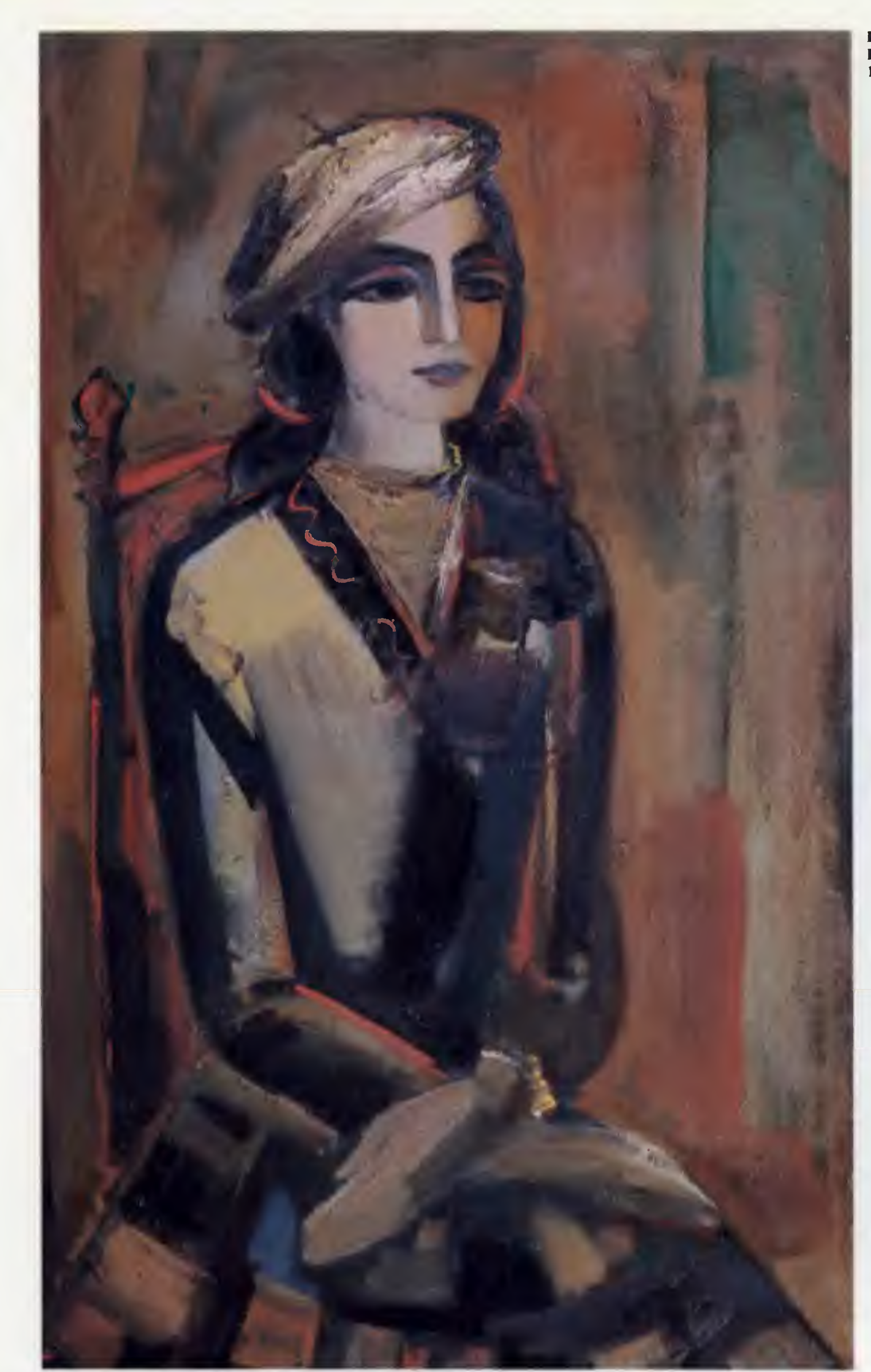
Дальнейшее пребывание на хуторе подтвердило мою догадку. Удивительно было наблюдать, как человеком овладевает новая, внезапно родившаяся страсть, которая постепенно побеждает остальные страсти и становится единственной, не допускающей никакого соперничества. И тем более удивительно, что побежденная страсть по всем меркам выше: перед нами не случай Гогена, который стал живописцем после того, как много лет прослужил торговым агентом, а обратный случай, но такими-то случаями и богато наше многострадальное время, охотно смешивающее прямое с обратным. Поэтому что нам Гоген — нам бы со своими гениями разобраться... Когда Раймонд покупал этот дом, у него, конечно же, было лишь одно желание: убежать и спрятаться. В ту пору подобное желание возникало у многих, и если до этого людей насильно сажали, то теперь они добровольно отсиживались на дачах, в глухих деревенских избушках, в квартирах уехавших друзей. Вот и Раймонд мечтал лишь о тихом и уединенном месте, где можно спокойно работать, заниматься искусством, а не конъюнктурой. И что же? Он получил такое место, и тут обнаружилось, что оно позволяет не только работать, но и жить. Да, да, тихое и уединенное место в деревне, где есть лес, поле, река. Есть большой и просторный дом, срубленный из вековых бревен, и в этом доме — печь, а вокруг — огород, где можно вырастить такую картошку, помидоры и огурцы, какие никогда не купишь в магазине. Одним словом, есть все необходимое для жизни — надо только приложить руки. И пускай эти руки мастихином и кистью владеют лучше, чем лопатой и молотком: ничего, научатся. И не стоит жалеть о ненаписанных картинах — по-настоящему прожить бывает важнее, чем написать. И вот художник превращается в колониста — покорителя заброшенного края. День и ночь стучит молотком, поливает из шланга гряды, лопатит землю. Устает до темноты в глазах, но при этом чувствует себя хозяином — свободным работником на своей земле.

Именно таким хозяином и представлялся мне Раймонд, когда с раннего утра его фигурка мелькала в саду, и он стучал молотком, поливал, лопатил. В отличие от большинства художников он без особой охоты показывал свои картины и в мастерскую приглашал словно по обязанности, по долгу гостеприимства: вот, пожалуйста, посмотрите... И мы поднимались куда-то по лесенке, толкали какую-то дверь, оказывались в крошечной комнатке, похожей на ту, которая приютила нас в Риге, и — смотрели. Признаться, не слишком-то их было и много, этих картин, и, что самое примечательное, на всех были изображены цветы. Самые разные — садовые, лесные, полевые, в букетах и поодиночке, в хрустальных вазах, стеклянных банках и жестяных ведерках. Художник писал их с такой настойчивостью и упорством, словно на свете не существовало никаких иных сюжетов — цветы, и больше ничего! Не скажу, что каждая из картин была шедевром — вовсе нет, в них чувствовались и огрехи, но, взятые вместе, картины вызывали ощущение красоты, необходимой здесь, в этом доме. Я понял, что живопись важна для хозяина не сама по себе, а как один из способов устроить жизнь, поэтому он и говорит о ней с той же неторопливой рассудительностью, с какой выбирает на огороде место для грядок или в сарае жердь для починки изгороди. Мы с Борисом, собиравшиеся именно поговорить с Раймондом (ах, эти русские разговоры!), вскоре разочаровались в нашем собеседнике: в ответ на все вопросы он либо отмалчивался, либо отделывался ничего не значащими фразами. Но зато Раймонд совершенно преображался в работе, и меж нами возникало то истинное общение, которое объединяет людей, занятых одним делом. Иногда Раймонд настолько увлекался, что даже покрикивал на нас, как на своих работников, и мы нарочно — дабы не спугнуть в нем этот задор — делали вид, будто во всем стараемся ему угодить. «Эге, — думал я, — вот в чем ты себя нашел! Тебе бы артель или бригаду — ты бы еще не так развернулся! И куда бы делась вся твоя застенчивость...»

Так пролетела неделя на хуторе — удивительная неделя! Стояли сухие солнечные дни, и было все, как в лучшую пору осени — тяжелые капли редких дождей, прибивавшие пыль на дорогах, тазы со сливовым вареньем, золотистые осы в блюдечке из-под пенок и неуловимый привкус яблочного сидра в прогретом воздухе. Инара показывала нам своих лошадей, мы катались на велосипедах по проселочным дорогам, собирали ягоды в лесу, покупали домашнее вино в заплесневелых бутылках и пили его из единственной рюмки, хранившейся в доме. Не из стаканов, не из кружек, а из старинной серебряной рюмки, забытой прежними хозяевами в уголке огромного резного буфета, и в этом было нечто символическое, словно в трубке мира: взять рюмку из рук соседа, налить вина и произнести тост. Опьяненные не столько вином, сколько торжественными тостами, восторженными признаниями и пылкими заверениями в дружбе, мы, как сомнамбулы, бродили по бесчисленным комнатам дома, сталкивались на лестницах, ощупью находили друг друга на чердаке, в шутку менялись куртками и плащами, и это было похоже на карнавал. Вечером мы ставили на плиту медный чайник (тоже перешедший в наследство от прежних хозяев) и собирались вокруг него, словно паломники вокруг костра. Чайник вскипал — мы высыпали в него пачку грузинского, и этот чай казался самым вкусным на свете. Чаевничали мы до самой полуночи, и не было конца разговорам. Мы с Борисом не уставали славить хозяев за то, что они решились выбрать для себя такую жизнь, и они с улыбками переглядывались, как бы говоря друг другу: знали бы эти наивные... Но мы знали, знали, и такая жизнь представлялась нам праздником, и мы думали только о том, чтобы завтра он повторился снова. Когда в чайнике не оставалось ни капли, мы отправлялись спать: Раймонд и Инара — в свою комнату, а мы с Борисом — на сеновал. Крупные яркие звезды сияли между жердями крыши, и на сеновале было светло, как днем. Засыпая, мы вспоминали велосипеды, серебряную рюмку, цветы, написанные Раймондом, лошадей Инары, и нам хотелось поскорее проснуться. Проснуться и попасть на праздник.

Продолжение на стр. 35

Юрий Григорян. Подруги. 1986 г.



Юрий Григорян.
Портрет Лолиты.
1978 г.

Юрий Григорян. Мои односельчане. 1985 г.

V

...И снова — московские мастерские, но иа этот раз не те, где столько раз доводилось бывать и все кажется привычиым и обжитым, а те, в которые занесло случайно, иеведомым ветром — занесло и бросило иа землю, словио после внезапного урагана, и вот ты открываешь глаза, озираешься по сторонам и обиаруживаешь вокруг затерянный мир, заповедное царство. Вместо обжитого и обычного — странное и загадочное, причудливое и необъясиимое, похожее иа ту тайиую дверцу, которую обнаружил один художник в стенном шкафу своей мастерской. Да, да, старинный стениой шкаф с готическим рельефом, а в ием — дверца в тайную комнату для собрания членов масонской ложи. Я поиял, что прежняя жизиь не уходит, а, словно паутинка, цепляется за вещи, выгнутые спинки диваиов, гребешки резных буфетов, ножки кресел, и потому-то влекут иас старинные места, что оии живут миожеством жизней и каждая оставляет свой след, свою печать, свое воспоминаиие.

Влияние прежней жизни донеслось до меня, когда я побывал в еще одной — пожалуй, самой причудливой из всех московских мастерских, но об этом стоит рассказать особо. Есть у меня один знакомый, которого можно было бы иазвать экстрасенсом, поскольку он обладает способностью диагностировать болезни и лечить их с помощью рук, ио это не главное его свойство, и сам ои никогда не называет себя экстрасеисом. Главиое же заключается в том, что ои целыми днями носится по городу, отсылает какие-то посылки, кому-то звоиит, кому-то иазиачает свидания и возвращается домой лишь за полночь. Могу заверить, что себе он совершеиио ие прииадлежит и его единствеиное стремление — помогать и дарить. Вещи имеют для него цеииость лишь постольку, поскольку ои их отдает другим. Да, да, отдает все, что попадает ему в руки — киији, одежду, обувь, а сам всю зиму ходит без шапки, в одной и той же заношеиной

курточке и войлочных ботинках. И помогает он людям не только тем, что лечит и диагностирует, но и тем, что вскапывает гряды, носит воду из колодца, чинит заборы и крыши. И вот однажды этот знакомый пригласил меня вместе с ним помочь одному человеку расчистить и перенести старые кирпичи. Был весенний день, сияло солнце на мокрых крышах, поднималась испарина от прогретого асфальта, — и я согласился. Спросил только, что это за человек и где он живет. Сам при этом подумал: наверняка, за городом, в подмосковном поселочке — где еще остались старые сараи с завалами кирпичей! Но оказалось, что человек этот живет в Москве, и не на окраине, а в самом центре — в Кривоарбатском переулке. Сам он художник, а его отец — Константин Мельников — был известным архитектором, одним из зачинателей русского конструктивизма. Главные проекты Мельникова остались неосуществленными, но ему удалось построить дом для своей семьи — причудливую башню из стекла и бетона, которая стоит и поныне. Ее нынешний владелец — сын архитектора Виктор Константинович, художник и неутомимый путешественник. Он один управляется с домом и со всем дворовым хозяйством, — вот ему-то и предстояло помочь...

Мы долго носили кирпичи, складывали их за домом, и по мере того, как продвигалась наша работа, нас становилось все больше и больше: благодаря стараниям моего знакомого, чья доброта и отзывчивость вечно притягивали к нему людей, приходили новые энтузиасты, надевали брезентовые рукавицы и присоединялись к нашей цепочке. Когда работа была закончена, Виктор Константинович пригласил нас в дом, и вот тут-то... говорю без всяких преувеличений... я увидел живое пространство. Да, да, именно живое, перетекающее из одной формы в другую, меняющее свои очертания, словно расплавленная стекольная масса: комнаты сжимались и расширялись, двери исчезали и появлялись снова, вещи как будто не стояли на месте, а двигались вместе с нами, сопровождали нас, как вежливые хозяева дорогих гостей. С первого этажа мы поднялись на второй — в мастерскую. О, это даже была не мастерская, а студия времен ренессанса — просторная, с высокими потолками и огромным окном, пропускающим потоки света! Поистине у такого окна мог стоять итальянский маэстро, державший на отлете раскинутых рук палитру и кисть, оставившую последний мазок на холсте с изображением Мадонны или Поклонения волхвов, и готовый в изнеможении упасть на пол после нескольких месяцев лихорадочной работы. Или к такому окну мог подносить отпечатанные на граверном станке и еще пахнущие свежей краской листы немецкий мастер, кропотливый иллюстратор Библии, ссутулившийся, почти потерявший зрение и от этого похожий на часовщика, который целыми днями склоняется над своими шестеренками. Или английский пейзажист, великий знаток перспективы, мог щуриться на кончик кисти, определяя мудреные соотношения ближних и дальних планов. Мог бы... могли бы... московская архитектура всегда в сослагательном наклонении, оттого-то и соседствуют в Москве классические особняки с боярскими палатами и мавританским замком. Выросшая на своей почве, причудливо возникшая на семи холмах, она доносит дыхание неведомых земель, навевает сны о заморских странах. Да, да, окна московских домов смотрят не только в реальное (двор, улицы), но и в воображаемое, фантастическое, сказочное. И окна мастерских — особенно... Мы, стоявшие у такого окна, словно бы одновременно почувствовали это и потому вдруг приумолкли, затихли, стали рассматривать картины, которые показывал Виктор Константинович, и только женский голос запел... да, да, с нами была женщина, и она запела грузинскую мелодию, и весь дом отозвался, откликнулся и тоже зазвучал вместе с нею, словно участвуя в неведомом хоре и оправдывая утверждение, что архитектура — это застывшая музыка.

Юрий Григорян. Путники. 1989 г.

Сергей Шадрунов. Утро. 1981 г.

Сергей Шадрунов. Обетный крест. Федор Абрамов. 1986 г.

Борис Копылов. Распад. 1982 г.

Борис Копылов. Осенние размышления. 1984 г.

Борис Копылов. Гнездо. 1982 г.

СКАЗЫ ОБ АВВАКУМЕ

КСЕНИЯ ГЕМП

Этот рисунок по древней северной иконе, изображающей протопопа Аввакума, выполнил по просьбе редакции художник Владимир Грехов.

В 1499 году московские воеводы, князья С. Курбский и П. Ушатый, посланные Иваном III для присоединения к Москве обширных северо-восточных югорских земель и для сбора ясака с их населения, «в месте тундряном, студеном и безлесном», у озера Пустое «град зарубили и нарекли его Пустозерским острогом». Это было порубежное укрепление. Вокруг него, под его защитой, разрослось промысловое и торговое поселение. В «Книге Большому Чертежу», составленной в 1627 году в Разрядном приказе по государеву указу, поселение именуется городом Пусто-озеро. Со временем экономическое и политическое значение города угасало, имя его посократили; в XVIII веке он стал Пустозерским городком, а в конце XIX века именовался уже только слободой Мезенского уезда Архангельской губернии. Город, когда-то имевший воеводу, в начале XX века не нуждался для управы и в урядинке.

Почти три века Пустозерск был местом ссылки и заточения неугодных правительству людей, его большая тюрьма с четырьмя отделениями и смотровой башенкой, окруженная караульнями, не пустовала. Заточали узников либо на долгие сроки, либо навечно. О многих из них осталась в народе память.

Больше всего сохранилось устных рассказов и легенд о замечательном русском писателе XVII века А. Петрове, раскольнике, неистовом протопопе Аввакуме. Аввакум Петров родился в 1620 или 1621 г. в селе Григорово Нижегородского края, а погиб у нас на Севере, в Пустозерске. Он оставил более восьмидесяти рукописных произведений, большей частью написанных в Пустозерске, потрясающих силой живого слова, выражающих непреклонность его устремлений, любовь к родине и человеку.

«Житие Аввакума, написанное им самим» и ряд документов, характеризующих его бесстрашную, но поистине страшную, мученическую жизнь, переведены на одиннадцать языков: французский, английский, немецкий, турецкий и другие.

В памяти поморов Аввакум Петров — это учитель Аввакум, борец за правду народную, обличитель «не обинующися лиц сильных», за что сидел он в земляной тюрьме, «за великой крепостью» пятнадцать лет и принял смерть на костре, сожженный заживо.

Следует признать, что память об Аввакуме хранили главным образом старообрядцы, которых в начале нашего века на Севере было немало.

Это массовое религиозно-общественное движение на демократической основе получило еще в XVII веке название «раскол», сторонников его стали называть «раскольниками», а позднее «старообрядцами». Со временем раскол терял характер политического протеста и в XVIII веке выродился в реакционное течение, противившееся прогрессивному развитию русского общества.

Раскольники, ушедшие от преследований правительства и церкви, основали на Севере многочисленные поселения, отличающиеся особым укладом жизни, который определяли их воззрения, старые обычаи и церковные обряды. Поселения стали известны как старообрядческие скиты. Православная церковь вела борьбу со старообрядчеством, разоряя скиты, часовни, уничтожая книги, писания и обрядовый обиход. Старообрядцы теряли свою обособленность, и к XX веку скиты, уже малочисленные по количеству и по составу живущих в них, стали только прибежищем немногих приверженцев «старой веры» наподобие монастырских организаций различных вероучений.

Жил, долго жил, а теперь все слабее теплится в памяти народной образ Аввакума, бойца за правду, а какую точно — многие уже давно и не знают.

Можно только сожалеть, что «Житие протопопа Аввакума» издается редко и крайне ограниченными тиражами, так что его произведения малодоступны и почти незнакомы людям молодым, да и другие поколения вряд ли могут утверждать, что хорошо знают творчество великого русского писателя.

В 1916 году удалось мне побывать на озере Корода, там были когда-то два скита, позднее они переросли в две небольшие деревни: Большую и Малую Короду. Они лежали близ тракта. Часть жителей были старообрядцами, у них сохранилась молельня. Остановились мы в Большой Короде в доме рыбака Н. М. Пушкова. На вопрос, не старообрядец ли он, ответил охотно: какой веры — сам не знает, ему 36 лет, дома по ранешию. Рассказал о своем деде.

«Дед у нас старой веры, мольельной заправляет, зовут его Никанором. Читает книги старые, почитает отца Аввакума. Мы тоже почитаем. Дедко говорил не раз: Аввакумово житье праведное, слово его верное. Праведность его в чем, теперь не очень знаем-понимаем, а дедку верим. Был на нашей земле такой, крепко за правду стоял. Дедко рассказывал, не сгорели страдальцы, нельзя им было сгореть. Они муку приняли, земляную тюрьму перенесли без тепла и света. Огонь их и не тронул. Нашему помору, как уверился он в чем,— все нипочем — жги, топи, пали в него — выстоит. Замрет спервоначалу, а потом и оклемается. Сам на войне видел — солдаты крепкие. Твердо на своей земле стоят, не сдвинешь. Во всем так наши, беломорские».

Утром тропинкой я пошла к молельне, на полпути меня догнал старый мужчина, высокий, костлявый, седой, босой, в довольно длинной рубахе навыпуск, без опояски и без шапки. Узнав, что я иду к отцу Никанору с просьбой рассказать, что он знает о пустозерцах, он приостановил меня и сказал: «Строг на разговоры отец Никанор». Все же проводил меня до молельной. Она стояла на берегу озера, обычная рубленая четырехстенка на три окна по фасаду, под двускатной крышей с большими свесами. Отличало ее большое, широкое четырехступенчатое крыльцо, под крышей на столбах.

На верхней ступеньке сидел отец Никанор — старый, могучий, бородатый, сумрачный, в длинной белой рубахе. Я поздоровалась с ним, он слегка кивнул головой. Отец Александр коротко объяснил ему, зачем явилась я. Никанор оглядел меня и сказал:

— Шепотью, поди, крест кладешь. Не тебе об учителе нашем Аввакуме и нас слушать.

— Почему ей об отце Аввакуме не послушать? Девка молодая, а каку дорогу от Рикасихи пешем сломала, за словом шла. Поймет, твое слово доходчиво. Сердечный у ней интерес. Отче Никанор, не отваживай.

Молчали и Никанор, и мой защитник Александр. Я отважилась только на три слова: «Аввакум — совесть наша». На большее у меня слов тогда не нашлось.

— Не знаю еще девку эту. Присмотрюсь, может, и скажу что.

Отец Никанор ушел в молельню, отец Александр в деревню, а я присела на ступеньку крыльца у столба. Ждала часа два. За это время мимо прошли с сетями два рыбака и рыбачка, потом подошла девушка лет семнадцати. Она начала разговор.

— Слова ждешь от его? Мало говорит, а скажет, как отрубит. Все помнит, что сказал-приказал, спросит. Ослушался кто, лестовкой ударит, больно бьет, из кожи, тяжелая. За большое, по-евойному, ослушание два раза хлестанет, не разбирает, куда попадет; лицо руками прикрываешь, глаза укрываешь.

— Он и взрослых так бьет?

— Не, женатых не бьет, старых тоже, малых ребят тоже не бьет, волосянку даст только. Мужиков и жонок за ослушание на поклоны ставит, не хлещет. За дело наказывает, все так говорят, не осуждают.

— Какое ослушание большим отец Никанор считает?

— На чтение-пение как не придешь в большой праздник. В большой все, а в малый только старые ходят, мы не ходим. Хлеста за это не дает. За куре во бьет, за воровство — из сетей парни рыбу иной раз крадут.

— Что же, он по домам ходит бить?

— Не, позовет через кого к себе — ослушаться не смеют,— или стретит где, хоть через сколько дней, а помнит и походя хлестанет. Лестовка при нем. Скажет, за что хлест дал. Стыда боятся, при всех хлестанет и скажет.

— Ему не отвечают, не бьют его?

— Не, рази можно, уважение ему за советы, лечение: травы знает, травники у него. Зимой грамоте учит. У нас в деревне все грамотны. Что ты неладное-то сказала!

— Работаете на всех?

— Не, с чего, кажной дом на себя, свое хозяйство у нас. Все сами по себе. Жить обществом не разрешается. Никто и не хочет. Одно плохо у нас, не пущают нас в город, не бывала там. Баловство, говорят, там. Посмотреть охота. У тебя на головы платок городовой с цветками, а у нас до старости белый, а на старость черный, у вдовиц тоже черный.

— Поменяемся, я отдам цветной тебе, а ты мне свой белый.

— Не поносить мне, сорвут и хлест заполучишь.

Со скрипом отворилась дверь, вышел на крыльцо отец Никанор. Девушка притихла. Увидев ее, он спокойно сказал:

— Ты чего здесь, иди, куда послана.

Она быстренько скрылась. Помолчали мы, я не осмелилась его спросить, о чем хотела, заговорил он, голос у него был приглушенный:

— Слыхала ли, что слово сказано нам такое: всем един покров — небо, едино светило — солнце.

— Слов таких не слыхала, не знаю, кто и сказал.

— В городу живешь, учишься, поди, книги читаешь. Великих слов не слыхала. Учитель Аввакум сказал и записал, теперь не вырубят, все знаем. Помни и мои слова об учителе нашем: от несчастного народа шел, сам был без доли, за него шел без страху, к нему пришел на вечную память. За твои давешны слова об отце Аввакуме разговор с тобой веду.

Теперь иди своей дорогой, нечего тут тебе глядеть, расспрашивать. Коль не глупа, поймешь, что сказано.

Помню все по сей день. Надеюсь, что все поняла.

На следующий день с отцом Александром отправились мы в Пустозерский скит. Дорога трудная, тропами. Останавливались на ночь в Амбурском ските. Только к полудню следующего дня добрались до Пертозера и скита, точнее скитов, их было когда-то тоже два — мужской и женский. Осталась одна, довольно большая деревня и выселок. Сохранилась молельня, точнее, ее здание, наставника-начетчика при ней уже не было. Население деревни почти поголовно старообрядцы. Старый обиход — одежда женщин, наличие икон, особый летний пост перед Петровым днем, характер приветствий — был выражен более ярко, чем в Кородах. Возможно, сказывалась близость Амбурского женского скита, где старые традиции не сохранились, а укоренились.

Воскресный солнечный день. Близость озера, леса, лугов, полей и болот. Тишина, все отдыхает. Отец Александр пристроил меня на проживание к пятидесятилетней одинокой женщине, дом ее стоял на краю деревни. Еликонида Ефимовна поставила мне два условия — не пить из ковша, висевшего на краю ушата с водой, и не прикасаться руками к иконам. «Лики смотри, когда завеску я сама отдерну, а руками не трожь». Жила я у нее пять дней.

Многое за эти дни повидала, много разговоров послушала: о старой вере, о книгах, об иконах, о женской доле-судьбе, о нарядах и песнях. Старики сетовали: «Никанор наставника долго не ставит, баловство проявляться стало. Уваженье к жизни нашей не то, особо от парней. Табакуры, охальники есть. И остарстки им не дай». Зашел как-то разговор и о Соловках, о самосожжении, упомянули и о пустозерцах, об Аввакуме. Разговоры о нем вели старики, женщины слушали и вздыхали.

«В Сибири изгильства сколь претерпел, все выстоял и не убоялся царских проделок. Помор наш был. Говорили, с Зимнего, родной деревни вот не знаем. Может, ты слыхала?»

Не решилась я тогда сказать, что он не помор, промолчала.

«Зимники, точно, народ крепкий. Ну-кось, на зверя во льды каждогодно ходят, на весновальных их в голомень носило, выживали и в другой год опять ходили. Крепкие от роду зимники. Об отце Аввакуме речь тоже — крепкий, словесный был. Слово его, как пуля-свинчатка, пробивает. Никанор в книге читал, пока я у него был. Не нонешне наше племя. Оскудели мы духом и словом. Нет таких слов, все по городу надо. Забыли, должно, либо не смеем такое слово сказать. Становой батюшке кудемскому докажет. Разорит моленну».

«Помор отец Аввакум и есть, не окаменел от трудностей, человек остался. Охоту в жонке своей не утерял, потомство на земле родной оставил, о детишках-то как скорбел. То и слово егово было сильно. Голосище, говорят, было густое. Сам большой, высох только с голодухи, а горлом силен. Слово тоже крепкое было, доходило. Обличитель. Не повидали, давний он».

Жители Беломорья, которые еще что-то помнят об Аввакуме, считают его помором, причем с Зимнего берега, где было много крупных скитов. Уверенность их поддерживалась рассказами о связях Соловков через эти скиты с ссыльными и заточенцами Пустозерска, особенно в период 1668—1676 годов, то есть в период осады Соловецкого монастыря. В рассказах точно указывалось, от какой «пристаньки соловецкой и какие суденышки шли и до какой затиши приходили». Путь был долгий, трудный — морем, реками, волоками. За пятнадцать, а то и за двадцать дней его проходили. Привозили тудасюда писемца и весточки. От Соловецкого и разносились предания по всему Поморью.

Амбурский женский старообрядческий скит стоял за болотами Рикасихи и Кудьмы, к северу от тракта с Двины к Белому морю, к Солзе, Сюзьме, Неноксе и дальше к Унской губе. Первоначально скит был заложен на Пинеге близ Красногорского монастыря. После его «разорения» в первой половине прошлого века часть скитниц ушла в Кудьму. Освоившись и заручившись поддержкой единоверцев, они поставили молельню-часовню, укрыли в ней принесенные с собой старые книги, иконы и весь обрядовый обиход. Постепенно поставили жилье. Возник скит.

Строгими порядками Амбурский скит был известен во всех селениях Летнего и Онежского берегов Беломорья, помнили о нем на Пинеге, были у скитниц знакомства с единоверцами Приазовья и Прииртышья. На житье в скит обычно вступали поморки и пинежанки. Скитниц редко бывало более пятидесяти. Единственное условие для вступления в скит — исповедание «правой веры» в течение всей жизни в миру. Многие поступающие добровольно приносили в скит богатый вклад: рукописные и старопечатные книги, иконы, кресты. Единоверцы из дальних краев присылали денежные и иные вклады: муку, крупы, сахар, мед, зимнюю одежду, свечи. Одновременно от жертвователей поступали поминальные списки за здравие и упокой. На скитских службах некоторые списки зачитывались ежедневно весь год, другие только в поминальные дни. Все зависело от ценности вклада.

Полностью обеспечить жизнь своим трудом сестры-скитницы не могли. Вокруг скита лес, болота, до деревень далеко, а на жительство обычно поступали женщины на закате своей жизни, изработавшиеся на морской и полевой страде. Все же они заготовляли топливо, сено для овец, ловили в озерах рыбу, собирали ягоды и грибы в запас на зиму. Для продажи вязали веники и помела, плели кузова, пряли шерсть, вязали в дар жертвователям носки, рукавицы, шарфы и бузурики. Зимой на санках тащили по подмерзшему болоту свои «товары» на продажу в Рикасиху — село на перепутье дорог в Архангельск.

Писание икон и переписка книг, одно время проникшие как отголосок Выговской и Лексинской обителей, не привились. Хотя поморки все были грамотными.

Повседневная жизнь в скиту была скудная и трудная, замкнутая в круг огорожи скита, в круг интересов женщин, оторвавшихся от родных, от привычных хлопот, от жизни, идущей вперед. Остались скитницам раздумья, неосуществленные намерения и надежды, мысли о близком конце и воспоминания, а с ними нередко и сожаления. Но они полностью сохранили чудесный клад — Слово. Слово точное, выражающее сердечную боль и пронзительную жалость, радость, даже восторг, а также и гнев. Не было у скитниц иного способа выразить свою мысль, свои чувства — только слово-речение, слово-песня. Истинно скатный жемчуг даже бытовая речь старых поморок, а их рассказы — подлинно высокое, вдохновенное творчество. Помогали сохранить этот клад старые книги, их почитали. Среди скитниц были чтицы великого мастерства. Они познали власть слова и умели им пользоваться не только для воздействия на других, но и для укрепления самое себя. Были и толковательницы старых творений — сказываний, притч, песнопений и славословий. В прошлой жизни они испытали и счастье, и немало горя, были среди них стремящиеся выяснить, как связать прошлое с будущим. Были и такие, кто хотел только спокойной жизни, тихого конца. В лабиринте легенд и суеверий они искали успокоения. Книги помогали всем. Слово завораживало, одних духовно укрепляло, других умиротворяло. Слово влекло и подчиняло всех. Оно связывало «покинувших мир» с этим все же родным и таким милым по сердцу миром. Они его не забыли.

В ските все были равны, выделялась только старшая — начетчица. Она была полновластной руководительницей, наставницей, хранительницей порядка и традиций, судьей всех споров и стычек, хозяйкой. Решения ее во всех случаях были окончательными. Но жила она в таких условиях, как и все остальные скитницы.

В июле 1913 года из Бердянска приехала в Архангельск моя знакомая по Бестужевским курсам М. Н. Поветкина, семья ее была старообрядческой. Она привезла вклад для Амбурского скита и просила провести ее туда. В ските я уже бывала дважды, но дорогу через болото знала плохо, необходимо было искать проводника. 17 июля мы были в Рикасихе и, переночевав у Д. А. Ефимовой, на следующее утро отправились с нею в скит, дорогу она знала хорошо. Все дары тащили на санках.

Дорога была плохая, по болоту, с кочки на кочку, по проложенным кое-где дощечкам, по срубленным веткам деревьев и кустов. Жара, тучи комарья, овода, и ноша на санках немалая. Скит открылся весь сразу при самом подходе к нему. На взгорье, за невысокой огорожей, на зеленой поляне потемневшие деревянные рубленые избы, часовня, колодец с журавлем, поленницы дров, по траве протоптаны тропки. И ни души. Тишина, только назойливый зуд комарья. Живы ли люди или ушли куда-то?

Но вот показались две женщины в черных глухих сарафанах, в белых рукавах, повязаны белыми платками. Они вышли за огорожу, нам навстречу, поликовались с Дарьей, поклонились нам в пояс и проводили всех к старшей, женщине уже пожилой. Там — теплые приветствия, тихая радость, какие-то осторожные расспросы об Архангельске, Кудьме, Бердянске, воспоминания о встречах, памятных во всех мелочах. Нет, жизнь здесь не замерла, но замедлилась, вошла в тесные границы — то ли по уставу, то ли это усталость женщин от тяжкого труда, который они вынесли, живя в миру. Может быть, эта замедлительность и тишина вокруг — желанный покой для них.

Закончена встреча: по указанию старшей нас отвели в келью, принесли колодезной воды для умывания, пригласили отдохнуть на довольно-таки жестких топчанах и через час прийти потрапезовать. В трапезной собрались все скитницы и те, кто пришли навестить их. Обменялись приветствиями. После краткой молитвы, которую зачитала старшая, приступили к скромному обеду: грибовница, пшенная каша, квас. Все по раздаче. У каждого своя чашка и ложка. После обеда все разошлись по кельям, а нас старшая пригласила полюбоваться книгами, ликами и всем хранящимся в молельне. Старшая хорошо знала сокровища скита, различала особенности псковского, новгородского и сольвычегодского (строгановского) письма ликов; она более всего ценила поморское письмо: «...строгое оно, к смирению зовет, да и рассказывает о наших святителях». Хороши были складни, кресты, дорожные иконы выговского литья с белой, голубой и синей эмалью. Их старшая выделило особо: «Старое дарение».

Запомнились «лики чудесные»: икона Николая Мирликийского в двенадцати клеймах, где написана жизнь его от рождения до смерти. Все события на фоне северной природы и поморского быта. Типичный ландшафт Беломорья, море то тихое, то с волной, россыпи камней у уреза воды, на берегу избы, рыбачьи сети, вдали ели. Тишина. Никола несет улов. Была псковская Параскева Пятница, соловецкие угодники, Дмитрий Солунский и поразительный Деисус. Икон много, книг — 78 экземпляров. Переплетены в тяжелые деревянные доски, обтянутые холстом или кожей, с медными застежками, некоторые украшены жуковинами. Тут были Евангелия, два из них, гордость скита,— в окладах, Минеи, Апостол, Часослов, Требники, Служебники, Триоди. Старшая особо выделяла соловецкий, рукописный. Были книги и не церковные, лицевые. Все прекрасной сохранности, но не дошло до нашего сегодня.

Конец дня провели на завалинке в разговорах и расспросах о жизни в прошлом и в скиту, о книгах. Вспоминали, кто что знает о жизни первоучителя Аввакума и его жены Настасьицы, Феодосии Морозовой и Евдокии Урусовой. Спрашивали, где бы приобрести их «личности» — изображения. Мы рассказывали о картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова». Знали скитницы многое. Это, наверное, заслуга старшей, а может быть, они и в миру вели беседы между собой обо всем этом? Говорили коротко, образно, слова были удивительные. Сестра Манефа, из Кицы она, про Аввакума сказала: «В огне не сгорел, по миру с дымом развеялось его слово. Достойно предстанет на суд страшный». О женщинах, его исповедницах, сказала еще короче: «Лучесветные они». Сказав это, она встала, поклонилась в пояс, коснулась пальцами земли. Земной поклон всем отдала. До конца беседы не сказала больше ни слова.

Разговор шел также о Соловецком сидении*, о письмах на Печору и ответах оттуда. Были и легенды. А как они слушали друг друга, слова не уронили. Слушали внимательно и наши слабые речи, но как-то отчужденно. Молоды были мы с Марией для них, а может быть, уже чужды. Мы не любопытничали, были уважительны и серьезны, как и они. Но мы не были «свои». Мы пришли из того мира, который они уже оставили, но который все еще помнился им. Они не осуждали ни нас, ни оставленный ими мир. Все их помышления, должно быть, были о фантастическом будущем заоблачном мире, где каждому, ждали они, воздастся по трудам его. Мы все же напомнили о мире ином, действительном.

Позднее в скит через Рикасиху была отправлена хорошая репродукция картины В. И. Сурикова.

После паужины отправились на покой. Спали, как говорится, без просыпу до восхода солнца, встали на утренней заре, медленно разгорающейся где-то за лесом в прохладном воздухе, пахнувшем хвоей, багульником, травами, росой, умылись у колодца, выслушали чтения в молельне, выпили чаю и в девять часов по приглашению старшей направились слушать «девятый день»: в ските поминали сестру-скитницу на девятый день после ее кончины.

Обряд поминовения совершали в трапезной. Это была большая комната без обоев, побелки и окраски, кругом строганое дерево, по стенам широкие крашеные лавки, в большом углу под божницей длинный стол, его строганую столешницу отполировало время. На столе глиняное блюдо с небольшими ломтями ржаного хлеба, две солонки с крупной солью, кувшин с водой и несколько кружек.

В трапезную впереди всех вошли семь старых скитниц в косоклинных глухих сарафанах, в черных платках вроспуск. Они сели в большом углу, у стола под образами, остальные скитские и пришедшие, все в черной одежде, головы повязаны платочками, молча разместились на лавках вдоль стен. Суровы были и обстановка, и собравшиеся женщины. Ни шепот, ни движение не нарушали тишину.

Начали поминовение. Сидевшие за столом вставали по очереди одна за другой и сказывали свое поминальное слово. Начала старшая, сидевшая с краю стола. Торжественно и сурово она обратилась к присутствующим:

«Справим великий чин поминовения. Помянем добрым словом духовную сестру нашу, труженицу Марфу. Оставила она юдоль земную в смирении, благочестии, в трудах, положенных ей. Да слышит нас душа ее».

После этих слов она перекрестилась, поклонилась сестрам, сидевшим за столом, а затем отдала поясной поклон присутствующим. Села.

За нею по очереди поднимались и говорили свое поминальное слово остальные шесть сестер.

---

* Авторы ряда работ (Н. А. Барсуков, А. М. Борисов и др.) говорят о данном событии как о Соловецком восстании. (Примечание редакции).

Пустозерское городище. Снимок сделан с вертолета. Август 1987 г. *ФОТО ПАВЛА КРИВЦОВА*

— Трудилась в миру сестра наша Марфа на земле и на море, исполняла труд, из веков посланный человеку, трудно добывала хлеб и соль для детей своих, но не возроптала.

— Не нарушила сестра Марфа завета божьего, данного человеку, оставила в потомство сыновей и дочерей, вырастила их в труде по завету учительскому и ушла в скитское жительство, покрыла грехи мирские своим трудом и замолила их. Откроются ей врата райские.

— В скиту ходила за немощными, всегда помнила, что живем на земле страстотерпцев. Нам она в поучение.

Сказав свое поминальное слово, каждая сестра в пояс кланялась старшей.

Выслушав всех, старшая встала, высоко подняла правую руку с двуперстием. Жест торжественный, призывающий. Он напомнил, как Аввакум, объятый пламенем и дымом костра, так же поднял руку, когда его живым сжигали в Пустозерске. Старшая требовательно возгласила: «Восславим волю всевышнего». Все встали и запели: «Ты моя крепость, господи, ты моя и сила, и надежда, ты мое радование, не оставь недра отча и нашу нишету посети, с пророком Аввакумом зову. Силе твоей слава, человеколюбие. Прими славовловие наше и упокой сестру нашу Марфу».

Пели низкими голосами согласно, самозабвенно и торжественно. Лица суровые, глаза горят. Думалось, любая пошла бы на муки Аввакума.

Кончили петь, старшая пригласила присутствуюших: «Вкусим в память усопшей основу жизни нашей». Все подошли к столу, взяли по ломтику хлеба, посолили и, отпив глоток воды, съели его, не уронив ни крошки.

Каждая сестра сказала поминальное слово — краткое и суровое. В их словах утверждались труд и верность великому достоинству человека, как обязанность его в настоящем и для будущего. Нам это понятно и как выражение сокровенных, добрых чувств человека, и как его творчество.

Не знаю, сказывали скитницы одни и те же поминальные слова на каждом поминовении или каждый раз это была импровизация. Как бы то ни было, эти простые слова не забылись, не забылись и торжественность обряда и его глубокий смысл — поминалось лучшее в человеке, воздавалось ему должное по трудам его, по стойкости его духа.

Отжили своей век, самозакрылись за ненадобностью скиты, лишь кое-где сохранились воспоминания и легенды о них.

На левобережье Северной Двины в 32 километрах от Архангельска в XVII веке были основаны два раскольничьих скита на озере Малое Лахтинское (мужской и женский) и один — иа озере Большое Лахтинское. Во второй половине XIX века большелахтинский скит принял учение единоверческое, а два малолахтинских слились в один. Места на Лахте уединенны, живописны. Хорошие боры, озера. В начале XX века скиты еще сохранились, но были малочисленны, население переходило в деревни Холм, Ширшу, Захарово. На месте скитов осталась деревня Лахта. В этой деревне я бывала не раз и там записала следующие рассказы.

«Дед мой старой веры держался. Сами мы с Печоры. Перешли на Двину по воле деда еще в прошлом веке. Дед сказывал, Пустозерск вторым когда-то был после Архангельска. Архангельск Городом прозывали, а Пустозерск Городком. Память о нем долго держалась рассказами о сожженцах пустозерских. В наше время Пустозерск уже выжился, что там было, как жили — не слыхали ни мы, дедовы внуки, ни дети, ни внуки наши. Мальчишком я был, слыхал только от деда об Аввакуме и его соратниках. Крепкие были мужики и телесно, и духом своим. Жгли их живыми — вытерпели, пощады не просили. За что казнили — не знаем. Правду искали они — это знаем».

«Хотела я сыну перленькому дать Аввакумово имя. Бабушка советовала, она по скиту знала о нем. Три скита иа озерах было, теперь там порушилось все. Одна старушка древняя осталась, живет тем, что принесут из деревни, ягодки, грибы собирает. Отец мой не дозволил имя Аввакумово дать. «Тяжелую правду имя это наложит. Не дело именем Аввакума забавляться, зови по-иному». Так сказал. Ои по старой вере. Мы в верах не разбираемся, ни к чему это нам, а ему не перечим, сурьезный он. Всех ребят отдавал грамоте и мастерству учиться. Чтец, газеты читает, выписывает. Порасскажет и нам что. Корят его — старовер. От него только строгость и польза, а вреда нет».

1935 г.

В 1958 году побывала я в Мезенском заливе. В дороге среди пассажиров парохода возник разговор о старых поселениях Зимнем, Абрамовском и Конушинском берегах, по реке Куе, Кулою и Мезени. Вспоминали о временах их заселения, о том, какие причины влекли человека в край незнакомый и неприютный. Возник вопрос и о том, почему в этом районе было много старообрядческих скитов и остались ли какие-либо их следы. Местный житель, работник райсовета, не только охотно отвечал на вопросы, но дополнительно рассказывал о жизни района, об его успехах. Его ответы относительно старины сведены в один рассказ.

«До нас дошло мало сведений об Аввакуме и его сторонниках. Одно помним — были они, место было известно, где их сожгли, четыре креста сторонники их поставили, подновляли. У нас в районе еще есть староверы, они и хранят память, больше женщины этим интересуются. Легенды ли помнят или от себя что расскажут — это уж их дело. Интерес к этим дальним событиям и людям утрачен. Приезжие интересуются их жизнью, записывают, а мы современными занимаемся делами, вперед смотрим, а не назад. Вы поищите сами, есть люди-староверы, они больше знают. Для науки знакомство с религиозной стариной не запрещено. Может, изучение ее и представляет интерес. Иконы старинные, изделия хозяйственные из дерева, литье медное иа сумки коновалов сохраняют как родительскую память. Поинтересуйтесь. Коновалы мезенские были знамениты. Лошади мезенки звались, для Севера были пригодны. Не велики, а выносливы. На все ярмарки раньше их выращивали. Мал золотник, да дорог, можно было про них сказать.

Теперь в Пустозерске пять домов, жителей десяток. Молодежи, детей нет. В Нарьян-Мар все ушли, на учеиье, на работу».

На Мезени записано три рассказа, в которых упоминается о Пустозерске и Аввакуме. Первый в Семже, второй — в Пые и третий в Кимже. Там в 1966 году я была вторично.

«Была у нас в Семже хорошая часовня, моленная мы прозвали. Много было благолепия, образов старых, книг разных. Собирались, слушали чтение, пели псальмы, свечи жгли. Хорошо, пристойно было. Рассказы были о предстоящих пред предстолом за нас. Одна старушка семжинская много знала, она и чтение вела.

Бывала я на Пустоозере пятьдесят лет тому назад. Домов там два порядка. Часовня и церква деревянные, запустелые. Веточки с места успокоения учителя Аввакума принесла. Там я слыхала об их, сожигали их, а он все крычал благословение. Сидели они в земле долго, подавали воду да хлеб от казны, похлебать горяченького ничего не давали. Жители сострадали, подкидывали рыбки поесть, стража ничего, допускала иной раз, как начальства нет. Учитель стоять еще мог, а его сподаижники совсем исстрадались. Сила у него была для слова к жителям, они собрались на день его смертного часа. Такие слова крычал: «Все мы одинакие дети господни, стойте за благочестие свое, хулу не кладите на врага своего». Истинно благостный человек был, память такая вечная».

«Крест вот в Пые поставлен в память пустозерцев страдальцев. Старшого их Аввакумом звали, был еще Федор, других не знаю. О чем учили, не знаем точно, а слыхали, добру учили. Приходят старые люди ко кресту, вешают одежки, полотенца для здоровья своего либо родных. Поминают тех пустозерцев, почитают их».

1966 г.

«Церковные споры и распри до нас уже не дошли, не нужны они нам. На церковь только любуемся, красота возведена, купола сияющие, а изукрашенье и всего-то лемехом. Творенье рук мастера. Церковные дела — не наши дела. Мы на море всю жизнь трудились, на промысле и в экспедициях. Об Аввакуме слыхали. Умный был человек, а горячий, в споры кидался, все забывал, сам только правым был. Ум большой, по слухам-то, обсудить мог и дела царевы-государевы; осуждал, кого неправым счел, и царя, и патриарха, и урядника. Всех в осуждении ровнял. А у каждого власть, каждый наказание даст, а то и забьет, это по прежнему времени. Все на своем стоял, что правым считал. Отсюль ему и прозвище «праведник».

Старики кое-что еще помнят, а молодым до него дела нет. Да, всему свое время. История это народная. Говорил Аввакум хорошо, доходило до народа; наша поморская речь не забывается. Старушки много его словес помнят. Нынче и ученые, и писатели словом поморским интересуются».

А. Митькин из Кижмы, 80 лет.

Сравнивая свои записи рассказов об Аввакуме в период 1913—1969 гг., ясно вижу, что остается все меньше людей, что-то слыхавших о нем, забывается и то, что еще помнилось даже в тридцатые годы. Все же по имеющимся записям можно понять, почему именно в Поморье память о нем хранится более трехсот лет. Можно и представить, каким запечатлен Аввакум в памяти народной.

Последние пятнадцать лет жизни Аввакума Петрова прошли в Печорском крае, в Пустозерске. Здесь он был заточен в земляную тюрьму, здесь иасильственно оборвалась его жизнь — 14 апреля 1682 года он был сожжеи на костре. Здесь нашлись смельчаки — переписчики и распространители его писаний, нашлись для них и верные пути на Соловки, а оттуда по Беломорью. Нашлись и те, кто ждал пустозерских весточек, берег их. Вот и хранилась здесь память об учителе Аввакуме.

В памяти поморов, почитателей Аввакума, запечатлелся один и тот же образ его — высокий, исхудалый старец со сверкающими глазами, густым голосом и палящим сердца словом, зовущим к правде жизни, словом согревающим, призывающим к человечности. Его стойкость в бедах и истязаниях поддерживала тех, чья жизнь была беспросветна.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СОЧИНЕНИЙ АВВАКУМА

Автобиография протопопа Аввакума. — Летописи русской литературы и древности, изд. Н. Тихонравовым. Кн. VI. М., 1861, стр. 117—173 (первое издание «Жития»).

Житие протопопа Аввкума, им самим написаниое. Изд. под ред. Н. С. Тихонравова. СПб., 1861 (на обложке — 1862).

Барсков Я. Л. Памятники первых лет русского старообрядчества. Вып. I. СПб., 1912.

Памятиики истории старообрядчеств XVII в. Кн. I, вып. 2 (Русская историческая библиотека, т. 39). Л., 1927.

Житие протопопа Аввакума, им самим написаниое, и другие его сочииения. Ред., вступит, статья и коммент. Н. К. Гудзия. [М.], Academia, 1934.

Малышев В. И. Три неизвестных сочиииния протопопа Аввакума и иовые докуметы о нем. — Докл. и сообщ. Филолог. ин-та ЛГУ, 1951, вып. 3, стр. 255—266.

Малышев В. И. Два неизвестных письма протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, 1958, т. XIV, стр. 413—420.

Житие протопопа Авваума, им самим написаниое, и другие его сочинения. Под общ. ред. Н. К. Гудзия. Вступит. статья В. Е. Гусева, А. С. Елеонской, А. И. Мазунина, В. И. Малышева, Н. С. Сарафановой, М., 1960.

Копылов А. Неизвестный автограф протопопа Аввакума. — Русская литература, 1961, № 1, стр. 139—140 (расписка, хранящаяся в Сибирском приказе).

Робинсон А. Н. Жизнеописания Аввакума и Епифания. Исследование и тексты. М., 1963.

Демкова Н. С. Неизвестные и неизданные тексты из сочинений протопопа Аввакума. — ТОДРЛ, 1965, т. XXI, стр. 211—239.

Житие протопопа Аввакума. — В кн.: Изборник (сборник произведений литературы Древней Руси). Б-ка всемирной лит. Сер. первая. М., 1969, стр. 626—674, 782—790 (изд. и примеч. А. Н. Робинсона).

Демкова Н. С., Малышев В. И. Неизвестные письма протопопа Аввакума. — Зап. отд. рукописей ГБЛ, 1971, вып. 32, стр. 168—181.

Кудрявцев И. М. Сборник XVII в. с подписями протопопа Аввакума и других пустозерских узников. Материалы и исследования. — Зап. отд. рукописей ГБЛ, 1972, вып. 33, стр. 148—212.

Демкова Н. С. Из истории ранней старообрядческой литературы («Писанейце» Аввакума Ф. М. Ртищеву, отрывок из неизвестного сочинения Аввакума и др.). — ТОДРЛ, 1973, т. XXVIII, стр. 385—392.

Пустозерский сборник. Автографы сочииений Аввакума и Епифания. Изд. подгот. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Под ред. В. И. Малышева (отв. ред.), Н. С. Демковой, Л. А. Дмитриева, Л., 1975.

Житие протопопа Аввакума, им самим написаиное, и другие его сочииения. Изд. подг. Н. К. Гудзием и др. Иркутск; 1979.

Житие протопопа Аввакума, им самим написаиное. — В сб.: Пустозерская проза, М.: Московский рабочий, 1989.

«Слово плачевное» посвящено памяти умерших в 1675 г. в боровской земляной тюрьме боярыни Феодосьи Морозовой, княгини Евдокии Урусовой, жены дворянской Марии Даниловой и написано, очевидно, в первой половине 1676 г. под непосредственным впечатлением известия об их смерти. Боярыня Феодосья Прокопьевна Морозова, вдова одного из первых бояр при царе Алексее Михайловиче — Глеба Ивановича Морозова, и княгиня Евдокия Прокопьевна Урусова, жена также приближенного к царю — кравчего князя Петра Семеновича Урусова, — родные сестры, урожденные Соковнины, родственницы Ф. М. Ртищева и свойственницы царя и царицы, ярые приверженницы раскола и последовательницы Аввакума. Ни убеждения, ни преследования и мучения, ни тягчайший тюремный режим не сломили воли сестер. Они умерли, заключенные в боровской (ныне Калужская область) земляной тюрьме (Урусова — 11 сентября 1675 г., Морозова — 2 ноября того же года).

«Плач» Аввакума — соединение народного причитания с ламентациями библейских пророков — оказал несомненное влияние на надгробные плачи старообрядческих писателей XVIII в. (братья Денисовы и др.).

Протопоп АВВАКУМ

«О ТРЕХ ИСПОВЕДНИЦАХ СЛОВО ПЛАЧЕВНОЕ»

Месяца ноября во второй день сказание отчасти доблести, и мужестве, и изящном страдании, терпении свидетельство благоверныя княгини Феодосии Прокопье[в]ны Морозовы и преподобномученицы, нареченныя во инокинях схимницы Феодоры.

О трех исповедницах слово плачевное.

В лето...[1] быша три исповедницы, жены — болярони: глебовская жена Ивановича Морозова Феодосья Прокопьевна, во инокинях Феодора-схимница, и сестра ей бе, нарицаемая княгиня Урусова, Евдокея Прокопьевна, с ними же дворянская жена Акинфея Ивановича Данилова Мария Герасимовна. Беша бо Феодосья и Евдокея дщери мне духовныя, иместа бо от юности житие воздержное и на всяк день пение церковное и келейное правило. Прилежаше бо Феодосья и книжному чтению и черплюще глубину разума от источника словес евангельских и апостальских. Бысть же жена веселообразная и любовная.

Многими дньми со мною беседующе и рассуждающе о душевном спасении. От уст бо ея аз, грешный протопоп, яко меда насыщашеся. Глаголаше бо благообразная ко мне словеса утешительная, ношаше бо на себе тайно под ризами власяницу белых власов вязеную, безрукавую, да же не познают человецы внешнии. И, таящеся, глаголюще: «не люблю я, батюшко, егда кто осмотрит на мне. Уразумела-де на мне сноха моя, Анна Ильична, борисовская жена Ивановича Морозова. И аз-де, батюшко, ту воласяницу искинула да потаемне тое сделала. Благослови-де до смерти носить. Вдовало я молодая после мужа своего, государя, осталася, пускай-де тело свое умучю постом, и жаждею и прочим оскорблением. И в девках-де, батюшко, любила богу молиться, кольми же во вдовах подобает прилежати о души, вещи бессмертией, вся-де века сег[о] суета тленна и временна, преходит бо мир сей и слава его. Едина-де мне печаль: сын Иван Глебович молод бе, токмо лет в четырнадцать; аще бы ево женила, тогда бы и, вся презрев, в тихое пристанище уклонилася». О свет моя, чево искала, то и получила от Христа!

Бысть же в дому ея имения на двесте тысящ или на полтретьи и християнства за нею осмь тысящей, рабов и рабыней сто не одно, близость под царицею — в четвертых боронях. Печаше бо ся о домовном рассуждении и о християнском исправлении, мало сна принимаше и на правило упражняшеся, прилежаше бо в нощи коленному преклонению. И слезы в молитве, яко струи, исхождаху изо очей ея. Пред очима человеческима ляжет почивати на перинах мяхких под покрывалы драгоценными, тайно же снидет на рогозиницу и, мало уснув, по обычаю исправляше правило. В банях бо тело свое не парила, токмо месячную нужду омываше водою теплою. Ризы же ношаше в доми с заплатами и вшами исполненны, и прядише прилежаше, нитки делая. Бывало, сижю с нею и книгу чту, а она прядет и слушает, или отписки девицы пред нею чтут, а она прядет и приказывает, как девице грамота в вотчину писать. И нитки — свои труды — ночью по улицам побредет, да нищим дает. А иное рубах нашьет и делит. А иное денег мешок возьмет и роздаст сама, ходя по кресцам, треть бо имения своего нищим отдая. Подробну же добродетели ея недостанет ми лето повествовати, сосуд избранный видеша очи мои.

Бысть же в Петров день пожар великий в Москве, и приближающься огнь ко двору ея; аз бо замедлив в дому Анны Петровны Милославские, добра же ко мне покойница была. Егда бо приидох к Феодосье в дом, и двое нас, отщед, тайно молебствовали, быша бо слезы от очию ея, яко река, воздыхание бо утробы ея, яко пучина морская колебашеся, глас же тоикий изо уст ея гортанный исхождаше, яко ангельский: «увы! — глаголаше, — боже, милостив буде мне, грешнице!» И поразится о мост каменной, яко изверг некий, плакавше. Чюдно бе видимое: отвратило пламя огненное от дому ея, усрамився молитвы ея сокрушенныя. Обыде и пожже вся окрест дому ея, а за молитв ея и прочих не вредило тут. Аз же тому бысть самовидец сам, и паче слуха видения: моя молитва при ней, яко дым, я же изо уст, яко пламя, восхождаше на небо.

Еще ж она, блаженная вдова, имела пред враты своими нища клосна и расслабленна. Устроили ему келейницу, и верная ея Анна Амосова покоила его, яко матери чадо свое, и гнойные его ризы измываху, и облачаху в понявы мяхкие. Сама же по вся нощи от него благословение приемлюще, рабыня же не отлучашеся от нищаго по вся времена.

Егда же рассвирепела буря никониянская и сослали меня паки с Москвы на Мезень во отоки акиянския, она же, Феодосья, прилежаще о благочестии и бравшся с еретики мужественне, собираше бо други моя тайно в келью к преждереченному нищему Феодоту Стефанову и писавше выписки на ересь никониянскую, готовляше бо ожидающе собора правого. И уразумевше бо сродники ея Ртищевы, и наустиша холопей ея воровским умыслом, и оклевещут ю ко царю. Царь же, лаская ея, присылал к ней ближних своих Иякима архимандрита, патреарха нынешняго, развращая ея от правоверия. Она же глагола мужественно: «аще-де и умру, не предам благоверия! Издетска бо обыкла почитать сына божия и богородицу, и слагаю персты по преданию святых отец и книги держю старыя, нововводная же ваши вся отмещу и проклинаю вся! Аще-де вера наша старая неправа суть, но яко же есть права и истинна, яко солнце на поднебесной блещашеся. Скажите ц[арю] А[лексею]: «почто-де отец твой, царь Михайло так веровал, яко же и мы? Аще я достойна озлоблению, — извергни тело отцово из гроба и передай его, проклявше, псом на снедь. Яр-де и тогда не послушаю». Посланницы же возвратишася вспять и поведавше царю, яже от нея слышавше. Он же повеле ей с двора не съезжать и отнял лутчие вочины — две тысящи христиан. А холопи в приказе клевещут на ню, яко блудит и робят родит, и со осужденным Аввакумом водится. Он-де ея иаучил противитися царю.

Потом приехал в дом к ней сродник ея, Феодор Ртищев, шиш антихристов, и, лаская, глаголаше: «сестрица, потешь царя тово и перекрестися тремя перстами, а втайне, как хощешь, так и твори. И тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя». Она же смалодушничала, обещалася трема персты перекреститися. Царь же на радостях повеле ей вся отдать. Она же по приятии трех перст разболевся болезнию и дни с три бысть вне ума и расслабленна. Та же образумяся, прокляла паки ересь никониянскую и перекрестилась истинным святым сложением, и оздравела, и паки утвердилася крепче и перваго.

Та же паки меня с Мезени взяли, протопопа Аввакума. Аз же, приехав, отай с нею две нощи сидел, несытно говорили, како постражем за истину, и аще и смерть примем — друг друга не выдадим. Потом пришел я в церковь соборную и ста пред митрополитом Павликом, показуяся, яко самовольне на муку приидох. Феодосья же о мне моляшеся, да даст ми ся слово ко отверзению устом моим. Аз же за молитв ея пылко говорю, яко дивитися и ужасатися врагом божиим и нашим наветникам.

И так и сяк, сослали меня в Боровеск, в Пафнутьев монастырь. Она же за мною прислала ми потребная. И, держав мя десять недель, паки возвратили в Москву. Она же со мною не видалась, но приказывала: «ведаю-де я, хотят тебя стричь и проклинать. Обличай-де их с дерзновением. На соборище том-де я буду и сама». И я таки, бедной, за молитв ея столько напел, сколько было надобе. Потом сослали на Угрешу меня за крепостию велиею. Она же и туде потребная присылаше ми. Потом перевезли паки в Пафнутьев монастырь. Она же потребная присылаше ми и грамотки. Потом паки мя в Москву ввезли. Она же, яко Фекла Павла ищущи, — увы мне, окаянному! — и обрете мя, притече во юзилище ко мне, и по многим временам беседовахом. И иных с собою привождаше, утверждая на подвиги. И всех их исповедал во юзилище: ея и Евдокею, и Иванушка, и Анну, и Неонилу, и Феодора, и святаго комкания сподобил их. Она же в пять недель мало не всегда жила у меня, словом божиим укрепляяся. Иногда и обедали с Евдокеею со мною во юзилище, утешая меня, яко изверга.

Егда же я взят бысть палестинскими, и переселиша мя на горы Воробьевы с Лазарем и со старцем Епифанием, и бысть крепко там, и невозможно видеться. Она же умыслила чином, по-боярскому в коретах ездила, бытто смотрит пустыни Никоновы, и, назад поедучи, заехала на Воробьевы ко мне и, будучи против избы, где меня держат, из кореты кричит, едучи: «благослови, благослови!» А сама бытто смеется, а слезы текут. Потом же так и сяк, ввезли мя паки в Москву на подворье Никольское. Она же по много прихождаше ко вратам двора того и стерегущим воином моляшеся, насилу обрела такова сотника, яко пустил на двор ея. Она же, прибежав к окну моему, благодарит Христа, яко сподобил бог видетися, и денег мне на братью дала. Да паки, ко вратом приходя, плакивала. Да и только видания.

Потом меня в Пустоозерье свезли, и писанием возвещахуся. Она же после меня бродила по юзилищам, идеже мучатся мученики. Потом тайно и постриглась, женскую немощь отложше, мужескую мудрость восприемше, и на муки пошла, Христа ради мучитися. Зверь бо, яко лукавый лис, воскитил ю из дому и предал за приставство воинству, бесчестия и волоча на чепях, яко льва окованну. И сестру ея Евдокею и княги[н]ю так же, мучиша обеих на чепях без милосердия. К ним же последи присовокупиша и Марию Герасимовну, и бысть троица святая, непорочная.

По смотрению же божию скоро преставился Феодосьин сын единородный, Иван Глебович, и вся вотчины и домовная быша в разграблении. Она же вся, яко уметы, вменила ради сына божия. У Евдокеи же княгини преставися дочь во время ея мучения. И еще трое деточек осталося со отцем своим, с князем Петром Урусовым. Писала из своея темницы в темницу ко мне, зело о них печалоаше, еже бы во православии скончалися. Токмо воздыхает и охает: «ох, батюшко, ох, свет мой! Помолись о детушках моих, ничтоже мя так, якоже дети, крушат. Помолися, свет! Помолися, батюшко!» Да тож, да тож одно говорит — целой столбец, и другая целой же столбец, и третья тако же. Ковыряли руками своими последнее покаяние, и рукава прислали рабам своим от чепей с ошейников железом истертые, а с Марьины шеи полотенцо железное же. Аз же, яко дар освящен, восприях и облобызах, кадилом кадя, яко драго сокровище, покропляя слезами горькими.

Егда же оне быша в Москве, тогда и на соборище водили их. Говорит мне: «в сей рубахе была, батюшко, на соборе я, и по многом прении последним запечатала: «все-де вы еретики, власти, от перваго и до последняго! Разделите между собою глаголы моя!» Тако же и Евдокея и Мария, не яко жены, но яко мужие, обличиша безбожнаго июдеянина. И быша все три на пытке пытаны, и руки ломаны, Мария же и по хрепту биена бысть немилостиво. И приступи к ним, вопрошая, верной Ларион, Иванов сын: «еще ли веруете во Христа распятого, и како персты слагаете, покажите ми!» Оне же единеми усты все трое исповедаху: «за отческое готовы умрети! Аще и умрем, не предадим благоверия! Отъята буди рука наша, да вечно ликовствует, такожде и нога, да по царствии веселится, аще и глава, да венцы вечными увяземся, аще и все тело огню предашь, и мы хлеб сладок святей троицы испечемся». Та же свезоша их в Боровеск на мое отечество, на место мученное, иде же святии мучатся, и устроиша...[1]

...звезда утренняя, зело рано воссияющая! Увы, увы, чада моя прелюбезная! Увы, други моя сердечная! Кто подобен вам на сем свете, разве в будущем святии ангели! Увы, светы мои, кому уподоблю вас? Подобни есте магниту каменю, влекущу к естеству своему всяко железное. Тако же и вы своим страданием влекуще всяку душу железную в древнее православие. Иссуше трава, и цвет ея отпаде, глагол же господень пребывает во веки. Увы мне, увы мне, печаль и радость моя осажденная, три каменя в небо церковное и на поднебесной блещашеся! Аще телеса ваша и обесчещена, но душа ваша в лоне Авраама, и Исаака, и Иякова.

Увы мне, осиротевшему! Оставиша мя чада зверям на снедение. Молите милостиваго бога, да и меня не лишит части избранных своих! Увы, детоньки, скончавшияся в преисподних земли! Яко Давид вопию о Сауле царе: горы Гельвульския, пролиявшия кровь любимых моих, да не снидет на вас дождь, ниже излиется роса небесная, ниже воспоет на вас птица воздушная, яко пожерли телеса моих возлюбленных! Увы, светы мои, зерна пшеничная, зашедшия под землю, яко в весну прозябшия, на воскресение светло усряшу вас! Кто даст главе моей воду и источник слез, да плачю другов моих?

Увы, увы, чада моя! Никтоже смеет испросити у никониян безбожных телеса ваша блаженная, бездушна, мертва, уязвенна, поношеньми стреляема, паче же в рогожи оберченна! Увы, увы, птенцы мои, вижю ваша уста безгласна. Целую вы, к себе приложивши, плачющи и облобызающи! Не терплю, чада, бездушных вас видети, очи яко красны добротою сияющи, ныне же очи ваши смежены, и устне недвижимы.

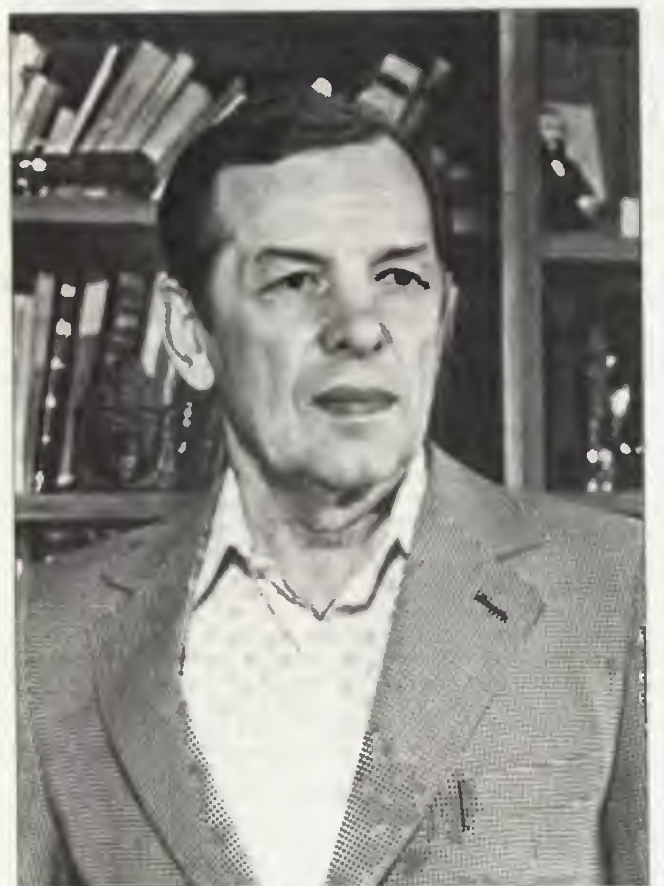
Оле, чюдо! о преславное! Ужаснися небо, и да подвижатся основания земли! Се убо три юницы непорочныя в мертвых вменяются, и в бесчестном худом гробе полагаются, им же весь мир не точен бысть. Соберитеся, рустии сынове, соберитеся девы и матери, рыдайте горце и воскликнем ко господу: «милостив буди нам, господи! Приими от нас отшедших к тебе сих души раб своих, пожерших телеса их псами колитвенными! Милостив буди нам, господи! Упокой душа их в недрах Авраама, и Исаака, и Иякова! И учини духи их, иде же присещает свет лица твоего! Видя виждь, владыко, смерти их нужныя и напрасныя и безгодныя! Воздаждь врагом нашим по делом их и по лукавству начинаиия их! С пророком вопию: воздаждь воздаяние их им, разориши их, и не созиждеши их! Благословен буди, господи, во веки, аминь».

[1] В рукописи далее почти две строчки выскоблены; с трудом можно прочесть во второй строке: отступника христианского.

[1] Здесь, очевидно, утрачена часть текста.

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. РАССКАЗ. ПОРТРЕТ.



Народный артист СССР Георгий Степанович ЖЖЕНОВ родился 22 марта 1915 года, в городе на Неве. В 1932 году закончил Эстрадно-цирковой техникум, в 1935-м — отделение киноактера Ленинградского театрального училища. За время учебы снимался в кинофильмах «Ошибка героя», «Наследный принц Республики», «Золотые огни», «Комсомольск», «Чапаев».

В июле 1938 года по ложному обвинению был репрессирован как «агент американской разведки»... В мае 1954 года был полностью реабилитирован и вернулся в Ленинград; играл в Областном драматическом театре, театре им. Ленсовета. С 1969 года — актер столичного театра им. Моссовета.
На сцене и в кино Г. С. Жженов сыграл около 200 ролей.

— Что вас, артиста, побудило взяться за перо? Давно ли вы пишете?

— Доверять бумаге свои мысли, чувства, впечатления меня тянуло всю жизнь. А мой учитель — Сергей Аполлинарьевич Герасимов — заставляя нас, студентов, не только придумывать и играть этюды, но и записывать их, даже сказал как-то: «Ты этого дела не бросай, из тебя приличный сценарист получится». До ареста, по молодости, почти не писал. А в лагерях... Да что говорить! В тех лагерях, где я сидел, за клочок бумаги грозила смерть. Ведь темные дела совершаются без свидетелей, без огласки...

Ну, а с середины 50-х годов, после освобождения, желание рассказать людям о пережитом начало выливаться у меня (поначалу в устных воспоминаниях) в то, что потом стало «Саночками» и другими рассказами, опубликованными в периодике.

— Довольны ли вы первой книгой?

— Рад, что вышла, скрывать не буду. Жаль только, что на такой плохой бумаге... И, кроме того, ощущаю угрызения совести: поторопился напечататься! Не все сказал. А сказать хочется многое. Надо было писать и писать, не заботясь об опубликовании. У памяти ведь, как и у добра, дна нету, можно черпать бесконечно!

— Это так, безусловно. Но вот в последнее время раздаются голоса, что, мол, хватит о трагедиях сталинских лагерей, сколько можно...

— Хватит, согласен... макулатуры на эту тему, спекуляций. А настоящих публикаций, таких, как у Шаламова, Жигулина, думаю, недостаточно. И в этом смысле издательства должны быть более разборчивыми.

— Помогает ли вам при выходе на «литературную сцену» ваша основная профессия?

— Мне кажется, да. Я все пропускаю через себя — актера. И прежде всего, прикидываю, смог ли бы я это сыграть, а, следовательно, жизненно ли это?

— Что значит «жизненно» в применении к автобиографической прозе? Разве вы шли не от факта?

— Конечно, от него. Но подробности, детали, оценки освещались вымыслом. Вымыслом, замешенном на пережитом. Не мне судить, что у меня получилось, но я писал художественную прозу. В первую очередь.

— Я слышала, Сергей Бондарчук сказал про «Саночки»: «Хоть сейчас играй!»

— Нет, он сказал: «Сразу чувствуешь, что писал актер». Кстати, история с «Саночками» не закончена. Сейчас я пытаюсь написать киносценарий по мотивам этого рассказа. Со мной заключен договор.

— И сыграете сами?

— Если мне вернут мои 22 года — с удовольствием!

— От имени редакции и наших читателей благодарю вас за беседу и желаю новых книг и творческих успехов на сцене и в кино.

Интервью взяла Ольга МЕРКУЛОВА

Внимание! Три читателя, которые пришлют правильные и наиболее полные ответы на публикуемые ниже вопросы, станут обладателями книги Г. Жженова с автографом автора.

А теперь вопросы викторины, которая отныне будет сопутствовать рубрике «Первая книга»:

1. На экране Г. Жженову приходилось играть людей многих профессий. Назовите, каких и укажите названия фильмов.

2. Какие роли в картинах, поставленных по произведениям Юрия Бондарева и Василия Шукшина, играл актер?

3. Среди героев Г. Жженова немало военных. Вспомните их звания. Что это за киноленты?

ПЕРВАЯ КНИГА

ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ

ХЛЕБОРЕЗКА

В лагере обнаружилась крупная недостача хлеба. Испугавшись ответственности и самосуда заключенных, хлеборез сбежал.

Хватились его только перед обедом, когда дневальные пришли получать пайки для своих бригад. Хлеборезка оказалась запертой на все замки. Самого хозяина нигде в лагере не нашли. Подняли тревогу...

С комендантского лагпункта примчался встревоженный Николай Иванович Лебедев. Взломали замки — пусто! Хлеб на сегодня получен не был. Некормленный лагерь бурлил.

Обозленные, согнанные к вахте работяги отказывались покидать зону, требовали законную пайку.

С крыльца вахты, как с трибуны, Николай Иванович призывал работяг соблюдать порядок, не паниковать... Угрожал, уговаривал потерпеть, обещал, как только поднесут хлеб с пекарни, немедленно отправить его в забой для раздачи.

Пекарня находилась в пяти километрах от «Глухаря», на прииске им. Тимошенко.

Кое-как ему удалось утихомирить работяг, уговорить построиться. Одну за другой конвой принимал бригады и выводил из лагеря за вахту.

Меня вывели из строя и потребовали к начальнику.

Едва я переступил порог кабинета Габдракипова, «Моя судьба», находившийся там, встретил приказом:

— Принять хлеборезку! Будет порядок?

Похоже, настал и мой «звездный час»! Начальник, кажется, сменил наконец гнев на милость.

По его лицу я понял, что мою кандидатуру они обсудили и утвердили сообща с Габдракиповым.

Как объяснить им, что перспектива стать хлеборезом мне ни с какой стороны не улыбается... Как объяснить им это?

— Спасибо за доверие, гражданин начальник, но через неделю кончается срок моего заключения — я освобождаюсь! — Я ударился в дипломатию.

Действительно, 5 июля 1943 года истекал пятилетний срок, вынесенный мне заочно Особым совещанием. Мне интересно было знать, как отнесется к этому Лебедев? Но «на челе его высоком не отразилось ничего...» Он, как и я, прекрасно знал, что никакого освобождения не последует, а состоится лишь «спектакль» на тему освобождения. Не последнюю роль сыграет в нем и мой дорогой начальник.

5 июля, на очередное представление комедии под названием «На-кось, выкуси!» (автор — Иосиф Сталин, в содружестве с Берией Л., Ежовым Н. и др.), разыгрываемой чуть ли не каждый день у письменного стола УРЧ лагеря, буду приглашен и я.

«Моя судьба» попросит меня сесть, неторопливо вытащит из ящика стола важную бумагу с государственным гербом, увенчанным буквами «СССР, СССР, СССР», и зачитает: «Такой-то (имярек), отбыв срок наказания, подлежит освобождению из исправительно-трудовых лагерей, о чем и уведомляется». Под бумагой следуют несколько факсимиле подписей известных всей стране государственных деятелей, олицетворяющих Советскую власть, партию и органы безопасности.

Пока я ставлю подпись под документом и благодарю за освобождение, «Моя судьба» вытаскивает другую, не менее важную бумагу, с тем же гербом, в виньетке тех же букв «СССР, СССР, СССР», и зачитывает: «Такой-то (имярек) задерживается в исправительно-трудовых лагерях в качестве заключенного до окончания Великой Отечественной войны». Под бумагой следуют подписи тех же государственных мужей, ныне известных всей стране и как государственные преступники.

— Почему вы молчите, гражданин начальник? Вы не верите, что меня освободят? Говорите, не молчите.

Он с иронией посмотрел на меня.

— Твое освобождение от меня не зависит, ты же знаешь!..

— Я знаю. Но кого назначить хлеборезом — зависит от вас.

— Вот я и назначаю тебя.

— Но я никогда этим делом не занимался и не хочу заниматься. Честно говоря — все хлеборезы жулики!

— Я не спрашиваю тебя, хочешь или нет! Я приказываю.

— Приказываете стать жуликом? Неужели нельзя найти другого кого-нибудь?

— Кого? Не видишь, кто в лагере находится?

— Вижу.

Я посмотрел на Габдракипова, в надежде найти у него понимание.

— Соглашайся, Жженов! Прошу тебя, — сказал Габдракипов.

— Влипну я с этим хлебом, гражданин начальник! — Упорствовал я. — Не умею я торговать, поверьте... Мало вам одного растратчика, что ли?

— Как только найду подходящего человека — заменю. Но сейчас такого нет!... — Лебедев перешел с начальственного тона на простой, человеческий. — Нельзя дальше держать лагерь голодным. Не видишь, что делается? Меня интересует, будет ли порядок?

Он замолчал, как бы раздумывая, стоит ли сказать мне еще что-то, и, решив, что стоит. неожиданно выпалил:

— Запрос на тебя пришел из Усть-Омчуга. Так что не советую ссориться со мной, артист!..

— Это серьезно, гражданин начальник?.. Вы не шутите? Из культбригады, да? — Обрадовался я.

— Не шучу. Так что, будет порядок?

Он точно рассчитал, чем можно сломить мое сопротивление.

— Обещаю, что «комбинаций» с хлебом не будет. А будет

ли порядок, не знаю, не уверен. В этом деле я младенец, учтите это.

— Ладно, учту. Иди, принимай хлеб и торгуй, младенец.

Вот так я стал хлеборезом.

Получил место, за которое другие дрались, интриговали и давали взятки... Не меньше, чем теперь дают за место в пивном ларьке или на бензоколонке.

Получил место, позволяющее извлекать при желании личную выгоду, стал чуть ли не самым влиятельиым «придурком» — единоличным распорядителем основного жизненного продукта — хлеба!

Хлеб — валюта! Единственная в условиях штрафного лагеря. Даже золото отошло на второй план.

На «Глухаре» можно было иметь кучу золота в кармане и в то же время оставаться голодным! Его некуда было деть.

В обычиом лагере работяги ухитрялись передавать золото «вольияшкам». Те сдавали его в золотую кассу по нормальной, устаиовленной государственной цене, а с зеками расплачивались хлебом, продуктами... И тех, и других это устраивало. И «вольняшки» зарабатывали, и зеки подкармливались!..

На «Глухаре» вольнонаемных не было, а нести золото начальству не имело смысла. Никаких дополнительных продуктов штрафному лагерю не полагалось. Как бы хорошо лагерь ни работал, как бы ни перевыполнял план — больше штрафной пайки не получишь!

Возможностей расплатиться за добытое сверх нормы золото у начальника не было. Его личный премиальный фоид был настолько мал, что практического значения не имел. Выходило, что, кроме доброго слова, ничего у Габдракипова не было. Одним же добрым словом, как известно, сыт не будешь!..

Зато хлеборез в этой ситуации вырастал в могущественного хищника, перед которым лебезили и пресмыкались сотни доведенных до отчаяния зеков.

Объединившись с другими придурками (старостой, нарядчиком, завхозом, поваром), они превращались в стаю хищников.

В союзе с этими вельможными подонками царствовали и несколько отпетых бандитов — «королей» уголовного мира, узурпировавших власть.

Связанные круговой порукой, эти мерзавцы держали в своих руках все! Не составляло исключение и начальство лагеря — этих приручали взяткой.

Любое сопротивление подавлялось в зародыше. С особенно строптивыми и правдолюбцами расправлялись жестоко, вплоть до убийства, чтобы неповадно было другим. Суд вершили руками «шестерок» — рядовых жуликов, и за страх и за совесть преданных своим главарям.

С одним из главарей мне довелось познакомиться чуть ли не сразу же после прибытия на «Глухарь».

— Тебя хочет видеть дядя Паша! — Сказал мне один из блатных, с которым я сидел в карцере.

— Зачем я ему понадобился?

— Он сам тебе скажет. Пошли.

Не пойти было нельзя. Ослушников дядя Паша не любил и строго наказывал.

О дяде Паше — «крестном отце» блатного мира Омчагских лагерей — ходили легенды. Я слышал о нем еще на транзитке во Владивостоке, в ожидании этапа на Колыму... Оказывается, и до него добрался Лебедев, и его упек на штрафной «Глухарь»!.. Ну и молодец Николай Иванович!

В бараке, куда мы пришли, жили придурки и прочие привилегированные зеки, не занятые иа грязных физических работах в забое... Здесь было тихо, чисто. Сюда редко заглядывало начальство.

Тут, в самом дальнем углу, и располагался упырь дядя Паша.

Тихий, чахоточного вида «пахан» лет пятидесяти пяти мирно сидел на одеялах, разостланных на иарах, и потягивал из алюминиевой кружки «чифирок». За его спиной знакомая компания блатных, недавно вместе со мной отбывшая десять суток карцера, резалась в карты, в «коротенькую»...

Вот, значит, какой он, знаменитый «дядя Паша»!.. Вор «в законе», один из немногих, оставшихся еще в живых на Колыме, «королей». Верховный судья и прокурор всех блатных, «качавших права» друг с другом...

Я поздоровался.

Дядя Паша зацепился за меня колючим, как репей, взглядом. Далеко запрятанные за лохматыми короткими бровями острые глазки изучали меня.

— Доброго здоровьичка, милок!... Доброго здоровьичка... Присаживайся. — Он приветливо закивал головой, не спуская с меня нацеленных глаз.

Я примостился на краешке соседних нар рядом с ним.

— Слышал, что ты артист, милок, да?

Я утвердительно кивнул головой, не понимая, к чему он клонит.

— Мы тоже артисты! — Дядя Паша улыбнулся, обнажив частокол нержавеющих зубов. — Артисты-рецидивисты!

Блатные засмеялись. Он поставил в сторону кружку, вытащил из-под матраца четвертушку бумаги, развернул ее, спросил:

— Рисовать можешь?

— Честно сказать — совсем не умею.

— Честно, милок, только честно и никак иначе — нечестных не люблю!.. Врать будешь начальнику, понял меня?

От его тихого, елейного тона стало не по себе, по спине побежали мурашки...

— Вы все вокруг да около, дядя Паша. Говорите, зачем вызвали? — сказал я.

— Не спеши в Лепеши, в Сандырях ночевать будешь! — Дядя Паша любил, видно, присказки. — Дай сперва наглядеться на тебя, милок... Должен же я понять, с кем имею дело? Значит, говоришь, в гараже РЭКСа диспетчером работал?

— Да.

— Так, ладно, милок... — Дядя Паша положил на одеяло листок бумаги, тщательно разгладил его и сказал: — Смотри сюда. Узнаешь?

На бумаге карандашом был набросан какой-то план. Прямоугольники, квадраты, помеченные разными буквами и цифрами, обозначали какие-то строения, что ли?.. Какие-то линии...

— Что это, не понимаю?

— План РЭКСа, где ты работал. Не так что-нибудь?

Я внимательно вгляделся в бумагу.

— Все не так! — сказал я.

— Да? Обожди-ка.

Дядя Паша полез в изголовье, достал чистую бумагу. Завернув угол матраца, расстелил бумагу на нарах, дал мне в руки карандаш и приказал:

— Рисуй по-своему. Только честно, милок, как есть, понял?

— Чего рисовать-то?

— Все! Укажи, где контора, где магазин, склад, гараж, где «хавира» завхоза... Рисуй, я подскажу.

Я подчинился. Ничего другого мне и не оставалось. Шутить с дядей Пашей в этих обстоятельствах не следовало. Тем более, что смысл происходящего постепенно становился ясен.

Пока я чертил, он внимательно наблюдал, вникал в каждую мелочь, задавал вопросы, требовал подробностей...

Когда я закончил, дядя Паша похвалил меня:

— А говорил, не умеешь рисовать?! Все получилось в лучшем виде... Налейте артисту «чифирку», что ли! — он повернулся к блатным. — Еще несколько вопросов, милок!

Мне передали кружку с «чифиром». Дядя Паша продолжал:

— Ты магазинщика знаешь?

— Да.

— А завхоза?

— И завхоза знаю.

— Перерыв на обед в магазине бывает?

— А как же!

— Каждый день?

— Да. С часу до двух.

— Магазинщик обедает у себя?

— Нет. У завхоза.

— Всегда?

— Всегда.

— Магазин в это время закрыт?

— Да.

— Долго они обедают?

— Не меньше часу, а то и больше. Они ведь поддают за обедом. Магазинщик после обеда почти всегда веселенькии...

— Так. Ладно, милок, все. Спасибо. Канай в барак. Спи.

Неделю спустя на «Глухаре» стало известно, что в РЭКСе

во время обеденного перерыва был начисто ограблен магазин.

А еще через пару дней, после вечерней поверки, ко мне подошел незнакомый зек, сунул в руки иебольшой узелок и сказал:

— От дяди Паши.

В узелке лежали несколько больших кусков колотого сахара. Моя доля!

* * *

Как говорится, первый блин комом! Не пробыв в должности хлебореза и недели, я понял, что взялся не за свое дело. В первые же сутки я оставил без закоиной пайки человек пятнадцать, в том числе и себя... Проторговался начисто.

Слава богу, недостачу начальство простило. Списало на счет моей неопытности. Начальник лагеря вынужден был пожертвовать свой личный премиальный фонд. Спасибо, конечио, что поняли, вошли в положение, но дальше-то как? Тем более та же картина повторилась в последующие дни. Я был в панике.

Срочно надо было предпринимать что-то... Но что?

Перво-наперво я проверил всю цепочку, начиная с получения хлеба на пекарне и кончая выдачей хлеба в виде взвешенной пайки из хлеборезки лагеря.

Оказалось, что потери начинались уже на самой пекарне, где хлеб, как правило, взвешивался и отпускался горячим (пекарня не справлялась с выпечкой). Остывая, он, естественно, терял вес.

Учитывать это никто не хотел, и меньше всего сам заведующий пекарней — широкомордый деляга, получивший срок за какие-то спекулятивные махинации на воле.

Я пытался заговорить с ним о своей проблеме с хлебом, но он не стал меня даже слушать. По-моему, он поставил целью изжить меня вовсе. Чем-то я не устраивал его с первого появления в этой должности. Видимо, я не подходил под его мерку представлений о «настоящем» хлеборезе, с которым можно иметь дело. Поэтому о нужном мне позарез хлебе разговаривать с ним было бесполезно. Впору было следить за ним, чтобы не обвесил...

Хлеб воровали на пекарне. Воровали в пути, те, кто нес его в мешках в лагерь. Воровали оба мои помощника в хлеборезке, пока разделывали на пайки...

Отчаянные воровали прямо из-под ножа. Улучив момент, хватали хлеб через раздаточное окно прямо с весов, рискуя. Сгоряча я мог хватануть ножом, отрубить руку. Отнять уворованную пайку никогда не удавалось: и догоиял укравшего, а он ухитрялся проглотить пайку, не разжевывая... Никакие угрозы, никакие уговоры не действовали. Голодный человек способен на все.

Я кричу: «Руку отрублю!» Мне на это отвечают: — «Ну и х... с ней, с рукой!.. Я есть хочу!..»

Так было до меня, и так будет после меня! Так будет всегда, пока существует штрафной лагерь «Глухарь», где волки и овцы согнаны в один общий загон, где царствует произвол, где торжествует беззаконие и подлость!

Хлеборезку много раз пытались взломать... Сворачивали замки, подпиливали, подкапывали... Устраивали на меня покушения, чтобы завладеть ключами. Без двух ножей за голенищами сапог я не рисковал ходить даже в уборную, боясь неожиданного нападения.

Но не будь всего этого, ничего не изменилось бы... Хлеба не хватало! А то дополнительное количество хлеба, полагающееся на «усушку и утруску», и наполовину ие покрывало практических его потерь при транспортировке, расфасовке и прочих непредвиденных, но обязательных тратах.

И если даже хлеборез — человек честный (что маловероятно), не обманывает, не ловчит, не обвешивает полуголодных работяг, прилепляя «грузики» под чашку весов, как это практикует большинство, — хлеба не хватит! Дебет с кредитом не сойдется. Нужда в дополнительном хлебе останется...

Не знаю, удалось ли бы мне избежать участи большинства хлеборезов — встать на путь обмана, заделаться в конце концов жуликом, ' если бы не случайиость... Счастливый случай, давший возможиость иметь лишний хлеб и тем самым сдержать данную себе клятку никого ни иа грамм не обвешивать.

В хлебе под верхней коркой обнаружилась крыса... Распластанная по всей буханке, запеченная крыса, размером с сиамскую кошку.

Радости моей не было предела. Ура!.. О такой удаче я и не мечтал... Выход найден!

Перво-наперво, в присутствии Габдракипова и коменданта, был составлен соответствующий акт, после чего, запихнув буханку с «кошкой» в мешок, я помчался на пекарню.

Мордатый был в своем закутке на пекарне один. Я вытащил из мешка буханку, сунул ему под нос и приподнял верхнюю корку...

— Смотри сюда, падла! — Сказал я ему. — Этот «пушной зверь» продается. Условия божеские: двадцать килограмм хлеба ежедневно, в течение месяца. Понял?.. Если устраивает — забирай «зверя», он твой! Если нет — несу эту «кулебяку» Лебедеву! Он с тебя, сука, шкуру сдерет. Ну?.. Решай! Быстро!

В течение нескольких минут «сиамская крыса» была продана. Мордатый даже не торговался. Он понимал, чем это грозит ему, окажись крыса у Лебедева.

Ситуация с хлебом рассосалась, по крайней мере, на целый месяц.

Для страховки на гвозде в хлеборезке висел акт, на случай возможного вероломства со стороны Мордатого.

На этот же гвоздь, наряду с разными документами, я накалывал для отчета и письменные распоряжения самого Габдракипова о выдаче дополнительного хлеба тому или иному зеку.

Формулировал он свои указания весьма странно: «Товарищ Жженов, прошу, если можешь, отпусти бригадиру такому-то столько-то кг хлеба. Сегодня его бригада хорошо работала. Габдракипов».

И сколько бы я ни просил его писать свои записки иначе, без компрометирующих его самого слов «товарищ», «прошу», «если можешь», — писать в приказиой форме, как обычно и поступает начальство, давая письмеиное распоряжение заключенному, Габдракипов меня не слушал.

— В приказном порядке я могу распоряжаться своим фондом, — говорил он. — А распоряжаться хлебом, который мне не принадлежит, я не имею права. Поэтому не приказываю, а прошу.

На случай внезапной проверки, из осторожности, я уничтожил следы его деликатности.

Не знаю, чем бы закончилась в конце концов моя ссылка на «Глухарь», не заболей я желтухой... Как говорится, «не было бы счастья — да несчастье помогло!»

Желтуха — болезнь заразная. Необходимо было срочно принимать меры.

Я держался на ногах из последних сил, не рискуя оставить хлеборезку без присмотра. Ходил злой, с температурой и головной болью. Желтый, как тухлое яйцо... Габдракипов позвонил Лебедеву.

Когда тот явился, я пришел в контору, где оба они находились, вытащил из-за голенищ ножи, с которыми в последнее время не расставался ни на минуту, достал ключи от хлеборезки, выложил все это на стол и сказал:

— Гражданин начальник! Забирайте своих солдатиков, больше в эту игру я не играю!.. Что хотите делайте со мной, сажайте в карцер, заводите новое дело, отправляйте в забой... Куда хотите, но хлеборезом не буду!.. Не могу больше, хватит!.. Не умею!.. Не хочу быть жуликом.

«Моя судьба» мрачно и раздумчиво молчал. Молчал Габдракипов. Молчал и я, понимая, что сейчас, в этой долгой паузе, решается моя судьба, а может быть, и вся жизнь...

Нарушил молчание Лебедев:

— До прииска Тимошенко дойти сможешь?

— Попробую... Под гору ведь!

— Тогда марш в барак и собирайся. Через час жду на вахте.

Наконец-то! Прощай, «Глухарь» — век бы мне тебя больше не видеты!.. Прощайте и Вы, Сергей Халилович Габдракипов — уважаемый человек! Спасибо Вам за все, что Вы сделали для меня! Спасибо за Вашу доброту и человеческую порядочность.

Несколько дней я провалялся в санитарном изоляторе лагеря на прииске им. Тимошенко. Когда болезнь отступила и мне стало полегче, Николай Иванович вызвал конвоира, вручил ему мое личное дело и с попутной машиной отправил меня в Усть-Омчуг — в артисты! Одарив на прощание пачкой махорки.

Свое обещание начальник сдержал.

ФОТО ИГОРЯ ГНЕВАШЕВА

Василий Макарович Шукшин, русский советский писатель, кинорежиссер, актер, лауреат Государственной премии СССР (1971), Ленинской премии (1976, посмертно). Широко известно и любимо его творчество. 25 июля Василию Макаровичу исполнилось бы 60 лет.

ГЛЕБ ГОРЫШИН

КАК ЭТО ЧИТАЕТСЯ СЕГОДНЯ

Перечитывая рассказы Шукшина в канун его 60-летия (Василия Макаровича нет с нами уже пятнадцать лет), я задавался разными вопросами. Один из них такой: стал бы перечитывать, если бы не заказанная мне к юбилею статья о Шукшине? Подряд едва ли бы стал читать, хотя Шукшин стоит близко (как и Чехов) в стихийно-подсознательном расположении книг на полках у меня дома: одни поближе, другие подальше. Возьмешь томик Шукшина, раскроешь в каком-нибудь месте, прочтешь... про Моню Квасова, «упорного», как он выдумывал свой велосипед, — тут же придут на память другие шукшинские персонажи: Андрей Ерин из «Микроскопа», Глеб Капустин, «срезавший» кандидата, Н. Н. Князев, «человек и гражданин», из «Штрихов к портрету», Бронька Пупков из «Миль пардон, мадам»... Это самый верхний ряд запоминания, как бы оставленные по себе Шукшиным опознавательные знаки. Все это вошло в меня, в мою — и нашу общую — «литэрудицию». Но что-то же осталось для открывания-узнавания? Для того Шукшина под рукою и держишь, будто задумал с ним впервой поговорить.

В пору шукшинского «бума», когда о Василии Макаровиче писали все, кому не лень (вскоре после его смерти), настолько он представлялся общедоступным, названных мной героев и родственных им, скопом окрестили «чудиками». Шукшин как бы сам предложил кличку, удобную для классификации, вывел родовые признаки персонажа в рассказе «Чудик». Словечко «истолкователи» подхватили — и пошло, и поехало, в разряд «чудиков» занесли многих, и не замешанных в этом, для истолкования так-то оно легче.

Между тем, «бум» закончился; в отношении творческого наследия В. Шукшина наступило затишье (чтобы не сказать: забвение). И вторая моя мысль при перечитывании рассказов этого великого затейника слова, никак не поддающегося заведенной у нас классификации: слава богу, что затишье. Вошло в сознательный возраст поколение людей, после Шукшина живущих, «бумом» не замороченных, узнавших нечто такое про нашу жизнь, о чем «истолкователи» времен повальной «шукшинианы» если и догадывались, сказать не могли. Время — заново перечитывать, открывать Шукшина.

Это я говорю не в укор «истолкователям» написанного Василием Шукшиным, сам приложил руку к «шукшиниане». Однако в перечитывание его прозы лучше пускаться без груза многознания (тем более, всезнания), налегке, непредазято. И заверяю каждого эрудита, что явит себя Шукшин, как зазеленевшая по весне нива, — знакомым, пусть даже привычным, но с каким-то новым оттенком, смыслом, духом. Духовный мир Шукшина активно живет, развивается во времени, как и мы с вами.

Обладают этой способностью и персонажи шукшинской прозы. Возьмем того же Василия Егоровича Князева — героя рассказа «Чудик». Мужик он, правда, чудаковатый, малость и придурковатый, по совести говоря. Такое его качество проявляется единственно в добрых поступках, несколько даже агрессивных, насколько возможна агрессивность самой природы его доброты. Поехал к брату на Урал, шибко не понравился жене брата своей «придурковатостью». Та и вызверилась на чудика, да так, что с ней и не сладить. И вот чудик забирается в сарайку, там в одиночестве остро переживает... свою некую виноватость перед людьми, совершенно не представляя, в чем она состоит.

Чудик мучается своей чудаковатостью. Вот в чем соль рассказа: в мучении добротой. Едва ли стоит приписывать Чудику типические черты, пусть даже в галерее излюбленных образов Шукшина. Тем более, не стоит выводить из него «русский национальный характер» или еше что-нибудь такое. Случай с Чудиком — пограничный со сферой психопатической. Сюда, в эту сферу, Шукшин простирал свой взор, как и до него бывало — у нас и в мировой литературе.

Описанный в «Чудике» случай — единственный в своем роде анекдот, но не для нашего с вами увеселения, а для серьезного обдумывания. Как говаривали «истолкователи» еще во времена Чехова, «смех сквозь слезы».

С Чудиком — ладно, бог с ним, допустим, что таким мама его родила. Много сложнее с его однофамильцем, Николаем Николаевичем Князевым, в рассказе «Штрихи к портрету». Данный персонаж «соскочил с зарубки» (как говорят в другом шукшинском рассказе «Ванька Тепляшин») опять же по своей приверженности добру. Его «некоторые конкретные мысли» суть те же самые, что насаждаются нашим агитпропом (во всех его видах, повсеместно) и средствами массовой информации. Ну, например: «Человек получает свободное время, чтобы узнать что-нибудь полезное для себя. Нужное. И чем выше его умственный уровень, тем он умнее как работник. Ну что же: так мы и будем веками дуть эту сивуху?» Такая

элементарная, расхожая нотация (как и другие), будучи вложена в уста частному лицу, высказана в неподобающей обстановке (за столиком в закусочной), да к тому же еще в агрессивной форме, вдруг приводит героя в безысходный конфликт с окружающей действительностью, с нашими согражданами. В финале рассказа Н. Н. Князев, «человека и гражданина», впору вести в психушку. Автор приводит героя опять же в «пограничную» сферу: к «соскочившему с зарубки» Н. Н. Князеву приглашают врача-психиатра, тот признает пациента вменяемым. Анамнез его «душевной болезни» мы находим в последней главке, «Коротко об авторе»: «Я родился в бедной крестьянской семье девятым по счету. Само собой, ни о каком образовании не могло быть речи. Воспитания тоже никакого». И далее: «Я читал все подряд, и чем больше читал, тем больше открывались двери, сильнее меня охватывало беспокойство. Я оглядывался вокруг себя и думал: сколько всего наворочено. А порядка нет».

«Душевная болезнь» вменяемого человека — откуда она? Что с нами происходит?

Вот мы и подошли к тому главному, что вычитываешь сегодня у Шукшина, к тому, что писатель выстрадал и, быть может, не до конца или как-то около, высказал, — по условиям того времени, когда он жил и писал. Я не открою Америк, сказав, что Шукшин — провозвестник нынешней гласности, правды о тяжелой болезни сталинщины, перенесенной обществом. Однако сегодня в прозе Шукшина особенно зримо проступают симптомы этой болезни. Того, как болезнь отозвалась в судьбе отдельного человека — вывихнула, выбила из колеи.

Здесь и причина многих чудачеств шукшинских «чудиков». Почитаем внимательно и найдем, из чего что вышло. Откуда, к примеру, у Броньки Пупкова, в рассказе «Миль пардон, мадам!» (вспомним, как жена аттестовала Броньку: «Харя ты неумытая, скот лесной») такая необоримая потребность приписать себе несодеянный подвиг; как бы самооправдаться. В чем? А вот: свел Бронька в 3-м году попа в ГПУ. От попа и следа не осталось. Вроде бы даже и заслуга Бронькина? Крохотная деталь в рассказе, в строку упоминаемая, но для чего-то автору позарез нужная. Едва ли в шестидесятом году, когда рассказ появился в печати, кому-то пришло в голову (если кому и приходило, то, извините, публично, как я помню, этого не высказывалось) выводить Бронькин «вывих», его тяжелое, болезненное похмелье из этой детали. Чудик он и есть чудик... А ведь грех на душе у Броньки, болеет-томится его душа, «соскакивает с зарубки» мужик.

Я думаю, наиболее полно высказался Шукшин на эту тему в рассказе «Осенью», не вошедшем в круг обкатанных для разбора его сочинений. Выпадающий из этого круга даже по стилю, манере — без ерничества, очень серьезный, рассказ логически выстроенный от завязки до кульминации. Впрочем, это вообще отличает последние произведения писателя. «Осень» — повествование о любви, безмерно печальное. Рассказ о том, как полюбил Филипп Марью. И Марья была хороша, и Филипп хоть куда, активничал на селе, вместе с комсомольцами. Время пришло Филиппу жениться на Марье, по большой взаимной любви, а комсомольцы против венчанья. «Филипп, конечно, тут как тут: тоже против венчанья. А Марья нет, не против... Филипп очутился в тяжелом положении... Марья ни в какую: венчаться и все». Женитьба Филиппа на Марье расстроилась. За главное посчитал Филипп для себя «правильную линию», а любовь предал. Женился на Фекле, без любви, жизнь получилась тусклой, бессчастной. И Марья, выйдя замуж за Павла, в другую деревню, тоже мыкала жизнь абы как. «Теперь, оглядываясь на свою жизнь, Филипп знал, что тогда он непоправимо сглупил... Всю жизнь сердце кровью плакало и болело. Не было дня, чтобы он не вспомнил Марью...»

Развязка рассказа «Осенью» страшна: паромщик Филипп перевозит через реку машину с гробом Марьи. Кинулся было, в последний раз ее увидеть, проститься... Марьин муж Павел злобно ударил Филиппа. Любовь оборотилась лютой ненавистью...

У Шукшина о любви написано не то чтобы много, но как-то чутко, бережно, свято, с высоким пониманием взаимосвязи любви и добра в каждом человеке, будь то паромщик Филипп или дядюшка Максим в рассказе «Наказ». И с горьким (но сдержанным, мужественным) сожалением о любви, размолотой на железной молотилке неправедного жизнеустройства. (Вспомним: «Сколько всего наворочено. А порядка нет».) Любовь — такое хрупкое существо, а нет ничего лучше на свете; кого минует, тот обделенным изживет свои дни... Собственно, об этом, быть может, главное сочинение Василия Шукшина — «Калина красная».

В рассказе «Наказ» говорится вроде бы о другом. Хотя и об этом, несомненно, тоже. Молодого Григория Думкова назначили председателем колхоза (т. е. «избрали»). Вечером к нему пришел дядюшка Максим дать племяшу совет, как повести себя в новой высокой должности: «Ну, Григорий, теперь крой всех, понял?»

«Надо вести дела так, чтобы ему (волынщику на работе)... это невыгодно было экономически». — Это молодой председатель.

Как видим, в рассказе предложена совершенно современная раскладка: с одной стороны, административно-приказной метод руководства, с другой, — экономический. Первый метод, как азбука, вытвержен дядюшкой Максимом, как урок, вынесен из опыта прожитой в колхозе жизни. Второй — в духе времени, в прожекте молодости. И вот идет беседа у старого с молодым. Походя, как комментарий к сюжету, приводится пример из жизненного опыта дядюшки Максима: «Потом, после войны, долго выясняли, при каких обстоятельствах он попал в плен. А пока это выясняли, жена его, трактористка-стахановка, заявила тут, что отныне она не считает себя женой предателя, и всенародно прокляла тот день и час, в какой судьба свела их, и вышла за другого фронтовика».

Выходит, что жизненный опыт дядюшки Максима, его премудрость бывалого человека воздвиглись на руинах семейного счастья, может быть, и любви. Всю войну солдат к жене порывался и после, покуда «долго выясняли»... Порыв его, веру, надежду — вдребезги, с треском об пол, да еще принародно. Вот и... «крой их всех». А как же иначе?

«Ну, зачем так уж ставить одно в прямую зависимость от другого, как причину и следствие?» — могут мне возразить, предвижу. Согласен, верно... Кстати, и дядюшка Максим в рассказе «Наказ» не ожесточился. Рассказ, как все у Шукшина, свободен от схемы, написан затейливо-непринужденно; характеры в нем неоднозначные, и много разного «сверх сюжета». Например, интересное наблюдение о русском характере: «Лучше уж вовсе не пить, чем по губам-то мазать». И о немецком характере: «И вот я какой вывод для себя сделал (говорит дядюшка Максим): немца, его как с малолетства на середку нацелили, так он живет всю жизнь — посередке. Ни он тебе не напьется, хотя и выпьет, и песню даже затянут... Но до края он никогда не дойдет. Нет. И работать по-нашенски — чертомелить — он тоже не будет».

И все же позволю себе предположить, что «Наказ» — и про любовь тоже... Любовь не сама увяла (что в порядке вещей, задолго до Шукшина освоено литературой); ее размолотила все та же проклятая, невыносимо долго лязгавшая молотилка — орудие неправопорядка, бесчеловечности, возведенного в политику, почти что в религию — зла вполне конкретного, костоломного. Если изъять из «Наказа» упоминание о главной обиде дядюшки Максима — о его загубленной любви, рассказ утратит свою социально-историческую глубину. А этого никогда не позволял себе Василий Макарович Шукшин, как хороший землепашец мелкую пахоту.

Когда читаешь рассказы Шукшина в хронологическом порядке, от начала шестидесятых до первой половины семидесятых, замечаешь, как нарастает в писателе потребность узнать главное: что с нами происходит. Социальные мотивы психологии персонажей становятся обостренными, даже болезненными, как, скажем, в рассказе «Кляуза». Таков же и рассказ «Алеша бесконвойный». О том, как... Но для чего пересказывать Шукшина? Суть рассказа писатель выразил в заголовке: до лагерей-то на Алтае — рукой подать; объяснять, что значит «бесконвойный», не надо. Такое вот прозвище у героя рассказа, деревенского пастуха Кости Валикова: Алеша бесконвойный.

Раз в неделю, в субботу, Алеша выламывался из общего порядка, не выходил на работу, парился в бане. Даже на собрания не ходил... (Ну вот, зарекся пересказывать, а как без этого обойтись? Не знаю.) «Парился, как ненормальный, как паровоз, — по пять часов парился!» Когда Алешу попрекали, хотя бы и жена Таисья, он думал: «Гори все синим огнем! Пропади все пропадом!» Алеша выламывался из заведенного хода вещей, в чем-то с ним не согласный; на кого-то, на что-то

таил обиду в душе; парясь в бане, не только себя услаждал, но и как бы мстил кому-то.

Кому же, за что? Поищем в рассказе, и мы найдем в нем роман о любви — о единственной, испепеляющей душу и попранной — Алешиной любви... Алеша с войны возвращался, вез из Германии немецкий ковер и пару офицерских сапог. Где-то на полустанке в вагон — солдатскую теплушку — попросилась молодая дамочка в крепдешиновом платье, никогда до сих пор невиданной Алешей красы. Алешу и попросила, разглядев в его лице единственно нужную ей простоту. Оказалось, что красавице ехать неподалеку, до такого же полустанка. И там так вышло, что солдат проводил обретенную подругу до какого-то дома, утром проснулся — ни подруги, ни ковра, ни сапог. Красавицу звали Аля.

Крохотный эпизод в рассказе, но, я думаю, заглавный. В скоротечном своем романе с Алей молодой деревенский парень, только что победивший в страшной войне, оставшийся живым, ощутил всю высоту любовного вознесенья, весь трепет, всю сладость... «Колючечки острые этого крепдешина, некую его теплую шершавость он всегда помнил, и теперь помнит. Никому никогда не рассказывал Алеша про тот случай, а он ее любил, Алю-то. Вот как».

На Алю Алеша не обиделся. Можно предположить, что она была искренна на коротком пире любви. Однако... оставила Алешу без ковра и сапог, у разбитого корыта — исполнила свою роль, свою функцию зла в общем непорядке жизни. Вот на этот непорядок Алеша и обиделся, как Н. Н. Князев, «человек и гражданин», как многие еще герои Василия Шукшина. Вот как, — скажем мы от себя, — какие же они «чудики»?

В рассказах Шукшина почти нет авторской речи. Писатель не объясняет, что почем. Но если хорошенько прислушаться к монологам его героев, сказанным вслух или внутренним, можно расслышать знакомый нам по фильмам глуховатый, раздумчивый голос самого Василия Макаровича, познать его святая святых: ради чего он творил и мучился, жил и без времени умер. Легко найти личное, авторское и в рассказе «Алеша бесконвойный». Например, о детях: «Алеша любил детей, но никто бы никогда так и не подумал — что он любит детей: он не показывал. Иногда он внимательно смотрел на какого-нибудь, и у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе: из чего получился человек?! Ведь не из чего, из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж, правда, что стебелек малый: давай цепляйся теперь изо всех силенок, карабкайся».

Но почему же, почему, — можно задаться вопросом, перечитывая Шукшина, — нн в одной из множества явленных миру писателем супружеских пар любовь не вошла в пору цветенья, плодоношенья? Ведь была же, с нее началось... Почему Алешина жена Таисья, если и не гвоздит своего муженька, в общем, доброго малого, то единственно из боязни, как бы не застрелился? Его брата Ивана жена до того загвоздила, что Иван застрелился... Пожалуй, вечный вопрос. И ответ на него прилежно разжеван: причину дисгармонии в семье ищи в бездуховности, обоюдной или у кого-нибудь одного из пары. Шукшин — за духовность, но, если поискать у него причину разлада, я думаю, можно ее найти все в том же неладном жизнеустройстве, в безысходной нашей нуждишке, в фатальной приниженности социальной личности, в ком-то заданном каждому из нас «потолке».

Впрочем, это предмет для особого исследования, если иметь в виду изощренное внимание Шукшина к психологической обрисовке типажей, к человеческому характеру.

Напоследок скажу о маленьком рассказе-этюде «Рыжий», написанном Шукшиным в форме письма с дороги, от первого лица, как прощальный привет... Мальчишкой Вася ехал из Онугдая в свое родное село Сростки, по Чуйскому тракту. Навстречу попался грузовик, его водитель — наглая морда — не подал, как следовало, вправо, «шваркнул» Зис-5, на котором ехал Вася, по кузову, снес полборта. Васин шофер развернулся, догнал и тоже «шваркнул».

Этот случай Василий Макарович вспомнил в самом конце своего пути, как повод высказать важные мысли: «Ах, и прекрасно же ехать! И прекрасна моя родина — Алтай: как бываю там, так вроде поднимаюсь несколько к небесам. Горы, горы, а простор такой, что душу ломит. Какая-то редкая, первозданная красота. Описывать ее бесполезно, ею и надышаться-то нельзя: все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором».

Но в этом-то, в любви к Алтаю, Шукшин нам всем хорошо знакомый... А в конце рассказа «Рыжий» (когда рыжий водитель «шваркнул» своего обидчика, развернулся и поехал своим путем) приводится самый главный для писателя, тогда и родившийся в его отроческом уме, вывод, настоящая программа на жизнь: «Я... почему-то принялся думать так: нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно».

Самое существенное в этом внутреннем монологе словечко «нет». Вася Шукшин не согласился с безрассудным ухарством рыжего чуйского шофера, на краю вполне реальной пропасти, хотя и восхитился его хладнокровным мужеством. «Надо глубоко и по-настоящему жить — серьезно...»

Написал я и тотчас усомнился: так ли понял шукшинское «нет»? Может быть, оно обращено к подлости, за которую следует шваркнуть во что бы то ни стало? Может быть, это и имел в виду Василий Шукшин в своем завещательном рассказе «Рыжий»? Не знаю... Шукшин — сложный. Человек есть тайна...

Когда перечитываешь Шукшина, приходит и эта мысль: нам предстоит еще его открывать и обдумывать. Мы и те, что вслед за нами, много раз заново переживем жизнь замечательно сложного русского писателя. Очень серьезная жизнь!

ГОРЫШИН Глеб Александрович — прозаик, очеркист. Родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил факультет журналистики Ленинградского университета. По окончании учебы уехал на Алтай, работал корреспондентом барнаульской газеты «Молодежь Алтая». В 1957 году в журнале «Нева» опубликовал первый рассказ «Лучший лоцман», а через год вышла первая книга — «Хлеб и соль».
Г. Горышин работает в литературе активно, он автор более двух десятков книг, включающих произведения разных жанров.
Василию Шукшину Глеб Горышин посвятил свой очерк «Где-нибудь на Руси». Они познакомились на Алтае, в Горно-Алтайске. «Шукшин, — вспоминает Горышин, — тревожился, что времени остается очень мало и некогда размениваться, что надо говорить о самом главном — о жизни и смерти, и говорить только правду».

КНИГИ ВАСИЛИЯ МАКАРОВИЧА ШУКШИНА:

Собр. сочинений: в 3-х т. М.: Мол. гвардия, 1984.
Избранные произведения в 2-х т. — М.: Мол. гвардия, 1975.
Избранные произведения в 2-х т. (Изд. 2-е). М.: Мол. гвардия, 1976.
Беседы при ясной луне. Рассказы. М.: Сов. Россия, 1974.
Брат мой. Рассказы, повести. М.: Современник, 1975.
Вопросы к самому себе (Сборник публицистики). — М.: Мол. гвардия, 1981.
Далекие зимние вечера: Рассказы. — М.: Дет. литература, 1988.
До третьих петухов. Повести. Рассказы. — М.: Известия, 1976.
Библиотека «Дружбы народов».
До третьих петухов. — М.: Сов. Россия, 1980.
Живет такой парень. Киносценарий. — М.: Искусство, 1964.
Земляки. Рассказы. — М.: Сов. Россия, 1970.
Киноповести. — М.: Искусство, 1975.
Киноповести. — М.: Искусство, 1988.
Любавины. Роман. — М.: Сов. писатель, 1968.
Нравственность есть правда. — М.: Сов. Россия, 1979.
Повести для театра и кино. — М.: Известия, 1984. Библиотека советской прозы.
Рассказы. — М.: Худож. литература, 1979.
Рассказы. — М.: Детская литература, 1979.
Рассказы. — М.: Московский рабочий, 1980.
Рассказы. — Л.: Лениздат, 1983 — (Мастера русской прозы XX века).
Рассказы. — М.: Худож. литература, 1985 — (Классики и современники советской литературы).

Леонид Мартынов

СРЕДЬ СОВРЕМЕННИКОВ СВОИХ

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

...Первая моя «личная» встреча с Леонидом Мартыновым состоялась, увы, 26 июня 1980 года — в день его похорон. Светило яркое, сменявшееся внезапным дождем солнце, а потом оно снова еще ярче пробивалось из-за летних туч, отражаясь в ослепительных лужах, в чисто вымытых крепких листьях. Прощание происходило в Доме литераторов. Очень молодое лицо было у Леонида Николаевича. Какое-то просветленное. И только сердито, очень выразительно сжатые губы не могли скрыть, что вот от большого раздумья отвлекли человека, нарушили внутреннюю его тишину...

В стороне от суеты, шума, от бездарной ленивой жизни умер один из самых крупных поэтов XX века. Может, поэтому он даже и некрологов не заслужил в центральной (нелитературной) печати?.. Продолжалась жизнь, равнодушная и высокомерная к истинным труженикам! Но утешало одно, что справедливость — высшая (не — официальная, казенная!) была в стихах Л. Мартынова, и она же была ведома Времени, Будущему, в котором живет настоящая поэзия...

Мне всегда казалось, что Леонид Мартынов писал свои стихи при вспышках молний — так много в его творчестве грозовых отсветов, грозовой свежести и внезапной, вырывающейся из тьмы объемности. В этом, конечно, есть своя закономерность, ведь поэт, родившийся почти в самом начале века (1905 год), был свидетелем и участником этапных и переломных событий нашего столетия. Не только он сам — то восторженно, то отчаянно проходил их железными магистралями, но и они (этапы!) крепко прошлись по нему, проверяя на прочность, на выдержку нервов и неистребимость духа.

Человек сибирской силы, Леонид Мартынов словно специально был задуман природой не для штилей и филистерского покоя, а для бурь и штормов времени, для былинного богатырства. Увы, мы не умеем по достоинству ценить своих поэтов! Иначе бесспорно могли бы признать в Мартынове не уступающее уитменовскому укрупненное космическое мировосприятие; не уступающее Фросту мудрое, философское со-родство с природой; не уступающую Неруде насыщенность мировой культурой... Мы умеем щедро и взахлеб превозносить нечто «заморское», к своему же относимся пренебрежительно, свой аршин у нас явно укорочен холопской привычкой ждать оценок «из Европы».

Возвращаясь же к нашему разговору, заметим, что аналогии поэтической смелости Мартынова, его взаимоотношений с современностью скорее обнаружатся в науке, чем в поэзии, то есть там, где свершались пророчества Циолковского, Чижевского, Вернадского. Мы можем говорить о космосе Мартынова, узнаваемом по первой же строчке, детали, новаторской, мартыновской перекличке рифм, созвучий. (Об этих неотступных, догоняющих друг друга созвучиях можно написать отдельное исследование — ибо через них Мартынов передал прекрасно угаданную, уловленную в жизни отзывчивость, неисчезаемость наших жестов, мыслей, поступков, получающих отклик, отзыв, повтор в новых жестах, мыслях, действиях!) В этом грозовом и звездном пространстве — перемешаны революции, войны, путешествия, открытия века, великие и неизвестные люди, реки, моря, горы... И все это словно каким-то бешеным мотором втягивается в стремительный ритм стиха, от которого неуютно становится премудрым коммунальным блюстителям принципов и нравственности. И не только им. И «вершителям судеб». Как это случилось с Наполеоном, к которому пришел Кювье докладывать о состоянии наук (стихотворение «Доклад»).

Вихреобразность, вихреподобность поэзии Мартынова, в отличие от однотипных модернистских, метафорических конструкций, потрясает именно ясным, почти научно выверенным списком. Как когда-то загадочный и, казалось, таинственный неуправляемый космос с открытием ньютоновских законов механики приобрел прекрасную стройность и гармонию, так и в вихре мартыновской стихии всегда сокрыт непременный организующий ее — смысл. И если Кант говорит: «Дайте мне только материю, и я построю вам целый мир», то поэт из соприкосновения с жизнью создает образ мира, образ общества, времени. Почему так часто поэтов объявляли опасными? Почему против них ополчаются — пошлость, толпа, «мундиры голубые» (Лермонтов)? Не потому ли, что от их взгляда не спрятать подлости, тупости, рабства? Поэтический «образ мира» — не есть нечто романтическое, желаемое, воображаемое. Это — неопровержимо реалистическая действительность. Отсюда столько пророческого в настоящей поэзии. Как видно, природа пророческого не в мистицизме, не в гадании по гороскопам, не в телепатическом бормотании, а в самом грубом реализме, в понимании истинного положения вещей, из которого и неизбежно предвидение будущего.

Или стихотворение, написанное (подумать только!) в 1935 году, но словно провидевшее отмеченное особым знаком число — 5 марта 1953 года. Поэт описывает некое кладбище старинных машин (что потом так же созвучно отзовется в смеляковском «Кладбище паровозов», но с другим акцентом!), и вот, стоя над бывшею грозной развалиной, он говорит:

Но думаю:
«Всегда бывает так!
Еще недавно твердь под ним дрожала,
Все грохотало,
И толпы зевак,
Ликуя, как за будущим, бежала.
И вот теперь
На грани роковой
Лежит недвижен, ржав, тяжеловесен.
...А иногда —
Бывает таковой
Судьба людей,
Идей
И старых песен».

(«В мире сорных трав»)

В принципе, каждый поэт пишет свой Апокалипсис. Ибо нельзя не предвидеть крушение тех или иных кумиров, общественных систем, взглядов. Да и вообще — поэт не может не думать о смерти, уготованной каждому из живущих. Но что удивительно — несмотря на все тяготы судьбы (обвинение по сфабрикованному доносу; несправедливые, оскорбительные журнально-газетные проработки; вынужденное самоотлучение от собственных стихов почти на десять лет; равнодушно-снисходительное отношение критики в последние годы жизни!), несмотря ни на что, Мартынов не был мрачным пророком. Наоборот, он как раз пытался найти, показать «грань», которая должна в конце концов стать «роковой» для всего недоброго, злого. Когда сегодня мы удивляемся, как могло случиться, что в июне 41-го народ встретил войну почти безоружный, и о какой «прозорливости» будущего генералиссимуса можно после этого говорить, — вспоминаются стихи Мартынова, написанные в 1938 году и которые наравне с донесением Зорге предупреждали о неизбежности нападения на нашу страну. Но в стихотворении двойное предостережение. Уже тогда в нем говорилось о неотвратимом крахе фашизма, причем судит фашистов — по удивительному совпадению с известным процессом — «нюренбергский портной».

...Он повторял: «Вы бредите войной, берлинские вояки-забияки.
Запросите фасон кроить иной, когда в больничном скорчитесь бараке,
Запросите фасон кроить другой, когда с одной останетесь ногой!»
И зло захохотал он в полумраке.

(«Нюренбергский портной»)

Можно было бы еще приводить примеры, когда Мартынов на десятки лет вперед предвидел проблемы исчезающих рек, лесов. Когда он дальновидно прокладывал темы будущих стихотворений, книг, споров. Когда он произнес страшные обвинительные слова в защиту человека, человеческого достоинства, выдвигая эту тему в качестве самой главной до конца столетия и далее. Еще в 1954 году на пределе откровенности он заговорил о том, о чем мы только сейчас начинаем говорить в полный голос, да и то не без предательского холодка в груди, не без привычной оглядки!

Огонь
Идет по человеку!
Все тяготы он перенес,
И всех владык он перерос, —
Вот и палят по человеку,
Чтоб превратить его в калеку,
В обрубок, если не в навоз.

Итак,

К какому же решенью
Он, человек, пришел сейчас?
Он, человек, пришел к решенью
Не быть ходячею мишенью
Для пуль, и бомб, и громких фраз!

(«По существу ли эти споры?»)

Открыв это мощное пророческое начало в поэзии Мартынова, я уже с каким-то взволнованным ожиданием перелистывал страницы его книг, пытаясь найти в них еще одно предсказание. И оно там было, помеченное 1960 годом:

Где-то там
Испортился реактор
И частиц каких-то напустил
Известил о том один редактор,
А другой не известил.
И какой-то диктор что-то крикнул,
А другой об этом ни гу-гу.
Впрочем, если б и никто не пикнул,
Все равно молчать я не могу!

(«Где-то там испортился реактор»)

Странно, мы совсем, кажется, ничему не научились. Может быть, не в последнюю очередь еще и потому, что невнимательно прочитали свою литературу, своих поэтов?.. Может быть, нам еще не поздно открыть старые, якобы давно осмысленные книги, и внять предупреждениям и прозрениям Пушкина, Баратынского, Тютчева?.. Нас задела только музыка Есенина, но не изменили нашего отношения к жизни, друг к другу — его предчувствия. За 26 лет до Чернобыля Мартынов с репортерской точностью описал первую чиновничью реакцию на событие, которое еще ждет своего не только ведомственного, но и философского осмысления! А мы ничего не поняли, пропустили мимо ушей, мимо сознания, мимо сердца. Тем тяжелей и суровей расплата. Видимо, опять прав оказался Леонид Николаевич, сказав: «Нас разглядеть и опыт наш учесть и раньше, разумеется, могли бы!..» Особенно, когда мы живем в эпоху, в которой каждый час, каждый день несет в себе «роковую грань» для планеты, для человечества.

Все сроки
И каждый намеченный путь,
И даже пророкам, пророча,
Не следует очень тянуть.

(«Короче, короче, короче!»)

Мартынов, как, пожалуй, ни один из наших поэтов, обладал счастливым даром иронии, юмора, использовавшимся им не для зубоскальства или светского острословия. Он написал блестящее философское стихотворение «Царь природы», полное раблезианского смеха, обнажающего все человеческие пороки. Он написал свое знаменитое стихотворение о Лукоморье, построенное на виртуозной игре слов и похожее на сказку о чудесной стране, где нет пошлости, грязи, духовной закрепощенности. Это веселое и горькое стихотворение — упрек, напоминание каждому из нас о несбывшейся мечте, о жизни под грудой обломков рухнувших воздушных замков. Если можно определить суть Мартынова-поэта, исходя из этого стихотворения (очень характерного для него!), то его можно назвать реалистом-романтиком. Потому все его творчество преобразовательно, воспитательно по своей сути, он борется за такую реальность, которая не мешала бы осуществлению любой самой дерзкой мечты. Об этом он написал не менее знаменитое, на грани возмущения всеобщего спокойствия стихотворение «Подсолнух», с его оглушительной интонацией:

Вы ночевали на цветочных клумбах? —
Я спрашиваю —
Если ночевали,
Какие сны вам видеть удалось?

Под напором этой могучей энергии снова и снова убеждаешься, что судьба Леонида Мартынова, его книги, его поиски с открытиями и поражениями до последнего вздоха поэта утверждали великое право литературы быть свободной и независимой ни от каких обстоятельств, переменчивых мнений, пристрастий. Ибо —

Из смиренья не пишутся стихотворенья,
И нельзя их писать ни на чье усмотренье.
Говорят, что их можно писать из презренья.
Нет!
Диктует их только прозренье.

(«Из смиренья не пишутся стихотворенья»)

Геннадий КРАСНИКОВ

ЛЕОНИД МАРТЫНОВ

* * *

Луна,
Взойди в своей короне,
И в перстень лунный камень вдень,
И озари гнездо воронье,
Плетень и сад, укрытый в тень,—
Луна сонат, луна рапсодий,
Луна и летом, и зимой,
На серебристом луноходе
Блуждая по себе самой.

* * *

По эту сторону капели
Иду я. Здесь ручьи запели,
А не на этой стороне
Снега еще не отскрипели,
Как будто бы в другой стране.

И там мечтают о весне,
Да перебраться не успели
На эту сторону капели —

Боятся ледяной купели!

Но перешли, не утерпели,
Через блистание капели
На эту сторону, ко мне!

* * *

Всё зависит от людей!
Время — это чародей:
Кровь хлестала почем зря,
Прямо — целые моря,
А теперь земля пестра
От вьюнов до архидей.
Время — это чародей!
Чародей-то чародей,
Но, по правде говоря,
Смылась кровь не от дождей,
А, по правде говоря,
Всё зависит от людей!

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Что-то
Не расходится
Светоний...

«Двенадцать цезарей»
Лежат, не возбуждая никакого ажиотажа.

Купленный лет двенадцать назад у букиниста в старом
суворинском издании, этот Светоний, сколько
он стоил?
Кажется — 30 рублей. А в новом издании он стоит два
десять. И даже
Есть комментарий. Но никто не
Обращает внимания на то, что книжка появилась
в продаже.

И кажется,
Так и останутся лежать эти кипы Светония
И до двенадцати цезарей нет никому дела. Дело в том,
Что это — история
И это — не в тон
А вот всевозможная фантастика, приключенья
Даже в туннелях метро поглощается на лету
Сразу для чтенья тут же в метрополитене.
Но я и Светония куплю:
Перечту.

* * *

Немеркнущий
Во мгле времен
Слит воедино ряд имен:
Стоят Евклид, Сократ, Платон
И Аристотель — всех я вижу,
Но этот мир от нас далек.

Маркс, Дарвин, Мендель и Ван-Гог,
И Уитмен — гораздо ближе.

Я вижу:
Ленин и Эйнштейн,
И Маяковский, и Пикассо —
Вот небосвод имен усеян
Какими звездами.

И часа
Я жду, когда не мне удастся,
Нет, я не так самонадеян,
Чтоб говорить себе:
— Проверь
Всё, что творится ныне в мире!
Какие назовешь теперь
Три имени или четыре,
В единый ряд поставив их,
Средь современников своих.

* * *

О, книги!
Есть книги, как глыбы бумаги,
Есть книги, как пестрые листья растений,
Есть книги, которые блещут, как шпаги,
Когда обнажает их творческий гений.

Конечно, порой, при воздушном налете,
Когда не прочищено горло орудий,
Любою из книг, хоть в каком переплете,
Увы, не прикроются добрые люди.

На это укажет любой переплетчик,
И каждый зенитчик поведает это,
Но если уж кто не стрелок и не летчик,
А пишет он книги, зачем-то и где-то,
Пускай эти книги
Вещают о благе,
Пусть будут они,
Как светила во мраке,
А вовсе не пышные хлопья бумаги,
На коих танцуют печатные знаки!

Публикация Г. СУХОВОЙ-МАРТЫНОВОЙ.

И. А. Бунин.
Конец 20-х годов.

У ПОСЛЕДНЕГО ПРИЧАЛА

21 октября 1928 года, в Грасе, Галина Кузнецова, последняя любовь Бунина, записала:

«В сумерки Иван Алексеевич вошел ко мне и дал свои «Окаянные дни». Как тяжел этот дневник! Как ни будь он прав — тяжело это накопление гнева, ярости, бешенства временами. Кротко сказала что-то по этому поводу — рассердился! Я виновата, конечно. Он это выстрадал, он был в известном возрасте, когда писал это — я же была во время всего этого девчонкой, и мой ужас и ненависть тех дней исчезли, сменились глубокой печалью».

Эту книгу Бунина у нас или обходили молчанием, или просто бранили.

Между тем, при всем накоплении в ней «гнева, ярости, бешенства», а может быть, именно поэтому, книга написана необыкновенно сильно, темпераментно, «личностно». Он крайне субъективен, тенденциозен, этот дневник 1918—1919 годов, с отступлениями в предреволюционную пору и в дни Февральской революции. Политические оценки в нем дышат враждебностью, даже ненавистью к большевизму и его вождям.

Но без «Окаянных дней», по моему убеждению, нельзя понять Бунина.

Книга проклятий, расплаты и мщения, пусть словесного, она по темпераменту, желчи, ярости не имеет ничего равного в «больной» и ожесточенной белой публицистике. Потому что и в гневе, аффекте, почти исступлении Бунин остается художником: и в несправедливости великой — художником. Это только его боль, его мука, которую он унес с собой, в изгнание. И нам следует, мне кажется, проявить, уже с большей временной дистанции, определенную терпимость, не страшиться сегодня давних словесных проклятий и хулы, вырвавшихся под влиянием событий, когда в братоубийственной войне рекой лилась русская кровь.

Еще только будут написаны (или уже пишутся) нашими учеными исследования о гражданской войне в России, где дадут высказаться обеим сторонам. До сих же пор мы выслушивали только одну, «свою» сторону, не получая в итоге полной картины. А гражданская война во все времена была самой жестокой и беспощадной, самой трагической, когда брат шел на брата, сын — на отца. Эта взаимная ожесточенность с замечательной правдивостью передана в нашей национальной эпопее — «Тихом Доне» М. А. Шолохова, где сцены казни большевиков белогвардейцами соседствуют с эпизодами расправы красных над белыми пленными, где в муках неразрешимых мечется, не находя полной, абсолютной правды и взыскуя ее, Григорий Мелехов. Но, кстати, даже и в «Тихом Доне» отсутствуют самые страшные эпизоды: переходящие в геноцид массовые расстрелы мирных жителей Дона (включая женщин, детей и стариков), последовавшие после подписанной Я. М. Свердловым 29 января 1919 года директивы о «расказачивании»...

Предельная внутренняя честность и порядочность Бунина, его чувство независимости, собственного достоинства, неспособность лгать, притворяться, идти на компромисс со своей совестью и своими убеждениями, — все это было жестоко попрано в хаосе гражданской войны.

Он увидел ее только с одной стороны. Однако ведь красный террор был такой же реальностью, что и белый. Производились массовые расстрелы заложников (крупных чиновников, дворян, промышленников, духовенства), уничтожались сдавшиеся в плен юнкера и офицеры (начиная с ноября 1917 года, когда, после подавления белого мятежа в Москве, пленные были расстреляны в Лефортово). А после директивы о красном терроре, подписанной Я. М. Свердловым в ответ на террористические акты, проведенные эсерами в июле 1918 года, ожесточение стало безмерным.

Следует иметь в виду и то, что в революции и гражданской войне, помимо сознательных большевиков, приняли участие анархисты, левые эсеры, просто темные силы, вплоть до настоящих бандитов, вроде атамана Григорьева, «батьки» Махно (несколько раз участвовавших в боевых действиях в составе Красной Армии) или просто помешавшейся на казнях пресловутой «тети Маруси». Кстати, именно атаман Григорьев со своими молодцами вошел в 1919 году в Одессу, когда там находился Бунин.

Они производили обыски, реквизиции, аресты, допросы, казни, не считаясь с «революционной моралью». И элементы эти проникали всюду...

В начале мая 1918 года Иван Алексеевич ненадолго ездил в Тамбов и Козлов вместе с критиком Ю. И. Айхенвальдом устраивать «Бунинские вечера». Подлинная же причина была самая прозаическая: голод. Они привезли окорока, муки и крупы, а Бунин еще, по свидетельству его жены Веры Николаевны, «твердую непоколебимую уверенность, что нужно уезжать, и как можно скорее, на юг». Он пережил в Москве события Октябрьской революции, Брестский мир, начало гражданской войны.

При всей кажущейся аполитичности, отстраненности от «злобы дня», Бунин был — и с годами только утверждался в этом, — человеком глубоко государственным. Он желал видеть Россию сильной, великой, независимой. Однако все, что кололо, мозолило ему глаза, убеждало, что России — как великому государству — конец. И это приводило в отчаяние. Не только унизительный Брестский мир с передачей Германии Украины, каждая мелочь, каждый, казалось бы, второстепенный факт подтверждал это.

Вот в честь празднования первого первомая левые художники получили санкцию Л. Б. Каменева снести памятник герою русско-турецкой войны 1877—1878 годов Скобелеву, находившийся против дома генерал-губернатора (теперь — Моссовета). В полночь

30 апреля Бунин записывает: «Стаскивание Скобелева! Сволокли, повалили статую вниз лицом на грузовик... И как раз нынче известие о взятии турками Карса!»

В краткой записи выражена глубоко личная и одновременно, хочется сказать, всероссийская, по Буннну, драма. Вскрыта связь между двумя далекими фактами: монумент победителя турок отправлен на помойку; русская армия на Кавказском фронте отступает, разваливается. Итак — конец.

Вот отчего лейтмотив «Окаянных дней» очень мрачный, можно сказать беспросветный.

Быть может, впервые на страницы Бунина выплескивается у л и ц а; митингуют, спорят до хрипоты или же ропщут, жалуются, угрожают разношерстные люди — коренные москаичк и сошедшиеся в россннйскую столицу (снова, через двести лет — столицу!) рвбочие, солдаты, крестьяие, барыни, офицеры, «господа», просто обыватели. Какое обилие типажей, живых физиономий, характеров, схваченных на ходу, словио моментальной фотографией! Сколько наблюдательности и изобразительной силы!

Гордившийся своим парнасским бесстрастием, Бунин еще не так давио — всего каких-то десять лет назад, — утверждал в связи с событиями 1905 года: «Если русская революция волнует меня больше, чем персидская, я могу только пожалеть об этом». И вот этот «парнасец», почетный академик по разряду изящной словесности, бросается в водоворот, в воронку кипящей улнчной жизни, жадно впитывает происходящее, ио в итоге только укрепляется в своем, давно выношенном суждении: Россия погибла.

«Окаяниые дни» — монолог о революции, но написаный человеком, ее не принявшим и проклявшим.

Бунин психологически, просто человечески не был способен на то, что предстояло старой ннтеллнгенции — непростой, мучительиый процесс вживания в совершенио новую и подчас враждебиую ей действительность. Для него это было равносильно тому, чтобы отказаться от себя самого — от человеческого достоинства, чести и совести, от неукоснительного и священного права на самостоятельное мнение, каким бы оио ни было, и иа возможность свободно его высказать.

Шкала прежних ценностей была для него незыблемой, самоочевидной. «Подумать только, — возмущался он, уже в красной Одессе, — надо еще объяснять то тому, то другому, почему именно не пойду служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще доказывать, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антерисуется» стихами!»

Трудности и трудности, рождавшие трагизм положения, заключались еще и в том, что Бунин был прежде всего пксатель, художник и иаблюдатель зорчайший, что именно это было смыслом его жизни, ее существом. «Я как-то физически чувствую людей» (Толстой), — записал в дневнике от 22 января 1922 года слова своего любимого художника н мыслителя Бунин. И далее, о себе: — Я все фкзически чувствую. Я настоящего художественного естества. Я всегда мир воспринимал через запахи, краски, свет, ветер, вино, еду — и так остро, Боже мой, до чего остро, даже больно!» И иаблюдение это, вернее, самонаблюдение, так важно, что Бунин повторяет его в «Окаянных днях», но уже с большей резкостью: «Я как-то физически чувствую людей», записал одиажды про себя Толстой. Вот и я тоже. Этого не понимали в Толстом, не понимают и во мне, оттого и удивляютси порой моей страстности, «пристрастности». Для большннства даже и до сих пор «народ», «пролетариат» только слова, а для меня это всегда — глаза, рты, звуки голосов, для меня речь на митинге — все естество произносящего ее».

Рано или поздно и перед ннми, разумеется, действительность ставила вопрос о выборе, ио он, согласимся, не был столь неотложным.

Мы знаем, что эмигрировали (или были высланы) десятки и сотни людей науки с мировым именем самых отвлеченных, далекнх от «злобы дня» профессий. Вроде уехавшего на одном пароходе с Буниным академика Н. П. Кондакова, столь знаменитого в своих нсторических изысканиях, что один из крупнейших мировых семинаров византологов именовался «Кондаковианум». Однако именно в литературной среде все происходило необыкновенно резко, размежевание шло немедленно.

В октябре 1917 года Бунин навсегда порывает с Горьким; на общем собрании членов «Среды» единогласно исключают Серафимовича.

Перед Буниным встает вопрос: что делать? Уезжать в эмиграцию, как это собираются сделать бывший московский городской голова В. Руднев, коммерсанты Цетлнны, А. Н. Толстой, или... Вопрос непростой. Бунин никогда не был «крайиим» — черносотенцем, монархистом; более того, в 1910-е годы заявнл в газетном интервью, что ему блнже всего соцнал-демократы. Но это последнее признание скорее всего вырвалось в результате лишь одного, внешнего ряда влияний: бедная юность, воздействие брата-народника, дружба с Горьким. А ведь был и другой, внутренний ряд, пожалуй, куда более значимый. И несовместимость нх породила в бунинской душе болезненную трещину. По воспоминаниям Веры Николвевны, «както он (т. е. Бунин — О. М.) говорил о трагнчности своей судьбы. Принадлежа по рождению к одному классу, он в силу бедности и судьбы, воспитался в другой среде, с которой не мог как следует слнться, так как многое, даже в ранней молодости, его отталкивало».

Не это ли ключ к бунинской драме?

С течением времени, под воздействием проиcходящего, тот, «внутреннний Бунин» заявляет о себе все сильнее и громче. Сословная гордость и инстинкт государственности толкают его все дальше «вправо». 5/18 марта, в долгом разговоре с женой, он все размышлял, «что была русская история, было русское государство, а теперь нет его. Костомаровы, Ключевские, Карамзины пксали историю, а теперь нет и истории никакой (...) «Мои предки Казань брали, русское государство созидали, а теперь на моих глазах его разрушают — н кто же? Свердловы? Во мне отрыгнулась кровь моих предков, и я чувствую, что я не должен был быть писателем, а должен принимать участие в правительстве».

Он сидел в своем желтом халате и шапочке, воротник сильно отставал, и я вдруг увидела, что он похож на боярина.

— Я все больше и больше думаю, чтобы поступить в армию добровольческую и вступить в правительство.

Однако это разговор с близким человеком, с глазу на глаз. А ведь были и публичные выступления, статьи, стихи. Новая власть за это по головке не погладит, Одесса вот-вот должна пасть. И все же даже в этих чрезвычайиых обстоятельствах все перевешивает одно чувство — любовь к России, любовь к Родине. Вера Николаевна горестно размышляет: «Я знаю, что под большевиками нам прндется морально очень страдать, жутко и за Яна, так как только что появилась его статья в «Новом Слове», где он открыто заявил себя сторонником Добровольчевской Армии. Но куда бежать? На Дон? Страшно — там тиф! За границу — и денег нет, да и тяжело оторваться от России».

25 января 1920 года, на греческом пароходике «Спарта», Буннн навсегда покннул Россию, чтобы никогда больше не возвращаться. Корабль простоял сутки в гаваии. Стрельба в городе усиливалась: в Одессу входнли части Котовского.

Россия отодвигалась от него, и Бунин спустился в каюту, твердо уверенный, что ее не стало. Лишь там, в открытом море, ужас от содеянного охватил его: «Вдруг я совсем очнулся, вдруг меня озврило: да, так вот оно что — я в Черном море, я на чужом пароходе, я зачем-то плыву в Констаитннополь» («Конец», 1923).

Он покидал Россию, но не как эмигрант, а как беженец. Потому что он уноснл Россию с собой.

«Если бы я эту «икону», эту Русь не любил, не видал, из-за чего же бы так сходил с ума все эти годы, нз-за чего страдал так непрерывно, так люто?»

Вспомним еще раз это бунинское признание. Идейный противник Октября, не принявший новую Россию, Бунин был и оставался патриотом н гражданином. Ибо таковые были по обе стороны баррикад в пору величайшей трагедии — гражданской войны, уроки которой нам еще предстоит долго и мучительно осмыслить.

Нет, без таких книг, как «Окаянные дни» бунинские, думаю, гражданской войны, мы, потомки, не поймем, накала ее не почувствуем. Огненным ножом взрезала она грудь России, непримиримо раскидав недавних единомышленников и друзей..

Олег МИХАЙЛОВ

ИВАН БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Русская литература развращена за последние десятилетия необыкновенно. Улица, толпа начала играть очень большую роль. Все — и литература особенно — выходит на улицу, связывается с нею и подпадает под ее влияние. И улица развращает, нервирует уже хотя бы по одному тому, что она страшно неумеренна в своих хвалах, если ей угождают. В русской литературе теперь только «гении». Изумительный урожай! Гений Брюсов, гений Горький, гении Игорь Северянин, Блок, Белый... Как тут быть спокойным, когда так легко и быстро можно выскочить в гении? И всякий норовит плечом пробиться вперед, ошеломить, обратить на себя внимание.

Вот и Волошин. Позавчера он звал на Россию «Ангела Мщения», который должен был «в сердце девушки вложить восторг убийства и в душу детскую кровавые мечты». А вчера он был белогвардейцем, в нынче готов петь большевиков. Мне он пытался за последние дии вдолбить следующее: чем хуже, тем лучше, ибо есть девять серафимов, которые сходят на землю и входят в нас, дабы принять с нами распятие и горение, из коего возникают новые, прокаленные, просветленные лики. Я ему посоветовал выбрать для этих бесед кого-нибудь поглупее.

А. К. Толстой когда-то писал: «Когда я вспомню о красоте нашей истории до проклятых монголов, мне хочется броситься на землю и кататься от отчаяния». В русской литературе еще вчера былн Пушкины, Толстые, а теперь почти одни «проклятые монголы».

Ночь на 24 апреля

Последний раз я был в Петербурге а начале апреля 17-го года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была иа полный произвол судьбы — и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны — величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» нз журналистов вроде Соболя, Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспрнчинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народа, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать, — везти или не везти, — и ие знал, какую назначить цену.

— В «Европейскую», — сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

— Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел н поехал, — и не узнал Петербурга.

В Москве жизнн уже ие было, хотя и шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» — и кто только ни кричал, ни командовал тогда по этому проводу! — по Невскому то и дело проносились правительственные машнны с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко н четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой... Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях анакидку, неработающими рабочнми, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшнми с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, а на мостовой лежал иввозный лед, были горбы н ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужнки с бородамн:

— Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит.

Я спросил:

— Так что же делать?

— Делать? — сказал он. — Делать теперь нечего. Теперь шабаш. Теперь правнтельства нету.

Я взглянул вокруг, на этот Петербург... «Правильно, шабаш». Но в глубине-то души я еще на что-то надеялся и в полное отсутствие правительства все-таки еще не совсем верил.

Не верить, однако, нельзя было.

Я в Петербурге почувствовал это особенно живо: в тысячелетнем и огромном доме нашем случилась великая смерть, и дом был теперь растворен, раскрыт настежь и полон несметной праздиой толпой, для которой уже не стало ничего святого н запретиого ни в каком из его покоев. И среди этой толпы носились наследники покойника, шальные от забот, распоряжений, которых, однако, ннкто не слушал. Толпа шаталась из покоя в покой, из комнаты в комнату, ни на минуту не переставая грызть н жевать подсолнухи, пока еще только поглядывая, до поры до времени помалкивая. А наследникн носились и без умолку говорили, всячески к ней подлаживались, уверяли ее и самих себя, что это именно она, державная толпа, навсегда разбила «оковы» в своем «священном гневе», и все старалнсь внушить и себе и ей, что на самом-то деле они ничуть не каследники, а так только — временные распорядители будто бы ею же самой на то уполномоченные.

Я видел Марсово Поле, на котором только что совершили, как некое традиционное жертвоприношение революции, ко-

---

Фрагменты из 2-й части «Окаянных дней» (Одесса, 1919 г.)

медию похорон будто бы павших за свободу героев. Что нужды, что это было, собственно, издевательство над мертвыми, что они были лишены честного христианского погребения, заколочены в гроба почему-то красные и противоестественно закопаны в самом центре города живых! Комедию проделали с полным легкомыслием и, оскорбив скромный прах никому не ведомых покойников высокопарным красноречием, из края в край изрыли и истоптали великолепную площадь, обезобразили ее буграми, натыкали на ней высоких голых шестов в длиннейших и узких черных тряпках и зачем-то огородили ее досчатыми заборами, на скорую руку сколоченными и мерзкими не менее шестов своей дикарской простотой.

Я видел очень большое собрание на открытии выставки финских картин. До картин ли было нам тогда! Но вот оказалось, что до картин. Старались, чтобы народу на открытии было как можно больше, и собрался «весь Петербург» во главе с некоторыми новыми министрами, знаменитыми думскими депутатами, и все просто умоляли финнов послать к черту Россию и жить на собственной воле: не умею иначе определить тот восторг, с которым говорились речи финнам по поводу «зари свободы, засиявшей над Финляндией». И из окон того богатого особняка, в котором происходило все это и который стоял как раз возле Марсова Поля, я опять глядел на это страшное могильное позорище, в которое превратили его.

А затем я был еще на одном торжестве в честь все той же Финляндии, — на банкете в честь финнов после открытия выставки. И, Бог мой, до чего ладно и многозначительно связалось все то, что я видел в Петербурге, с тем гомерическим безобразием, в которое вылился банкет! Собрались на него все те же — весь «цвет» русской интеллигенции, то есть знаменитые художники, артисты, писатели, общественные деятели, новые министры и один высокий иностранный представитель, именно посол Франции. Но над всеми возобладал — поэт Маяковский. Я сидел с Горьким и финским художником Галленом. И начал Маяковский с того, что без всякого приглашения подошел к нам, вдвинул стул между нами и стал есть с наших тарелок и пить из наших бокалов. Галлен глядел на него во все глаза — так, как глядел бы он, вероятно, на лошадь, если бы ее, например, ввели в эту банкетную залу. Горький хохотал. Я отодвинулся. Маяковский это заметил.

— Вы меня очень ненавидите? — весело спросил он меня.

Я без всякого стеснения ответил, что нет: слишком было бы много чести ему. Он уже было раскрыл свой корытообразный рот, чтобы еще что-то спросить меня, но тут поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: «Господа!» Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только что он сел, как встал французский посол. Очевидно, он был вполне уверен, что уже перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и вся зала: зараженные Маяковским, все ни с того, ни с сего заорали и себе, стали бить сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить электричество. И вдруг все покрыл истинно трагический вопль какого-то финского художника, похожего на бритого моржа. Уже хмельной и смертельно бледный, он, очевидно, потрясенный до глубины души этим излишеством свинства, и желая выразить свой протест против него, стал что есть силы и буквально со слезами кричать одно из немногих русских слов, ему известных:

— Много! Многоо! Многоо! Многоо!

⟨...⟩

В мире была тогда Пасха, весна, и удивительная весна: даже в Петербурге стояли такие прекрасные дни, каких не запомнишь. А надо всеми моими тогдашними чувствами преобладала безмерная печаль. Перед отъездом был я в Петропавловском соборе. Все было настежь — и крепостные ворота, и соборные двери. И всюду бродил праздный народ, посматривая и поплевывая семечками. Походил и я по собору, посмотрел на царские гробницы, земным поклоном простился с ними, а выйдя на паперть, долго стоял в оцепенении: вся безграничная весенняя Россия развернулась перед моим умственным взглядом. Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. Но зияла в мире необъятная могила. Смерть была в этой весне, последнее целование..

«Разочарования, — говорит Герцен, — мир не знал до великой французской революции, скепсис пришел вместе с республикой 1792 года».

Что до нас, то мы должны унести с собой в могилу разочарование, величайшее в мире.

Перечитал написанное. Нет, вероятно, еще можно было спастись. Разврат тогда охватил еще только главным образом города. В деревне был еще некоторый разум, стыд. Вспомнил свои прежние записи, вынул и развернул: вот, например, 5 мая 1917 года:

Был на мельнице. Много мужиков, несколько баб. Громкий разговор под шум мельницы. Возле притолоки, прислонясь к ней и внимательно слушая Колю, наклонив ухо и глядя в землю, стоит мужик с опущенными плечами, с черной курчавой бородой и нежным румянцем, уходящим в волосы. Шапка надвинута на белый хрящ носа. Коля рассказывает, что солдаты никого не признают и уходят с фронта. Мужик вдруг встрепенулся и, уставившись в него черными блестящими глазами, яростно заговорил:

— Вот, вот! Вот они, сукины дети! Кто их распустил? Кому они тут нужны? Их, сукиных детей, арестовать надо!

В это время, верхом на серой лошади, подъехал молодой солдат в хаки и стеганых штанах, напевая и насвистывая. Мужик кинулся на него:

— Вот он! Видишь, катается! Кто его пустил? Зачем его собирали, зачем его обряжали?

Солдат слез, привязал лошадь и на раскоряченных ногах, с притворно беззаботным видом, вошел в мельницу.

— Что же мало навоевал? — закричал за ним мужик — Ты что же, казенную шапку, казенные портки надел дома сидеть? (Солдат с неловкой улыбкой обернулся). Ты бы уж лучше совсем туда не ездил, сволочь ты этакая! Возьму вот, сдеру с тебя портки и сапоги да головой об стену! Рад, что начальства теперь у вас нету, подлец! Зачем тебя отец с матерью кормили?

Мужики подхватили, поднялся общий негодующий крик. Солдат с неловкой усмешкой, стараясь быть презрительным, пожимал плечами.

24 апреля

Вчера ночью выдумал прятать эти заметки так хорошо, что, кажется, сам черт не найдет. Впрочем, черт теперь мальчишка и щенок. Все-таки могут найти, и тогда не сдобровать мне. В «Известиях» обо мне уже писали: «Давно пора обратить внимание на этого академика с лицом гоголевского сочельника, вспомнить, как он воспевал приход в Одессу французов!»

Посмотрел газеты. Все тот же балаган. «Бессарабское рабоче-крестьянское правительство опубликовало вчера манифест, объявляющий войну Румынии. Но это не хищническая война империалистов...» и т. д.

Статья Троцкого «О необходимости добить Колчака». Конечно, это первая необходимость и не только для Троцкого, но и для всех, которые ради погибели «проклятого прошлого» готовы на погибель хоть половины русского народа.

В Одессе народ очень ждал большевиков — «наши идут». Ждали и многие обыватели — надоела смена властей, уж хоть что-нибудь одно, да, вероятно, и жизнь дешевле будет. И ох как нарвались все! Ну, да ничего, привыкнут. Как тот старик мужик, что купил себе на ярмарке очки такой силы, что у него от них слезы градом брызнули.

— Макар, да ты с ума сошел! Ведь ты ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам!

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они *оглядятся*...

Продолжение следует

НА ИЗВОЗЧИКЕ

А. и Б., друзья Н., оба, как и хозяин, холостые, но уже давно не первой молодости, отлично пообедали у него на Песках, сидя в светлой, теплой столовой, посматривая на хорошенькую горничную в белом фартучке с кружевами, выпили кофе с коньяком и закурили, продолжая шутить над знакомыми, вспоминая редкую глупость одного, странности другого, скупость третьего, идиотское самомнение четвертого... Но хозяин вдруг взглянул на карманные часы и сделал испуганные глаза:

— Батюшки мои! Уже почти девять!

— А что такое? — спросил Б.

— Как что такое? А Карцев-то? Надо показаться хоть на первой панихиде..

И все, замяв папиросы в пепельницах, встали и пошли в прихожую. Там Б. сказал хозяину:

— Где тут у вас, дорогой мой? Всегда забываю... А меж тем, после белого вина и нарзана...

— Все прямо, потом третья дверь налево...

На дворе стоял такой густой, морозный туман, что свет фонарей был в нем молочный и быстро проезжавшие мимо извозчики тотчас скрывались из глаз. Наконец, задержали двух и Н. спросил:

— Ну, кто с кем?

— Я отдельно, — сказал Б. — До свиданья, дорогие друзья, я не поеду. Я на Каменноостровский.

— Неловко!

— Нет, Бог с ними совсем, с этими панихидами. До свидания, спасибо за прекрасно проведенный вечер..

И, помахав перчаткой, влез, большой, в золотых очках, в жеребячьей дохе, в промерзлые санки с собачьей полостью. Сильная маленькая финка мелкой рысью понеслась навстречу туманному и морозному ветру. И Б. с удовольствием стал думать:

— Да, Бог с ним совсем. Нынче к нему, через неделю к другому, через месяц к третьему... Милые петербургские зимы!

...Карцев, Карцев... Вот тебе и Карцев. Вот и опять нет на свете никакого Карцева. Ни в Петербурге, и нигде. Конечно, нигде, — что же дурачить-то себя! Побыл на свете тридцать восемь лет и опять исчез, опять не существует, как не существовал и до этих тридцати восьми лет. И как неожиданно! «Слышали? Очень тяжело болен Карцев. Крупозное воспаление легких». «Ну, не велика беда, это только старикам опасно». И вдруг нынче утром в «Новом Времени» черная рамка и крупными черными буквами в строку его имя, отчество и фамилия! Что за вздор? Что-то совершенно нелепое, неподходящее к нему, именно неподходящее! Ведь всего две недели тому назад я обедал у него и восхищался им: как всегда удивительно бодр, энергичен, живые, блестящие черные глаза и сам весь черен, сух, крепок, отлично одет, душисто пропитан дорогим табаком, — ужасно, в сущности, курил! — молодая красавица жена, чудесная квартира, успехи в делах... И вот, вдруг, вместо всего этого — «безвременная кончина» и какая-то «жизнь вечная, бесконечная», здравому человеку совершенно непостижимая... Ах, уж эти панихиды и отпевания! Какой обман душевного умиления и умственной расслабленности! Тут все к вашим услугам: и какая-то будто бы высокая грусть, и какая-то будто бы небесная радость, и будто бы (...тая) вера в это «вечное, бесконечное», и эта одурачивающая поэтика надгробных слов и песнопений, а вышел на площадку лестницы покурить — и все пошло прахом: в воображении стоит только торчащий из-за края гроба и точно с маскарадной маски нос. И вот там сейчас как раз все это и происходит: и холодь на площадках лестницы перед растворенной дверью в прихожую, полную людей; и толпа там, где он лежит в полусвете восковых свечей в руках «предстоящих», на столе под церковным покровом, с лампадкой у изголовья; и это умилительное пение; и конусообразные глазетовые ризы; и развевающийся возле них ладан, и похудевшая, прозрачно-бледная и еще более похорошевшая от этой бледности, прозрачности и траурного платья жена, а в пустой столовой бессмысленно-успокоительное тиканье стенных часов: так было, так будет, так было, так будет...

— Ух, как несет этим чу(...)ым туманом! И охота ей жить в такой дали от всего! Верно, уж злится, что опаздываю, полулежит на тахте, поджав ноги, и со зла курит папиросу за папиросой — все они, худые и маленькие, злы... А уж он никогда не вздохнет больше этим туманом и не узнает, что нынче нового в вечерних газетах. Был — и исчез. Изумительно. Старо, как мир, и все-таки изумительно. Мудрые думы мои обо всем этом, конечно, пошлей пошлого, да что же иное можно тут думать! Да, исчез, а все во всем мире осталось по-прежнему, только без него, и будет без него во веки веков. И будет некогда такой же вечер без меня... Подумать только: без меня! И все-таки еду вот и чувствую себя как нельзя лучше... Зла, а как бывает умна, весела, насмешлива! И эта оливковая смуглость, и худенькие ключицы, и коротенькое, как у девчонки, черное шелковое платьице...

— Да, без меня, без меня... Но без кого это — без меня? Кто это — я? То, что есть мое подлинное я, не есть, конечно, мое тело вот в этой дохе. Да и что такое мое тело? Я и тела своего не понимаю. И близко ли оно мне как следует, по-настоящему? И насколько оно отлично от других тел? Кое-чем, конечно, отлично, но в общем-то, в общем? Так что же такое я? И чем оно, в свою очередь, отлично от других? И есть ли у меня подлинная власть над этим я? Ведь что во мне происходит всю жизнь? Какая разрозненная, разнообразная чепуха мыслей и чувств, живущая какой-то совершенно самостоятельной, своей собственной и совершенно непонятной мне жизнью! И потом: какая, вообще, раздвоенность проявлений этого моего я! Вот я говорю и то и другое с тем или другим человеком, но разве всем моим я? Все время есть во мне что-то совсем другое, что, наряду с тем, все время живет совсем по-другому, думает и чувствует другое. И как свободно думает и чувствует, меж тем как мое говорящее я ничуть не свободно и не может быть свободно! Вот, например, как мил и вежлив был я, даже почтителен с горничной за обедом у Н. А сам, посматривая на нее, думал о том, что у нее там, под этим фартучком с кружевами... Да, мы свободны только в нашем внутреннем, невысказываемом, в тайных мыслях и чувствах... И уж как пользуемся этой свободой!

— А Елисеев был еще открыт, и я проморгал его — можно было заехать и купить вишен, которые она так любит... А Карцев уже никогда ничего у него не купит, а я вот еду, живу и захочу — поверну сейчас извозчика, зайду и куплю все, что угодно. Я еще живу — и что это значит? Это значит, что я в некий срок родился (нечто совершенно непостижимое и даже как будто совершенно невероятное!) и вот разделяю что-то, называемое жизнью, со всеми миллионами живущих сейчас на какой-то так называемой земле; и со всеми разделю — в некий другой срок — смерть! И что же? Где-то там, за гробом, будто бы увижу все эти мириады ранее меня живших и умерших — может быть, даже Сократа, Юлия Цезаря, Наполеона, Пушкина! Господи, какой вздор! А ведь все-таки порой кажется, кажется, что все они, все эти мириады, и Сократ, и Пушкин где-то как-то существуют. Няньки вбили в голову? Но почему же у самих нянек-то это сидит в голове тысячи лет и будет сидеть до скончания века?

— Да, все одно и то же, одно и то же тысячи тысяч лет: какое-то «мироздание», то есть наше жалкое, младенческое представление о нем, восходы, закаты, круговращение земли, течение солнца, звезд, луны... Наши детства, юности, зрелые годы, радости, печали, любовь, ненависть, тщеславие — и

Рассказ «На извозчике» предположительно написан в октябре 1939 года, когда Бунин перечитал «Смерть Ивана Ильича». В этом рассказе он «вступает в прямую полемику с Толстым и его «Смертью Ивана Ильича» и противопоставляет толстовским вере в бессмертие и поиску смысла жизни леденящий холод полного безверия и разочарования современного человека».

Миниатюры 1930 года принадлежат к новому жанру, который Бунин ввел в те годы в русскую литературу. Все рассказы 1944 года относятся к периоду работы писателя над «Темными аллеями», однако ни один из них не был включен им в сборник.

Тексты даются в современной орфографии. Любопытно, что до самой смерти Бунин не только писал сам, своей рукой и по старой орфографии, но и продолжал пользоваться для перепечатки своих рукописей старенькой пишущей машинкой с «ятем». — Ред.

гроба, гроба! «А если что и остается от звукоа лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и общей не минет судьбы...»

— Панахиды, отпевания... Слуга покорный! Нога моя никогда не будет больше на них! Вздор хоть одно это: идиотское несоответствие человека, всю жизнь бывавшего в церкви только на похоронах, со всем тем церковным, что окружает его после смерти — целых трое суток! Несоответствие человека самого среднего, в конечном счете вполне ничтожного, с этими высочайшими словами, которые поются и говорятся над ним трое суток, а затем с торжественнейшими напутствиями перед заколачиванием гроба... С напутствиями куда? Ровным счетом никуда, если не считать трехаршинной мерзкой ямы, в которой завалят его мокрой глиной в новеньком, блестящем ящике из лакированного дуба! И совершенно то же самое будет в некий день и со мной, и ведь я иногда это уже чувствую: среди всех радостей и удовольствий моей неустанно утекающей куда-то жизни уже ношу в себе сокровеннейшее «мементо мори», эту иногда сжимающую сердце тоску... и даже как будто какую-то поэзию ее, поэзию какой-то будто бы утешающей безнадежности, покорности — и укора кому-то: да, обречен, без вины виноват, но обречен н погибну — знаю, что погибну, но — покоряюсь. Что же я могу? И черт меня дернул надеть этот жеребячий наряд, в нем ужасно холодно! А на Неве и совсем замерзнешь, ровно ничего не стоит схватить и себе какую-нибудь «крупозную» гадость...

— Гони, дядя, в хвост и в гриву — полтинник на водку!

— «Смерть Ивана Ильича»... Неплохо написано, а в итоге все-таки ерунда. Ивану Ильичу ужасно было умирать, видите ли, потому, что он как-то не так прожил жизнь. Нет, Лев Николаевич, как ее ни проживи, смерть все равно. Несказанный ужас. Но как верно, что Иван Ильич долго был вполне уверен в случайности и временности своей болезни! Так же уверен был, конечно, и Карцев. Даже, небось, некоторое время испытывал большое удовольствие. День-два крепился, переносил жар и слабость на ногах, потом сдался, разделся, лег в постель и почувствовал себя так сладко, точно в теплую ванну сел. Несомненно, есть некоторое счастье болезни, особенно вначале, — это освобождение от одежды, от галстука, покой постели, покой свободы от обязанности держать свое тело в установленном при здоровье порядке, да и не только тело, а и все свое существо — держать так, как полагается по отношению к людям, ко всем своим житейским делам, по отношению вообще ко всей своей здоровой жизни. Но этого мало. В болезни есть еще повышенное чувство отделения от тела нашего главного я, нашей так называемой души. Так освобождается она, эта душа, от тела и при всяком большом несчастии. Это-то я уж отлично знаю — ведь и сам болел в жизни не раз, и страдал, и любил, и плакал, теряя любимое... Кстати: что такое, в сущности, болезнь? Попробуй-ка определить! Нечто дьявольски таинственное, неизъяснимое! А страдание душевное? А любовь, нежность, слезы? Желание пожертвовать собой ради горячо любимого существа? Узнать себя перед любимой женщиной, рабски целовать подол ее платья, ее ноги? Тут опять это освобождение, большое освобождение!

— Да, в известные годы все-таки начинаешь уже не думать, а чувствовать, что я — тоже Кай, что не только мое тело, но и мое сознание, мысль, чувства, душа, дух — все, все должно погибнуть в некий срок навеки — вы только подумайте: навеки! — и без следа, без единого следа! Кости мои могут пролежать еще тысячу лет в земле? Да на черта мне это, не говоря уже о том, что даже и кости-то эти будут совершенно не такие, что были в моем живом теле! А еще что? «Возвратится дух к Богу, создавшему его», возвратится, то есть не пропадет, да ведь я-то пропаду, я, Иван Иваныч Иванов! А еще какой след? Разве это след-то, что тебя будут помнить некоторые, знавшие тебя, любившие или ненавидевшие тебя, и даже не помнить, если уж точно говорить, а только вспоминать иногда? А потом и они умрут, и дети их умрут — и конец, полный конец...

— Боже мой, что же это такое? Сколько миллиардов легло в землю хотя бы за то маленькое время, которое называется нашей историей! Сколько женских тел, из которых великое множество было еще молодо и божественно прекрасно! Сколько жалких детских трупиков! Сколько гнусных старческих! И вот и я буду в числе их через какие-нибудь двадцать, тридцать лет (и это в лучшем случае)! А меж тем все это с меня сейчас, то есть пока, до поры до времени, как с гуся вода! Ничего этого я, в конце концов, не боюсь, ничему этому до конца не верю, еду вот к любовнице, буду с ней есть груши и пить ликер и кофе, потом иметь ее... И наряду с этим: «Ах, я так люблю тебя, что хотела бы умереть в твоих объятиях!» Почему, зачем, откуда эта вечная жажда смерти, погибели в минуты сильной любви, страсти? А вдруг она и в самом деле от чего-нибудь умрет? Это тебе уже не Карцев! И вообще — как это люди могут переживать смерти любимых, близких, возлюбленных, жен, с которыми прожито полжизни, девушек-дочерей, — все то, от чего Бог меня пока избавлял! Ужас, дикий ужас!

МОСКВА

У Лубянской стены, где букинисты, их лавки и ларьки. Толстомордый малый, торгующий «с рук» бульварными и прочими потрепанными книгами, покупает у серьезного старика-букиниста сочинения Чехова. Букинист назначил двенадцать копеек за том, малый дает восемь. Букинист молчит, малый настаивает. Он лезет, пристает — букинист делает вид, что не слушает, нервно поправляет на ларьке книги. И вдруг, с неожиданной и необыкновенной энергией:

— Вот встал бы Чехов из гроба, обложил бы он тебя по... матери! Писал, писал человек, двадцать три тома написал, а ты, мордастый.., за трынку хочешь взять!

16.X.30. Грасс

* * *

Знакомый старик идет навстречу в совершенно необычном виде: в очках и с красными, полными слез глазами.

— Макар, что это с тобою?

— Да вот очки купил сейчас, а то просто беда, совсем слепой стал.

— Да ты с ума сошел, ты еще хуже ослепнешь, ведь они тебе совсем не по глазам.

— Кто, барин? Очки-то? Ничего, они оглядятся.

* * *

Гуськом, держась друг за друга, подняв незрячие лица, идут мимо слепцы, мрачно дерут на разные лады:

А мы видели,
Диву дивную,
Диву дивную,
Телу мертвую...

1930

* * *

Спят в одной комнате брат и сестра, подростки. За окном лунная ночь. Проснулся, перевертываясь, — она плачет. «Что ты?» — молчит, подавленно рыдает. Подошел, сел к ней на постель; стала рассказывать свое великое горе — несчастно влюблена — в мальчишку, помощника машиниста. Стал утешать, целовать в мокрую горячую щеку, потом в такие же губы... «Ляг, ляг со мною, обними меня покрепче, а то я умру...» Лег — и все произошло само собой, с горячей, порывистой нежностью, счастьем и жалостью, горем.

Самая прекрасная за всю жизнь любовь.

ПИСЬМА

Бросила, он сходит с ума, каждый день пишет ей письма, полные и угроз, и оскорблений, и унизительных нежностей, просьб вернуться, вспомнить «незабвенное прошлое»... Она дает эти письма своему новому любовнику — он после развратной ночи с ней пьет кофе, жрет круассаны с маслом и, потешаясь, вслух читает. Молод, но по утрам — припухшее лицо, нездоровый блеск глаз; размыт в ванне, черно блестят мокрые, стянутые сеткой волосы, не в меру цветистая пижама, голые ноги, их противное тело в лакированных туфлях без задка. У нее рукава матинэ так широки, что когда она наливает кофе, до плеча открывается толстая, как ляжка, рука, видна гладкая подмышка. Слушая чтение, рассеянно усмехается.

— Гренков хочешь? Еще горячие.

— Да-да. «И вот, во имя нашего прошлого, нашей былой любви...» Ты знаешь, он все это откуда-нибудь списывает.

— Вероятно. Из каких-нибудь романов...

Голая подмышка его волнует. Встает, подходит к ней сзади, поднимает ее лицо, впивается в жирные губы. Она закатывает глаза, толчками дышит в ноздри.

15.10.44

МАРИЯ СТЮАРТ

Лето, город на Волге. Большие, разных цветов афиши: «Гастроли знаменитой артистки Марии Николаевны Карелиной в роли Марии Стюарт, при участии артисток: Лаврецкой-Черкасовой, Саблиной-Дольской, Строевой, артистов: Градова, Иртеньева, Тинского, Чаева...» В газете статья о Карелиной, ее портрет в роли Марии Стюарт: зубчатая корона, узорный, стоячий выше ушей ворот, лицо неприступное, ледяное, гордое — таково в ее представлении должно быть лицо королевы. После спектакля, после «бурного успеха и бесконечных вызовов» она «отдыхает» в кругу поклонников, ужинает в садике на Волге.

Все, почтительно и восхищенно обращаясь к ней, четко выговаривают ее имя-отчество:

— Мария Николаевна, рябиновки еще прикажете? Еще икры позволите? Чудный салат оливье — разрешите положить?

И она ест и салат оливье, и зернистую икру с горячим калачом, и «стерлядку» в красном соусе, и «азу по-татарски», и гурьевскую кашу, пьет и рябиновку, и перцовку, и белое вино, и красное, и шартрез, и кофе, курит папиросу за папиросой.

И так чуть не каждую ночь, и хоть бы что. А у Градова, с которым она живет и который совершенно спокойно относится к богатым купчикам, имеющим ее то в том, то в другом городе, тяжкая одышка, хриплый голос, пузыри под глазами.

— Стара стала, слаба стала, — говорит он меланхолически. — Да и не шутка, ангел мой, жизнь с такой двойной стервозой, как Марья Николаевна. Королева! Мария Стюарт! А эта Мария Стюарт задницу через ять пишет!

16.10.44

КИБИТКА

Усадьба при большой дороге, на краю деревни. Гимназист стоит возле каменной ограды. От кибитки, отпряженной возле овсов за дорогой, идет с ребенком на руках босая цыганка.

— Барин мой серебряный, дай моему голопузенькому!

Ребенок и правда голопузый, в драной рубашонке, серьезный, мордастый, черный, курчавый; очень тяжел — держа его под ноги, вся перегнулась назад. И на самой лохмотья: истлевшая ситцевая юбка, на плечах выцветшая желтая шаль; выгоревшие от солнца волосы спутаны, на сухой коричневой шее ожерелье из каких-то оранжевых шариков; шаль сползает с правого плеча — виден изгиб коричневой от загара старой ключицы; но зубы в оскале сизых губ молодые, блестящие... Дал двугривенный в толстую слюнявую ручку ребенка, тотчас крепко сжавшуюся. Усмехнулась:

— А мне? Дай синенькую — дело сделаем.

Заломило низ от страшного и сладкого представления, пробормотал, краснея:

— Дам... Приходи, как стемнеет, в сад, перелезь через ограду вот в те липки...

— Приду-приду, жди меня крепко!

После ужина, украв из отцовского письменного стола пятирублевую бумажку, долго ходил понапрасну в темноте под липками. Наконец, вышел на дорогу: возле кибитки жарким костром трещит сухая полынь, она одна сидит возле костра. Перешел через дорогу, подошел с бьющимся сердцем:

— Ты одна?

— Как есть одна.

— А где ж твой цыган?

— Ушел на деревню кур воровать.

— Нет, серьезно?

— Ушел, ушел, правда. Давай деньги, пойдем за кибитку.

— Почему же ты не пришла?

— Боялась. Знала, что сам придешь. Давай деньги, пойдем скорей, получишь свое удовольствие...

В темноте за кибиткой, спрятав бумажку за пазуху, схватила его ледяную руку и таинственно зашептала:

— Пощупай, пощупай. А завтра приходи опять, принеси еще бумажку, тогда совсем дело сделаем... Нет, нет, сейчас нельзя! Пусти, а то на все поле закричу! Цыган услышит, он тут в ваших овсах лошадь кормит!

16.10.44

В КАНАВУ

Сед, лохмат, зол.

— И пожалуйста, без всяких китайских церемоний! Околею — тотчас же в яму, в канаву!

Что это, как не упоение своим воображаемым унижением, мечтой, что люди будут поражены твоим позором?

И так все, всегда:

— Паду на баррикадах за счастье народа!

Это значит: испытаю мгновение высшего опьянения своей ролью и людского восторга передо мною.

— Брошусь из окна с шестого этажа!

Чаще всего это тоже жажда поразить людей, заставить их хоть на минуту забыть весь мир ради меня.

— Побегу и первый крикну о пожаре, о смерти вашей жены, матери — принесу вообще какой-нибудь страшный слух, какую-нибудь ужасную весть!

Опять упоение, наслаждение: ведь это от меня первого узнали люди новость, это я стал предметом общего внимания, вестником события!

Более сладострастного создания, чем человек, нет на земле.

12.XII.44

AU SECOURS!

Мелкий осенний парижский дождь поздним вечером, тесная толпа под черными блестящими зонтиками возле входа в метро, в свете фонаря, пестром от дождя; за толпой резкий крик женщины, от кого-то отбивающейся:

— Gaston, Gaston! Ne me quitte pas, Gaston! Je t'en supplie, Gaston! Je t'en supplie... Ah! Mais voyons, monsieur, vous êtes fou! Laissez-moi! Mais lâcher-moi, voyons! Vous allez me faire mal, espece de brute! Je vais manquer le train si vous ne me laissez pas! Lâchez-moi, donc! Ah! Ma tête éclate! Allez-vous-en! C'est notre affaire, à nous! C'est toi que j'ai blessé, Gaston, ma vie, mon amour! Vous n'avez pas le droit de me tirer comme ca! Vous êtes tous les brutes! S-ales brutes que vous êtes! Mais non, mais non! Je suis forte, je suis trés forte! Au secou-ours!**

Толпа стоит молча, неподвижно, лица спокойны, бесстрастны. Потом от толпы отделяется один, другой, третий, — все расходятся в разные стороны, дождь усиливается...

18.4.44

---

* На помощь!

** Гастон, Гастон! Не уходи, Гастон! Я тебя умоляю, Гастон! Я тебя умоляю... А-а! Да что вы, господин, вы с ума сошли! Оставьте меня! Да отпустите же меня, ну! Вы мне делаете больно, грубиян! Я опоздаю на поезд, если вы не оставите меня! Отпустите! Да отпустите же меня, наконец! А-а! У меня голова раскалывается. Убирайтесь, это наше дело! Это я тебя ударила, Гастон, жизнь моя, любовь моя! Вы не имеете права тащить меня так! Все вы животные! Грязные животные! Ах, нет, нет! Я же сильная, я очень сильная! На помо-ощь!

ИСТОРИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ДОКУМЕНТЫ

Многих читателей в последнее время увлекла отечественная история как стародавних времен, так и недавнего прошлого. Романы и повести о государственных деятелях и первопроходцах, о революционерах и ученых стали чрезвычайно популярны. И все же художественное произведение — это выдумка более или менее добросовестного сочинителя, который зачастую навязывает нам свое понимание истории.

Для изучения же пути, каким через ошибки и героические поступки человечество пытается идти к нравственному совершенству, необходимо знание мемуарной литературы. Воспоминания, дневники, письма нужны нам не столько даже для накопления исторических фактов, сколько для постижения этих фактов, для возможности судить о прошлом не с современной точки зрения, когда мы уже знаем последствия того или иного события и, исходя из своего мировоззрения, судим о нем, а с точки зрения очевидца, человека, жившего страстями и понятиями своего века.

«Какое поле — эта новейшая русская история! — писал незадолго до гибели Пушкин. — И как подумаешь, что оно вовсе еще не обработано и что кроме нас, русских, никто того не может и предпринять! — Но история долга, жизнь коротка, а пуще всего человеческая природа ленива (русская природа в особенности)».

Горький упрек гения своим соотечественникам был в конце концов услышан, в частности, со второй половины XIX века в России один за другим стали появляться журналы, в которых постоянно публиковались воспоминания, дневники, письма достопамятных людей: «Русский архив», «Русская старина», «Исторический вестник», «Былое», «Голос минувшего», «Каторга и ссылка», «Красная летопись», «Красный архив»... Но вот наступили тридцатые годы нашего столетия, историческая наука стала служанкой, мнения, противоречившие взгляду Отца народов на прошлое, стали не только не нужны, но и вредны. Прекратили свое существование последние из вышеперечисленных журналов, вскоре они превратились в библиографическую редкость, и сейчас даже центральные библиотеки не имеют полных комплектов. Все больше пыли стало скапливаться на бесчисленных рукописях, хранящихся в государственных и частных архивах, на блистательных документах, недоступных широкому читателю.

В последние годы положение наконец стало меняться в лучшую сторону. В литературно-художественных ежемесячниках мемуары заняли видное место, вышли в свет первые номера журнала «Наше наследие»; большую популярность приобрели альманахи «Прометей», «Встречи с прошлым», «Московский летописец»; ведущие издательства страны стали регулярно публиковать лучшие документальные произведения прошлого.

Свою роль в возрождении изданий русской мемуаристики призван сыграть и сборник «Записки очевидца», первый выпуск которого будет осуществлен издательством «Современник» уже в этом году.

Долгие годы нас учили, что все мы — миллионы непохожих друг на друга людей — обязаны одинаково смотреть на те или иные события, не размышлять над ними, а зубрить скучный «официозный» учебник. Ныне же все больше и больше людей желают самостоятельно доискиваться истины. Знакомство с воспоминаниями, дневниками, письмами, составляющими сборник «Записки очевидца», помогут читателю найти свой взгляд на историю, выстроить собственное миропонимание, из первых рук получить сведения о том, что же думали о происходивших событиях современники.

В первый выпуск «Записок очевидца» вошли мемуарные произведения, имеющие большую историческую или художественную ценность. Среди них дневник 1796 года тульского писателя и естествоиспытателя Андрея Болотова «Памятник претекших времян, или Краткие исторические записки о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах». Первая часть дневника посвящена последним месяцам царствования Екатерины II, вторая — первым дням правления ее сына Павла I.

Интересны и письма 1812 года выпускницы Смольного института, московской великосветской барышни Марии Волковой к петербургской подруге Варваре Ланской. Это замечательное произведение эпистолярного жанра наглядно представляет, как большая народная беда переродила беззаботную болтушку в патриота и гуманиста. Письма Волковой были в руках Льва Толстого, когда он задумал роман «Война и мир».

Важным документальным источником для истории русской деревни являются «Записки русского крестьянина» Ивана Столярова, в которых автор запечатлел типичные картины сельской жизни Воронежской губернии конца XIX — начала XX века, рассказал о природе, традициях, народных праздниках родного края, о занятиях крестьян землепашеством и гончарным ремеслом, о торговле, сборе недоимок, своей учебе.

Завершают первый выпуск «Записок очевидца» письма к Луначарскому Владимира Короленко и воспоминания «Себя не потерять...» Евгения Гнедина. Публикации этих документальных свидетельств двух мужественных патриотов в журнале «Новый мир» вызвали широкий читательский интерес.

Все шесть вошедших в сборник произведений написаны не из притязания на известность, а вследствие внутренней потребности оставить память о событиях, значительных и важных как для автора, так и для всей страны.

Публикуемые ниже дневниковые записи последнего российского императора Николая II (1868—1918) за время с 16 декабря 1916 года по 30 июня 1918 года — роковые для русского самодержавия дни — при всем своем лаконизме дают представление о времяпрепровождении царской семьи в последние полтора года жизни, показывают отношение отрекшегося от престола монарха к революции и народу, являются важным первоисточником для изучения событий первых десятилетий XX века.

Михаил ВОСТРЫШЕВ,
редактор издательства «Современник»,
составитель сборника «Записки очевидца»

ОТ РЕДАКЦИИ: Николай II вел дневник ежедневно (ведение дневника было принято у царствующих Романовых), в отличие от других в последние годы не пропуская ни дня. Мы же выбрали только записи, которые падают на те дни, когда рушилась монархия, свершались революции, решалась новая судьба Отечества. И невольно трагически содрогаешься, узнавая, как смиренно и безвольно жил монарх, погруженный в собственные житейские заботы и утешения. Все это представляет исторический и нравственный интерес.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Царская семья. 1914 г. (?)

ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II

1916 ГОД

16-го декабря. Пятница.

Утром было 7° мороза и яркое солнце, впрочем, скоро спрятавшееся.

Завтрвквло трое новых англичан, француз и трое румын. Прогулка была по дороге на Оршу — Алексей играл в своем арх[иерейском] лесу. Прошел 6 верст. Обедал ген.-ад. Эверт. Вечером читал и писал мамá.

17-го декабря. Суббота.

Доклад был совсем короткии.

Завтракали все три главноком[андующие]. Прогулку сделали туда же в арх[иерейский] лес. Вернулись домой в $4^{1}/_{2}$. После чая в штабе происходило совещание по военным вопросам до обеда и затем от 9 ч. до $12^{1}/_{2}$ ч.

18-го декабря. Воскресенье.

Утром было 14° мороза. После обедни пошел к докладу Лукомского, нового ген.-квартирмейстера, а затем на заседание главнокоманд[ующих]. После завтрака оно продолжалось еше полтора часа. В $3^{1}/_{2}$ поехали вдвоем в поезд. Через час у е х а л и н а с е в е р. День был солнечный при 17° мороза. В вагоне все время читал.

19-го декабря. Понедельник.

Хорошо выспался. Мороз стоял крепкий. Все время в вагоне читал. Прибыли в Ц а р с к о е С е л о в 6 ч. Дорогая Аликс с дочерьми встретила и вместе поехали домой. После обеда принял Протопопова.

20-го декабря. Вторник.

День простоял ясный и морозный — 14°. Утром принял англ[ийского] полк[овника] Burn — адъютанта Georgie, кор[оля] англ[ийского], и затем Шуваева. Погулял перед завтраком и днем с детьми. В 4 ч. принял сен[атора] Добровольского, кот[орый] назначается упр[авляющим] мин[истерства] юстиции. В 6 час. принял Трепова.

После обеда вечер провели вместе.

21-го декабря. Среда.

В 9 час. поехали всей семьей мимо здания фотографий и направо к полю, где присутствовали при грустной картине: гроб с телом незабвенного Григория, убитого в ночь на 17-е дек[абря] извергами в доме Ф. Юсупова, кот[орый] стоял уже опущенным в могилу. О. Ал[ександр] Васильев отслужил литию, после чего мы вернулись домой. Погода была серая при 12° мороза. Погулял до докладов. Принял Шаховского и Игнатьева.

Днем сделал прогулку с детьми. В $4^{1}/_{2}$ принял нашего Велепольского, а в 6 ч. Григоровича. Читал.

1917 ГОД

1-го января. Воскресенье.

День простоял серенький, тихий и теплый. В $10^{1}/_{2}$ ч. поехал с дочерьми к обедне. После завтрака сделал прогулку вокруг парка. Алексей встал и тоже был на воздухе. Около 3 ч. приехал Миша, с кот[орым] отправился в Большой дворец на прием министров, свиты, начальников частей и дипломатов. Все это кончилось в 5.10. Был в пластунской черкеске. После чая занимался и отвечал на телеграммы. Вечером читал вслух.

2-го января. Понедельник.

Мороз снова усилился. Погулял недолго. Принял Григоровича, Риттиха и нового управл[яющего] мин[истерством] путей сообщения Войновского-Кригера. Обошел весь парк с дочерьми. В 6 ч. у меня был Протопопов, затем Танеев. Занимался вечером после прощания с Алексеем.

21-го февраля. Вторник.

Погулял полчаса. Погода былв холодная и ветреная, шел сиег. Принял Беляева, Покровского, Щегловитова, полк. Доброжанского и Крейтона, нового командира л.-гв. 1-го Стрелко[вого] полка. Завтракала Елена Петровна. Посидел наверху у Ольги и Алексея, кот[орому] лучше. Погулял с Татьяной. В 4 ч. принял Танеева, в 6 час. Стаховича и в 9.45 Протопопова. Обедали Аня и Петровский (деж.).

22-го февраля. Среда.

Читал, укладывался и принял: Мамантова, Кульчицкого и Добровольского. Миша завтракал. Простился со всем милым своим [семейством?] и поехал с Аликс к Знамению, а затем на станцию. В 2 часа у е х а л на ставку. День стоял солиечный, морозный. Читал, скучал и отдыхал; не выходил из-за кашля.

В тексте сохранены орфография и пунктуация оригинала, а также некоторые сокращения слов. Слова, пропущенные в подлиннике, и части дописанных слов взяты в прямые скобки. Подчеркнутое в тексте набрано разрядкой.

23-го февраля. Четверг.

Проснулся в Смоленске в $9^{1}/_{2}$ час. Было холодно, ясно и ветрено. Читал все свободное время франц[узскую книгу] о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Приехал в М о г и л е в в 3 ч. Был встречен ген. Алексеевым и штабом. Провел час времени с ним. Пусто показалось в доме без Алексея. Обедал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай.

24-го февраля. Пятница.

В $10^{1}/_{2}$ пошел к докладу, который окончился в 12 час. Перед завтраком [?] принес мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная — мятель. Погулял недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру.

25-го февраля. Суббота.

Встал поздно. Доклад продолжался полтора часа. В $1^{1}/_{2}$ заехал а монастырь и приложился к иконе божией матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В 6 ч. пошел ко всенощной. Весь вечер занимался.

26-го февраля. Воскресенье.

В 10 час. пошел к обедне. Доклад кончился во-время. Завтракало много народа и все наличные иностранцы. Написал Аликс и поехал по Бобр[уйскому] шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сен. Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино.

27-го февраля. Понедельник.

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Дием сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Ц[арское] С[ело] поскорее и в час ночи перебрался в поезд.

28-го февраля. Вторник.

Лег спать в $3^{1}/_{4}$, т. к. долго говорил с Н. И. Ивановым, кот[орого] посылаю а Петроград с войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилева в 5 час. утра. Погода была морозная, солнечная. Дием проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.

1-го марта. Среда.

Ночью повернули с М. Вишеры назад, т. к. Любань и Тосно оказались занятыми восставшими. Поехвли на Валдай, Дио и П с к о в, где остановился на ночь. Видел Рузского. Ои, Данилов и Саввич обедали. Гатчина и Луга тоже оказвлись занятыми. Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам господь!

2-го марта. Четверг.

Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, т. к. с ним борется соц[иал]-дем[ократическая] партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение, Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К $2^{1}/_{2}$ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с кот[орыми] я переговорил и передал им подписанный и переделаный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.

Кругом измена и трусость и обман!

3-го марта. Пятница.

Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в М о г и л е в. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В $9^{1}/_{2}$ перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог зиает, кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше.

4-го марта. Суббота.

Спал хорошо. В 10 ч. пришел добрый Алек. Затем пошел к докладу. К 12 час. поехал на платформу встретить дорогую мамá, прибывшую из Киева. Повез ее к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали. Сегодня, иаконец, получил две телеграммы от дорогой Аликс. Погулял. Погода была отвратительная — холод и мятель. После чая принял Алексеева и Фредерикса. К 8 час. поехал к обеду к мамá и просидел с нею до 11 ч.

5-го марта. Воскресенье.

Ночью сильно дуло. День был ясный, морозный. В 10 ч. поехал к обедне, мамá приехала позже. Она завтракала и оставалась у меня до $3^{1}/_{4}$. Погулял в садике. После чая принял Н. И. Иванова, вернувшегося из командировки. Он побывал в Царском Селе и видел Аликс. Простился с бедным гр. Фредерикс и Воейковым, присутствие которых почему-то раздражвет всех здесь; они уехали в его имение [в] Пензен[ской] губ[ернии]. В 8 час. поехал к мамá к обеду.

6-го марта. Понедельник.

Утром был очень обрадован, получив два письма от дорогой Аликс и два письма от Марии. Их привезла жена кап. Головкина л.-гв. Финляндского полка. Погулял в садике. Мамá приехала к завтраку. Посидели вместе до 3 ч. Гулял; опять началась мятель. После чая принял Villiams. К 8 ч. поехал к мамá в поезд.

7-го мартв. Вторник.

Получил еще два письма от дорогой Аликс, привезенные двумя офицерами конвоя. В 11 час. принял Williams, Janin, Ryckel; все так тепло и участливо относятся. Завтраквла мамá, просидел с нею до $2^{1}/_{2}$. Принял Coanda, Romei, Marcengo и Лонткевича. Погулял около часа. Погода была мягкая, но целый день шел снег. После чая начал укладывать вещи. Обедал с мамá и поиграл с ней в безик.

8-го марта. Среда.

Последний день в Могилеве. В $10^{1}/_{4}$ ч. подписал прощальный приказ по армиям. В $10^{1}/_{2}$ ч. пошел в дом дежурства, где простился со [sic!] всеми чинами штаба и управлений. Дома прощался с офицерами и казаками конвоя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось! В 12 час. приехал к мамá в вагои, позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть с ней до $4^{1}/_{2}$ час. Простился с ней, Сандро, Сергеем, Борисом и Алеком. Бедного Нилова не пустили со мною. В 4.45 уехал из Могилева, трогательная толпа людей провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем поезде!

Поехал на Оршу и Витебск.

Погода морозная и ветренная.

Тяжело, больно и тоскливо.

9-го марта. Четверг.

Скоро и благополучно прибыл в Ц а р с к о е С е л о — в $11^{1}/_{2}$. Но, боже, какая разница, на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики! Пошел иаверх и там увидел душку Аликс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у кот[орой] корь недавно началась. Завтракали и обедали в игральной у Алексея. Видел доброго Бенкендорфа. Погулял с Валей Долг[оруковым] и поработал с ним в садике, т. к. дальше выходить нельзя! После чая раскладывал вещи. Вечером обошли всех жильцов на той стороне и застали всех вместе.

10-го марта. Пятница.

Спали хорошо. Несмотря на условия, в которых мы теперь находимся, мысль, что мы все в м е с т е, радует и утешает. Утром принял Бенкендорфа, затем просматривал, приводил в порядок и жег бумаги. Сидел с детьми до $2^{1}/_{2}$ час. Погулял с Валей Долг[оруковым] в сопровождении тех же двух прапорщиков, они сегодня были любезнее. Хорошо поработали в саду. Погода стояла солнечная. Вечер провели вместе.

11-го марта. Суббота.

Утром принял Бенкендорфа, узиал от него, что мы останемся здесь довольно долго. Это приятное сознание. Продолжал сжигать письма и бумаги. У Анастасии заболели уши, — то же, что было с остальными. От 3 ч. до $4^{1}/_{2}$ ч. гулял в саду с Валей Д[олгоруковым] и работал в саду. Погода была иеприятная, с ветром, при 2° мороза. В 6.45 пошли ко всенощной в походную церкоаь. Алексей принял первую ванну. Зашли к Ане и Лили Д[ен] и затем к остальным.

12-го марта. Воскресенье.

Началась оттепель. Утром были Бенкендорф и Апраксин; последний покидает Аликс и простился с нами. В 11 час. пошли к обедне. Алексей встал сегодня. Ольге и Татьяне гораздо лучше, а Марии и Анастасии хуже, головная и ушная боль и рвота. Погулял и поработал в саду с Валей Д[олгоруковым]. После чая продолжал приводить бумаги в порядок. Вечером обошли жильцов дома.

21-го марта. Вторник.

Сегодия днем внезапно приехал Керенский, ныиещний мин[истр] юстиции, прошел чрез все комнаты, пожелал нас видеть, поговорил со мною минут пять, представил нового коменданта дворца и затем вышел. Он приказал арестовать бедную Аню и увезти ее в город вместе с Лили Ден. Это случилось между 3 и 4 час., пока я гулял. Погода была отвратительная и соответствовала нашему настроению! — Мария и Анастасия спали почти целый день. После обеда спокойно провели вечер вчетвером с О[льгой] и Т[атьяной].

22-го марта. Среда.

Ночью была буря, и выпала огромная масса снега. День простоял солнечный и тихий. Ольга и Татьяна вышли в первый раз на воздух и посидели на круглом балконе, пока я гулял. После завтрака долго работал. Младшие много спали и чувствовали себя хорошо. Все время провели вместе.

23-го марта. Четверг.

Ясный день после 2 час. и оттепель. Утром погулял недолго. Разбирался в своих вещах и в книгах и начал откладывать все то, что хочу взять с собой, если придется уезжать в Англию. После завтрака погулял с Ольгой и Татьяной и поработал в саду. Вечер провели, как всегда.

24-го марта. Пятница.

Хороший тихий день. Утром погулял. Днем Мария и Анастасия были перевезены в игральную комнату. Успешно поработал с Валей Д[олгоруковым]; теперь почти все дорожки вычищены. В $6^{1}/_{2}$ пошел ко всенощной с О[льгой] и Т[атьяной]. Вечером читал вслух Чехова.

25-го марта. Благовещение.

В небывалых условиях провели этот праздник — арестованные в своем доме и без малейшей возможности сообщаться с мамá и со своими! В 11 час. пошел к обедне с О[льгой] и Т[атьяной]... После завтрака гулял и работал с иими на островке. Погода была серая. В $6^{1}/_{2}$ были у всеношной и вериулись с вербами. Анастасия встала и ходила наверху по комнатам.

26-го марта. Вербное воскресенье.

Целый день простоял туман. Гулял и работал на острове. Татьяна только выходила. Прибирал книги и вещи. Вечером зашли к жильцам той стороны.

27-го марта. Понедельник.

Начали говеть, но, для начала, не к радости началось это говение. После обедни прибыл Керенский и просил ограничить наши встречи временем еды и с детьми сидеть раздельно; будто бы ему это нужно для того, чтобы держать в спокойствии знаменитый Совет Рабочих и Солдатских Депутатов! Пришлось подчиниться, во избежание какого-нибудь насилия.

Погулял с Татьяной. Ольга опять слегла, т. к. у нее заболело горло. Остальные себя чувствуют хорошо. В 9.45 спустился к себе, Татьяна посидела со мною до $10^{1}/_{2}$ ч. Затем почитал, выпил чаю, принял ванну и лег спать на своей тахте!

4 апреля. Вторник.

Дивный весенний день — 12° в тени. Утром погулял почти час. Днем продолжали ломать лед, и толпа попрежнему смотрела из-за решетки с улицы. Начал читать «Историю Византийской империи» Успенского, очень интересная книга. Вечер провел, как последние.

5-го апреля. Среда.

Ночью шел дождь, отчего весь снег почти исчез. День простоял серый и прохладный. Спал плохо и встал поздно. Утром погулял. Днем поработал с Алексеем и его штатом на обоих местах. Смотрело на нас немного народу. Воды было очень много, она переливалась через каменные плиты. До обеда читал свою книгу, а вечером Татьяне вслух.

6-го апреля. Четверг.

Стало совсем холодно, погода простояла серая. Гулял одновременно с Алексеем, а днем колол лед в шлюзе под мостом и затем у ручейка, при этом неизвестно почему иас всюду сопровождало 6 стрелков кроме офицера!

Вечер провел по обыкновению.

7-го апреля. Пятница.

Погода поправилась и потеплелв. Долго гулял утром, т. к. было хорошо. Днем с Татьяной и Алексеем на работе. Лица солдат и их развязная выправка произвели на всех отвратительное впечатление. Много читал. С $10^{1}/_{4}$ веч[ера] у себя внизу.

8-го апреля. Суббота.

Тихо справляли 23-ю годовщину нашей помолвки!

Погода простояла весенняя и теплая. Утром долго гулял с Алексеем. Узнали, почему вчерашний караул был такой пакостный: он был весь из состава солдатских депутатов. Зато его сменил хороший караул от запас[ного] бат[альона] 4-го стрелкового полка. Работали у пристани из-за толпы и наслаждались теплым солнцем. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной с Т[атьяной], Ан[астасией] и Ал[ексеем]. Вечер провели попрежнему.

9-го апреля. Воскресенье.

Чудный весенний день. Погулял утром полчаса. Ходили к обедне. От 2 час. до $4^{1}/_{2}$ ч. работали и ломали лед между двумя мостами против средины дома. Читал много после чая. К вечеру собрались тучи, было очень тепло; у Аликс вынули зимние рамы.

30-го апреля. Воскресенье.

Отличная погода. Погулял до обедни. В 2 часа все мы вышли в сад и много наших людей, желающих поработать. Все с большим усердием и даже с радостью принялись за копание земли и незаметно проработали до 5 ч. Погода была насладительная. Читал до и после обеда.

1-го мая. Понедельник.

Чудный теплый день. Утром хорошо погулял. От 12 час. был урок географии с Алексеем. Днем опять работали над нашим огородом. Солнце здорово пекло, но работа успешно подвигается. Читал до обеда и вечером вслух.

Вчера узнали об уходе ген. Корнилова с должности главнокоманд[ующего] Петрогр[адским] воен[ным] окр[угом], а сегодня вечером об отставке Гучкова, все по той же причине безответственного вмешательства в распоряжения военною властью (sic!)

Сов[ета] Рабоч[их] Депутатов и еще каких-то организаций гораздо левее.

Что готовит провидение бедной России? Да будет воля божья над нами!

2-го мая. Вторник.

Серый теплый день. Погулял. Окончил чтение книги Кассо «Россия на Дунае» и начал многотомное сочинение Куропаткина «Задачи русской армии». Днем работали на огороде, около половины сделано. Под конец пошел дождичек. Вечер провели по обыкновению.

3-го мая. Среда.

У Алексея болела рука, и он пролежал целый день. С утра до вечера лил дождь, очень полезный для появляющейся растительности. Недолго погулял утром и днем — с Марией и Анастасией. Много читал. Вечером окончил англ[ийскую] книгу вслух.

4-го мая. Четверг.

Погода стояла ясная, но прохладная. Рука у Алексея не болела, занятий не было, т. к. он остался лежать. После утренней прогулки читал много. Днем все вышли в сад, опять происходила общая работа по огороду. Вечером начал читать вслух «Le mystere de la chambre jaunce».

5-го мая. Пятница.

После утренней прогулки занимался с Алексеем историей. Рука его прошла, и он встал после завтрака. Продолжали работу в саду; Аликс вышла на час. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. До обеда получил подарки. Читал дочерям вслух.

6-го мая. Суббота.

Мне минуло 49 лет. Недалеко и до полсотни! Мысли особенно стремились к дорогой мамá. Тяжело не быть в состоянии даже переписываться. Ничего не знаю о ней кроме глупых или противных статей в газетах. День прошел по воскресному: обедня, завтрак наверху, puzzle! Дружная работа на огороде, начали копать грядки, после чая всенощная, обед и вечернее чтение — гораздо больше с милой семьей, чем в обычные года.

19-го мая. Пятница.

Утром было много туч, но к 11 час. вышло солнце, и погода сделалась ясная и сразу теплая. После прогулки занимался с Алекс[еем] историей. Днем усердно копал с другими грядки, которых у нас всего теперь 65. Караул от 2-го стр. полка был опять распущенный и офицеры неважные! До обеда поездили на велосипедах.

20-го мая. Суббота.

Идеальный жаркий день, но без духоты. Погулял час с четвертью утром с Алексеем. Днем работал с другими на огороде и отдыхал, катаясь в байдарке. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Аромат из сада был удивительный, когда сидишь у окна.

Вчера начал читать вслух «Le fauteuil hante».

21-го мая. Троицын день.

Чудесная погода без единого облачка на небе. Погулял с Алексеем до 10 час. В $10^{1}/_{2}$ началась обедня и затем была вечерня, кот[орая] окончилась в $12^{1}/_{4}$. Днем находились в саду три часа. Перепиливал поваленное в саду дерево на дрова, катался в байдарке и на велосипеде. Читал до $7^{1}/_{2}$ и немного погулял с дочерьми до обеда.

22-го мая. Духов день.

Теплый серый день. Пошел гулять до 11 час. с Ольгой, Анастасией и Алексеем. Завтракали в 12 ч. Днем провели три часа в саду, на острове и на пруде. Под конец начался дождь, кот[орый] продолжался до 8 час. Аромат в окна влезал удивительный.

Сегодня годовщина начала насупления армий юго-западного фронта! Какое тогда было настроение и какое теперь!

23-го мая. Вторник.

Тоже серый день; только к вечеру показалось солнце. Днем спилил с моими людьми три сухих дерева — березу на острове и две больших ели подальше в парке. Перед обедом покатался на велосип[еде] с дочерьми. Вечер был чудный.

24-го мая. Среда.

Теплый день с проходящими дождями. Утром гулял с Алексеем. До завтрака занимался с ним историей. Распиливали на части одну из вчерашних елей. Вернулись домой пораньше из-за дождя. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Перед обедом Аликс получила наши скромные подарки.

25-го мая. Четверг.

День рождения моей дорогой Аликс. Да ниспошлет ей господь здоровье и душевное спокойствие!

Перед обедней все жильцы дома принесли свои поздравления. Завтракали наверху по обыкновению. Днем Аликс вышла с нами в сад. Рубил и пилил в парке. В $7^{1}/_{2}$ покатался с дочерьми на велосип[еде]. Погода была хорошая. Вечером начал читать вслух «Le comte de Monte-Christo».

26-го мая. Пятница.

Как раз приехавши к часу прогулки новый главноком[андующий] Петр[оградским] военным округом ген. Половцев задержал выход Алексея и мой в сад на 20 мин. Погода была чудная. В $3^{1}/_{4}$ все мы отправились на прогулку; спилили еще два дерева с короедом. Покатался в байдарке, а вечером на велосипеде.

27-го мая. Суббота.

Забыл упомянуть вчера, что после нашего обеда Коровиченко попросил зайти, чтобы проститься, и привел с собой своего преемника — комендаита Ц[арско]-С[ельского] гарнизона полк. Кобылинского. Никто из нас не жалеет об его уходе, и, напротив, все рады назначению второго. День простоял чудный. Утром погулял дальше в парк, искал еще сухих деревьев. Днем много рубил и пилил. Катался в шлюпке с детьми. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Вечером читал вслух.

3-го июня. Суббота.

После утреннего чая неожиданно приехал Керенский на моторе из города. Остался у меня недолго: попросил послать следственной комиссии какие-либо бумаги или письма, имеющие отношение до внутренней политики. После прогулки и до завтрака помогал Коровиченко в разборе этих бумаг. Днем он продолжал это вместе с Кобылинским. Допиливал стволы деревьев первого места. В это время произошел peché с винтовкой Алексея; он играл с ней на острове; стрелки, гулявшие в саду, увидели ее и попросили офицера взять ее и унесли в караул[ьное] помещение. Потом, оказалось, ее отослали почему-то в ратушу!

Хороши офицеры, кот[орые] не осмелились отказать ниж[ним] чинам!

Были у всеношной. Вечер — по обыкновению.

4-го июня. Воскресенье.

Дивный жаркий день с ветром. До обедни погулял с дочерьми. В первый раз заступил в караул 3-й стрелк. зап. баталион. Разница огромная с прочими. Днем допиливали недоконченные уже сваленные деревья. Покатался в байдарке. До обеда обычная прогулочка.

5-го июня. Понедельник.

Сегодня милой Анастасии минуло 16 лет. Погулял со всеми детьми до 12 час. Пошли к молебну. Днем спилили две большие ели на скрещивании трех дорог около арсенала. Жара была колоссальная, солнце красноватое, а воздухе пахло гарью — вероятно, от горящего где-нибудь торфа. Покатался немного в шлюпке. Вечером погуляли до 8 час. Начал 3-й том «Le comte de Monte-Christo»

10-го июня. Суббота.

Ночью и днем до 3 час. жара и духота продолжалась. Утром сделал большую прогулку. Завтракали, как вчера, в детской столовой. Днем работали на том же месте. В стороне прошла гроза, было несколько капель дождя. К счастью, сделалось прохладнее. В $6^{1}/_{2}$ пошли ко всенощной. Вечером около 11 ч. раздался выстрел в саду, через $^{1}/_{4}$ часа кар[аульный] нач[альник] попросил войти и объяснил, что часовой выстрелил, т. к. ему показалось, что из окна дет[ской] спальни производят сигнализацию красною лампою. Осмотрев расположение электр[ического] света и увидя движения Анастасией своей головой, сидя у окна, один из вошедших с ним унт.-оф[церов] догадался, в чем дело, и они, извинившись, удалились.

11-го июня. Воскресенье.

Вчера Теретятникоа сменился, вместо него прибыл Чемодуров. Утром погулял с детьми. В 11 ч. пошли к обедне. День стоял прохладный сравнительно — 17° в тени. Пилить и рубить было совсем легко. Обработали еще две сухие ели. Покатался в байдарке, пока Алексей купался в пруду. До обеда сделали обычную прогулку.

12-го июня. Понедельник.

После приятной прохладной ночи день наступил жаркий. Утром хорошо погулял с Валей. Занимался географией с Алексеем. Днем копали большую грядку на нашем огороде, после чего отдыхал в байдарке. Во время обеда прошла гроза с освежительным ливнем.

25-го июня. Воскресенье.

Утром вышел с Алексеем. Погода была прохладная. Были у обедни. Пошли гулять в 2 часа. Несколько кратких дождей не промочили нас. Срубили и распилили одну ель. Смотрели, как наши люди косили траву. Посидели на огороде и вернулись домой в свое время. Читал много до обеда.

26-го июня. Понедельник.

День стоял великолепный. Наш хороший комендант полк. Кобылинский попросил меня не давать руки офицерам при посторонних и не здороваться со стрелками. До этого было несколько случаев, что они не отвечали. Занимался с Алексеем географией. Спилили громадную ель недалеко от решетки за оранжереями. Стрелки сами пожелали помочь нам в работе. Вечером окончил чтение «Le comte de Monte-Christo».

5-го июля. Среда.

Все утро шел дождь, а к 2 часам погода поправилась; к вечеру стало прохладнее. День провели, как всегда. В Петрограде эти дни происходили беспорядки со стрельбою. Из Кронштадта вчера прибыло туда много солдат и матросов, чтобы итти против Временного Прав[ительст]ва! Неразбериха полная. А где те люди, которые могли бы взять это движение в руки и прекратить раздоры и кровопролитие? Семя всего зла в самом Петрограде, а не во всей России.

6-го июля. Четверг.

К счастью, подавляющее количество войск в Петрограде осталось верно своему долгу, и порядок снова восстановлен на улицах.

Погода была чудная. Сделал хорошую прогулку с Татьяной и Валей. Днем успешно поработали в лесу — срубили и распилили четыре ели. Вечером начал: «Tartarin de Tarascon».

7-го июля. Пятница.

Гулял утром с Марией, Валей и целым конвоем от караула 3-го стрелк. полка. Накрапывал дождь. К 2 час. погода поправилась, но было душно. Работали там же, только вдоль маленькой дорожки. Вечером клеил фотографии из жизни «под арестом» в свой альбом.

8-го июля. Суббота.

Хороший жаркий день. Обошел парк с Татьяной и Марией. Днем работали в тех же местах. И вчера и сегодня караулы были исправны в несении службы и отсутствием шатания по саду во время нашей прогулки — от 4-го стр. и 1-го стр. полков. В составе правит[ельства] совершились перемены; кн. Львов ушел и председателем Сов[ета] Мин[истров] будет Керенский, оставаясь вместе с тем военным и морским мин[истром] и взяв в управление еще мин[истерство] торг[овли] и пром[ышленности].

Этот человек положительно на своем месте в нынешнюю минуту; чем больше у него будет власти, тем будет лучше.

9-го июля. Воскресенье.

Солнечный день с прохладным ветром. Погулял до обедни. Вышли в 2 часа. Работали в двух местах, под конец на вчерашнем месте срубили три ели; сложили дрова на просеке. Вечером Алексей показывал свой кинематограф. Окончил вслух: «Tartarin de Tarascon».

10-го июля. Понедельник.

Погода была полуясная, приятная, без жары. Сделал утреннюю прогулку по всему парку. Днем срубили четыре сухие ели там же и разделали все на дрова. Вернулись домой ровно в 5 час. Читал много. Перед обедом Ольга получила подарки. Вечером начал вслух: «Tartarin sur Les Alpes».

11-го июля. Вторник.

Утром погулял с Алексеем. По возвращении к себе узнал о приезде Керенского. В разговоре он упомянул о вероятном отъезде нашем на юг, ввиду близости Ц. Села к неспокойной столице.

По случаю именин Ольги пошли к молебну. После завтрака хорошо поработали там же; срубили две ели — подходим к седьмому десятку распиленных деревьев. Кончил читать 3-ю часть трилогии Мережковского «Петр»; хорошо написано, но производит тяжелое впечатление.

12-го июля. Среда.

День был ветреный и холодный — 10° только. Погулял со всеми дочерьми. Днем работали там же. Распилили четыре дерева. Все мы думали и говорили о предстоящей поездке; странным кажется отъезд отсюда после 4-месячного затворничества!

13-го июля. Четверг.

За последние дни нехорошие сведения идут с юго-западного фронта. После нашего наступления у Галича многие части, насквозь зараженные подлым пораженческим учением, не только отказались итти вперед, но в некоторых местах отошли в тыл даже не под давлением противника. Пользуясь этим благоприятным для себя обстоятельством, германцы и австрийцы даже небольшими силами произвели прорыв в южной Галиции, что может заставить весь юго-запад[ный] фронт отойти на восток.

Просто позор и отчаяние! Сегодня наконец объявление Врем[енным] Правит[ельство]м, что на театре воен[ных] действий вводится смертная казнь против лиц, изобличенных в государ[ственной] измене. Лишь бы принятие этой меры не явилось запоздалым.

День простоял серый, теплый. Работали там же по сторонам просеки. Срубили три и распилили два поваленных дерева. Потихоньку начинаю прибирать вещи и книги.

19-го июля. Среда.

Три года тому назад Германия объявила нам войну; кажется, целая жизнь пережита за эти три года! Господи, помоги и спаси Россию!

Было очень жарко. Погулял с Т[атьяной], М[арией] и А[настасией]. Опять целый конвой от караула 3-го стр. полка. Работали на том же месте. Свалили четыре дерева и окончили поваленные вчера ели. Теперь читаю роман Мережковского: «Александр I».

20-го июля. Четверг.

Ночью шел живительный дождь. Утро было туманное. Во время прогулки зашел с дочерьми и Валей в арсенал, где смотрели нижний этаж, т. к. верхний оказался заперт. После завтрака прошел короткий дождь. Работали там же; распилили две вчерашние толстые ели.

Все мы истекали потом.

Дочери получили в первый раз письмо от Ольги из Крыма.

21-го июля. Пятница.

Идеальный день простоял с утра; а также чудная лунная ночь. Утром почему-то поджидал Керенского, хочется, наконец знать, куда и когда мы отправимся? Совершили обычную прогулку от 11 ч. до 12 ч. Опять работали там же и окончили четыре лежавшие дерева. После чая окончил 1-й том «Александра I».

Перед обедом Мария получила подарки.

24-го июля. Понедельник.

День простоял прохладный и серый. Утром обычная прогулка. Во время завтрака был дождь. Вышли в $2^{1}/_{2}$ без него. Спилили четыре ели рядом со вчерашним местом. Кроме прежних помогали тоже Тетерятников и Волков. После обеда начал вслух «The poison belt» Conan Doyle.

25-го июля. Вторник.

Новое Временное Прав[ительств]во образовано с Керенским во главе. Увидим, пойдет ли у него дело лучше? Первейшая задача заключается в укреплении дисциплины в армии и поднятии ее духа, а также в приведении внутреннего положения России в какой-нибудь порядок!

Погода была очень теплая.

Работали там же; срубили четыре ели и распилили столько же.

Окончил чтение «Александра I» Мережков[ского]. Последние караулы были хороши, благодаря присылке с фронта по 300 человек от каждого стрелкового полка и ухода из запасных батальонов многих маршевых рот.

26-го июля. Среда.

Опять настала поразительно жаркая погода. Вследствие духоты Аликс не выходила, в комнатах значительно свежее. Распилили и раскололи все поваленные и срубленные ели там же. Потели ужвсно.

27-го июля. Четверг.

Такая же дивная погода, но не душная. Хорошо погуляли утром. Днем работали у маленькой дорожки и распилили три дерева. Читаю книгу «Морская идея в русской земле» ст. лейт. Квашнина-Самарина.

28-го июля. Пятница.

Чудесный день; погуляли с удовольствием. После завтрака узнали от гр. Бенкендорфа, что нас отправляют не в Крым, а в один из дальних губернских городов в трех или четырех днях пути на восток! Но куда именно, не говорят, — даже комендант не знает. А мы-то все так рассчитывали на долгое пребывание в Ливадии! — Срубили и свалили огромную ель на просеке у дорожки. Прошел короткий теплый дождь.

Вечером читаю вслух.

31-го июля. Понедельник.

Последний день нашего пребывания в Царском Селе. Погода стояла чудная. Днем работали на том же месте; срубили три дерева и распилили вчерашние. После обеда ждали назначения часа отъезда, кот[орый] все время откладывался. Неожиданно приехал Керенский и объявил, что Миша скоро явится. Действительно, около $10^{1}/_{2}$ милый Миша вошел в сопровождении Кер[енского] и караульн[ого] нач[альника]. Очень приятно было встретиться, но разговаривать при посторонних было неудобно. Когда он уехал, стрелки из состава караула начали таскать наш багаж в круглую залу. Там же сидели Бенкендорфы, фрейлины, девушки и люди. Мы ходили взад и вперед, ожидая подачи грузовиков. Секрет о нашем отъезде соблюдался до того, что и моторы и поезд были заказаны после назначенного часа отъезда. Извод получился колоссальный! Алексею хотелось спать, — он то ложился, то вставал. Несколько раз происходила фальшивая тревога, надевали пальто, выходили на балкон и снова возвращались в залы. Совсем рассвело. Выпили чаю, и, наконец, в $5^{1}/_{4}$ появился Кер[енский] и сказал, что можно ехать. Сели в наши два мотора и поехали к Александ[ровской] станции. Вошли в поезд у переезда. Какая-то кавалер[ийская] часть скакала за нами от самого парка. У подъезда встретили И. Татищев и двое комиссаров от прав[ительст]ва для сопровождения нас до Тобольска. Красив был восход солнца, при кот[ором] мы тронулись в путь на Петроград и по соедин[ительной] ветке вышли на Северн[ую] ж.-д. линию. Покинули Ц[арское] С[ело] в 6.10 утра.

1-го августа.

Поместились всей семьей в хорошем спальном вагоне межд[унар]одного] о[бщест]ва. Залег в 7.45 и поспал до 9.15 час. Было очень душно и пыльно — в вагоне 26° Р. Гуляли днем с нашими стрелками, собирали цветы и ягоды. Едим в ресторане. кормит очень вкусно кухня Вост.-Китайской ж. д.

2-го августа.

Гуляли до Вятки, та же погода и пыль. На всех станциях должны были по просьбе коменданта завешивать окна; глупо и скучно!

3-го августа.

Проехали Пермь в 4 ч. и гуляли за г. Кунгуром вдоль реки Сылве [sic!] по очень красивой долине.

4-го августа.

Перевалив Урал, почувствовали значительную прохладу. Екатеринбург проехали рано утром. Все эти дни часто нагонял нас второй эшелон со стрелками — встречались, как со старыми знакомыми. Тащились невероятно медленно, чтобы прибыть в Тюмень поздно — в $11^{1}/_{2}$ час. Там поезд подошел почти к пристани, так что пришлось только спуститься на пароход. Наш называется «Русь». Началась перегрузка вещей, продолжавшаяся всю ночь. Бедный Алексей опять лег бог знает когда! Стукотня и грохот длились всю ночь и очень помешали заснуть мне. Отошли от Тюмени около 6 час.

5-го августа.

Плавание по р. Туре. Спал мало. У Аликс, Алексея и у меня по одной каюте без удобств, все дочери вместе в пятиместной, свита рядом в коридоре; дальше к носу хорошая столовая и маленькая каюта с пианино. II класс под нами, а все стрелки 1-го полка, бывшие с нами в поезде, сзади внизу. Целый день ходили наверху, наслаждаясь воздухом. Погода была серая, но тихая и теплая. Впереди идет пароход мин. пут. сообщ., а сзади другой пароход со стрелками 2-го и 4-го стр. полков и с остальным багажом. Останавливались два раза для нагрузки дровами. К ночи стало холодно. Здесь на пароходе наша кухня. Все залегли рано.

6-го августа.

Плавание по Тоболу. Встал поздно, так как спал плохо вследствие шума вообще, свистков, остановок и пр. Ночью вышли из Туры в Тобол. Река шире, и берега выше. Утро было свежее, а днем стало совсем тепло, когда солнце показалось. Забыл упомянуть, что вчера перед обедом проходили мимо села Покровского — родина Григория. — Целый день ходили и сидели на палубе. В $6^{1}/_{2}$ час. пришли в Тобольск, хотя увидели его за час с $^{1}/_{4}$.

На берегу стояло много народу, — значит, знали о нашем прибытии. Вспомнил вид на собор и дома на горе. Как только пароход пристал, начали выгружать наш багаж. Валя, комиссар и комендант отправились осматривать дома, назначенные для нас и свиты. По возвращении первого узнали, что помещения пустые, без всякой мебели, грязны и переезжать в них нельзя. Поэтому на пароходе и стали ожидать обратного привоза необходимого багажа для спанья.

Поужинали, пошутили насчет удивительной неспособности людей устраивать даже помещение и легли спать рано.

7-го августа. Понедельник.

Спал отлично; проснулся с дождем и холодом. Решили оставаться на пароходе. Проходили шквалы, к часу погода прояснилась. Толпа продолжала стоять на шлюпочной пристани, ноги в воде, и убегала под крышу только тогда, когда шел дождь. В обоих домах идут спешные работы по очистке и приведению комнвт в пристойный вид. Всем нам, также и стрелкам, хотелось пойти куда-нибудь подальше по реке. Завтракали в час, обедали в 8 час., кухня уже готовит в доме, и еду нам приносят оттуда. Весь вечер ходил с детьми вокруг наших кают. Погода была холодная из-за N. W. ветра.

8-го августа. Вторник.

Спал отлично и встал в $9^{1}/_{4}$. Утро было ясное, позже поднялся тот же ветер, и опять налетало несколько шквалов. После завтрака пошли вверх по р. Иртышу верст за 10. Пристали к правому берегу и вышли погулять. Прошли кустами и, перейдя через ручеек, поднялись на высокий берег, откуда открывался красивый вид. Пароход подошел к нам, и мы пошли обратно в Тобольск. Подошли в 6 час. к другой пристани. До обеда принял ванну, впервые после 31 июля. Благодаря ей спал чудесно.

9-го августа. Среда.

Простояла теплая отличная погода. Утро, как всегда, свита провела в городе. У Марии была лихорадка, у Алексея болела немного левая рука.

До завтрака пробыл все время наверху, наслаждался солнцем. В $2^{1}/_{2}$ наш пароход перешел нв другую сторону и стал грузиться углем, а мы пошли гулять. Джоя укусила змея.

Ходить было прямо жарко. Пришли на пароход в $4^{1}/_{2}$ и вернулись на старое место. Жители катались в лодках и проезжали мимо нас. Стрелки с нашего конвоира «Кормилец» переехали на жительство в свои городские помещения.

10-го августа. Четверг.

Проснулся со скверной погодой — дождь и ветер. Мария пролежалв с жаром, у Алексея, кроме руки, заболело ухо!

День был скучнейший, без прогулки и дела. К 5 час. погода разъяснилась.

11-го августа. Пятница.

Алексей спал мало, он перебрался на ночь к Аликс. Ухо у него поправилось, рука побаливала, Марии лучше. День простоял тихий. Все утро ходили наверху. Днем пошли вверх по р. Тоболу. Высадились на левый берег, ушли по дороге, а вернулись вдоль реки с разными затруднениями веселого свойства. В 6 час. пришли в Тобольск и с сильным треском подошли к парох. «Товарпар», обломав об него обшивку борта. Днем была настоящая жара.

12-го августа. Суббота.

Тоже отличный день без солнца, но очень теплый. Утром ходил по палубе и читал там же до самого завтрака. Мария и Алексей встали и днем были на воздухе. В 3 часа спустились по Иртышу и пристали к подножью высокого берега, куда давно хотелось попасть. Немедленно влезли туда со стрелками и затем долго сидели на лысой сопке с чудным видом.

Вернулись в Тобольск во время чая.

13-го августа. Воскресенье.

Встали пораньше, и последние вещи были немедленно уложены. В $10^{1}/_{2}$ я с детьми сошел с комендантом и офицерами на берег и пошел к нашему новому жилищу. Осмотрели весь дом снизу до чердаков. Заняли второй этаж, столовая внизу. В 12 час. был отслужен молебен, и священник окропил все комнаты св. водой. Завтракали и обедали с нашими. Пошли осматривать дом, в кот[ором] помещается свита. Многие комнаты еще не отделаны и имеют непривлекательный вид. Затем пошли в так называемый садик, скверный огород, осмотрели кухню и караульное помещение. Все имеет старый заброшенный вид. Разложил свои вещи в кабинете и в уборной, которая наполовину моя, наполовину Алексея. Вечер провели вместе, поиграл в безик с Настенькой.

14-го августа. Понедельник.

После вчерашней грозы до обеда, сегодня погода была холодная и дождливая, с сильным ветром. Целый день разбирал фотографии из плавания 1890/1891 г. Взял их нарочно с собою, чтобы на досуге привести в порядок. Простились с Макароаым — комиссаром, уезжающим в Москву. Погулял в садике, дети качались на новых качелях. Вечер провели со всеми.

15-го августа. Вторник.

Так как нас не выпускают на улицу, и попасть в церковь мы пока не можем, в 11 час. в зале была отслужена обедница. После завтрака провели в саду почти два часа, Аликс тоже. Погода была теплая, и около 5 час. вышло солнце: посидели на балконе до $6^{1}/_{2}$ час. Продолжал и кончил разбор фотографий дальнего плавания.

16-го августа. Среда.

Отличный теплый день. Теперь каждое утро я пью чай со всеми детьми. Провели час времени в так называемом садике и большую часть дня на балконе, кот[орый] весь день согревается солнцем. До чая провозились в садике, два часа на качелях и с костром.

17-го августа. Четверг.

Дивный день — в тени было 19°, а на балконе 36°. У Алексея болелв рука. Провели утром час в саду, днем два часа. Вчера начал читать «L'ile enchantée». Вечером грали в домино: Аликс, Татьяна, Боткин и я Во время чая прошла сильная гроза. Ночь была лунная.

18-го августа. Пятница.

Утро было серое и холодное, около часа вышло солнце, и день настал отличный. Алексей встал. Утром на улице появилась Рита Хитрово, приехавшая из Петрограда, и побывала у Настеньки Гендр[иковой]. Этого было достаточно, чтобы вечером у нее произвели обыск. Черт знает что такое!

19-го августа. Суббота.

Вследствие вчерашнего происшествия Настенька лишена права прогулок по улицам в течение нескольких дней, а бедная Рита Хитрово должна была выехать обратно с вечерним пароходом. Погода стояла чудная с горячим солнцем. Утром высидели в саду час, а днем два часа. Устроил себе там висячий турник. Начал книгу: «The scarlet Pimpernel».

20-го августа. Воскресенье.

Идеальная погода, днем темп. дошла до 21° в тени. В 11 час. в зале была отслужена обедница. В саду нашел себе работу, срубил сухую сосну. После чая, как все эти дни, читал с дочерьми на балконе под палящими лучами солнца. Вечер был теплый и лунный.

21-го августа. Понедельник.

С наслаждением жарились на солнце целый день на балконе или в саду. Днем срубил сухую березу и наколол из нее дрова. Во время чая прошла гроза и немного освежила воздух. Начал читать «В лесах» Печерского.

22-го августа. Вторник.

Такой же дивный день. Досада берет, что в такую погоду нельзя делать прогулок по берегам реки или в лесу! Читали на балконе, провели три часа в саду и вечером по обыкновению играли в кости.

23-го августа. Среда.

Сегодня два года, что я приехал в Могилев. Много воды утекло с тех пор!

День простоял превосходный — 23° в тени и прошел как и прежние в Тобольске. Перекапывал с Кирпичниковым парниковую землю в садике. Прошел теплый ливень.

1-го сентября. Пятница.

Прибыл новый комиссар от Врем[енного] Прав[ительства] Панкратов и поселился в свитском доме с помощником своим каким-то растрепанным прапорщиком. На вид — рабочий или бедный учитель. Он будет цензором нашей переписки. — День стоял холодный и дождливый.

2-го сентября. Суббота.

Погода была ясная и теплая. Начали гулять в огороженном дворе перед домом; все-таки лучше чем в сыром садике, так как тут солнце светит целый день. Лазил с детьми на крышу оранжерей. Вечером читал вслух «Девятый вал» Данилевского.

3-го сентября. Воскресенье.

Дивный теплый день. В 11 час. была обедница. Гуляли и утром и днем. Вчера кончил «В лесах» и начал «На горах». Хорошо написано.

4-го сентября. Понедельник.

Великолепный летний день. Много были на воздухе. Последние дни принесли большую неприятность в смысле отсутствия канализации. Нижний WC заливался мерзостями из верхних WC, поэтому пришлось прекратить посещение сих мест и воздерживаться от ванн; все от того, что выгребные ямы малы и что никто не желал их чистить. Заставил Е. С. Боткина привлечь на это внимание комиссара Панкрат[ова], кот[орый] пришел в некий ужас от здешних порядков.

5-го сентября. Вторник.

Телеграммы приходят сюда два раза в день; многие составлены так неясно, что верить им трудно. Видно, в Петрограде неразбериха большая, опять перемены в составе прав[ительства]. Повидимому, из предприятия ген. Корнилова ничего не вышло, он сам и примкнувшие генералы и офицеры большею частью арестованы, а части войск, шедшие на Петроград, отправляются обратно.

Погода стояла чудная, жаркая.

6-го сентября. Среда.

Такой же день и провели его так же. Выкопал в садике прудок для уток. Дочери играли в bumble puppy.

7-го сентября. Четверг.

Утро было облачное и ветреное, позже погода поправилась. Много были на воздухе; наполнял пруд для уток и пилил дрова для нашей ванны.

22-го сентября. Пятница.

Утром опять лежало много снега, погода была серая, к вечеру все сошло. Гуляли два раза по обыкновению. На-днях прибыл наш добрый бар. Боде с грузом дополнительных предметоа для хозяйства и некоторых наших вещей из Ц[арского] Села.

23-го сентября. Суббота.

Между этими вещами было три-четыре ящика с винами, о чем проведали солдаты здешней дружины, а вот днем из-за этого загорелся сыр-бор. Они стали требовать уничтожения всех бутылок в Корниловском доме. После долгого увещевания со стороны комиссара и др. было решено все вино отвезти и вылить в Иртыш. Отъезд телеги с ящиками вина, на кот[орых] сидел пом[ощник] ком[иссара] с топором в руках и с целым конвоем вооруженных стрелков сзади, — мы видели из окон перед чаем. Утром шел дождь, после часа разъяснилось, и настала отличная погода при 11° в тени.

24-го сентября. Воскресенье.

Вследствие вчерашней истории нас в церковь не пустили, опасаясь чьей-то возбужденности. Обедницу отслужили у нас дома. День стоял превосходный — 11° в тени с теплым ветром. Долго гуляли, поиграл с Ольгой в городки и пилил. Вечером начал читать вслух «Запечатленный ангел».

25-го сентября. Понедельник.

Дивная тихая погода — 14° в тени. Во время нашей прогулки комендант, поганый помощник комиссара, прапорщ. Никольский и трое комитетских стрелка осматривали помещения нашего дома с целью отыскать вино.

Не найдя ничего, они вышли через полчаса и удалились. После чая начали переносить к нам вещи, прибывшие из Ц[арского] Села.

26-го сентября. Вторник.

Такой же великолепный день без единого облачка. Долго гулял утром и читал на балконе до завтрака. Днем пилил и играл в городки. После чая разбирали вновь привезенные ковры и украсили ими наши комнаты. Окончил роман Лескова «Некуда».

27-го сентября. Среда.

Погода была превосходная, в тени 14°. Начал читать «Ramuntcho» P. Loti.

28-го сентября. Четверг.

С начала недели у детей пошли по утрам занятия; продолжаю уроки истории и географии с Алексеем. Погода та же восхитительная. Много были на воздухе.

29-го сентября. Пятница.

На-днях Е. С. Боткин получил от Керенского бумагу, из которой мы узнали, что прогулки за городом нам разрешены. На вопрос Боткина, когда они могут начаться, Панкратов поганец ответил, что теперь о них не может быть речи из-за какой-то непонятной боязни за нашу безопасность. Все были этим ответом до крайности возмущены. Погода стала прохладнее. Окончил «Ramuntcho».

30-го сентября. Суббота.

День простоял солнечный, хороший. Утром гуляли час, а днем два с половиною часа; играл в городки и пилил. Начал читать пятый том Лескова — длинные рассказы. В 9 час. у нас была отслужена всенощная. Вечером уехал б[арон] Боде.

17-го октября. Вторник.

29 лет прошло со дня нашего спасения при крушении поезда; кроме меня, никого здесь нет из бывших при этом! Начал VIII том Лескова. С Алексеем занимаюсь теперь только русской историей, передав рус[скую] географ[ию] Кл. Мих. Битнер. Узнали о приезде Кострицкого из Крыма.

18-го октября. Среда.

Наконец, показалось солнце, день был хороший, таяло. Пилил дрова. Вечером читал вслух «Женитьбу» Гоголя.

19-го октября. Четверг.

Было тепло, перепадал мокрый снег. Перед завтраком посидел внизу у Кострицкого. Усиленно читал. Вечером начал вслух «Дракула».

20-го октября. Пятница.

Сегодня уже 23-я годовщина кончины дорогого папá и вот при каких обстоятельствах приходится ее переживать! Боже, как тяжело за бедную Россию! Вечером до обеда была отслужена заупокойная всенощная.

21-го октября. Суббота.

Утром видели из окон похоронную процессию с телом стрелка 4-го полка; впереди шел и скверно играл небольшой хор гимназистов. В 11 час. у нас была отслужена обедница. До чая сидел у Кострицкого. В 9 час. была всенощная, и затем мы исповедались у о. Алексея. Легли спать рано.

23-го октября. Понедельник.

Утро было ясное с оттепелью.

Начал 9-й том Лескова.

Сегодня 27-я годовщина моего отъезда в заграничное плввание.

24-го октября. Вторник.

Простоял чудный солнечный день. Были много на воздухе. До чая имел урок истории с Алексеем.

25-го октября. Среда.

Тоже отличный день с легким морозом. Утром показывали Кострицкому все наши комнаты. Днем пилил.

26-го октября. Четверг.

От 10 до 11 час. утра сидел у Кострицкого. Вечером простился с ним. Он уезжает в Крым. День простоял чудный, на солнце 11°. Долго пилил.

27-го октября. Пятница.

Великолепный солнечный день.

Днем помогал трем стрелкам копать ямы для постановки столбов под новый навес для дров, даже вспотел. Написал мамá.

28-го октября. Суббота.

Все та же отличная погода: 4° мороза ночью и до 10° тепла днем. Много гуляли и долго пилил дрова. За всенощной пели любительницы и 4 стрелка хорошо, но тянули.

29-го октября. Воскресенье.

Встали в 7 час. с полной темнотой и в 8 ч. пошли к обедне. После вторичного чая погуляли. Погода мягкая, серая. Написал Ольге. Начал X т[ом] Лескова. Сегодня производили сбор пожертвований вещами на улицах в пользу армий на фронте.

30-го октября. Понедельник.

День прошел по обыкновению. Погода была теплая. Вечером окончил вслух чтение «Дракула» по-русски.

31-го октября. Вторник.

Та же мягкая погода с оттепелью днем. В $4^{1}/_{2}$ был урок истории с Алексеем. Вечером начал читать вслух «Морские рассказы» Беломора.

1-го ноября. Среда.

Ночью выпало много снега, но днем он почти стаял. Укладывали дрова в новый сарайчик — грязная работа. Начал книгу «I will repay» — продолжение «The scarlet Pimpernel».

Продолжение следует.

Таинства Книги

КОНКУРС ЖУРНАЛА «СЛОВО»

Все, кто ценит Книгу, разыскивает и собирает книжные редкости, знает занимательные истории из жизни Книги и людей, причастных к ее созданию и сохранению, кто не обходит стороной лавки букинистов, любит «порыться» в старых изданиях и ведет поиск в архивах, НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА »СЛОВО» могут рассказать о своих поисках и находках, поразмышлять о проблемах, связанных с активным и постоянным взаимодействием Книги и читателя, сбережением книжной старины; опубликовать любопытные материалы из архивов деятелей культуры; напомнить о примечательных, но малоизвестных или забытых фактах истории книжного дела, книги. Приглашаем наших читателей участвовать в конкурсе: «БИБЛИОФИЛ, БУКИНИСТ, АРХИВАРИУС». Наиболее интересные материалы будут напечатаны, а лучшие из них — премированы. Итоги конкурса мы подведем в середине 1990 года.

Предлагаем читателям первый материал конкурса, подготовленный к публикации библиофилом из Ленинграда В. Кондрияненко.

О великом футуристе Велимире Хлебникове знают многие. Читали же его стихи и поэмы, драмы и «сверхповести», статьи, декларации, заметки, конечно же, далеко не все. И не только потому, что познавать Хлебникова тяжелая работа. Большинству читателей поэт малодоступен в первую очередь по совсем другой причине — издавался у нас в стране редко, неполно, ограниченными тиражами.

О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмейся надсмеяльно, — смех усмейных смехачей,
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!

Эти строки были впервые напечатаны в 1910 году в альманахе «Студия». Именно о них сказал Корней Чуковский: «И ведь действительно прелесть. Как щедра и чарующе-сладостна наша славянская речь! Иной, прочитав эти строки, станет допытываться, какое же в них содержание, что же они, в сущности, значат. А что, по-вашему, значит изумрудно-золотой узор на изумительном павлиньем хвосте? Или журчанье лесного ручья?»

А вот другое суждение о поэзии Хлебникова: его поэтическое творчество не может быть понято вне его же «числовых» теорий. Среди примечаний к одному из наиболее полных современных отечественных изданий произведений поэта («Творения», М., 1986) читаем следующее: «Философия времени, проблема числа, поиски математического определения «закономерностей» в истории и биологии постоянно занимали мысль Хлебникова. Некоторые его идеи о «жизненных ритмах» нашли подтверждение в современной науке хронобиологии».

В статье «Математическое понимание истории. Гамма будетлянина» Хлебников писал: «Перелистаем страницы прошлого. Мы увидим, что законы Наполеона вышли в свет через 317,4 после законов Юстиниана — 533 год. То две империи, Германская — 1871 год, и Римская — 31 год, основаны через 317, 6 одна после другой. Борьба за господство на море острова суши Англии и Германии в 1915 году за 317,2 до себя имела великую войну Китая и Японии при Хубилай-хане в 1281 году. Русско-японская война 1905 года была через 317 лет после Англо-испанской войны 1588 года. Великое переселение народов в 376 году за 317,11 до себя имело переселение индусских народов в 3111 году (эра Кали-юга). Итак, 317 лет — не призрак, выдуманный больным воображением, и не бред, но такая же весомость, как год, сутки земли, сутки солнца».

Разнообразны и удивительны те закономерности (а может быть, все-таки совпадения?), которые во многих статьях вычислял Хлебников. Начала крупнейших государств, оказывается, кратны 413 годам, рождения великих людей с одинаковой судьбой имеют период в 365 лет, и так далее, и тому подобное...

Допускал ли Хлебников математические и хронологические неточности? Наверное, ведь даты и имена он проверял лишь в анналах своей памяти, а расчеты делал только на бумаге. Думается, что вряд ли продуктивно «ловить» поэта на фактических погрешностях. Гораздо важнее понять и почувствовать его логику, ценности, веру.

В 1920 году в журнале «Военмор» была напечатана работа Велимира Хлебникова «В мире цифр». С тех пор в нашей стране она не переиздавалась.

ВЕЛИМИР ХЛЕБНИКОВ

В МИРЕ ЦИФР

Мы все знаем, как наши бабушки и прабабушки увлекались «звериным числом» — 666, придавая ему особенный таинственный смысл. Это не странно. Научные загадки так часто окружены сиянием «потустороннего» мира. Позднее разум разрушает налет чертовщины и находит холодные законы.

Таких чисел, пожалуй, найдется не одно... Таковы числа 48, 317, 1053, 768, 243.

Судьба таких чисел напоминает распространенную игру взрослых — сношения с загробным миром, эти блюдечки, выстукивающие пророчество, эти удары невидимых крыл пролетающих духов, неземное пение и т. д.

Вероятно, такая же судьба ждет и эти числа. Кто бы, например, подумал, что многочисленные правительства, к которым так применимы слова Пушкина:

Сколько их! Куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят?
Ведьму ль замуж выдают? —

правительство Львова, Скоропадского и т. д., возникали правильной рябью по волнам времени через 48 дней.

Их уравнение, называя через X день открытия правительства, а через K исходную точку, следующее:

$$X = K + 48n$$

Возьмем исходной точкой 27 августа 1917 года, когда образовалось «Государственное Совещание» и всходила звезда Корнилова. Пусть этот день, написанный очень белым цветом, будет K. Тогда через 48 дней, при n=1, будет 14 октября 1917 года — образование «Временного Совета», с Керенским во главе. Сделав n=3 получим 19 января 1918 года — заседание Учредительного собрания; n=4 дает 8 марта — правительство князя Львова; n=5 дает 26 апреля 1918 года — возникновение правительства Скоропадского; n=7 получим 18 сентября 1918 года — правительство Авксентьева.

Эти белые правительства точно игрушечные кораблики, спускаемые на волны, возникали и тонули через 48 дней.

Лучше всего их судьбу передает следующая таблица: Значение n День открытия X = K + 48 n дней K=27 авг. 1917 г. Название правительств

n=о 27 августа 1917 Государственное совещание в Москве (Корнилов)
n=I 14 октября 1917 Времен. Совет России (Керенский)
n=3 19 января 1918 Учредит. Собрание
n=4 8 марта 1918 Сибирское правительство князя Львова
n=5 26 апреля 1918 Правительство Скоропадского в Киеве
n=7 16 сентября 1918 Государственное совещание Авксентьева в Уфе

Так эти имена, похожие на докучливую стаю ворон, соединяются одним управлением.

Вообще 48 дней очень часто соединяются подобные события: так, например, шествие Гапона 22 января 1905 года и 19—22 декабря 1905 года — вооруженное восстание в Москве отделены 48 днями.

Теперь возьмем числа 768 и 1053.

Это настоящие два маленьких «чорта», выступающие всюду, где нужно соединить два последовательных звена одной и той же цепи. Чистые законы времени одинаковы для всех вещей, совсем так же, как законы пространства одни и те же и для треугольника 3 точек на черепе человека, покоящемся на ладони ученого, исследующего его.

Возьмите смерти царей, применив к ним эти числа. Если число 48 помогло составить «уравнение» белых правительств, то число 768=48×16 участвует в «уравнении» смерти отошедших в вечность царей.

«Скорбный лист царей» в виде уравнения имеет следующий вид: $X = 769 \times 5n + 1052\ k$

Если n=I, k=I, X=4897 дней =769×5+1052 или числу дней между 16 июля 1918 года (смерть Николая II) и 17 февраля 1905 года (убийство Сергея Александровича).

Если n=3, K=2, X=13639=769×15+1052×2, т. е. времени между 13 марта 1881 года (убийство Александра II) и 16 июля 1918 года (убийство Николая II). Таким образом, в уравнении X (день смерти) =769×5n+1052k при k=n=0 имеем день смерти Александра II, при n=2, k=1 получаем день взрыва Каляевым Сергея Александровича, при n=3, k=2 день расстрела Николая II.

Эти правильности указывают на закономерность происходящих событий. Изучив его до конца, мы сможем делать съемку отдаленных точек времени как в прошлом, так и в будущем.

Изучая «горы будущего», мы будем поступать совершенно так же, как землемер, смерив угол и длину тени, измеряет высоту гор, на которых никогда не бывал.

Но вот те же числа, как связи времен между повторными точками народных восстаний.

I. 31 марта 1871 года — начало Парижской Коммуны. Через 768×22 — 16 июля 1917 года — вооруженное выступление рабочих в Петрограде.

II. 29 мая 1871 года — разрушение колонны, как знак отречения от власти над другими народами. Через 1053×16 — 16 июля 1917 года — вооруженное выступление в Петрограде.

III. 7 марта 1848 года — начало Парижской Коммуны. Через 1053×20 — 3 ноября 1905 года — Красный Петроград.

IV. 29 апреля 1848 года — манифестация безработных с требованием права на труд. Через 1053×8 — 10 апреля 1871 года — провозглашение Парижской Коммуны.

V. Убийство Сипягина (14 апреля 1902 года), бывшее одним из толчков свободного движения, произошло за 1053 дня до указа о созыве народных представителей — 3 марта 1905 года.

VI. Китайская республика (13 февраля 1912 года) возникла за 1054×2 до провозглашения Украинской республики 22 ноября 1917 года и падения военной ставки.

Таким образом, эти числа довольно часто встречаются как меры расстояний во времени, и, может быть, когда-нибудь любознательный ум даст им отвлеченное объяснение.

Но эти уравнения удивительно «уравнивают» все и всех перед лицом какого-то отвлеченного закона.

Что же касается до $3^5 - 1 = 242$, то это число пятая степень трех без единицы, весьма часто отделяет начало деятельности от ее конца.

Керенский стал членом правительства 15 марта 1917 года. Вскоре стал его главой. 14 марта 1917 года издан «Приказ № 1».

Через $3^5 - 1$ после 15 марта — бой в Царском Селе, бегство Керенского — 12 ноября 1917 года.

День 7 ноября 1917 года как конец войны был поворотным днем в русско-германских отношениях и торжеством Германии, вершиной германского могущества.

Через $3^5 - 1$ Мирбах, германский посол, был убит. 21 марта Николай II был арестован. Через $2/3^5 - 1$/16 июля он был расстрелян. Здесь тоже было падение с одной ступени на другую, ниже расположенную, хотя оба события равнозначны.

22 ноября начались мирные переговоры с Германией. В то же время Украина, отчасти под давлением Германии, объявила себя независимой.

Через $3^5 - 1$ Эйхорн, этот носитель германского влияния на Украине, был убит. Обстановка, создавшая необходимость появления Скоропадского, как ставленника немецкого влияния, возникла после разгрома Корнилова, сторонника держав Согласия, и под давлением съезда левых эсеров, требовавших войны с Германией (17 апреля). Через $3^5 - 1$ после 16 апреля — день отречения власти и бегство Скоропадского (14 декабря). Он стал не нужен ходу вещей. Корнилов был убит 13 апреля. Через 3^5 после Лондонского совещания союзников (7 августа 1917 года), выдвинувших Корнилова как своего ставленника. Выступление чехословаков 25 мая было наиболее сильным военным вмешательством союзников в дела России. Через 3^5 — 23 января 1919 года приглашение участвовать в мирных переговорах на Принцевых островах, как отказ воздействия грубой силой.

Точно так же мятеж левых эсеров, направленный против Советской власти (7 июля 1918 года), вспыхнул через $3^5 - 1$ после образования правительства В. И. Ленина 9 ноября 1917 года.

Напротив, через $2/3^5 - 1$ / после начала Советской власти (7 ноября 1917 года), был первый Съезд III Интернационала, 6 марта 1919 года торжественное чествование его.

Здесь как бы выступает старое правило отрицание отрицания дает утверждение, даа «нет» дает да».

28 января 1919 года возникло Советское правительство Раковского. За 3^5 до него 30 мая в Киеве разогнан крестьянский съезд.

30 января 1863 года возникновение «Ржонда Народового» в первые дни польского восстания. Через $3^5 - 1$ после него — 19 сентября 1863 года покушение на наместника Польши графа Берга. Этот выстрел был последней заключительной точкой вспыхнувшего 22 января восстания, подавленного русской военной властью.

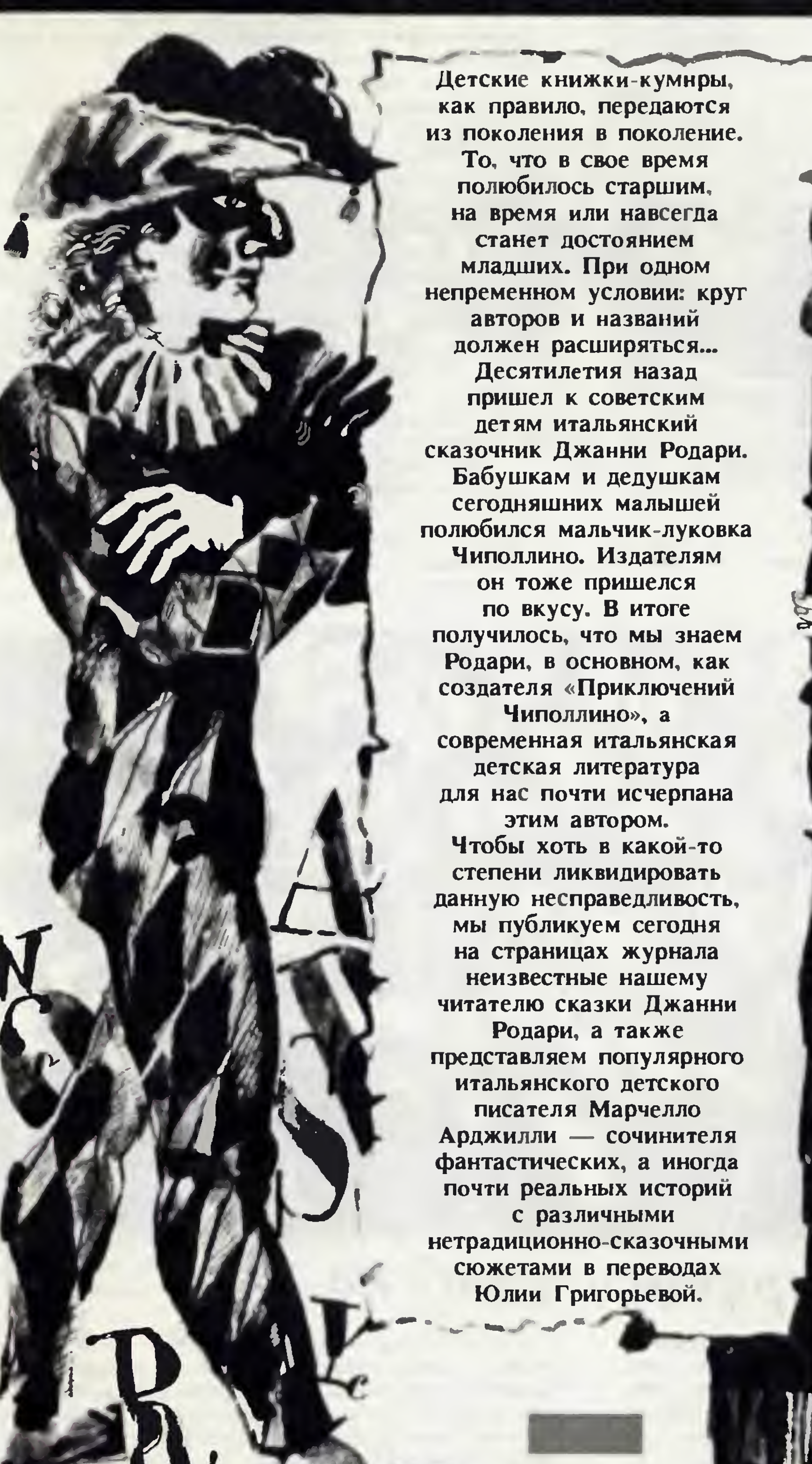
Убийство Мирбаха и мятеж левых эсеров 7 июля был днем высшего раскола среди левых. Через $3^5 - 1$ был созван 2—6 марта 1919 года III коммунистический Интернационал, положивший конец расколу и вернувший освободительному движению единство.

Таким образом, $3^5 - 1 = 242$ дней отчетливо соединяет начало и конец известного пласта времени.

Надеемся, что эти сопоставления, которые пока только будят ум, скоро станут областью исследования.

ПЛАНЕТА

ЭССЕ. КНИГИ. КУМИРЫ.



Детские книжки-кумиры, как правило, передаются из поколения в поколение. То, что в свое время полюбилось старшим, на время или навсегда станет достоянием младших. При одном непременном условии: круг авторов и названий должен расширяться... Десятилетия назад пришел к советским детям итальянский сказочник Джанни Родари. Бабушкам и дедушкам сегодняшних малышей полюбился мальчик-луковка Чиполлино. Издателям он тоже пришелся по вкусу. В итоге получилось, что мы знаем Родари, в основном, как создателя «Приключений Чиполлино», а современная итальянская детская литература для нас почти исчерпана этим автором. Чтобы хоть в какой-то степени ликвидировать данную несправедливость, мы публикуем сегодня на страницах журнала неизвестные нашему читателю сказки Джанни Родари, а также представляем популярного итальянского детского писателя Марчелло Арджилли — сочинителя фантастических, а иногда почти реальных историй с различными нетрадиционно-сказочными сюжетами в переводах Юлии Григорьевой.

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ

ДЖАННИ РОДАРИ

Старые пословицы

В одном городе, о котором я когда-нибудь расскажу и опишу его нравы и обычаи, есть дом. Это тихий дом вдали от центра. В нем — приют для Старых Пословиц, где доживают свои дни на покое именно старые пословицы, которые в свое время были, наверное, молодыми и правильными, а теперь им уже больше никто не верит. На покое, сказал я? Правильней было бы сказать по-другому, поскольку все свое время они проводят в болтовне и пререканиях.

— Ослом родился, ослом и умрешь, — изрекает одна Старая Пословица.

— Ну вот уж, — возражают ей слушатели. — А если будешь учиться, трудиться, упорствовать? Каждый при желании может стать лучше, чем он есть.

— Счастлив тот, кто умеет довольствоваться малым, — встревает другая Пословица.

— Будь это так, — тут же одергивают ее, — люди бы до сих пор жили на деревьях, как обезьяны.

Тут слышится: «Тот, кто делает сам, работает за троих!» На крик приходит доктор (он тоже — Пословица, но — молодая) и поправляет:

— Нет, тот, кто делает сам, работает за одного, а в единении сила.

Какое-то время Пословицы молчат. Потом самая старая начинает снова:

— Хочешь мира, готовься к войне!

На это медсестры заставляют выпить ее отвар ромашки, чтобы она успокоилась, и по-хорошему объясняют, что, если хочешь мира, надо готовиться к миру, а не делать бомбы.

Мимо проходит другая Старая Пословица, она говорит: — В своем доме каждый господин.

— Но тогда, — спрашивают ее, — почему же нужно платить за квартиру, свет, газ? Хорошенькое дело, господин.

Как видите, случается, что между собой Старые Пословицы говорят и разумные вещи... В конце концов, их особенность в том, что все они противоречат друг другу.

— Остатки сладки! — говорит одна, и тут же другая парирует:

— Самое трудное в конце!

Иногда их бывает жаль. Они не замечают, что мир меняется, что старых пословиц уже не хватает, чтобы заставить его идти вперед, что нужны новые, смелые, верящие в свои собственные руки и голову. Такие, как вы.

Вернемся к азбуке

Один служащий, будучи в стесненных обстоятельствах, снял крохотную квартирку. Чтобы поставить телевизор, пришлось избавиться от части своих книг, которые, как он счел, были ему не очень нужны. Потом он купил видеомагнитофон, и ему пришлось убрать еще часть книг.

Остались только те, без которых невозможно обойтись грамотному человеку. Прошло какое-то время, и он купил телекамеру, а чтобы пристроить ее, решил расстаться с последними книгами. Из них он выдрал несколько страниц, что, по его мнению, было более чем достаточно, и все они уместились на маленькой полочке. Теперь он подумывает о том, чтобы обзавестись компьютером с видеоиграми — его он поставит на место полочки. Он обнаружил, что все, что написано на вырванных страницах, составлено всего из 25 букв. Их он себе и оставит, эти 25 букв алфавита.

МАРЧЕЛЛО АРДЖИЛЛИ

Вам это кажется справедливым?

Жил один адвокат, который все время рассказывал странные истории. Вот одна из них:

— Однажды ко мне в приемную приходит черно-белый кот в красном ошейничке и, мяукая, говорит: «Ты меня понимаешь?» Я отвечаю: «Конечно». «Тогда, — говорит мне, — будь моим адвокатом: я хочу возбудить дело против одного автомобилиста, который пытался меня переехать, когда я переходил дорогу; против мальчика, который тянул меня за хвост, и против мясника, который выгнал меня пинками из магазина». Я берусь его защищать и прошу суд о таких мерах наказания: отобрать права у автомобилиста, коту предоставить право оцарапать ребенка и обязать мясника пустить кота в лавку беспрепятственно, а помимо этого, в качестве возмещения морального ущерба, выдавать ежедневно килограмм легких, селезенки и требухи. Наступает день суда. Как только мы входим в зал, судья, увидев черно-белого кота с красным ошейничком, кричит: «Кисанька моя! Наконец-то я тебя нашел!» Берет его на руки, гладит, чмокает, как ребенка. Оказывается, он потерял кота еще котенком и с тех пор так и не мог успокоиться. Тут же следует приговор: автомобилиста — на каторгу, ребенку — отрубить руку, мясника — в ссылку. Потом судья мне говорит: «Я вам буду вечно признателен, г-н адвокат, за то, что благодаря вам я нашел моего обожаемого котика: обещаю вам оправдывать всех ваших клиентов, будь они хоть самые лютые разбойники»...

Этот адвокат жил взаперти в комнате, откуда он никогда не выходил, а истории свои рассказывал человеку, который каждое утро приходил его навещать. Человек внимательно его выслушивал, а потом спрашивал: «Вы верите в то, что рассказываете?» «Конечно», — отвечал адвокат. Выходя из комнаты, человек в белом халате закрывал за собой дверь и говорил: «Он сумасшедший, он продолжает бредить, нельзя его выпускать».

Был еще другой человек. Он жил на роскошной вилле, зарабатывал массу денег, летал на самолете по всему миру, и в разных странах им восхищались. Он тоже рассказывал истории. Например, такие:

— Однажды на Землю прилетел пришелец с другой планеты. По всей видимости, он был плохо информирован, поскольку думал, что растения — это люди, люди — звери, а машины — растения. Поэтому он принял обличье сосны и устроился в чаще леса. Шли годы, а он все ворчал: «Какая скучная жизнь у жителей Земли». Только однажды пришел лесник с топором и начал рубить его. «Скотина, что ты себе позволяешь?» — закричал пришелец. А тот, услышав, что дерево говорит, кинулся к машине и умчался. «Какая странная планета, — подумал пришелец. — Животные не только посягают на людей, но еще и путешествуют на растениях».

Между тем лесник от ужаса заехал в ров, и машина вдребезги разбилась. Пришелец же добрался до машины, выкопал ямку, а в нее посадил колесо, поскольку ему хотелось бы иметь передвигающееся растение. Год и месяц он его поливал, ждал, когда появится новая машина, потом ему надоело. «Какой беспорядок на этой планете, ничего не срабатывает. Я возвращаюсь домой», — сказал он, улетел и больше никогда не возвращался.

Когда кто-нибудь спрашивал у рассказчика, верит ли он в свои истории, тот смеялся: — Не хватало еще, чтобы я в это верил!

Этот человек был знаменитым сочинителем сказок.

Вам кажется справедливым, что человека, который искренне верит в свои фантастические истории, считали сумасшедшим, а лжеца, который придумывает истории, в которые сам не верит, — художником?

Ненасытный Альваро

У Альваро была единственная страсть — учиться. Ребенок, который все время занимается, — большая редкость, и потому его родители были счастливы и всячески поощряли эту его ненасытную жажду знаний.

— Это уникальный мальчик, — говорили они друзьям, — он целыми днями занимается, и даже по праздникам, и во время каникул.

И действительно, когда Альваро бывал дома, он закрывался у себя в комнате и беспрерывно читал.

— Тише, — говорили родители бабушке и дедушке. — Альваро хочет позаниматься историей, не мешайте ему.

Альваро и впрямь с увлечением читал разные истории в иллюстрированных журналах: про индейцев, пиратов, ковбоев. Но занятия не сводились только к чтению. До глубокой ночи не ложился он спать, изучая нравы и обычаи народов мира по телевизору. Он не пропускал ничего, смотрел подряд бразильские телепостановки, японские мультфильмы, английские детективы и даже фантастические фильмы о других планетах.

Если Альваро выходил из дому, а выходил он очень часто и днем, и вечером, то с единственной целью — продолжить занятия...

Субботний вечер он никогда не занимал, это было традиционное время для уроков английского: Альваро отправлялся на концерты послушать живой английский язык. Чтобы закрепить навыки произношения, он просил родителей покупать ему пластинки английских певцов.

В воскресные утренние часы Альваро изучал психологию масс: он шел на стадион, где разделял мнение многих футбольных болельщиков, сопереживая происходящему. Если же случалось, что местная футбольная команда уезжала играть в другой город, Альваро просил у родителей позволить ему дополнительно позаниматься ботаникой и географией и проводил конец недели в горах или за городом.

— А где Альваро? — спрашивали родственники, приехавшие погостить. И родители горделиво отвечали: — Он изучает обитателей морского дна.

Альваро в это время был на море, где занимался подводной рыбной ловлей.

Буквально не было науки, которая бы его не интересовала.

— Папа, — говорил Альваро, — мне нужны деньги, я хотел бы понаблюдать за динамикой движения тел.

Мог ли отец ему отказать? И Альваро шел играть в бильярд.

— Мама, дай мне, пожалуйста, десять тысяч лир: я собираюсь проделать тест на быстроту реакции, — просил Альваро и шел играть в видеоигры.

— Папа, ты мне дашь денег? Я должен заниматься зоологией, меня очень интересует поведение львов, тигров и слонов в неволе. — И Альваро отправлялся в цирк.

— Мама, мне просто необходимо повторить географию России. Мне нужны деньги, и разреши мне уйти из дома.

— Конечно, иди, сынок.

И Альваро шел в Луна-парк кататься с русских горок.

Вряд ли какие-нибудь родители так гордились трудолюбием своего сына, как родители Альваро, поэтому, когда Альваро провалился на экзаменах в школе, они были возмущены и пошли выразить свой протест директору школы.

— Это вопиющая несправедливость! Наш сын занимается по двадцать четыре часа в сутки, он отказывает себе во всех развлечениях ради учебы!

Родители Альваро грозили устроить скандал, но директор был непоколебим.

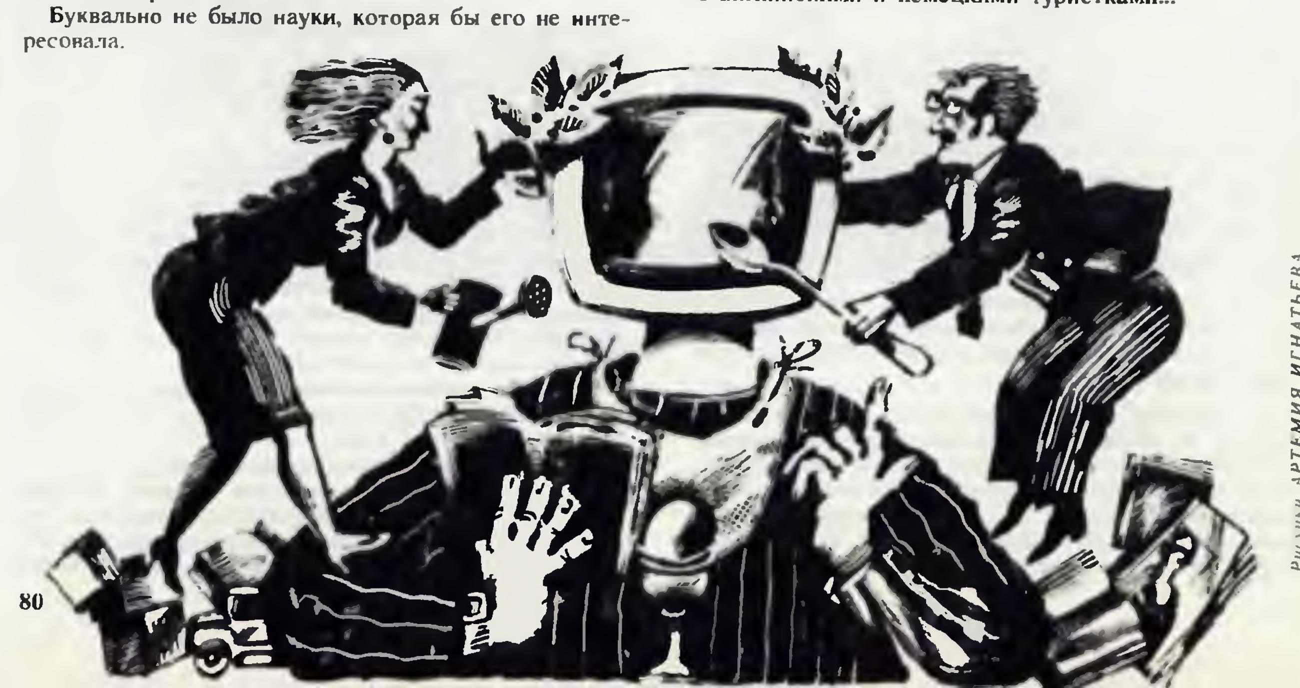
— Учителя неспособны понять тебя, — успокаивали родители Альваро. — Но ты не падай духом, это невежественные старомодные люди.

— Да я совсем не обижаюсь, — отвечал Альваро. — Мне только важно иметь возможность заниматься дальше. И потому я решил отказаться от летнего отдыха и посвятить лето учебе.

— Какой молодец! — восклицали растроганные родители. — Даже несправедливость не сломила тебя. Чем же ты хочешь заняться?

— Я хотел бы попрактиковаться в английском и немецком языках. Вы мне разрешите?

Помимо благословения Альваро получил всю требуемую сумму до последней лиры и отбыл на побережье совершенствовать знания языков в разговорах с английскими и немецкими туристками...



Рисунки АРТЕМИЯ ИГНАТЬЕВА.

Ведут рубрику Павел БОНДАРОВСКИЙ, Александр НАЛОЕВ

Продолжение. Начало в №№ 6—12/1988 и №№ 1—3, 5, 6/1989

Jim Capaldi
Джим Кэпалди

Английский ударник, певец, композитор.
24.VIII.1944.

Профессиональную карьеру начинал в 1963 году в ансамбле «The Hellians», где на гитаре играл Dave Mason (10.V.1947). Вместе они в 1965-м вошли в состав бирмингемской (Birmingham) группы «Deep Feeling», а в марте 1967-го — ансамбля «Traffic», основанного гитаристом, пианистом и певцом Стивом Уинвудом (Steve Winwood, 12.V.1948). Стилистика композиций этого коллектива, синтезировавшего элементы музыки соул, ритм-энд-блюза, психоделического рока, фолк-, джаз- и фанк-рока, оказала в дальнейшем влияние и на собственные работы Джима Кэпалди. В декабре 1968-го, после первого распада группы «Трэффик», Джим образовал с Дэйвом Мэйсоном, Крисом Вудом (Chris Wood, 24.VI.1944 — 12.VII.1983) и Миком Уивером (Mick «Frog» Weaver, экс-«Wynder K. Frog») квартет, выпустивший на фирме «Island Records» альбом «Capaldi, Mason, Wood and Frog». В 1969-м Кэпалди участвовал в записи дебютного сольного диска Мэйсона «Alone Together», а в 1970-м группа «Трэффик» воссоединилась как трио — Кэпалди, Уинвуд и Вуд. Первый сольный альбом Джим выпустил в 1972 году, еще играя в «Трэффик» («Oh How We Danced»). Пластинка заслужила высокие оценки критиков, как и следующая, «Whale Meat Again» (1974). В 1975-м исполненная им песня «Love Hurts» (интерпретация шлягера Роя Орбисона — Roy Orbison) заняла 4-е место в британском хит-параде. Кэпалди включил ее в третий альбом, «Short Cut Draw Blood» (1975). В 1977 году он основал группу «The Contenders», куда вошли Phil Capaldi (вокал), Peter Bonas (гитара), Chris Parren (клавишные), Brent Forbes (бас-гитара), Ray Allen (саксофон) и Trevor Morais (ударные). Записанные с этим коллективом два альбома выдержаны в стилях поп-соул и диско-фьюжн, но отличаются оригинальностью аранжировок. В хит-парад вошла песня «Time Is Running» с диска «Electric Nights» (1979). В 1980-м Джим Кэпалди вернулся к сольной работе и выступлениям с другими группами и исполнителями как сешн-музыкант.

Диски: Oh How We Danced (1972, Island Rec.); Whale Meat Again (1974, Island); Short Cut Draw Blood (1975, Island); The Sweet Smell Of Success (1980);
с группой «Кэнтендерз» —
The Contenders (1978); Electric Nights (1979).

Captain and Tennille
Кэптин энд Теннилл

Американский дуэт. 1972—1984.
Состав: Daryl Dragon (27.VIII.1942) — вокал, клавишные, Toni Tennille (8.V.1943) — вокал, клавишные.

Имя Тони Теннилл стало известным благодаря мюзиклу «Mother Earth» (1970), который она написала в соавторстве с Роном Тронсоном (Ron Thronson). Как пианистка Тони участвовала в постановке мюзикла. На гастролях в Лос-Анджелесе в состав труппы вошел местный сешн-музыкант Дэрил Дрэген, до этого сотрудничавший с группой «The Beach Boys». По окончании гастролей Дрэген вернулся в состав аккомпаниаторов «Бич Бойз», пригласив с собой Тони Теннилл, которая не только играла на фортепьяно, но и пела. Совершив с ансамблем «Бич Бойз» турне по стране, Дэрил и Тони начали выступать как дуэт в ресторане «Smoke House» (город Encino, штат California). Приняв название «Кэптин энд Теннилл», они записали в частной студии города Burbank композицию «The Way I Want To Touch You», выпущенную затем на сингле независимой фирмой «Butterscotch Castle». Тираж пластинки составлял всего 500 экземпляров, но и этого оказалось достаточно, чтобы песня вошла в программы сразу нескольких калифорнийских радиостанций. Творчеством дуэта заинтересовалась фирма «Joyce Records», переиздавшая как дебютный, так и второй сингл молодой супружеской пары — «Disney Girls» (из репертуара «Бич Бойз»). Дебютный альбом, «Love Will Keep Us Together», дуэт записал в 1975 году на фирме «A&M Records». Пластинка составлена из композиций коммерческого поп-рока в манере Нила Седаки (Neil Sedaka). Заглавная песня (авторы — Нил Седака и Howard Greenfield) 21 июня того же года на четыре недели возглавила национальный хит-парад США; 1 июля сингл с ее записью стал «золотым», а в конечном итоге разошелся тиражом свыше 2,5 миллиона экземпляров, заслужив титул лучшего сингла года и премию «Grammy». В 1975—1976 годах еще три сингла дуэта входили в Америке в пятерку лучших: «The Way I Want To Touch You» (29.XI.1975 — № 4), «Lonely Night (Angel Face)» (3.IV.1976 — № 3), «Muscrat Love» (13.XI.1976 — № 5). С 20 сентября 1976-го по 14 марта 1977-го «Кэптин энд Теннилл» выступали в собственной телепрограмме (корпорация «ABC-TV»). В 1979 году дуэт заключил контракт с фирмой грампластинок «Casablanca Records», на которой дебютировал с синглом «Do That To Me One More Time» (автор — Тони Теннилл; 16.II.1980 — № 1). Композиция, как большинство песен дуэта начала 80-х, была выдержана в традициях жанра поп-баллады. В 1984-м Дрэген и Теннилл прекратили совместное творчество, после чего Тони начала сольную карьеру.

Диски: Love Will Keep Us Together (1975, A&M Rec.); Came In From The Rain (1977, A&M);
Тони Теннилл, соло — More Than You Know (1984, Mirage Rec.).

Captain Beyond
Кэптин Бийонд

Американский ансамбль. Основан в 1971 году.
Начальный состав: Rod Evans — вокал, Lee Dorman — бас-гитара, клавишные, вокал, Rhino — гитара, Bobby Caldwell — ударные, клавишные, вокал.

Группу основали Род Эванс (экс-«Deep Purple») и Ли Дормен (экс-«The Iron Butterfly»). Гитарист Райноу прежде выступал как сешн-музыкант (сотрудничал с «The Iron Butterfly»). Бобби Колдуэлл играл в аккомпанирующем составе певца и гитариста Джонни Уинтера (Johnny Winter). Дебютный альбом квартета был выдержан в традиции софт-рока. В том же стиле создан и второй диск, «Sufficiently Breathless» (1973), в записи которого участвовали Reese Wynans (клавишные), Marty Rodriguez (вокал, ударные), Guille Garcia (конги). Несмотря на благожелательные отзывы прессы, коммерческого успеха эти пластинки не имели, и группа распалась. Бобби Колдуэлл в 1974-м вошел в состав ансамбля «Armageddon»; Гилл Гарсиа как сешн-музыкант участвовал в записи дисков многих звезд (Joe Walsh, 1974, Bill Wyman, 1976...). В 1977 году группа «Кэптин Бийонд» воссоединилась, пригласив вместо Рода Эванса нового вокалиста, Уилли Дэфферна (Willy Daffern), но вскоре опять исчезла с рок-сцены.

Диски: Captain Beyond (1972); Sufficiently Breathless (1973); Dawn Explosion (1977).

Captain Sensible
Кэптин Сенсэбл

Английский гитарист, пианист, композитор, певец.
Настоящее имя: Ray Burns.

Профессиональную карьеру начинал как бас-гитарист в группе «The Damned» в 1976 году. Впоследствии играл в этом коллективе на соло-гитаре, клавишных. В конце 1981-го занялся подготовкой материала для первого

сольного альбома, «Women And Captains First» (1982, продюсер — Tony Mansfield). Композиции «Wol» (в стиле поп-рэп) и «Happy Talk» (из мюзикла «South Pacific») попали в национальный хит-парад, причем вторая 10 июля 1982 года возглавила его. В записи дебютного диска принимали участие певец и гитарист Robyn Hitchcock (экс-«The Soft Boys») и женское вокальное трио «Dolly Mixture». В целом стилистический диапазон пластинки на редкость широк: кроме музыки рэп, на нем присутствуют кантри-энд-вестерн, пауэр-поп-рок, композиции в так называемом «стиле кабаре». Более цельное впечатление производит второй альбом Сенсэбла, «The Power Of Love» (1983); в хит-парад входили сразу четыре его песни: «It's Hard To Believe I'm Not», «Secrets» (обе написаны в соавторстве с Робином Хичкоком), «Stop The World» и «The Power Of Love». Диск-сборник «A Day In The Life Of... Captain Sensible» (1984) был выпущен только в США и включал лучшие композиции ранее вышедших пластинок. «Sensible Singles» (1984) — тоже является сборником; он составлен из 13 песен, до этого появлявшихся на синглах.

Дискография: Women And Captains First (1982, A&M Rec.); The Power Of Love (1983, A&M); A Day In The Life Of... Captain Sensible (1984, A&M, compilation); One Christmas Catalogue (1984, A&M, EP); Sensible Singles (1984, A&M, compilation).

Caravan
Кэрэвэн

Английский ансамбль. Основан в 1968 году.
Начальный состав: Pye Hastings — гитара, вокал, David Sinclair — клавишные, Richard Sinclair — бас-гитара, вокал, Richard Coughlan — ударные.

Группу образовали четверо музыкантов из распавшегося ансамбля «The Wilde Flowers». Стиль нового коллектива представлял собой синтез джаз-рока, ритм-энд-блюза, рок-н-ролла и музыки соул. Дебютные альбом («Caravan») и сингл («A Place Of My Own») коммерческого успеха не имели. Зато диски «If I Could Do It All Over Again...» [1970] и «In The Land Of Grey And Pink» (1971) вывели группу в лидеры английского андерграунда. В сентябре 1971 года Дэвид Синклер перешел в ансамбль Роберта Уайэтта (Robert Wyatt) «Matching Mole»; его сменил певец и пианист Steve Miller (экс-«Delivery»). После выхода альбома «Waterloo Lily» (1972) группу покинул и Ричард Синклер (основал ансамбль «Hatfield and The North»). В дальнейшем перемены в составе следовали одна за другой, постоянными участниками квартета оставались лишь Пай Хэстингс и Ричард Кофлэи. В разные периоды в группе играли бас-гитаристы John Perry и Mike Wedgewood, гитарист Phil Miller, гитарист, скрипач и флейтист Geoff Richardson, ударники David Grinsted и Pip Pyle, пианист Jan Schelhaas. В 1976 году коллектив записал наименее удачный диск, «Blind Dog At St. Dunstans». Интерес к его творчеству постепенно угас, и к концу десятилетия ансамбль фактически исчез с большой рок-сцены.

Дискография: Caravan (1968, MGM Rec.); If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You (1970, Deram/Decca Rec.); In the Land Of Grey And Rink (1971, Deram); Waterloo Lily (1972, Deram); For Girls Who Grow Plump In The Night (1973, Deram); Caravan And The New Symphonia (1974, Deram); Blind Dog At St. Dunstans (1976, WTM Rec.).

Belinda Carlisle
Белинда Карлайл

Американская певица.
17.VIII.1958.

Профессиональную карьеру начала в мае 1978 года в лос-анджелесском женском рок-ансамбле «The Go-Go's», выступавшем с большим успехом. После распада группы в 1984 году ненадолго покинула сцену, а затем вернулась на нее как солистка. В 1986-м выпустила альбом «Belinda», записанный при участии гитаристки Charlotte Caffey (экс-«The Go-Go's»), явившейся и соавтором ряда композиций. Стиль альбома — поп-рок с элементами традиционного блюза. Сотрудничество с Шарлотт Кэффи продолжилось при подготовке второго диска Белинды Карлайл, «Heaven On Earth» (1987). Продюсером пластинки выступил Rick Nowels, партии клавишных исполнил Thomas Dolby. Альбом завоевал популярность по обе стороны Атлантики. Наиболее удачными были признаны оригинальная обработка композиции «I Feel Free» из репертуара трио «Cream» и песня «Heaven Is A Place On Earth» (авторы — Rick Nowels и Allen Shipley), включенная также в двойной альбом-сборник произведений мастеров мировой рок-музыки «Greenpeace — Breakthrough», выпущенный в СССР 6 марта 1989 года.
Дискография: Belinda (1986, IRS Rec.); Heaven On Earth (1987).

Kim Carnes
Ким Карнс

Американская певица, пианистка, композитор.
Los Angeles, California.
Учиться игре на фортепьяно начала в 3 года и уже через несколько месяцев сочинила первую оригинальную композицию. Окончив школу, решила всерьез заняться композиторской деятельностью, но поначалу в течение трех лет выступала как аккомпаниатор в небольших клубах Лос-Анджелеса. С помощью менеджера и продюсера Джимми Боуэна (Jimmy Bowen) заключила контракт с фирмой грампластинок «Amos Records», затем перешла на фирму «A&M Records», где записала три альбома, ни один из которых не имел и малейшего успеха. Более удачным оказалось сотрудничество с новой фирмой «EMI-America Records», контракт с которой певице помог заключить менеджер Jim Mazza. В марте 1979 года сингл Ким Карнс «It Hurts So Bad» занял в национальном хит-параде США 56-е место; чуть выше поднялась следующая записанная композиция, «Don't Fall In Love With A Dreamer», сочиненная ею вместе с мужем, Дэвидом Эллингсоном (David Ellingson) и исполненная в дуэте со звездой кантри-рока Кенни Роджерсом (Kenny Rogers). Настоящим же шлягером стала интерпретация песни «More Love» из репертуара группы «The Miracles», вышедшая на сингле в 1980 году (продюсер — George Tobin). Триумфальным явился для Ким год 1981-й: ее сингл «Bette Davis Eyes» возглавил 16 мая американский хит-парад и продержался в нем 9 недель. Изданная за рубежом, пластинка заняла первые места в таблицах популярности двадцати одной страны. Это была обработка песни Джекки ДеШэннон (Jackie DeShannon) и Донны Уэйсс (Donna Weiss), посвященной киноактрисе Бетти Дэвис. Примечательно, что в исполнении самой Джекки ДеШэннон эта композиция, записанная еще в 1975 году, почти не была замечена. Вариант Ким Карнс 24 февраля 1982-го получил сразу две премии «Grammy» — как песня года (1981-го) и как пластинка года. Столь крупный успех способствовал быстрой раскупаемости и альбома «Mistaken Identity» (1981), включавшего песню «Bette Davis Eyes». Диск Ким записала в очень короткий срок — 15—20 декабря 1980-го и 6—12 января 1981-го, — причем каждая композиция исполнялась сразу и в окончательном варианте, без последующих студийных наложений инструментальных или вокальных партий. Альбом продемонстрировал лучшие образцы характерных для Ким Карнс стилей — поп-рока и софт-рок-баллады. Привлекала слушателей и оригинальная вокальная манера певицы, свидетельствующая о большом влиянии на нее творчества Рода Стюарта (Rod Stewart). С ним, кстати, Ким Карнс выступила 18 декабря 1981-го в лос-анджелесском зале «Forum» на концерте, который, благодаря спутниковой связи, могли видеть 35 миллионов телезрителей в разных частях света. Впоследствии Ким еще не раз выступала в дуэте со знаменитыми исполнителями, такими, как James Ingram, Kenny Rogers (сингл «What About Me», ноябрь 1984), Barbra Streisand (сингл «Make No Mistake, He's Mine», январь 1985). В апреле 1985 года она участвовала в транслировавшемся на весь мир сеансе записи знаменитого рок-гимна «We Are The World». В том же месяце в национальный хит-парад США попал сольный сингл певицы, «Crazy In The Night (Barking At Airplanes)». С начала десятилетия Ким Карнс выступала с аккомпанирующей группой в составе: Bill Cuomo (синтезаторы), Steve Goldstein (клавишные), Craig Hull (гитара), Josh Leo (гитара, мандолина), Brian Garafalo (бас-гитара), Jerry Peterson (саксофон) и Craig Kramph (ударные).

Дискография: Rest Of Me [1972, A&M Rec.]; Kim Carnes [1975, A&M]; Sailin' [1976, A&M]; St. Vincent's Court [1979, EMI-America Rec.]; Romance Dance [1980, EMI]; Mistaken Identity [1981, EMI]; Voyeur [1982, EMI]; The Best Of Kim Carnes [1982, A&M]; Cafe Racers [1984, EMI]; Barkin' At Airplanes [1985, EMI]; Light House]1986, EMI].

The Carpenters
Карпентерз

Американский дуэт. 1968—1983.
Состав: Richard Carpenter [15.X.1946, New Haven, Connecticut] — клавишные, вокал, Karen Carpenter [2.III.1950, New Haven — 4.II.1983, Downey, California] — вокал, ударные.

Ричард освоил фортепьяно в 12 лет и, хотя учили его исполнению классической музыки, отдавал предпочтение собственным интерпретациям поп-шлягеров. Подростком выступал как пианист-аккомпаниатор в одной из пиццерий (pizzeria) родного города Нью-Хэвен. В 1963 году семья переселилась в город Дауни (Downey), штат Калифорния, где Ричард стал играть в ансамбле, которым руководил его школьный учитель музыки. С детства интересовалась поп-музыкой и Карен: в 14 лет она начала играть в поп-группе на... ударных. В 1965-м Ричард, Карен и контрабасист Wes Jacobs образовали поп-джазовое трио, одержавшее победу в конкурсе молодых талантов «The Battle Of The Bands» в зале «Hollywood Bowl» (Лос-Анджелес). Призом был контракт на два сингла (четыре композиции) с фирмой грампластинок «RCA Records», однако, прослушав записи, руководство фирмы отказалось выполнить обязательство, сочтя трио бесперспективным. Коллектив распался. Вскоре Ричард познакомился с молодым хористом Джоном Беттисом (John Bettis), который, как оказалось, сочинял превосходные песенные тексты. С ним, а также с Карен и еще тремя музыкантами-любителями Ричард основал новую группу, «Spectrum». Коллектив несколько месяцев выступал в клубах разных городов штата Калифорния, но тщетно предлагал фирмам свои демонстрационные записи и в конце концов тоже распался. В 1967—1968 годах Ричард Карпентер и Джон Беттис сочинили целую серию композиций (позднее они легли в основу первых трех альбомов «Карпентерз»), часть которых брат и сестра с помощью сешн-музыканта Джо Осборна (Joe Osborn) записали методом многократного наложения на пленку. Записи заинтересовали продюсера Джека Доэрти (Jack Daugherty), и он помог Ричарду и Карен заключить контракт непосредственно с одним из владельцев фирмы «A&M Records» Хербом Элпертом (Herb Alpert). Дебютный диск «Offerings» (1969) сразу привлек к дуэту внимание публики и критиков, а песня «Ticket To Ride» (обработка композиции квартета «The Beatles») с этой пластинки попала в национальный хит-парад США. Стилем «Карпентерз» стал мелодичный поп-рок с изящными вокальными партиями. Заглавная песня второго альбома, «Close To You» (1970), 25 июля на четыре недели возглавила американскую таблицу популярности, хотя тоже не являлась оригинальной: ее написали еще в 1963 году Burt Bacharach и Hal David. Выпущенная на сингле, композиция 16 марта 1971-го принесла дуэту премию «Grammy» и звание «лучших новых артистов» года («Best New Artists»). С ноября 1970-го по ноябрь 1973-го еще шесть синглов «Карпентерз» занимали в хит-параде США либо второе, либо третье место. 1 декабря 1973 года песня Ричарда Карпентера и Джона Беттиса «Top Of The World» (с диска «A Song For You») вновь внесла название дуэта в первую строчку таблицы популярности, а альбом «Now And Then» (стилизованные интерпретации ранних поп-шлягеров) 18 августа того же года вышел в лидеры в Англии. Еще больший успех имел сборник синглов «The Singles 1969—1973»: появившись в первые дни 1974-го, он уже 5 января возглавил хит-парад США, а 26-го — и Великобритании, где оставался в десятке лучших 19 недель! Грандиозным заключительным аккордом в этой полосе сенсационных удач явился альбом «Horison» (1974), в работе над которым Ричард и Карен выступили и в роли продюсеров. Критики оценили пластинку как наиболее цельную и выразительную в дискографии «Карпентерз». Первое место в США (25.I.1975) и Великобритании (15.II.1975) заняла песня «Please Mr. Postman» — оригинальная обработка композиции (авторы — William Garrett, Georgia Dobbins, Brian Holland и Robert Bateman), возглавлявшей американский хит-парад еще в 1961 году в исполнении соул-трио «The Marvelettes», а в 1963-м включенной в альбом «With The Beatles» квартета «Битлс» (в США вышла в составе альбома «The Beatles' Second Album», апрель 1964-го). В дальнейшем, однако, творческая активность Ричарда и Карен снизилась. В 1978 году они временно прекратили совместные выступления, в 1979-м Карен начала готовить материал для сольного диска. Лишь в 1981-м дуэт воссоединился и выпустил новый альбом, «Made In America». Публика с радостью встретила возвращение «Карпентерз», но 4 февраля 1983 года Карен умерла от сердечного приступа. Ее единственный сольный диск (продюсер — Phil Ramone), вышедший в ноябре, оказался посмертным.

Диски: Offerings [1969, A&M Rec.]; Close To You [1970, A&M]; The Carpenters [1971, A&M]; Ticket To Ride [1972, A&M]; A Song For You [1973, A&M]; Now And Then [1973, A&M]; The Singles 1969—1973 [1974, A&M, hits]; Horison [1974, A&M]; Made In America [1981, A&M];
Карен Карпентер, соло — Voice Of The Heart [1983, A&M[.

The Cars
Карз

Американский ансамбль. Основан в 1976 году.
Состав: Ric Ocasek (настоящее имя — Richard Otcasek) — вокал, гитара, Ben Orr (настоящее имя — Benjamin Orzechowski) — бас-гитара, вокал, Elliot Easton — гитара, Greg Hawkes — клавишные, саксофон, David Robinson — ударные.

Ансамбль, являющийся одним из популярнейших представителей американского нью-уэйв-рока и добившийся гармонического синтеза жесткой стилистики пост-панка с поп-музыкальными традициями, был основан Риком Окасеком. Как певец Рик дебютировал в 6 лет в телевизионной шоу-программе родного города Балтимор, штат Мэриленд (Baltimore, Maryland). В 12 научился играть на гитаре. В конце 60-х познакомился с бас-гитаристом и певцом Беном Орром, с которым играл в разных любительских группах. С ним же в 1971 году записал в частной студии города Бостон, штат Массачусетс (Boston, Massachusetts) альбом «Milkwood» (в 1972-м выпущен фирмой «Paramount Records»), не имевший, впрочем, успеха. В 1975-м Окасек и Орр обосновались в городе Ньютон (Newton) того же штата, где год спустя образовали квартет под названием «Cap'n Swing», пригласив в него соло-гитариста Эллиота Истона и пианиста Грега Хоукса. Чуть позднее к ним примкнул ударник Дэвид Робинсон (экс-«The Modern Lovers»), предложивший назвать группу «The Cars» («Автомобили»). Дебютный альбом коллектива вышел в 1978-м на фирме «Elektra Records» и записывался под руководством знаменитого продюсера Роя Томаса Бейкера (Roy Thomas Baker). Сразу две песни с этой пластинки («My Best Friend's Girl» и «Just What I Needed») попали в национальный хит-парад США. Следуя традициям английской бит-музыки и ориентируясь на раннее творчество таких ее представителей, как ансамбли «The Beatles» и «The Hollies», Рик Окасек

сделал в аранжировках акцент на звучании соло-, ритм- и бас-гитары, которое подкрепил эффектными пассажами клавишных в стиле электро-поп и характерным для хард-рока построением гитарных импровизаций. Подобный оригинальный синтез присущ практически всем альбомам группы. 3 ноября 1978 года квинтет отправился в первое гастрольное турне по странам Европы (ФРГ, Франция, Бельгия, Великобритания), в 27 декабря его дебютный альбом стал в США «платиновым». 25 января 1979-го ансамбль был признан «открытием года» (1978-го, по данным журнала «Rolling Stone»). Второй диск группы, «Candy-O» (1979, продюсер — Рой Томас Бейкер), тоже заслужил «платиновую» награду. В национальный хит-парад попали композиции «It's All I Can Do» и «Let's Go». На концерте «Карз» в нью-йоркском Сентрал-парке (Central Park) присутствовало рекордное число зрителей — 500 тысяч. «Эталонным образцом коммерческого поп-рока» назвали критики песню «Gimme Some Slack» с третьего альбома коллектива, «Panorama» (1980), занявшего 5-е место в американской таблице популярности и 15 октября того же года ставшего «платиновым». Аналогичный успех имел и четвертый диск, «Shake It Up» (1981). Параллельно с выступлениями в квинтете Рик Окасек как продюсер сотрудничал с дуэтом «Suicide» и отдельно с одним из его участников Элэном Вигой (Alan Vega), с группой «Bad Brains», а в 1982 году выпустил первый сольный альбом, «Beatitude», по звучанию близкий к работам «Карз». В записи пластинки участвовали Грег Хоукс, а также музыканты из ансамблей «Bad Brains», «Dark», «Ministry», «New Models», «Reflectors». Песня «Jimmy Jimmy» с этого диска, аранжированная в стиле диско-фьюжн, попала в национальный хит-парад США. По примеру Окасека занялся сольной работой и Грег Хоукс: в 1983 году он выпустил самостоятельный альбом «Niagara Falls», тоже близкий к манере «Карз», но менее удачный и не имевший успеха. В этот период квинтет не давал концертов и не записывал новых дисков. Лишь в 1984-м музыканты вновь собрались в студии, чтобы подготовить к выпуску альбом «Heartbeat City» — один из самых значительных в дискографии «Карз». На сей раз в хит-парад вошли три композиции — «Drive», «You Might Think» и «Magic». В дальнейшем, однако, пути музыкантов опять разошлись. В 1985-м появился сольный диск Эллиота Истона «Change To Change», в 1986-м — второй альбом Рика Окасека «This Side Of Paradise» (в записи участвовали все члены группы, кроме Дэвида Робинсона, а также Tom Verlaine, экс-«Television», гитара, вокал, и Roland Orzabal, клавишные, из группы «Tears For Fears»). В 1987 году квинтет выпустил альбом «Door To Door», созданный на прежнем высоком уровне, но не содержащий каких-либо новаторских элементов и встреченный критикой довольно сдержанно.

Дискография: The Cars (1978, Elektra Rec.); Candy-O (1979, Elektra); Panorama (1980, Elektra); Shake It Up (1981, Elektra); Heartbeat (1985, Elektra, hits); Door To Door City (1984, Elektra); Greatest Hits (1987, Elektra);

Рик Окасек, соло — Beatitude (1982, Geffen); This Side Of Paradise (1986, Geffen);

Эллиот Истон, соло — Change To Change (1985, Elektra).

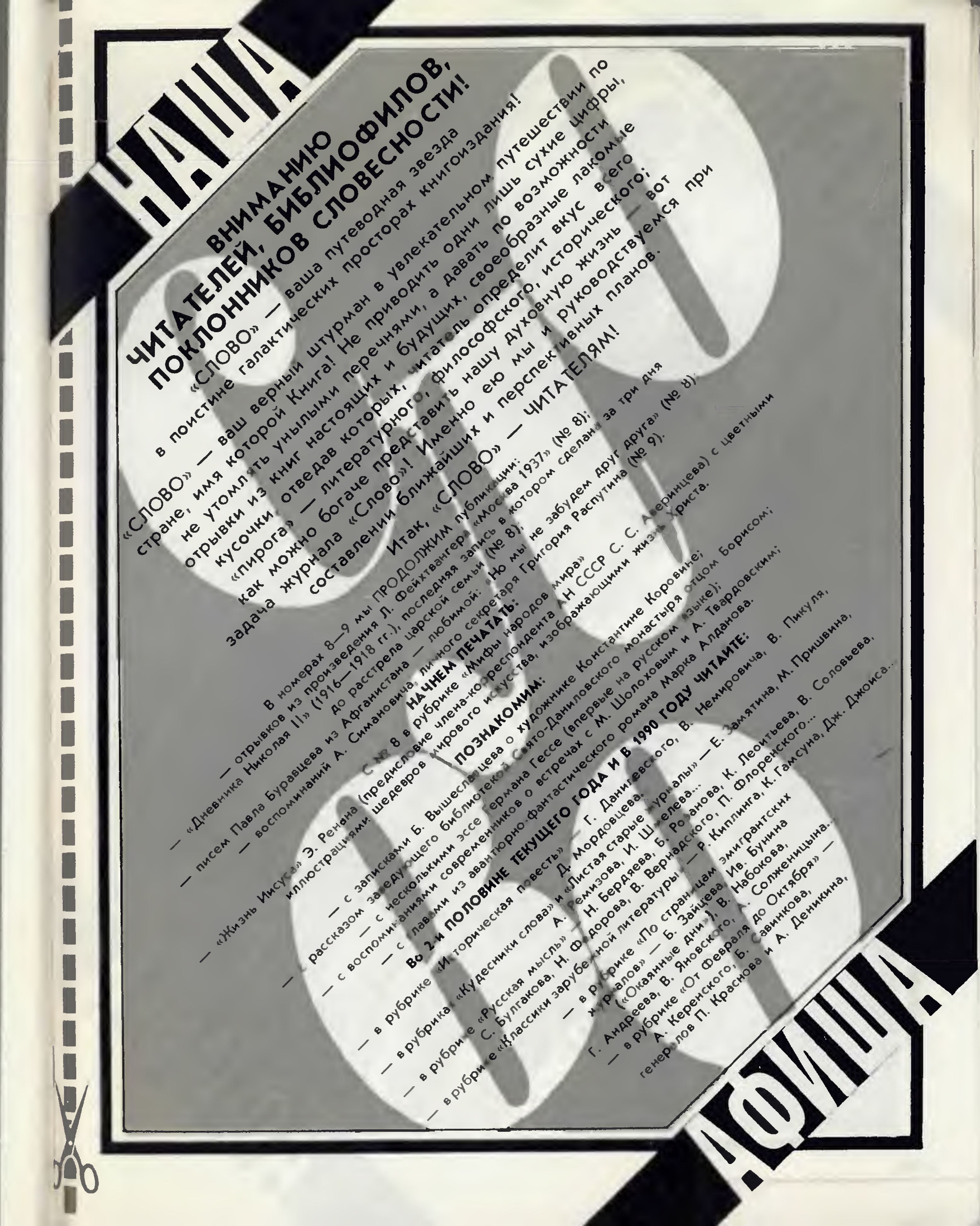
Johnny Cash
Джонни Кэш

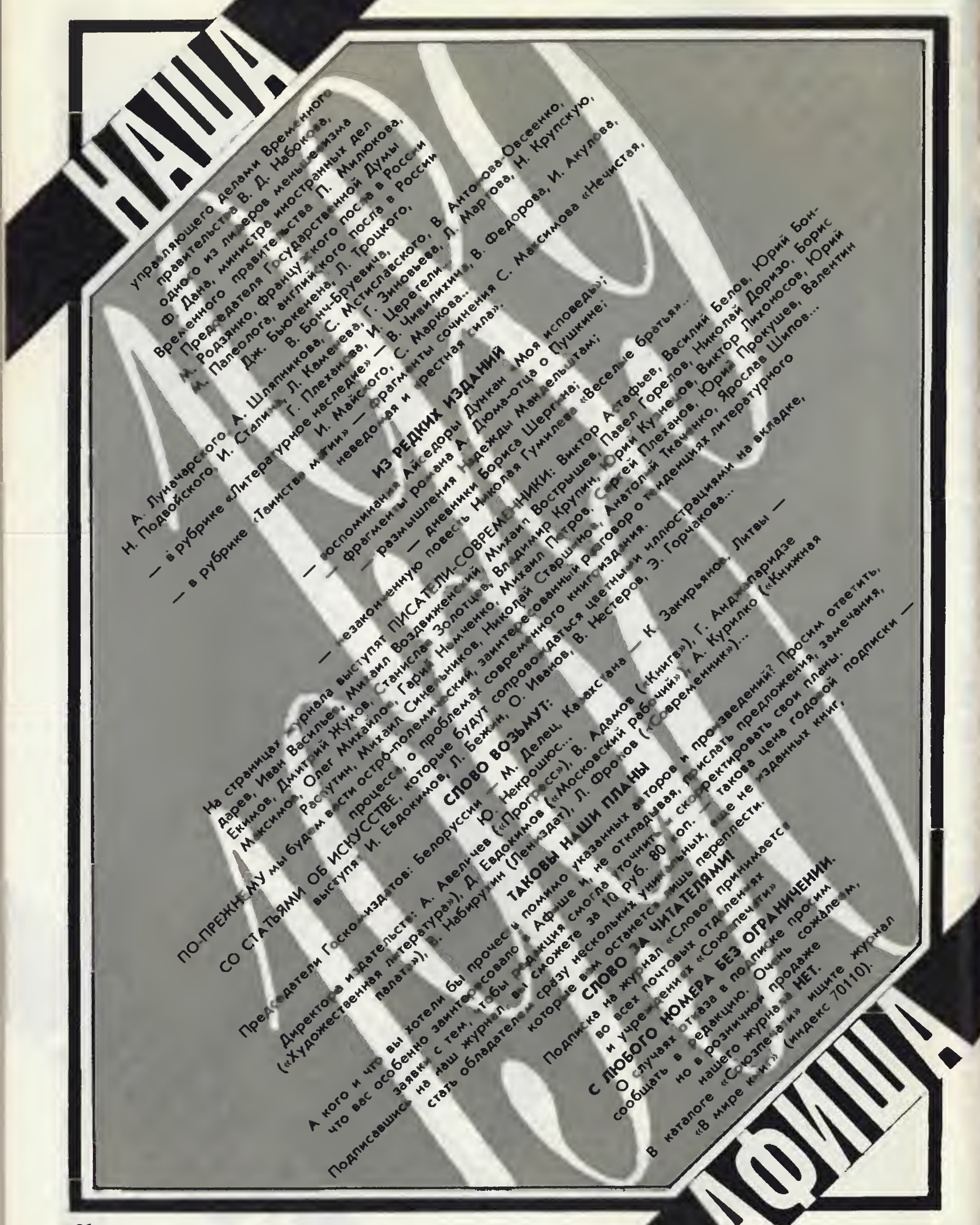
Американский певец, гитарист, композитор.
Настоящее имя: John R. Cash. 26.11.1932. Kingsland, Arkansas.

Родился в семье сельскохозяйственного рабочего. Подростком освоил гитару и по вечерам выступал перед соседями и родными с песнями собственного сочинения в стиле кантри. В 1954 году, после службы в армии, женился на Вивьен Либерто (Vivian Liberto) и переехал в Мемфис, штат Теннесси (Memphis, Tennessee), где занялся торговлей электроприборами. В 1955-м образовал ансамбль «The Tennessee Two», в состав которого вошли такие же, как он, музыканты-любители Luther Perkins (гитара) и Marshall Grant (бас-гитара). Владелец мемфисской фирмы грампластинок «Sun Records» Sam Phillips согласился выпустить пробным тиражом сингл «Cry, Cry, Cry» с записью собственной композиции Кэша, и 5 октября 1955-го песня возглавила хит-парад штата Теннесси. Второе место в тот день и в том же региональном хит-параде занял сингл «I Forgot To Remember To Forget Her» Элвиса Пресли (Elvis Presley). Имела успех и следующая запись Джонни Кэша и его группы — «Folsom Prison Blues», — появившаяся на сингле 15 ноября 1955-го. Широкое признание пришло к Кэшу в сентябре 1956 года, когда вышел его сингл «I Walk The Line», попавший в двадцатку лучших национальной таблицы популярности и вскоре ставший «золотым». 4 декабря 1956-го Джонни Кэш, Элвис Пресли, Carl Perkins (гитара, вокал) и Jerry Lee Lewis (клавишные, вокал) записали совместно серию песен как квартет звезд фирмы «Sun Records», названный «The Million Dollar Quartet», однако на пластинке эти композиции вышли лишь 25 лет спустя. В начале 60-х Джонни Кэш активно выступал с песнями в стилях кантри-энд-вестерн и рокабилли, давая в год до 300 концертов. Нервное перенапряжение и физическую усталость он все чаще снимал с помощью наркотических таблеток, но в результате слег в больничную постель. Жена ушла от него, а творческой деятельности наступила томительная пауза. Только в 1967 году он смог вернуться на сцену. Женившись на певице Джун Картер (June Carter, из знаменитой в 40-е годы семьи исполнителей музыки кантри-энд-вестерн, выступавшей как ансамбль «The Carter Family»), Джонни выпустил с ней два сингла, имевшие крупный успех («Jackson» и «If I Was A Carpenter»). В 1968-м и 1969-м он в знак протеста против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах «Фолсом» и «Сан-Квентин» записал два концертных альбома, «At Folsom Prison» и «At San Quentin», составленные на базе фонограмм его выступлений в каждой из этих тюрем. Как первая, так и вторая пластинка разошлись более чем двухмиллионным тиражом, причем вторая (продюсер — Bob Johnson) 23 августа 1969 года на четыре недели возглавила американский хит-парад, а 27 сентября вышла на лидирующее место и в британском. В том же году Джонни Кэш участвовал в записи альбома Боба Дилана (Bob Dylan) «Nashville Skyline»; в свою очередь Боб Дилан выступил в концерте Кэша «The Johnny Cash Show». Синглом года была признана композиция «A Boy Named Sue» с диска «At San Quentin». 7 февраля 1970-го «золотым» стал альбом Джонни Кэша «Hello, I'm Johnny Cash» (1969), а 17 апреля он принял участие в престижном шоу в Белом доме, куда его пригласил лично президент США Ричард Никсон (Richard M. Nixon). Эталонным образцом стиля кантри-энд-вестерн назвали критики диск «One Piece At A Time» (1976), где Джонни Кэш выступил и в роли продюсера. В 70-е годы он снялся в ряде кинофильмов («Five Minutes To Love», «Gospel Road», «A Gunfight» и др.). В 1974-м и 1975-м в свет вышли две книги о его жизни и творчестве — «Winners Got Scars Too» и «Man In Black» (вторая — автобиография певца и музыканта). К концу десятилетия он все реже выступал и записывал пластинки один, зато все чаще работал совместно с другими ветеранами рок-сцены. 23 апреля 1981 года Джонни Кэш, Карл Перкинс и Джерри Ли Льюис записали в Штутгарте (Stuttgart, West Germany) диск «The Survivors» (1982). В том же 1981-м крупный успех имел сингл «Seven Year Ache», выпущенный его дочерью Розанной (Rosanne Cash), избравшей своим стилем кантри-рок.

Диски: Song Of Our Soil (1959, CBS Rec.); There Was A Song (1960, CBS); The Sound Of Johnny Cash (1962, CBS); Ring Of Fire (1963, CBS), Bitter Tears (1964, CBS); That's What You Get For Lovin' Me (1966, CBS); Carryin' On (1967, CBS); Greatest Hits (1967, CBS); At Folsom Prison (1968, CBS, live); At San Quentin (1969, CBS, live); Hello, I'm Johnny Cash (1969, CBS); One Piece At A Time (1976, CBS); A Free Man (1981, CBS); The Survivors (1982, CBS, with Carl Perkins & Jerry Lee Lewis), The Cowboys (1982, CBS, with Marty Robbins); The Man, The World, His Music (Sun Rec, 2LP, anthology); Original Golden Hits, vol. 1 (Sun Rec., hits); Original Golden Hits, vol. 2 (Sun Rec., hits); The World Of Johnny Cash (CBS Rec., 2LP, anthology).

Продолжение следует





ПРЯМОЙ ДИАЛОГ

Пусть со скрипом, преодолевая чаще всего скрытое сопротивление, с неизбежными родовыми муками, — перестройка выходит на главный рубеж: от слов — к делу...

И вот, после дебатов на трех писательских съездах, бесчисленных совещаний, неимоверными усилиями подвижников (а так и было) «Роман-газета для юношества» создана. Первые четыре пробных номера под общим названием «Поиск» юный читатель уже получил. Открыта она «Донскими рассказами», «Судьбой человека» Михаила Шолохова. В таком дебюте есть преемственность, ведь «Тихий Дон» начал свою народную жизнь на страницах первых номеров взрослой «Роман-газеты».

Во втором и третьем номерах «РГЮ» — «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, «Маршал Жуков» Николая Яковлева, в четвертом — приключения и фантастика, «Спящий Джинн» Василия Головачева и «Голубой кедр» Елены Грушко.

Обращаясь к юным друзьям, главный редактор «Роман-газеты» Валерий Николаевич Ганичев рассказал:

— В этом году мы планируем выпустить двенадцать номеров. В них будут опубликованы произведения Валентина Распутина, Анатолия Приставкина, Владимира Богомолова, Альберта Лиханова, Сергея Высоцкого, Александра Кулешова, молодых писателей-фантастов. Одна из особенностей нового издания в том, что юношеская газета это симбиоз книги и журнала. В каждом номере будут представлены личность писателя или размышления на тему произведения, чтобы вызвать юного читателя на продолжение духовного общения. Мы постоянно будем вести рубрики: «На перекрестке мнений», «Спорзал», «Страничка читателя».

Именно желание вести с ним прямой диалог явилось причиной создания Всесоюзного клуба читателей «РГЮ», который «Роман-газета» открыла совместно с ЦК ВЛКСМ, ВГО «Союзкнига», Всесоюзным добровольным обществом любителей книги, Государственной республиканской юношеской библиотекой РСФСР. Членами этого клуба могут стать читатели юношеских и школьных библиотек, члены магазинов-клубов, первичных организаций книголюбов, техникумов, вузов, молодежных объединений.

Впереди у клуба «РГЮ» большая духовная жизнь, так как он создан не для того, чтобы покрасоваться, поораторствовать, полидерствовать, а затем лопнуть как мыльный пузырь, — он призван насущной духовной потребностью юношества, заботой старших об идеа-

лах своих детей. Поэтому быстро ширится его состав, так близко к сердцу принимают его участники дальнейший рост своего «младенца».

— Новая «Роман-газета» должна нести подросткам и юношам з д о р о в ь е — физическое, нравственное и интеллектуальное... Самый главный у нас дефицит — человеческое достоинство. Вот его и надо пестовать. В сегодняшней жизни юношей не все так весело и эстрадно, — отметил на недавнем собрании клуба в республиканской юношеской библиотеке В. Н. Ганичев.

— Не всеядность, не дань литературной моде, а концепция очищения, нравственные посылы, стремление к доброте, к общечеловеческим ценностям должны быть взяты за основу при отборе произведений для юношей. Но как смехотворно мал тираж — пятьсот тысяч, — возмущался Альберт Лиханов. — На чем мы экономим?! На нашем будущем, на наших детях.

Продолжая мысль Анатолия Алексина об опасности масскультуры, библиотекарь из Калининской области Эмилия Левина подчеркнула: «Надо равняться на духовность высшего порядка. По своему опыту знаю, как ребята тянутся к Пушкину».

Сорок лет проработавший в уголовном розыске председатель секции «РГЮ» детективной литературы Владимир Федорович Чванов с тревогой заметил, что преступность среди молодежи растет, а некоторые авторы, мастерски описывая технологию преступления, слабо показывают, как иные юноши скатываются в преступный мир, и своими произведениями не ставят преград против рецидивистов.

Юношеская «Роман-газета» делает первые шаги, но уже имеет свою почту.

— Нас порадовало, что большая часть юных читателей отдает предпочтение отечественной и зарубежной классике, — рассказал ответственный за выпуск «РГЮ» Александр Иванович Жуков. — С этого года каждый номер будет иметь свою композицию и определенную направленность. Например, номер под общим названием «Кров» включает произведения трех авторов: Ирины Черваковой, рассказывающей об исковерканных судьбах детей, брошенных родителями; Валерия Хайрюзова — о другой стороне этой проблемы, которая прочитывается в самом названии — «Опекун»; Юрия Иванова — «Долгие дни блокады». У этой повести необычная судьба. У нас она была издана небольшим тиражом и наибольшую известность повесть получила в Японии, где стала одной из самых популярных книг года. По ней японские школьники писали даже сочинения. По просьбе юных читателей мы опубликуем произведения писателей-фантастов. За «круглым столом» они обсудят проблемы своего жанра. Один из номеров «РГЮ» будет посвящен творчеству Карема Раша. На его страницах читатель найдет повесть «Сибиряки против СС». Этот писатель долгое время работал с детьми. В Новосибирске он организовал клуб юных фехтовальщиков (мушкетеров) «Виктория», который отметил свое двадцатилетие. В публицистической статье Карем Раш делится своими мыслями о создании юношеского адмиралтейства и воспитании подростков на отечественных традициях. По номеру «РГЮ», в котором будут опубликованы повесть Валентина Распутина «Прощание с Матерой» и его публицистика, мы объявили всесоюзную заочную читательскую конференцию. В ней примет участие и писатель. О результатах этой конференции мы расскажем в одном из последующих номеров.

Так что прямой диалог между «РГЮ» и юным читателем начался.

А. ЧЕРНЕНКО

6.144

От новгородской иконописи 11-го века сохранился на сегодняшний день лишь один памятник — монументальная икона «Петр и Павел», из Софийского собора (Новгородский историко-архивный музей-заповедник).

ISSN 0321—0561. В мире книг. 1989. № 7. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.